

ГЕРОИ ШИПКИ



Сборник

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

100-летию
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БОЛГАРИИ
ОТ ОСМАНСКОГО
ИГА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 2

(588)

ГЕРОИ ШИПКИ

Сборник

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1979

ДРУЖБА НА ВЕКА

Дважды в истории русские воины приходили на болгарскую землю воинами-освободителями. И дважды в истории болгарский народ по-братски встречал «братушек» — в 1877—1878 годах и в 1944 году. Эти две даты имеют особое значение в истории дружбы наших народов.

3 марта 1978 года болгарский народ отметил свой большой и светлый национальный праздник — 100-летие освобождения страны от османского ига. По случаю юбилея в Софии состоялось торжественное заседание ЦК БКП, Народного собрания, Государственного совета, Совета Министров НРБ, управительного совета Болгарского земледельческого народного союза, Национального совета Отечественного фронта, Центрального совета болгарских профсоюзов, ЦК Димитровского союза коммунистической молодежи, Всенародного комитета болгаро-советской дружбы и других общественных организаций. На торжественном заседании с докладом выступил Первый секретарь ЦК БКП, Председатель Государственного совета НРБ Т. Живков.

«Сегодня, — сказал Т. Живков, — исполнилось 100 лет с того памятного дня — 3 марта 1878 года, когда подписанный в Сан-Стефано мирный договор увенчал освободительную русско-турецкую войну и болгарское государство возродилось из небытия пятивекового чужеземного ига. Прошел век с того дня, как болгарский народ вновь занял свое место среди свободных народов и направил свои силы на борьбу за преодоление вековой

Г $\frac{70302-036}{078(02)-79}$ 259 — 79 4702010100.

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

отсталости. На протяжении этого бурного века, полных превратностей, ознаменовавшегося национальными взлетами и национальными катастрофами, революционными победами демократических сил и контрреволюционными вакханалиями реакции, наш народ прошел путь от национального освобождения до победы социалистической революции и ныне находится в первых рядах прогрессивных сил мира».

Особое внимание Тодор Живков обратил на высокие боевые качества и исключительный героизм, проявленные русскими войсками. «Ход войны, — сказал он, — и умело проведенные боевые операции убедительно продемонстрировали высокий уровень русского военного искусства. Героические сражения под Свиштовом, на Шипке, за Стара-Загора и за Плевен, беспрецедентный по дерзновению зимний переход через горный хребет Стара-Планина и освобождение Софии, блестящие победы у села Шейново и в ряде других мест навсегда остались в нашей истории как немеркнущие символы самообытной и талантливой русской военной мысли, высокого боевого духа воинов-освободителей, их готовности отдать свои жизни за свободу поработанного братского болгарского народа».

Русско-турецкая война 1877—1878 годов была одним из самых значительных событий второй половины XIX века, она оказала огромное влияние на судьбу других балканских народов — Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины. По значению ее можно сравнить лишь с освободительным походом Советской Армии в 1944 году.

9 сентября 1944 года болгарский народ, руководимый Болгарской коммунистической партией, совершил социалистическую революцию. Так завершилась эпопея освобождения Болгарии — эпопея доблести, самопожертвования и неувядаемой славы двух братских народов. Эпопея, у истоков которой стоят имена выдающихся руководителей национально-освободительного движения Г. С. Раковского, Л. Каравелова, В. Левского, Х. Ботева, а также десятков и десятков тысяч участников стихийно возникших «групп отмщения» и гайдуцких дружин, ширившегося народного партизанского движения. В. И. Ленин в ряде работ, касаясь русско-турецкой войны 1877—1878 годов, подчеркивал, что эта война по своему характеру и объективным историческим последствиям была

прогрессивной для народов Балкан, способствовала освобождению балканских стран от пут феодализма и сыграла роль буржуазно-демократической революции.

Русско-турецкая война положила конец пятивековому рабству, и она же стала началом нового этапа в борьбе лучших сынов болгарского народа за революционные, демократические преобразования в стране. Четырнадцать лет спустя после боев на Шипке, на другой священной горе — Бузлуджа — Димитр Благоев и его соратники заложили основы революционной марксистской партии молодого болгарского рабочего класса. Началась новая историческая битва — битва труда против капитала.

Шипка — символ самых героических страниц в истории болгарского народа, в истории дружбы двух наших народов. Потому и сборник, подготовленный издательством «Молодая гвардия» к 100-летию освобождения Болгарии от османского ига, назван «Герои Шипки», хотя речь в нем идет о героях не только «шипкинского сидения», но и многих других легендарных сражений.

Уже столетие героический подвиг русского и болгарского народов изучается историками, уже в 1877—1878 годах вышли первые тома исследований, материалов, документов. И есть литературно-художественная летопись тех дней, начатая тоже по свежим следам событий художниками и писателями, являвшимися непосредственными участниками освободительной войны: Верещагиным и Всеволодом Гаршиным, Вас. Немировичем-Данченко и В. Крестовским, болгарскими поэтами Иваном Вазовым и Петром Славейковым. Эта летопись продолжается и поныне — в полотнах художников, кино- и телефильмах, в романах, в рассказах, песнях, очерках, повестях, стихах. Немало книг вышло в юбилейном году, «Герои Шипки» — одна из них. Со страниц этой книги, созданной русскими и болгарскими писателями, журналистами, предстает целая галерея героев, причем не только прославленных военачальников, чьи заслуги не вызывают сомнений, — Столетова, Драгомирова, Скобелева-сына и Скобелева-отца, Тотлебена, Гурко, но и многих других, в том числе рядовых участников событий — русских солдат, болгарских ополченцев, легендарного Цеко Петкова, Константина Кесякова, Юлии Вревской, командира наместных гусар Александра Пушкина — старшего сына поэта, художника Верещагина, молодого Всеволода Гаршина, Петра Славейкова.

Я настоятельно рекомендую эту книгу, выходящую в серии «Жизнь замечательных людей», именно молодому поколению, юношам и девушкам, которым необходимо знать славную историю нашей Родины, в полную меру оценить героический подвиг наших предков, широту души и бескорыстие русского народа.

Николай Шихонов
25 июля 1978 г.

I

В. Дуров

В НОЧЬ С 14-ГО НА 15-Е. У ЗИМНИЦЫ

Ночь с 14 на 15 июня 1877 года была безветренная и лунная. Лишь иногда, когда редкие облака закрывали луну, становилось совсем темно. На правом, болгарском, берегу Дуная до полуночи раздавались пьяные голоса турецких офицеров из Сисова, гулявших в местной гостинице. Левый, румынский, берег реки был погружен в тишину. Но тишина эта была обманчива. Здесь, в районе городка Зимница, были скрыты сосредоточены тысячи русских солдат и офицеров. Хотя еще 12 апреля Россия объявила войну Турции, на балканском театре активных военных действий не велось. Уже несколько дней не было отмечено ни одного серьезного боевого столкновения.

И в эту июньскую ночь ничто не предвещало, что именно здесь, у Зимницы, русские войска осуществят форсирование Дуная, которое затем войдет в учебники тактики как классический пример успешного преодоления крупной водной преграды.

Подготовка к форсированию велась в такой строгой тайне, что даже сам генерал-лейтенант Ф. Ф. Радецкий, командир 8-го армейского корпуса, в состав которого входила штурмовая группа, узнал о месте и времени операции лишь накануне — 13 июня.

Части 8-го корпуса уже через несколько дней после объявления войны выступили из Кишинева. Пройдя по территории Румынии, войска к началу июня достигли берегов Дуная.

Ранним утром 14 июня все части, которым предстояло первыми высадиться на болгарском берегу, сосредоточились в Зимнице. Командовать передовым отрядом было поручено генерал-майору М. И. Драгомирову.

* * *

Он родился 8 ноября 1830 года в Черниговской губернии, недалеко от Конотопа, на хуторе, принадлежавшем отцу — Ивану Ивановичу Драгомирову. Отец, потомственный дворянин, в молодости драгунским офицером участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813—1814 годов. Выйдя в отставку, он занялся сельским хозяйством. Его сын Михаил, успешно окончив Конотопское городское училище, поступил в Дворянский полк — учебное заведение для молодых дворян, дававшее общее военное образование.

Дворянский полк (переименованный впоследствии в Константиновский кадетский корпус) дал России немало государственных и военных деятелей. Среди последних известные военные историки генералы М. И. Богданович, П. О. Бобровский и Н. Ф. Дубровин, главнокомандующий сербской армией в сербо-турецкую войну 1876 года генерал М. Г. Черняев и другие. В 1849 году одновременно с Михаилом Драгомировым Дворянский полк окончил будущий активный участник революционного движения 60-х годов, известный поэт и переводчик, основатель и руководитель сатирического журнала «Искра» Василий Степанович Курочкин. Его первые литературные опыты относятся именно к учебе в Дворянском полку и представляют собой юмористические стихи «на злобу дня» и шутливые эпиграммы на учителей.

Михаил Драгомиров окончил курс в Дворянском полку «из отличнейших», и имя его было занесено на мраморную доску. Как один из лучших выпускников, Михаил Иванович получил назначение прапорщиком в гвардейский Семеновский полк, имевший славные боевые традиции, восходившие еще к петровскому времени. Известен этот полк был и тем, что именно в нем в 1820 году

произошло первое крупное выступление в русской армии против крепостничества.

В Семеновском полку помимо своих прямых служебных обязанностей, к которым Михаил Иванович на протяжении всей жизни относился исключительно добросовестно, он много читает и готовится к поступлению в Военную академию (позднее Академия Генерального штаба). В 1854 году, имея уже чин поручика, двадцатичетырехлетний М. И. Драгомиров поступил в академию и успешно окончил ее в 1856 году. Снова его фамилия была занесена на мраморную доску, теперь уже академии. Кроме того, Драгомиров был отмечен еще более высокой наградой — золотой медалью, которая давалась в то время первому по успехам из окончивших академию. Кроме медали, лучший выпускник награждался также производством в следующий чин, и новый, 1857 год Михаил Иванович встретил уже штабс-капитаном.

Учась в академии, Драгомиров продолжал много читать, глубоко изучая военное искусство прошлого. Особенно его интересовало все, связанное с именем великого Суворова. Глубочайшее уважение к гениальному русскому полководцу Драгомиров пронес через всю свою жизнь. Ко времени учебы в академии относятся и работа Михаила Ивановича над первым своим военно-историческим трудом «О высадках в древние и новейшие времена». И знаменательно, что глубокое знание военной теории, обнаруженное им уже в первой работе (оставшейся в русской дореволюционной военной литературе лучшей на эту тему), было подтверждено в 1877 году — ровно через двадцать лет — блестящей операцией Драгомирова по форсированию Дуная у Зимницы.

В 1858 году способного офицера переводят в гвардейский Генеральный штаб. В том же году Генерального штаба штабс-капитан М. И. Драгомиров командирован за границу для усовершенствования в военных знаниях, особенно в тактике, ставшей для молодого офицера главным объектом изучения и разработки. Во время командировки, срок которой был определен в один год, вспыхнула в 1859 году война между Австрией, с одной стороны, и Италией и Францией — с другой. Драгомирову предоставилась блестящая возможность проверить на практике некоторые свои теоретические выводы. С разрешения начальства он принял участие в войне в качестве наблюдателя при штабе сардинской армии.

По возвращении в 1859 году в Россию Драгомиров представил отчет и опубликовал несколько работ об австро-итало-французской войне. В этих работах Драгомиров, в частности, отметил значение нравственной стороны воспитания войск и даже выдвинул ее на первое место.

В январе 1860 года М. И. Драгомиров назначается адъюнкт-профессором тактики в Военной академии. Преподавательская деятельность его в академии совпала по времени с осуществлением коренных реформ в армии, явившихся составной частью буржуазных преобразований в государстве. Отмена крепостной зависимости, судебная и земская реформы сделали неизбежным превращение русской армии в массовую армию буржуазного типа. Этот процесс в основном был завершён к 1 января 1874 года — дню введения всесословной воинской повинности. Правда, долго и после этого, вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, в армии и флоте России сохранялись многие остаточные явления феодально-крепостнической системы.

В связи с преобразованиями в армии, введением новых видов вооружения стало необходимым коренным образом изменить тактическую подготовку войск. И одним из военных деятелей, не только понявших это, но и активнейшим образом осуществлявших требования времени в теоретических трудах и на практике, был М. И. Драгомиров. В 60-е годы появляются десятки его работ, опубликованных в военных изданиях и обративших внимание специалистов. Лекции, читавшиеся Драгомировым в эти годы в академии, также считались лучшими в стенах этого заведения. Драгомиров издает со своими комментариями знаменитую суворовскую «Науку побеждать». Обращение к наследию великого полководца было не случайным. Совершенствование вооружения, а вместе с этим и тактики боя требовало более высокой подготовки от воинов, давало больший простор для их самостоятельных инициативных действий. Методы подготовки войск Суворовым, в армии которого, по словам Драгомирова, любой солдат «узнавал и практически и теоретически боевое дело лучше, чем теперь его знают в любой европейской армии в мирное время», могли считаться образцом и во второй половине XIX века, конечно, с учетом развития военной теории и техники. Сам же Драгомиров в комментариях к «Науке побеждать» замечает, что «Суворов видоизме-

нял свою систему в зависимости от усовершенствования оружия».

В 1864 году М. И. Драгомиров производится в полковники и назначается начальником штаба 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии, а в 1866 году, во время австро-прусской войны, направляется вновь в заграничную командировку военным представителем при прусской армии. Он публикует в «Русском инвалиде» в виде писем ряд очерков с театра военных действий, а по возвращении домой издает книгу об австро-прусской войне 1866 года. В ней Драгомиров очень точно и оригинально объясняет мысль, часто встречающуюся в других его произведениях, о роли человека в военном деле: «Усовершенствованное вооружение, хороший план, знание войсками техники дела значат, конечно, очень много, но значат не более, как нули, когда левее их стоит единица: они увеличивают количественное, но не качественное значение ее; сами же по себе ничего не значат. Эта единица в военном деле, как во всем и всегда, человек».

Тщательное изучение и разработка военной теории в сочетании с практикой, предоставлявшейся заграничными командировками на места военных действий, позволили М. И. Драгомирову сформулировать мысль, по существу, являвшуюся развитием суворовского принципа. Драгомиров писал в материалах к «Учебнику тактики»: «Войска должны быть обучаемы в мирное время только тому, что им придется делать на войне».

Возможность осуществить на деле этот принцип М. И. Драгомирову предоставилась в 1873 году, когда он уже в чине генерал-майора становится командиром 14-й пехотной дивизии. Полки дивизии участвовали в сражениях Отечественной войны 1812 года, в том числе в Бородинской битве, в заграничных походах 1813—1814 годов. Во время Крымской войны, входя в состав гарнизона Севастополя, дивизия сражалась до последнего дня Севастопольской обороны. За героическую одиннадцатимесячную защиту Севастополя, каждый месяц которой приравнивался к году военной службы, все пехотные полки дивизии: 53-й Волынский, 54-й Минский, 55-й Подольский и 56-й Житомирский — имели почетнейшую в России коллективную боевую награду — Георгиевские знамена с надписью «За Севастополь».

С первого дня командования этой дивизией, имевшей славные боевые традиции, М. И. Драгомиров старался

развивать в личном составе стремление к овладению воинским мастерством, причем в сжатые сроки. Введение в начале 1874 года всеобщей воинской повинности, сократившей время действительной солдатской службы, диктовало поиски новых методов обучения личного состава. Драгомиров неоднократно указывал, что обязанности офицера состоят не в том, чтобы приказывать, а в том, чтобы воспитывать и обучать. При этом следовало видеть главную задачу обучения: «Цель занятий с солдатом — подготовить его для боя; бой прежде всего требует от человека способности пожертвовать собою, потом умения действовать так, чтобы эта жертва была по возможности полезна своим, губительна врагу». Высоко оценивал Драгомиров в процессе обучения роль личного примера. Не случайно в лагерях во время учебных стрельб Михаил Иванович становился на виду у всей дивизии рядом с мишенями и приказывал лучшим из стрелков обстреливать их.

Основные мысли, составляющие систему воспитания войск Драгомирова, в популярной форме изложены были в написанной им «Памятной книжке чинов 14-й пехотной дивизии». Применение единых методов воспитания и обучения войск привело к тому, что весь личный состав твердо усвоил новые тактические принципы, каждый солдат и офицер хорошо знал свое место и задачу в боевых условиях.

А военная угроза приближалась. В 1875 году в Герцеговине и Боснии поднялись восстания местного населения против турецкого владычества. В апреле 1876 года вспыхнуло восстание в Болгарии, жестоко подавленное турками. Многие болгары, жившие в России, при известии об Апрельском восстании поспешили на родину, чтобы принять участие в сражениях с турками. Так, во главе восставших в Пловдивском округе, центре восстания, встал П. Волов, обучавшийся в гимназии в Николаеве. В Тырновском округе самым крупным отрядом командовал бывший офицер русской армии болгарин П. Пармаков, героически погибший в бою с турками. Во Врачанском округе, где произошло самое знаменитое событие Апрельского восстания 1876 года — переправа отряда Х. Ботева из Румынии в Болгарию на пароходе «Радецкий», помощником Х. Ботева был также бывший офицер русской армии болгарин Н. Войновский. В болгарское село Батак турки долго не решались войти, так

как появились слухи, что среди восставших в этом селе есть «московцы», которых турецкие солдаты боялись. Русских не оказалось, и село Батак было сожжено, а из семи тысяч его жителей пять тысяч были убиты.

Сербия одновременно с Черногорией летом 1876 года объявила войну Турции. Но воевать с многочисленным противником, имеющим большой опыт, немногочисленной, плохо вооруженной и практически необученной сербской армии было чрезвычайно трудно. Большие надежды поэтому возлагались на помощь братьев-славян, главным образом русских.

События на Балканах нашли широкий отклик в России. По всей стране стали возникать комитеты помощи славянам, борющимся с турками. В деятельности одного из таких комитетов, организовавшегося в Одессе, активное участие принял выдающийся русский революционер-народник А. И. Желябов. Многие народники в числе первых отправились добровольцами на Балканы, чтобы с оружием в руках принять участие в боях. Среди них были С. М. Степняк-Кравчинский, Д. А. Клеменц, П. И. Сажин и другие. «Не будь мы в заточении, — писал арестованный весной 1875 года революционер Николай Александрович Морозов, — не менее половины из нас оказалось бы в их рядах».

В 1876 году несколько тысяч солдат и офицеров русской армии, которых было разрешено официально отпустить из частей временно «в отпуск», надели сербские военные мундиры. Одновременно на Балканы поехали врачи и медсестры. Так, русским санитарным отрядом в Черногории руководил знаменитый хирург Н. В. Склифосовский, в Сербии — не менее знаменитый С. П. Боткин.

В Сербию выехал в качестве военного корреспондента писатель Г. И. Успенский, художники В. Д. Polenov, К. Е. Маковский. Но основную массу русских добровольцев составляли профессиональные военные — около пяти тысяч человек, в том числе около тысячи офицеров. О русских офицерах-волонтерах дал характерный отзыв один турецкий полковник, встретившийся с ними в бою: «Таких воинов я не видывал, они всегда впереди своих солдат, с обнаженной шашкой, нередко с непокрытой головой, бросаются в свалку, нанося жестокие удары направо и налево. Один восторженный вид их должен водушевить солдат. О, если бы у нас были такие офицеры!»

Среди добровольцев был и русский солдат Василий Николаевич Кочетков, имя которого было достаточно известно в ту пору. Родившийся в 1785 году, он участвовал в Отечественной войне 1812 года, сражался при Бородине, Лейпциге, вошел в 1814 году в Париж. Воевал в русско-турецкую войну 1828—1829 годов, принимал участие в военных действиях в Польше и на Кавказе, где был трижды ранен. Во время Крымской войны снова ранен в Севастополе, на знаменитом Корниловском бастионе. После выздоровления служил в Средней Азии, участвовал в Хивинском походе. В 1877 году, сражаясь на Шипке, снова был ранен, лишился ноги и был отправлен в бессрочный отпуск. Участвуя в 10 войнах и кампаниях, В. Н. Кочетков был шесть раз ранен и заслужил 32 знака отличия, в том числе три Георгиевских креста. Умер он в 1892 году в возрасте 107 лет.

Все добровольцы пробирались на Балканы через Одессу и Кишинев, те места, где была расквартирована дивизия М. И. Драгомира. Из 14-й дивизии также многие отправились добровольно в Сербию, получив временную отставку или отпуск. Но 8 сентября 1876 года командующий войсками Одесского военного округа письмом на имя Михаила Ивановича предложил последнему «удерживать офицеров от выхода в отставку, давая ход только прошениям болгар и сербов; офицерам же русского происхождения, желающим идти на войну Сербии с Турцией, объяснить, что наша армия нуждается в их службе и что в ней самой может оказаться недостаток в офицерах»*. Надвигались важные, решающие события.

Еще раньше, 3 сентября, начальник штаба округа приказал приостановить увольнения в запас нижних чинов призыва 1872 года, пятилетний срок службы которых истекал в начале 1877 года, «до особого распоряжения». Этого распоряжения не последовало до окончания русско-турецкой войны 1878 года.

Сразу по получении приказа дивизия М. И. Драгомира стала готовиться к выступлению в поход. Последовали распоряжения по медицинской, конной, обозной части, по пополнению оружием, его пристрелке и обучению

* Здесь и далее описание военных действий дается по материалам Центрального государственного военного исторического архива, ф. 2344.

новобранцев. Особое внимание уделялось одежде, в том числе и зимней. Если новобранец являлся по призыву в своем полушубке, годном к употреблению, он получал за него три рубля. Причем платить ему эти деньги вменялось в обязанность не на сборном пункте, а уже в части самому командиру. За качество полушубка, а вместе с тем и дальнейшую судьбу молодого солдата отвечал сам командир — ведь у него должен был служить новобранец.

Вся осень и зима прошли в приготовлениях к походу. При подготовке не была упущена ни одна мелочь — последовали распоряжения завести ручные швейные машины, иметь по шесть запасных подков с гвоздями на лошадь, по одному точилу на роту для отточки холодного оружия. Характерно такое распоряжение М. И. Драгомира от 27 февраля 1877 года: «Еще раз напоминаю о второй паре сапогов. Недостаток их, даже у небольшого числа в роте, буду принимать за признак крайнего небрежения со стороны ротного командира относительно людей, его попечению вверенных».

Война с Турцией была предрешена. 4 апреля в Бухаресте были подписаны две русско-румынские конвенции, по которым, рассматривая русскую армию как дружественную, Румыния разрешала ей свободный проход по своей территории в Турцию. В свою очередь, Россия обязывалась уважать политические права Румынского государства и возмещать все расходы, связанные с пребыванием в Румынии ее армии.

12 апреля был подписан манифест об объявлении Россией войны Турции. В тот же день был объявлен приказ главнокомандующего действующей армией, в котором, в частности, говорилось: «Я уверен, что каждый, от генерала до рядового, исполнит свой долг и не посрамит имени русского. Да будет оно и ныне так же грозно, как и в былые годы. Да не остановят нас ни преграды, ни труды и лишения, ни стойкость врага. Мирные же жители, к какой бы вере и к какому народу ни принадлежали, равно как и их добро, да будут для нас неприкосновенны. Ничто не должно быть взято безвозмездно; никто не должен допустить себе произвола.

В этом отношении я требую от всех и каждого самого строгого порядка и дисциплины; в них наша сила, залог успеха, честь нашего имени.

Напоминаю войскам, что по переходе границы нашей

мы вступаем в издревле дружественную нам Румынию, за освобождение которой пролито немало русской крови. Я уверен, что там мы встретим то же гостеприимство, как и предки и отцы наши.

Я требую, чтобы за все то чины платили им, братьям и друзьям нашим, полною дружбою, охраною их порядков и безответною помощью против турок, а когда потребуется, то и защищали их дома так же, как свои собственные...»

А защищать уже было что. Турция, обеспокоенная развитием событий на Балканах, начала активные военные действия против Румынии. Турецкая армия совершала систематические налеты на румынскую территорию, турецкие военные корабли захватывали суда в румынских водах. Турецкая артиллерия начала обстрелы пограничных румынских крепостей и других объектов на территории Румынии.

В этих условиях дивизия Драгомирова получила приказ о выступлении и 14 апреля покинула Кишинев. Перейдя русско-румынскую границу и переправившись через Прут, уже 26 апреля, несмотря на неблагоприятные погодные условия (шли продолжительные дожди, и реки разлились), вся 14-я дивизия была на правом, румынском берегу Прута.

В конце мая все части дивизии были сосредоточены на левом берегу Дуная и ожидали только команды, чтобы форсировать и эту водную преграду. Солдатам, офицерам и их командиру генералу М. И. Драгомирову предстояло на практике показать, как они подготовлены к непосредственным военным действиям.

Нельзя сказать, чтобы в XIX веке русской армии не хватало боевой практики. Но война, начавшаяся в 1877 году с турками, должна была показать, насколько русская армия изменилась после военных реформ 60-х — начала 70-х годов, сколь высоки в ней боевой дух и воинская выучка. Первыми продемонстрировать это должны были войска Драгомирова, так как уже 30 мая он был назначен командовать Передовым отрядом, основу которого составила 14-я пехотная дивизия. В отряд входили также стрелковая бригада, пластуны, артиллерийские, казачьи, саперные, понтонные части и моряки гвардейского экипажа. Начиная с 1 июня во всех частях, кроме обычных

стрелковых занятий, началось обучение посадке в понтоны. Чтобы не раскрывать раньше времени планы русского командования, тренировки проводились не на Дунае, а в стороне от реки. В укромных местах, невидимых с вражеского берега, вырыли ямы, формой похожие на понтоны, и в них вводили и выводили из них солдат и офицеров, отрабатывая порядок предстоящего форсирования.

4 июня Драгомиров отдал по дивизии и прикомандированным к ней частям приказ, в котором изложил кратко правила, которых должны придерживаться воины при штурме. В них не только конкретные рекомендации, касающиеся этой операции, но и ряд общих положений выработанной Драгомировым боевой тактики. Он приказывал начальникам всех степеней назначить себе замену на случай убыли и подбадривать своих подчиненных во все время операции. Вынос раненых с поля боя возлагался исключительно на санитаров, и никто, кроме них, ни для помощи раненым, ни для чего-либо другого оставлять рядов не должен был. «Предварить всех, что в случае дела поддержка будет, но смены никогда. Кто попадет в боевую линию, останется в ней, пока дело сделано не будет, потому патроны беречь, хорошему солдату 30 патронов достанет на самое горячее дело», — сказано в одном из пунктов приказа. Особое внимание обращалось на связь между частями и командованием — этому вопросу посвящалась почти половина распоряжений.

В заключение говорилось:

«Никогда не забывать перед делом, что собираемся делать. Последний солдат должен знать, куда и зачем он идет. Тогда, если начальник и будет убит, смысл дела не потеряется. Если начальник будет убит, людям не только не теряться, но еще с большим ожесточением лезть вперед и бить врага.

Помнить, что сигналы наши могут быть подаваемы и неприятелем, а поэтому начальникам рекомендуется воздерживаться от их употребления, а работать преимущественно словесными приказами. Сверх того, от боя, отступления и т. н. вовсе и никогда не подавать и предупредить людей, что если такой сигнал услышат, то это есть только обман со стороны неприятеля.

У нас ни фланга, ни тыла нет и быть не должно, всегда фронт там, откуда неприятель. Делай так, как дома

учился, стреляй метко, штыком коли крепко, иди всегда вперед, и бог наградит тебя победой».

11 июня после рекогносцировки было окончательно принято решение форсировать Дунай в районе румынского города Зимница и болгарского Систова. В этом месте на румынской стороне от Дуная ответвляется рукав, а в середине реки располагался узкий остров Адда, под прикрытием которого можно было скрытно посадить на понтоны русский десант. Обойдя остров с востока, понтоны с войсками должны были высадиться на болгарском берегу Дуная.

Окончательно выбрать место предстоящей переправы главных сил русскому командованию помогли разведчики-болгары Энчо Георгиев, Живко Нешов, Христо Бричков и другие, которые в июне тайно переправились через Дунай и собрали сведения о турецких силах. Эта информация была переслана на румынскую сторону Дуная при помощи почтовых голубей еще одним разведчиком, работавшим в Систове пекарем, по фамилии Величко. И сам Величко, и его помощник — разведчик Христо Брычков позднее были лодчанами русских понтонов при переправе в ночь с 14 на 15 июня. Нужно сказать, что военной разведке в Болгарии как месте будущих военных действий с Турцией русское командование уделяло большое внимание задолго до начала войны. Неоценимую помощь ему оказывали болгарские патриоты. Еще с середины 60-х годов русским офицерам-разведчикам, посылавшимся в Болгарию, доставляли сведения о турецкой армии многие добровольные помощники-болгары. Во всех крупных болгарских городах по течению Дуная имелись агенты русской армии из числа местных жителей. Позднее турецкий историк Иззет Фуад-паша, сам участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, признавался: «Против нас были не только страшная армия русского царя, но и болгары, которые — и с этим каждый легко согласится — в значительной мере содействовали наступлению русских... Сами же русские при содействии болгар, которые на лодках переправлялись через Дунай, постоянно имели о нас сведения».

Приготовления к форсированию велись с величайшей секретностью. Войска к Зимнице двигались лишь ночью. Запрещено было в пути петь песни, трубить, барабанить, разводить огни. 14 июня все части Передового отряда сосредоточились в Зимнице. Здесь также соблюдались ме-

ры предосторожности: запрещалось выходить к Дунаю большими группами, водить на водопой сразу всех лошадей, артиллерия и понтонные парки располагались на улицах, параллельных Дунаю, чтобы их не заметили с противоположного берега. Все распоряжения, касающиеся непосредственно предстоящей операции, отдавались только устно. Благодаря всем этим мерам предосторожности турки так и не обнаружили приготовлений русских к штурму в районе Зимницы. Главнокомандующий турецкой армией Абдул Керим-паша, старейший боевой генерал Турции, имевший высшее воинское звание сердар-экрема (генералиссимуса), а до этого 25 лет бывший муширом (генерал-фельдмаршалом), заявил во время пребывания в Систове: «Скорее у меня вырастут волосы на ладони, чем русские здесь переправятся через Дунай».

На медицинское обеспечение было обращено особое внимание. Еще до выступления в поход в каждой роте имелось по несколько хорошо обученных санитаров. Сейчас же в дополнение к имевшимся у фельдшеров и санитаров перевязочным средствам бинты, медицинские ковылки и травы были розданы всем офицерам, унтер-офицерам, ефрейторам и части рядовых, чтобы в бою можно было помочь друг другу.

14 июня в пять часов утра М. И. Драгомиров вызвал к себе на квартиру офицеров Волынского полка во главе с их командиром полковником Родионовым и сообщил, что честь первым пересечь Дунай выпала на долю их полка и что переправа назначена на ближайшую ночь. Прямо из своей квартиры, выходящей окнами к Дунаю, Михаил Иванович показал офицерам-волынцам место на противоположном берегу реки, куда они должны были пристать, — устье ручья Текир-дере, где находилась удобная для подхода понтонов лоцина.

Позднее, около полудня, Драгомиров собрал остальных офицеров своего отряда, еще раз объяснил им порядок форсирования и сообщил время начала операции.

В состав отряда М. И. Драгомирова, кроме 14-й дивизии, вошли 4-я стрелковая бригада, гвардейская рота почетного конвоя, две сотни пластунов, 23-й Донской казачий полк, полторы сотни уральских казаков, две горные артиллерийские батареи, четыре понтонных батальона. Вокруг Зимницы были выставлены разьезды Лубенского гусарского полка, а фланги переправлявшихся частей прикрывал Брянский пехотный полк. Огневую поддержку

штурмовой группе должны были также оказать с румынского берега несколько русских артиллерийских батарей.

Все войска десантного отряда были распределены на семь рейсов, в каждый из которых входило 12 рот, 60 казаков с лошадьми, часть артиллерии и медицинские чины.

Полки 14-й дивизии назначались в рейсы по порядку номеров, начиная с Волынского, имевшего 53-й номер, и кончая 56-м Житомирским. С первым рейсом должен был отправиться и командир 1-й бригады драгомировской дивизии генерал-майор Иолшин. Полкам его бригады, переправлявшимся первыми — Волынскому и Минскому, было велено оставить ранцы на этом берегу, взять в карманы патроны, по два фунта говядины и бутылки с водой. С понтонов ни при каких обстоятельствах не стрелять и на берегу по возможности сначала действовать штыком, чтобы как можно дольше не обнаруживать себя. Сам Драгомиров должен был переправляться по плану с 3-м рейсом.

Одновременно от румынского берега должен был отчалить только первый рейс, остальные по мере возвращения понтонов, но не менее как целыми ротами. Три понтонных батальона должны были перевозить пехоту, один — построить паромы и на них переправлять артиллерию, казаков и офицерских лошадей, которых требовалось также немало. Например, для Драгомирова намечалось перевезти четыре лошади, для бригадных командиров — по три, для полковых — по две. Были приготовлены также лодки, которые не должны были приставать к противоположному берегу, а держаться ближе к своему и подавать помощь тонущим.

Наконец все приготовления были закончены, все необходимые распоряжения отданы, и оставалось только ждать. Накануне в одном из писем, посланных из Зимницы, Михаил Иванович писал: «Пишу накануне великого для меня дня, где окажется, что стоит моя система воспитания и обучения солдата, и стоим ли мы оба, то есть я и моя система, чего-нибудь».

Около 9 часов вечера понтонные батальоны спустились к Дунаю. Одновременно Брянский пехотный полк и три артиллерийские батареи двинулись для прикрытия флангов штурмовой группы по румынскому берегу.

В 11 часов начали собираться части, назначенные в 1-й рейс. К полуночи все они уже были на берегу и распределены по понтонам и паромам. В состав рейса вошло

около 2300 человек, восемь горных орудий и около 60 лошадей. По сведениям русского командования, у турок в этом месте было более семи тысяч человек с артиллерией, в том числе в Систове около двух с половиной тысяч человек и более пяти тысяч в военном лагере у деревни Вардим, расположенной в нескольких верстах от Систова, в противоположной стороне от ручья Текир-дере.

По предварительному расчету, на переправу через Дунай и возвращение понтону нужно было два часа. Поэтому остальные части должны были собираться позднее: Минский полк — к часу ночи, Подольский — к 3 часам утра, Житомирский — к 5-му рейсу в 7 часов утра.

На болгарском берегу было тихо — приготовления русских к форсированию не были обнаружены. В полночь началась посадка войск в понтоны, и ровно в час 1-й рейс отчалил от берега. Пока понтоны шли рукавом Дуная, прикрытые островом Адда, все шло благополучно. Но лишь только атакующие вышли из-за острова в основное русло реки, сильное течение и ветер стали сносить понтоны и паромы. К тому же набежавшие тучи совсем закрыли луну, и противоположный берег с Текир-дере стал не виден. В этих условиях главной задачей стало быстрее переплыть Дунай, который имел здесь ширину по прямой в две версты, и пристать к противоположному берегу. Темная ночь мешала ориентироваться десанту, но она же и дала ему возможность незаметно подойти к болгарскому берегу. Турецкие пикеты заметили русских, когда большинство из понтонов было в 200—300 шагах от них. Часовые открыли беспорядочный огонь, но остановить штурмующих было уже невозможно. К туркам стало подходить подкрепление из Систова и из лагеря под Вардимом, подплывавшие понтоны попадали под сильный огонь. И все-таки большинство из них благополучно пристало к берегу, лишь несколько понтонов и один паром с двумя горными пушками пошли ко дну. Остальные суда десанта приставали в разных местах к берегу, некоторые на версту выше или ниже Текир-дере. Взираясь в темноте по кручам, расстреливаемые в упор, солдаты-волынцы штыками отгоняли турок от берега, чтобы дать возможность подойти лодкам товарищей. Берег был высок, и приходилось помогать себе лопатами, веревками, прикладами, подсаживая друг друга. Помня о приказе собраться у Текир-дере, отдельные группы русских справа и слева пробивались к своим более счастливым това-

рищам, высадившимся прямо в устье ручья. Горные орудия на руках вкатывали на крутой берег и сразу же начинали стрельбу, так как к туркам стали подходить большие подкрепления.

В два часа вернулся первый понтон, за ним стали возвращаться и другие, 2-й рейс оказался не легче первого. Стало светать, и турки, расположившись в несколько ярусов на берегу, там, где их не отогнали волынцы, продолжали обстреливать подходящие понтоны. К тому же открыли огонь дальнбойные турецкие орудия из Систова и Вардимского лагеря. В этих условиях Драгомиров решил для скорости переправлять только пехоту, чтобы укрепиться на плацдарме в устье Текир-дере.

Между тем бой продолжался. Некоторые понтоны приставали к берегу уже без офицеров, убитых или раненных во время переправы, и командование брали на себя унтер-офицеры, а иногда и рядовые. Быстро сориентировавшись в обстановке, отдельные группы пробивались на соединение с более значительными подразделениями, не забывая о главной задаче — отогнать от берега турок и одновременно создать плацдарм в Текир-дере для основных сил десанта.

Поручик Маторный, едва успевший высадиться сам с горстью солдат, увидел, что справа от него большое число турок расстреливает в упор понтоны. Не думая о том, что турецких солдат намного больше, чем русских, Маторный повел своих солдат в атаку. Несмотря на сильный огонь, который открыли по маленькому отряду Маторного враги (и тем отвлеклись от расстрела высаживавшихся), русские храбрецы без выстрелов со штыками наперевес налетели на них. Турецкие солдаты, не приняв штыкового боя, бросились спасаться.

Из второго рейса также несколько понтонов было потоплено вместе с людьми, а часть вынуждена вернуться к румынскому берегу. Дело, так удачно начавшееся, грозило сорваться. М. И. Драгомиров со штабом решил срочно переправляться сам, чтобы на месте руководить боем. Незадолго до начала боя к Драгомирову обратился его друг, знаменитый уже к тому времени генерал М. Д. Скобелев, с просьбой разрешить принять участие в форсировании в качестве добровольца. Драгомиров разрешил и впоследствии об этом не пожалел. Переправлялись они вместе. Именно понтон с Драгомировым попал бы под губительный огонь турок, если бы не поручик Маторный.

Благополучно переправившись через Дунай, Драгомиров сразу направился на левый фланг русского десанта, туда, где в этот момент решалась судьба всей операции. Густые волны турок из Вардимского лагеря грозили смять редкие цепочки русских стрелков и сбросить десант в Дунай. Михаил Иванович, находясь в передовой цепи, четко отдавал приказания. Левый фланг, собравшись с силами, получив подкрепления и поддержанный удачной стрельбой артиллерии с румынского берега, снова перешел в наступление. Турки были отброшены еще за одну гряду высот.

— Поздравляю, дело идет отлично, — услышал Михаил Иванович радостный голос не отходившего от него ни на шаг Скобелева.

Богатый боевой опыт «белого генерала» (в бою он всегда был в белом мундире и на белом коне) позволил ему быстро и точно оценить обстановку.

Правый фланг продвигался в направлении Систова, правда, здесь напор турок был не так силен. Необходимо было овладеть господствовавшими над городом Систовскими высотами. Без этого нельзя было надеяться на захват самого Систова, что также входило в задачу Передового отряда.

Но сначала следовало окончательно закрепить успех на левом фланге. Утомленные боем, который продолжался уже шесть часов, русские воины под непосредственным командованием самого Драгомирова, воодушевленные присутствием Скобелева, новым героическим усилием сбили турок с третьего ряда высот в направлении Вардима.

Фронт растянулся на три версты. Создалась угроза прорыва русских линий в центре. Необходимо было приостановить наступление и перегруппироваться, дожидаясь подкреплений. Но все ординарцы Драгомирова были в расходе и послать в цепи с приказанием было некого. Неожиданно для Драгомирова оповестить сражающихся с прекращением наступления вызвался Скобелев. Неторопливой изящной походкой, в неизменном своем белом кителе, не наклоняя даже головы под пулями и снарядами, он обошел все цепи, а затем вернулся назад и доложил о выполнении приказа.

Шел девятый час утра. Первая задача десанта была выполнена: захвачен плацдарм для переправы главных сил. Вскоре сюда подошел пароход «Аннета» с двумя бар-

жами на буксире. Переправа войск через Дунай пошла быстрее, так как за два рейса «Аннета» брала на борт целый полк. Теперь следовало подумать о захвате Систовских высот. К этому времени на болгарском берегу была уже вся 14-я дивизия. Ее 1-я бригада (Волынский и Минский полки) сдерживала турок на левом фланге, не давая противнику смять десант ударом из Вардимского лагеря. 2-я бригада (Подольский и Житомирский полки) сосредоточилась на правом фланге в направлении города Систова. К половине одиннадцатого с помощью парохода «Аннета» сюда же были перевезены батальоны 4-й стрелковой бригады генерал-майора Цвецинского, которые должны были поддержать атаку драгомировцев.

Около полудня цепи русских начали охват Систовских высот, протянувшихся вдоль берега Дуная. Со стороны реки наступали стрелки Цвецинского, а с противоположной — 1-я бригада под командованием генерал-майора Петрушевского, руководившего всем правым флангом русских. Действовать приходилось в сложных условиях, преодолевая гущу садов и виноградников на склонах высот, выбивая противника бужально из-под каждого куста. Наступающие несли тяжелые потери. Только в Подольском полку было убито и ранено более 80 человек, и среди них командир полка. Одним из самых ярких моментов этого этапа сражения была лихая атака 12-й роты Житомирского полка, которую, с разрешения Петрушевского, вел сам Скобелев. Когда рота без единого выстрела, с барабанным боем пошла в штыки, турки не выдержали и бежали на несколько верст от берега.

К двум часам дня Систовские высоты были заняты полками 2-й бригады, а в три часа дня бригада вошла в город Систов, покинутый противником и турецким населением. Сражение было закончено, и М. И. Драгомиров, отдав последние распоряжения, тоже въехал в Систов, восторженно встреченный жителями-болгарами.

Форсирование Дуная при Зимнице — Систове впоследствии долго анализировалось не только русскими, но и многими западными военными теоретиками и признавалось одной из самых удачных операций русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Для М. И. Драгомирова же эта операция была ценна и памятна тем, что она подтвердила на практике методы воспитания и обучения войск, введенные в 14-й дивизии, позволявшие решать с солдатами и офицерами самые сложные задачи. Переправа через Ду-

най оказалась суровой проверкой для всей дивизии, от командира до последнего солдата, и все они с честью выдержали этот экзамен. Мелкие подразделения, образовавшиеся из солдат разных частей на болгарском берегу в ходе переправы, руководимые часто случайными начальниками, устояли под напором противника, не имея надежды на скорую поддержку, помогая при этом соседям. Все командиры, до начальника дивизии включительно, находились в цепях сражающихся, так как боем, исход которого решала иногда минута, руководить с противоположного берега было невозможно.

Большую роль в бою сыграла прекрасно налаженная санитарная служба. Было оборудовано три пункта медицинской помощи — один прямо на болгарском берегу, где работали под пулями врачи Волынского полка, второй у места посадки на понтоны на румынской стороне, где также рвались снаряды с того берега, и третий в самой Зимнице. Вскоре после этого боя через Дунай переехал великий русский врач, основоположник военно-полевой хирургии Н. И. Пирогов, которому в то время было уже 67 лет. Прибыв в действующую армию, Пирогов с одинаковым вниманием относился и к здоровью главнокомандующего, и к самочувствию простых солдат, русских, болгар и румын. «Когда-то, когда я лечил Гарибальди, — вспоминал впоследствии Николай Иванович, — меня обвиняли в том, что я ищущу славы. Верьте, операции никому не известным болгарам я делал с не меньшим желанием и старанием, чем Гарибальди». А среди чинов 14-й дивизии Драгомирова находились и военные болгары. Были они и в Волынском полку, первым ступившем на болгарскую землю. Среди них прапорщик Стоянов, награжденный за отличие в десанте русским орденом Станислава III степени с мечами и бантом, его друг капитан Петрович, героически погибший в сражении на систовском берегу, и другие болгары-патриоты.

Далеко не всем довелось уцелеть в жестоком сражении. В четырех полках 14-й дивизии было убито восемь офицеров и 225 нижних чинов. Ранено 13 офицеров и 378 нижних чинов. Пропало без вести 15 солдат. Всего же в штурмовом отряде выбыло из строя 748 человек. Эти герои своей кровью и жизнью проложили дорогу в Болгарию основным силам армии. Части, переправлявшиеся через Дунай после 14-й дивизии, не потеряли ни одного человека.

За руководство операцией у Зимницы — Систова генерал-майор М. И. Драгомиров был награжден почетным боевым знаком отличия — орденом Георгия III степени.

Все солдаты и унтер-офицеры получили по 2 рубля. Кроме того, в дивизию были присланы Георгиевские солдатские кресты — в Волянский и Минский полки по пять крестов на роту, в Подольский полк — по четыре креста и в Житомирский — по три креста на роту. В санитарную роту было выдано шесть крестов, гребцам понтонов — 12 крестов. Эти награды по старой русской боевой традиции были распределены самими солдатами между достойными.

Была еще одна не совсем обычная награда: Псковская городская дума установила пожизненную пенсию по 120 рублей в год самому храброму из солдат — участнику переправы. Главнокомандующий передал эту награду в 14-ю дивизию, где она была присуждена семье унтер-офицера 2-й стрелковой роты Минского полка, уроженца Полтавской губернии Тихона Меренкова, героически погибшего в бою. Командир 2-й роты поручик Маторный писал о Меренкове в рапорте: «Унтер-офицер Тихон Меренков с самого начала до его ранения оказывал на левом фланге моей цепи замечательное хладнокровие, мужество и неустрашимость; всегда был впереди и своим хладнокровием удивлял своих подчиненных и товарищей. Остался спокоен и в то время, когда получил рану в живот навывлет». При перевозке через Дунай в госпиталь Т. Меренков умер.

При Зимнице — Систове фактически родился русский военный фоторепортаж, систематическая съемка непосредственно мест сражений. Конечно, мокроколлоидный способ фотографирования, требовавший большой выдержки, не позволял фиксировать движение, поэтому сюжеты первых военных репортажей статичны — в объектив попадали группы и отдельные военные на привалах, в походе, перед боем и после него. Тем не менее фотографии донесли до нас непосредственно живой облик русских героев, обстановку, в которой они жили на войне, виды полей сражений, лагерей и т. д. Один из тех, кому мы обязаны знанием всего этого, фотограф из Харькова А. Д. Иванов, на свои средства соорудил походную фотолaborаторию и отправился с нею на Балканский фронт. Пройдя с армией до Адрианополя, он создал уникальную серию снимков, состоящую из 170 фотографий. Другой

фотокорреспондент, Н. Дурново, позволяет нам представить при помощи снимков, как выглядели место посадки Волянского полка на понтоны у Зимницы, станция походного телеграфа (кстати, впервые в русской армии использовавшегося в боевой обстановке именно при переправе 15 июня), пароход «Аннета», так много и полезно потрудившийся во время форсирования Дуная.

В армии были также и корреспонденты и художники. Среди военных корреспондентов того времени по праву первое место занимает Василий Иванович Немирович-Данченко, брат знаменитого театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Василий Иванович, ступив на болгарскую землю в Систове, прошел затем с армией и, в частности, с генералом М. Д. Скобелевым Плевну и Шишку, Шейново и Зеленые горы — места кровопролитнейших сражений, которые описал в своей двухтомной книге очерков «Год войны». За отличия в боевой обстановке В. И. Немирович-Данченко был награжден Георгиевским солдатским крестом и с гордостью его носил.

Переправился через Дунай в районе Зимницы — Систова и знаменитый художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, состоявший при штурмовом отряде.

Место, где в июньскую ночь 1877 года переправлялись через Дунай солдаты и офицеры М. И. Драгомирова, стало одинаково священным и для русских и для болгар. Выдающийся болгарский писатель Иван Вазов, вернувшийся на родину из эмиграции с русской армией, писал: «В первые же дни своего пребывания в Систове я посетил уголок дунайского берега, где переправлялись на лодках под градом ядер и гранат русские войска с Драгомировым и Скобелевым во главе. Все Систово рассказывало чудеса о геройской неустрашимости и самопожертвовании русских воинов на волнах Дуная и на берегах его».

Сразу после перехода русской армии через Дунай в Систове и его окрестностях началось формирование новых дружин болгар-ополченцев. Этой работой занимался офицер русской армии болгарин Райчо Николов. Когда-то, еще в годы Крымской войны, Райчо тринадцатилетним мальчиком переплыл Дунай, чтобы сообщить русским войскам в Румынии важные сведения о турецкой армии. Юный герой был награжден русским командованием. Впоследствии Р. Николов окончил офицерское училище

в России и во время войны 1877—1878 годов перешел Дунай в чине капитана русской армии.

Румынское правительство учредило особую награду — крест «За переход через Дунай» в память форсирования реки и начала активных военных действий, в которых принимала участие и армия независимой Румынии. Этого знака отличия наряду с румынами были удостоены десятки тысяч русских солдат, офицеров и генералов — участников переправы 15 июня, боев при Плевне, Шипке, Шейнове и других сражений этой освободительной войны.

14-я дивизия М. И. Драгомирова, так славно показавшая себя в деле 14—15 июня, получила возможность отдохнуть, пока главные силы русской армии перейдут Дунай: 2-я бригада была расположена в Систове, 1-я стояла лагерем в шести верстах от города. Радужное население старалось отблагодарить своих освободителей. Михаил Иванович, узнав, что некоторые из военнослужащих не платят за съеденное и выпитое, хотя бы и предложенное подвиги, несмотря на присущую ему большую мягкость и человечность, издал по дивизии приказ, удивляющий своей суровостью: «Предупреждаю, что вперед кто попадется в том, что возьмет что-нибудь даром, будет расстрелян на месте... Умоляю всех беречь нашу добрую славу». Здесь следует отметить, что ни до издания этого приказа, ни тем более после от местных жителей не поступило ни единой жалобы на военнослужащих 14-й дивизии.

27 июня после короткого отдыха дивизия Драгомирова выступила в направлении Тырнова, древней столицы Болгарии, за два дня до этого взятого лихим налетом русской кавалерии под командованием генерала И. В. Гурко. По пути дивизии предписывалось устанавливать спокойствие в населенных пунктах, разгонять шайки башибузуков, еще зверствовавших в окрестностях. 6 июля части дивизии прибыли в Тырново, где стали нести караульную службу.

Между тем события быстро развивались, и драгомировцам недолго пришлось наслаждаться относительным отдыхом. 9 августа была получена телеграмма о штурмах турок и тяжелом положении отряда на Шипкинском перевале. 2-й бригаде в составе Житомирского и Подольского полков было приказано выступить 10 августа в 4 часа утра в направлении Габрово — Шипка. В. И. Не-

мирович-Данченко, встретивший Житомирский полк на марше, так описывает его в своем «Дневнике военного корреспондента»: «Целый день жара убийственная, редкая даже для этого знойного климата, и в эту-то именно жару полк поднялся в 4 часа утра и до 5 вечера, когда мы его увидели, сделал пятьдесят шесть верст! Это с шинелями, сухарями и ранцами за плечами. Настоящий суворовский переход с тем различием, что у Суворова люди шли без всякой ноши...

«Драгомиров знает, что лучше здесь положить его солдат, чем там потерять несколько полков, поверьте, он спешит недаром!» — объясняли солдаты военному корреспонденту. Немирович-Данченко пишет о трогательной заботе болгарок о солдатах, пораженных солнечным ударом: «Около каждого солдатика — болгарки. Одна обливает ему голову водой, другая поит его, третья держит над ним какую-то тряпку от солнца. Отлежится, встанет, бедняга, и опять побредет вперед».

Несмотря на ужасающую жару, Подольский и Житомирский полки уже 11 августа прибыли в Габрово. В тот же день бригада выступила к Шипке. Житомирский полк был на месте к 11 часам вечера, Подольский — часом позже. Меньше чем в двое суток, несмотря на 38-градусную жару, бригада прошла по горам около 80 километров.

Помощь пришла вовремя. На Шипкинском перевале уже третий день отбивали атаки турок солдаты Орловского и Брянского полков и болгарские ополченцы. На каждого обороняющегося приходилось по 20 турецких солдат. К тому же уже 11 августа у отряда не оставалось ни одного сухаря и ни капли воды. Кончались боеприпасы. В ход шли камни, обломки ружей, комья земли. Полуокруженные, расстрелявшие почти все снаряды, русские артиллеристы уже готовились вынуть замки из орудий, когда стрелковая бригада Цвейнскового, одного из героев форсирования Дуная, а затем и драгомировцы прямо с марша бросились в штыки на турок и опрокинули их.

В. И. Немирович-Данченко, побывавший на Шипке в эти дни, оставил яркое описание событий августа 1877 года, в том числе и встречу с М. И. Драгомировым, добравшимся до Шипки раньше своих солдат: «Впереди на камне сидел Драгомиров и зорко, вдумчиво оглядывал окрестности, с особенным упорством останавливая взгляд

на крутой, поросшей лесом горе, на которую точно змеи выползали три или четыре пешеходные тропинки. Видимо, Драгомиров устал от перехода — несколько сгорбился, рука опустилась вниз, из-под белой фуражки с назащитным приветливо смотрит круглое лицо, мягким чертам его придают насмешливое выражение умные глаза, пристально оглядывающие вас».

Менее чем через два часа после этого М. И. Драгомиров, осматривавший позиции, был тяжело ранен пулей в ногу. «Рана Драгомирова в такую минуту стоила потерянного сражения», — с сожалением замечает В. И. Немирович-Данченко.

Первым вопросом Михаила Ивановича на перевязочном пункте, куда его принесли на носилках, было: «Когда я могу сесть на коня?» Оказалось, что встать можно будет не раньше чем через шесть недель. Когда Драгомирова несли на перевязочный пункт, мимо шли житомирцы.

— Драться и без меня молодцами! — напутствовал их раненый генерал.

— За вас вдвое! — послышалось из рядов.

В тот же день после ранения командира дивизии Житомирский полк отличился в бою. Во 2-м батальоне полка выбыло 12 августа более трети нижних чинов, а из начальников остался в строю лишь командир батальона и еще один офицер. В последующие дни отличились все четыре полка драгомировской дивизии (после ранения Михаила Ивановича дивизией командовал генерал-майор Петрушевский, бывший командир 2-й бригады). За трехдневное сражение 12—14 августа, в котором дивизия потеряла более 1200 солдат и 46 офицеров (один офицер из четырех и один солдат из каждых семи), снова многие были представлены к наградам. Сам М. И. Драгомиров получил чин генерал-лейтенанта.

Потом была суровая зима на Шипке, в которую дивизия не только оказала новые чудеса героизма, но и отличилась тем, что имела по сравнению с другими частями самое малое число обморозившихся. М. И. Драгомиров всегда заботился, чтобы его солдаты были тепло и удобно одеты и обуты. В то время как в большинстве других частей носились щегольские сапожки, составлявшие гордость военнослужащих до войны, 14-я дивизия носила теплые обмотки. Благодаря этому в полках драгомировцев не было ни одного замерзшего.

14-я дивизия, первоначально получившая приказ лишь временно помочь защитникам перевала, простояла на Шипке 139 дней, вплоть до пленения турецкой армии и завершения героической Шипкинской эпопеи.

Но всего этого уже не увидел М. И. Драгомиров. В течение нескольких месяцев он находился на излечении в госпитале в Кипшине. Рана была настолько серьезной, что Н. И. Пирогов не исключал одно время даже возможность ампутации ноги. Но умелое лечение и хороший уход помогли Драгомирову подняться с постели. Друзья не забывали его. «Поправляйся, — писал ему в госпиталь М. Д. Скобелев, — возвращаясь в верующую в тебя армию и в круг твоих боевых товарищей». Однако вернуться в действующую армию Михаилу Ивановичу не пришлось. Закончив лечение, в начале апреля 1877 года он был назначен начальником Академии Генерального штаба. На этом посту М. И. Драгомиров проработал более одиннадцати лет. В это время академия была уже не такой, как в николаевское время, когда, по словам самого Михаила Ивановича, считалось, что «академических офицеров нужно расквартировывать казарменно, прикомандировав к полкам Петербургского гарнизона и подчинив не академическому, а строевому начальству; обязать их нести в полках караульную и строевую службу, а лекции посещать в свободное от занятий время и по вечерам»; в то время в академии не было даже своей библиотеки, а имелся лишь очень маленький набор учебной литературы. Во второй половине XIX века военные академии (которых было пять: Академия Генерального штаба, артиллерийская, инженерная, юридическая и морская) стали выпускать офицеров, достаточно хорошо знающих теорию военного дела и одновременно получивших важные практические навыки управления войсками. Военные академии «имеют целью доставить офицерам высшее образование, соответствующее требованиям того рода службы, к которому они предназначены», — указывалось в положении о военно-учебных заведениях.

Профессор Военной академии генерал Н. Н. Обручев, направленный за границу для ознакомления с постановкой военного образования в других странах, отмечал в своем отчете, что высшие военно-учебные заведения России отнюдь ничем не хуже зарубежных. Н. Н. Обручев в молодые годы вместе с Н. Г. Чернышевским редактировал «Военный сборник», а позднее, в 1863 году, вы-

звал глубокое неудовольствие начальства тем, что отказался участвовать в «братоубийственной войне», как он назвал жестокое подавление национально-освободительного восстания в Польше. Этому Обручеву не простили никогда, несмотря на то, что он со временем добился довольно высоких чинов и должностей. Всем было известно, например, что главнокомандующий Дунайской армии великий князь Николай Николаевич «терпеть его не может и не скрывает», как писал в своем дневнике один из генералов, и все за его отказ участвовать в подавлении польского восстания 1863 года и близость в молодости к Н. Г. Чернышевскому.

Царское правительство при назначении офицеров и генералов на должности далеко не всегда руководствовалось только интересами дела, зачастую убирая в тень, а то и изгоняя из армии способных и опытных военных только из-за сомнений в их «благонадежности». Печальным примером такого рода может служить судьба генерала М. Г. Черняева. Блестяще образованный офицер, во время обороны Севастополя в Крымскую войну он сражался на Малаховом кургане и последним из защитников переехал на лодке на Северную сторону, когда повтоный мост уже был разведен. Осенью 1875 года М. Г. Черняев пытался отправиться во главе отряда на помощь восставшим герцеговинцам, но «высочайше повелено, — читаем мы в документе, — объявить отставному генерал-майору Черняеву, что его величеству не угодно, чтобы генерал Черняев уезжал в Герцеговину и содействовал инсургентам. Генерал-адъютант Потапов, 7 февраля 1876 г.». А. Л. Потапов, шеф жандармов и начальник III отделения, опять же «по высочайшему повелению», учредил секретное наблюдение за М. Г. Черняевым и его корреспонденцией.

Лишь в апреле 1877 года, дождавшись разрешения вернуться в Россию, Черняев через три дня после объявления войны Турции был в Кишиневе. Но правительство в результате происков австрийского военного агента направило генерала не на хорошо ему знакомый Балканский театр, а на Кавказ. Причем и здесь Черняев попал не в действующую армию, а «смотрителем госпиталей».

М. И. Драгомиров также был одно время на подозрении у начальства. Еще в 1868 году рассматривался вопрос, «не следует ли его изъять из службы, так как он

своими статьями подрывает дисциплину и развращает молодежь». «Подрыв дисциплины» и «развращение молодежи», по мнению начальства, выразились главным образом в пропаганде передовых для своего времени военно-теоретических мыслей и в требованиях не забывать основных заветов А. В. Суворова.

Когда Михаила Ивановича в 1889 году назначили командующим войсками Киевского военного округа, первым его приказом, оставившим глубокое впечатление в армии, был следующий: «В некоторых частях дерутся. Прошу помнить, что в дисциплинарном Уставе ясно указано, какие на нижних чинах можно налагать взыскания, кроме коих, никто иных налагать не смеет. Рекомендую охотникам до ручной расправы ознакомиться с XXII книгой С. в. п. (Свода военных постановлений. — В. Д.), стр. 185, из которой они откроют, чего могут ожидать в будущем, если позволят себе впредь рядом с дисциплинарным Уставом сочинять свой собственный». В другом приказе по военному округу, предназначенном для офицеров, Драгомиров даже не приказывает, а просит: «Побольше сердца, господа, в отношениях особенно к молодому солдату, если хотите, чтобы и его сердце открылось Вам навстречу. В бою ведь на одной казенщине далеко не уедете. Кто не бережет солдата, недостойн чести им командовать». Среди прочих почетных должностей и званий М. И. Драгомирова были, например, такие: почетный казак Александровской станицы Терского казачьего войска; почетный старик Гиагинской станицы Кубанского казачьего войска; состоящий в казачьем войсковом сословии Войска Донского по станице Елизаветовской.

Кавалер высшего русского ордена Андрея Первозванного, член Государственного совета, генерал-адъютант М. И. Драгомиров был требователен до беспощадности в отношении выполнения воинских уставов и правил. Но как человек, достигший всеобщего почта и уважения благодаря исключительно своим незаурядным способностям и личному мужеству, Михаил Иванович всегда был необычайно чуток к нуждам солдат и унтер-офицеров, «винтиков» огромной военной машины, порой обнаруживая трогательное внимание к «нижним чинам» не только в военной обстановке, но и в повседневной мирной жизни вне казармы. В. А. Гиляровский в своих знаменитых очерках «Москва и москвичи» описывает такую сцену, виденную им в одной из московских кофейных, куда вход

нижним чином был воспрещен: за одним из столиков сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. В глубине зала читал журнал старик в прорезиненной накидке военного образца. Вдруг в кофейную вошел, гремя саблей, офицер-гусар с дамой. Так как все места были заняты, офицер, подойдя к юному медику, приказал ему как не имеющему офицерского звания покинуть зал. Не успели офицер и его дама занять освобождающиеся места, как из дальнего угла кофейной раздался голос: «Корнет, пожалуйста сюда». Старик скинул накидку, и все увидели генерал-адъютантские погоны на его мундире. Это был М. И. Драгомиров. «Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения, — приказал Михаил Иванович офицеру. — А нижнему чину разрешил я». До смерти перепуганный корнет выскочил из кофейной, а благодарный юноша медик с барышней снова заняли свои места.

В Государственном Историческом музее хранится портрет Михаила Ивановича, написанный великим русским художником И. Е. Репиным в 1889 году. На генерал-адъютантском мундире вместо десятков знаков отличия, полученных к тому времени Драгомировым, лишь один орден Георгия III степени, заслуженный за переправу через Дунай в 1877 году. Интересно, что Илья Ефимович в своих знаменитых «Запорожцах» одного из самых колоритных казаков писал с Драгомирова.

Скончался Михаил Иванович Драгомиров от паралича сердца в Конотопе в ночь с 14 на 15 октября 1905 года.

Семен Шуртаков ВЕРШИНА СТОЛЕТОВА

Шипка, год 1977-й

— Вот это и есть знаменитый Шипкинский перевал, а если короче, Шипка... Здесь стояла Круглая батарея, там — Стальная. Это Лесная гора, за ней — Лысая, на которых сидели турки, а прямо перед нами гора Николай, которую обороняли вместе с вашими русскими солдатами и наши братушки — болгарские ополченцы. Верхняя точка Николая — как раз на ней стоит памятник — называется вершиной Столетова...

— Столетова? Это что, в честь известного физика называли?

— У известного физика Александра Столетова был еще и столь же славный старший брат Николай. Во всяком случае у нас, в Болгарии, старший известен не меньше, а даже больше младшего. В его честь — в честь неустрашимого защитника Шипки — и названа высота.

— Признаться, как-то не приходилось слышать...

— Очень жаль. Тем более что Николай Столетов, если разобраться, наш с тобой земляк.

— ?!

— Ты ведь владимирский, а Столетов тоже родом из Владимира.

— Это ладно. Но ты-то, габровец, каким образом ему в земляки попал?

— А очень просто: Столетов — почетный гражданин города Габрово... Всем известно, какие мы, габровцы, прижимистые. И уж если расщедрился на такое высокое звание — значит, не зря, значит, Столетов его заслужил...

Самарское знамя

На просторном зеленом лугу под румынским городом Плоешти с самого раннего утра 6 мая 1877 года * можно было видеть необычное оживление. Среди стройных рядов раскинутых здесь белых палаток сновали люди, раздавались команды, сверкало на солнце оружие. Бросалось в глаза обмундирование солдат. Оно было простым, удобным и вместе с тем красивым. Короткий черный кафтан матросского покроя украшали алые погоны; барашиковая шапка с зеленым верхом, высокие сапоги и серая шинель-скатка через плечо довершали воинский костюм.

В палатках на зеленом лугу располагался отряд болгарского ополчения. И нынче у болгар знаменательный, если не сказать исторический, день. Нынче, вот сейчас должна состояться церемония освящения знамени, подаренного болгарам городом Самарой и привезенного лично городским головою Е. Т. Кожевниковым и общественным деятелем П. В. Алабиным.

Прозвучала общая команда «В ружье!», и дружины ополчения стали выстраиваться перед линией лагеря.

Знамя в ящиках уже было привезено, и духовенство — в числе трех болгарских священников — ожидало церемонии у расставленных на лугу столов, покрытых белыми скатертями. Здесь же были и посланцы города Самары. Ждали приезда главнокомандующего Дунайской армии великого князя Николая Николаевича.

Незадолго перед тем, в день объявления войны, в Кишиневе состоялся смотр-парад войск, которым предстояло не сегодня-завтра отправиться на театр военных действий. И для многих, бывших на том параде, было полной и вместе вдохновляющей неожиданностью видеть, как сразу же за четвертым полком 14-й драгомировской дивизии проследовали два батальона болгарских добровольцев. Особенно удивительным было то, что стройность и порядок, с какими прошли болгарские батальоны, сделали бы честь любому регулярному войску. Когда и откуда явились сюда, на Скаковое поле под Кишиневом, эти добротн обмундированные и уж худо ли, хорошо ли обученные братья-славяне — война-то ведь только-только объявлена?!

Парад принимал Александр II в окружении своей мно-

* Здесь и далее даты даются по старому стилю.

гочисленной свиты. Но даже среди самых высокопоставленных чинов, окружавших царя, мало кто знал, что вопрос о формировании болгарского ополчения был решен еще за добрых полгода до этого смотра-парада. 31 октября 1876 года военный министр Д. А. Милютин записал в своем дневнике:

«Известия из Лондона и Константинополя становятся с каждым днем все хуже, и надежды на мирное разрешение вопроса уменьшаются... Первым днем мобилизаций назначено 2 ноября...

В 3 часа принимал я представителей от Славянского комитета: во главе делегации был И. С. Аксаков, депутатами — купцы Третьяков и Морозов. С ними приехал и генерал-майор Столетов, на которого возлагается формирование болгарского ополчения. Беседа наша продолжалась более часа: мы условились о плане действий по болгарскому вооружению». (Тут, наверное, нелишним будет пояснить, что представители Славянского комитета оказались на приеме у военного министра вместе с генералом Столетовым не по воле случая: болгарское ополчение обмундировывалось и вооружалось на народные пожертвования, поступавшие в адрес Славянского комитета. А один из помянутых купцов, П. М. Третьяков, не кто иной, как основатель знаменитой картинной галереи.)

Первые дружины ополчения составились как из тех болгар, которые жили в России, так и из тех, какие лишь недавно пришли из-за Дуная. Кто-то из них уже дрался с турками в Сербии и был украшен боевыми медалями, кто-то, потеряв семью и родной кров в Болгарии, бежал под сень России от кровавых зверств османских поработителей. Немало было среди ополченцев людей интеллигентных — учителей, студентов, гимназистов. Командный состав дружин подбирали из опытных русских офицеров, уже побывавших в боях и хорошо знакомых с ратным делом. С первых же дней между командирами и дружинниками установились самые что ни на есть братские отношения. И, надо думать, это прочное нравственное единение перед лицом общего врага как ничто другое помогло ускорить воинскую подготовку ополчения, помогло добиться в столь малое время столь осязаемых результатов.

За тот неполный месяц, что прошел с кишиневского смотра, болгарский легион вырос в несколько раз. Теперь он насчитывал более трех тысяч воинов, и число это с каждым днем увеличивалось. Ежедневно с того берега

Дуная приходили голодные, покрытые ломотьями, часто изувеченные страдальцы, и первым их словом, первую просьбой был не хлеб, а оружие. Вдохновленные жаждой мести и горячим желанием спасти свою поруганную родину, они с готовностью вливались в свой болгарский легион и буквально рвались в бой.

Испокоин веку в бой ходят со знаменем. Его пока что у болгарского ополчения не было. Нынче это боевое знамя предстояло получить.

День выдался ясный, солнечный. Лишь на севере, там, где виднелась туманная синеющая цепь Карпатских гор с белыми сверкающими гребнями, клубились кучевые облака, постепенно спускаясь в подгорные долины.

Надо ли говорить, что у всех было радостное, торжественно-приподнятое настроение. Давно болгары ждали этого дня!

Наконец главнокомандующий прибыл, и торжество началось.

Дружины стояли в густых колоннах, образуя правильный четырехугольник. Перед каждой дружиной — командир. Генерал Столетов вместе с начальником штаба ополчения подполковником Рынкевичем и бригадирами-полковниками князем Вяземским и Кирсановым заняли места вокруг аналая, стоявшего в центре четырехугольника.

Служили болгарские священники Амфилохий Михайлов из Сливена и Петр Дроганов из Тырнова. Это были не простые священники: как тот, так и другой не раз с оружием в руках боролись с турками во главе своих восставших прихожан.

Сразу же после молебна и освящения приступили к торжественной церемонии набивки полотна знамени на древко.

Шелковое полотнище было трехцветным: малиновое, белое, светло-синее; на средней белой полосе был нашит золотом по черному фону широкий прямоугольный крест и в центре этого креста образ Иверской богородицы; на другой стороне полотнища, в точно таком же кресте, — образ славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Древко знамени оканчивалось серебряным вызолоченным копьём, исполненным в византийском стиле. На лентах золотом вышиты надписи — на одной: «Город Самара — болгарскому народу в 1877 г.», а на другой: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его».

Первые гвозди вбили главнокомандующий и его на-

чальник штаба. Затем к столу подошел командир легиона генерал Столетов вместе с самарцами.

А вот наступила и главная минута торжества: начали вбивать гвозди выбранные из дружин болгары. Надо было видеть, с каким глубоким благоговением приступали эти люди к своему почетному делу: каждый, крестьясь, брал молоток, целовал древко, а потом уж поднимал руку для удара. Какое счастье светилось на этих простых смуглых лицах!

Из толпы зрителей вывели старика болгарина в красивом боевом национальном костюме: в шитой куртке, в широком калаке (поясе), за которым внушительно торчали рукоятки турецких пистолетов и отделанный золотом ятаган. Это был знаменитый болгарский воевода Цеко Петков, более тридцати лет боровшийся с турками с оружием в руках. Гроза Балканских гор, он наводил на врага страх и ужас. Двадцать восемь ран красноречивее всяких орденов говорили о его мужестве. На высохшей шее остались следы железной цепи, на которой он два с половиной года высидел в турецком подземелье. Теперь он явился сюда, в ряды легиона. Начальник ополчения оставил его при штабе отряда в качестве дядьки и пестуна молодых волонтеров. Как никто другой мог пригодиться старый воин и в близком будущем — в походе на Балканы, ведь ему там известна каждая тропинка, знаком каждый камень.

Не мог сдержать своего волнения столько раз смотревший смерти в глаза герой — заплакал, заплакал навзрыд, когда ему дали в руки молоток. Он взглянул на небо, на знамя и громко произнес:

— Да поможет бог пройти этому святому знамени из конца в конец несчастную землю болгарскую! Да осушит его шелк скорбные очи наших матерей, жен и дочерей! Да бежит в страхе все нечистое, злое перед ним, а за ним станут мир и благоденствие!

Глубокая тишина стояла в рядах ополченцев, когда старый Цеко Петков произносил свои слова, и в этой тишине зазвенел его молоток, ударивший по серебряной шляпке гвоздя. И так получилось, что именно в этот торжественный момент словно дальнейшее эхо из предгорий Карпат донеслись громовые раскаты, а среди сгустившихся там и налившихся темной синевой облаков сверкнула молния.

— Добрый знак! Добрый! — загудело в рядах.

Сплошную стеной стояли ополченцы перед столами, на которых лежало знамя, и, кроме первых рядов, его еще никто не видел. Но вот вбит последний гвоздь, начальник ополчения взялся за древко и высоко поднял знамя. Оно медленно развернулось на ветру, и могучее, заглушившее громовые перекаты «ура!» грянуло по дружинам, тысячи черных шапок взлетели в воздух.

Затем колонны прошли перед знаменем церемониальным маршем. Прошли лихо, как старые солдаты, громко и дружно отвечая на приветствие своего командующего.

А по окончании церемонии началось живое, искреннее ликование в каждой колонне, в каждой группе дружинников.

В палатке Столетова тоже собрались офицеры и приезжие гости. Застолье было по-походному скромным; никаких разносолов — солдатский хлеб, сулея с местным вином и посреди стола целый жареный баран. Но зато все было так просто и искренне, так сердечно, что привезшие знамя гости-самарцы не раз повторили:

— Да для такой минуты не только три тысячи верст, тридцать тысяч проехать можно!

Через пять дней тот же просторный луг, или, как его теперь называли, Болгарское поле, был свидетелем еще одного торжества. На сей раз праздновался день знаменитых солунских братьев, апостолов славянского просвещения Кирилла и Мефодия. Этот день всегда, с незапамятных времен, считался у болгар национальным праздником. Потому в торжестве приняло участие, кроме ополчения, и множество болгар, которые специально пришли и приехали сюда с разных концов: из южной России, Румынии и из самой Болгарии. Уже во время молебствия прибыло 340 болгар для поступления в ополчение. Еще 400 добровольцев ожидалось в самом скором времени из города Галапа.

И опять в центре праздника реяло на легком ветерке Самарское знамя, и всем хорошо были видны изображенные на нем Кирилл и Мефодий, давшие славянам азбуку. И опять болгарские дружины прошли торжественным маршем мимо стоявших около знамени офицеров во главе с уже полюбоившимся им генералом Столетовым. Как писал один присутствующий на празднике корреспондент, «дружинники выглядели молодцами, на их лицах свети-

лось высокаторжественное чувство удовлетворения, радость и горячее желание броситься на 500-летнего врага Болгарии».

По окончании церемонии болгары пожелали генералу Столетову отпраздновать следующий праздник уже в Болгарии в день победы.

История сохранила нам речь, которая была написана в честь этого дня и читалась в дружинах болгарского ополчения. Вот несколько страстных, обжигающих строк из этой достойной нашей памяти речи-воззвания:

«Болгарские войники!

Вы первыми удостоились великой чести сражаться под этим знаменем, врученным вам нашими покровителями и защитниками — русскими... Это не есть обыкновенное знамя: оно изготовлено русским народом и вручено болгарскому народу, как залог вечной любви и неразрывной связи между Русскими и Болгарами...

Храбрецы! Наша военная история начинает свои торжественные празднества с сего дня в лагере Болгарского ополчения, на военном Болгарском поле. Будем уповать, что как в IX веке Кирилл и Мефодий вывели славянский мир из мрака языческого невежества, так и ныне они будут находиться в рядах болгарского ополчения, будут его воодушевлять в сражениях и помогут, наконец, избавить Болгарию от турецкого рабства...

В огне и пламени горит милая Болгария, и по сию минуту растерзанная и измученная. Болгария надеется на храброе и непобедимое русское войско, в рядах которого находитесь и вы, войники, под вашим священным знаменем.

Болгария с плачем и рыданием просит вас не отставать от своих братьев по оружию, Русских, в битвах за освобождение своей Родины.

Если русские оставили своих жен, детей, занятия, интересы, спокойствие и решились умирать за вас и за нас в Болгарии и на Дунае, то сколько обязывает вас и каждого Болгарина, войники, патриотизм, честолюбие и личный интерес умереть в битвах против собственного домашнего врага!

Болгария надеется, что вы с достоинством будете защищать настоящее знамя и прославите его победами, а если надо, то геройски умрете на ратном поле. Помните слова Христо Ботева: «Кто пал за народ — тот не умирает». Бессмертная слава ожидает каждого юнака!..»

На родном берегу

Вот он наконец, родной болгарский берег, вот она, истерзанная милая родина!

Столетов видел, как его переправившиеся через Дунай дружинники поспешно спрыгивали с понтонов на берег и, опустившись на колени, целовали родную землю. В просветленных глазах у них стояли слезы. Люди сразу словно бы преобразались, в самом выражении лиц теперь у них проглядывало что-то новое.

Видно было, что разговоры со своими соотечественниками, само звучание родной болгарской речи для них сладчайшая музыка. Сладко, отрадно было видеть им и красные черепичные кровли кыщ*, и зеленые с завязью плодов сады и виноградники.

Теперь и шаг у воинов, когда они шли улицами первого придунайского городка Свиштова, был как бы тверже, уверенней. А проходя мимо белого храма, что стоит на центральной площади города, они наперебой объясняли своим командирам, русским офицерам, что храм этот построил не кто иной, как известный на всех Балканах чудесный мастер из народа Колю Фичето. Храм поставлен с гарантией на вечность: по ту и другую сторону главного входа мастер встроил в наружные стены по колонне, которые легко, всего лишь усилием руки, вращаются в своих гнездах. При незначительном просчете во время закладки фундамента, при малейшем перекосе здания колонны неминуемо зажат, и они перестанут вращаться. Можете пойти и сами убедиться: вращаются!..

Дружинники говорили о своем народном умельце с нескрываемой гордостью. Не это ли и было тем новым, что отражалось на их лицах. Они шли по родной земле с оружием в руках и твердой верой в сердце освободить наконец свою многострадальную отчизну от ненавистного врага. Скорей бы встретиться с ним на равных, встретиться в открытом бою!

Ополченцы прямо-таки жаждали этого боя.

Столетов свое боевое крещение принял на редутах Севастополя и хорошо знал, что это такое. В скольких боях потом ему приходилось участвовать, но самым трудным был, наверное, первый бой. За горячее дело под Инкерманом он получил солдатский Георгиевский крест, а вскоре

* Кыща — дом (болг.).

и офицерский чин. Однако даже и в этом кровопролитном сражении ему было не тяжелее, чем в первом бою.

Как-то покажут себя в своем первом деле его дружинники!

«Сформировать, обучить и приготовить к вступлению в боевую службу» — так коротко формулировалась его задача при назначении командиром болгарского легиона. Но какой труд и его самого и ближайших помощников стоит за каждым из этих коротких, как выстрел, слов!.. Певелика премудрость сформировать роту, батальон, даже полк из готовых, уже кем-то набранных рекрутов. Здесь каждого будущего воина надо было сначала отыскать — отыскать не только в России, но и за ее пределами, а уж потом только сводить в дружины... И солдатская наука тоже не так проста, как это со стороны кажется. Солдата готовят «к вступлению в боевую службу» годами...

Об использовании ополчения высказывались разные мнения. Одни говорили, что болгарский легион имеет слишком высокое назначение, чтобы им рисковать и подвергать его потерям; легион надо поберечь во время кампании с тем, чтобы по окончании ее он мог стать ядром будущей болгарской армии. Другие считали неверным и противоестественным держать вооруженных и плохо ли, хорошо ли, но обученных болгар в стороне от святого дела освобождения своей родины. Да и сами болгары разве согласились бы, имея в руках долгожданное оружие, не обратиться его против исконного врага?! Вопрос мог заключаться разве лишь в том, как использовать ополчение.

Столетов считал, что наибольшую пользу болгарские добровольцы могут принести при переходе через Балканы, где многим из них хорошо известны не только главные дороги, но и окольные тропинки. Когда же дело дойдет до сражения, то лучше, наверное, будет, если братушки пойдут на врага не сами по себе, а плечом к плечу со своими русскими братьями: так будет и русским солдатам хорошо, и дружинники будут чувствовать себя увереннее.

Вот только когда, когда оно, то сражение?! Через неделю, через день, через час?

Передовой отряд русской армии, которому были приданы дружины болгарского ополчения, стремительно продвигался долиной реки Янтры на юг, и 25 июня с ходу занял город Велико-Тырново.

Солдаты ликовали. Если война и дальше так пойдет, что стоишь им вскорости и до самого Царьграда дотопать! Теперь, после Дуная, остается сделать второй и, как надо надеяться, уже последний шаг — перейти Балканы. А там, говорят, дорога ровная: из Казанлыка до самой турецкой столицы удобное шоссе проложено... Потягивая кислое болгарское вино, солдаты и донские казаки даже прикидывали: если они за какие-то полторы недели прошли от Дуная до Тырнова, то много ли дней им потребуется, чтобы перешагнуть Балканы? Выходило, не очень много...

Лагерь болгарских ополченцев раскинулся на окраине Тырнова, на Марином поле, названном так по имени жены последнего болгарского царя Ивана Шишмана Мары. Старинная легенда утверждала, что Мара любила гулять по этому полю. За пятьсот лет, какие прошли с того времени, окраина города разрослась, застроилась, и от поля осталось лишь одно его название. И все же дружинникам было отродно говорить друг другу: Марино поле. Произносятся эти слова, они как бы прикасаются к истории своей многострадальной родины: то было время, отмеченное началом их рабства, теперь пятивековому рабству пришел конец.

Город ликовал. Ликовали и жители, и вызволившие их из неволи войны. И уж если русские солдаты радовались легкому, стремительному занятию большого города, что говорить про ополченцев, вступивших в свою древнюю столицу!

День клонился к вечеру, а веселье в лагере все еще не утихало. Дружинники то лихо водили у палаток под звуки дудок-сопелок любимое «хоро»*, то принимались петь свои протяжные, берущие за душу песни. А если по делу или просто так появлялся в лагере русский солдат, болгары не знали, чем угостить и где усадить дорогого гостя: за Дунаем они сами были гостями, теперь же, на родной земле, чувствовали себя хозяевами.

Генерал Столетов сидел в своей палатке перед раскрытой картой и — уже в который раз! — сосредоточенно изучал ее. Нет, он не обдумывал план предстоящей операции; ему просто хотелось зримо соотнести местонахождение Передового отряда с общей дислокацией войск.

* Хоро — славянский танец, равно любимый у сербов и болгар. Танцоры образуют круг и, положив руки на плечи друг другу, притопывают, то отступая назад, то наступая вперед.

Легкое, удачливое начало войны тоже радовало командира болгарских дружинников, но вместе с радостью внушало и какую-то неясную тревогу.

Ни много ни мало уже двадцать три года тянет он военную лямку, кое-что повидал и испытал за это время и знает, что война есть война и легких побед на ней не бывает. Истории известно достаточно случаев, когда сегодняшняя легкая победа оборачивалась завтра тяжелым поражением. А тут, смотри-ка, русская армия сравнительно без больших потерь преодолела такую широченную водную преграду, как Дунай, заняла плацдарм на его болгарском берегу и свободно, можно сказать, беспрепятственно дошла до предгорий Балкан. Можно ли считать серьезными препятствиями отдельные стычки с небольшими отрядами турок, многие из которых отходили или рассеивались, даже не вступая в бой. Само Тырново занято кавалерийским эскадроном при четырех раненых с нашей стороны. Что-то до сих пор не слышно было, чтобы кавалерия занимала города... Где же, где же турецкая армия, ведь не вся же она находится по ту сторону Балкан?!

Тот же самый вопрос, рассказывал один корреспондент, задал в телеграмме русскому царю германский кайзер: «Поздравляю с успехом. Но где же турки?»

Где турки?

Передовой отряд, дойдя до Балкан, как бы рассек Придунайскую линию обороны турок на две части. В правой, западной, остались пока еще не взятые крепость Никополь, а в левой Рупук, она же Русе. Да и кроме крепостей, по данным штаба при главнокомандующем, турецкие войска находятся во многих придунайских городах. Под Видином, говорят, чуть ли не целая армия Османа-паша стоит. Коридор же, который пробил Передовой отряд, пока еще довольно узок. Что будет, если в том или другом месте турки перехватят, перекроют его? Да, конечно, кроме Передового отряда, ведут наступление также Западный и Восточный, и они, по замыслу, должны прикрывать фланги Передового. Но где эти отряды? Передовой не завтра-послезавтра может очутиться за Балканами, а его соседи слева и справа все еще топчутся на придунайском плацдарме. Не слишком ли далеко мы залетели?..

Дружинники все еще пели свои любимые песни. Что-то близкое, родственное для русского слуха звучало в них, да и слова многие можно было понять — все же пели сла-

вяне, по какой тягучий, заунывный, какой печальный мотив был у песен!

Николаю Григорьевичу вспомнилось, как в праздничный день Кирилла и Мефодия под Плоешти его дружинники вот так же изливали свои чувства в песне, и он не выдержал, вышел из палатки и тихонько приблизился к группе поющих. Интересно было знать, что случилось с его братушками: ведь только что, какой-нибудь час назад, радовались и глаза у всех горели воинственным огнем, а сейчас вот затаили такие надрывные, такие грустные песни... Нет, оказывается, ничего не случилось: лица у всех такие же вдохновенные, радостные. А поют печальные песни — нет у них других. Песня рождается не на пустом месте, не сама по себе, в песне, может, как ни в чем другом, отражается жизнь народа, условия его существования, его помыслы и устремления. Рабское существование не могло породить веселые песни. Не потому ли безысходная, хватаящая за сердце тоска и страстная жажда свободы стали главными мотивами болгарской народной песни. Пятьсот лет рабства! Легко произнести эти три коротких слова, легко их написать на бумаге. Но как мысленно представить такую страшную протяженность во времени, как прожить эти пятьсот лет! Удивляться, наверное, надо не тому, что песни печальные, а тому, что болгары поют их еще на своем родном языке. За пятьсот лет можно и язык забыть...

Балканы, Балканы,
Родные Балканы...

В редкой песне не упоминаются Балканские горы. Без Балкан болгары не представляют свою родину. Завтра — дружинники этого еще не знают, — завтра Передовой отряд идет на Балканы.

На Балканы. Через Балканы. За Балканы.

Через Балканы

Выступили рано, до восхода солнца. Дни стояли жаркие, и разве что болгарам такая жара была привычной, а с русскими солдатами еще по дороге в Тырново случались солнечные удары. Так что лучшим временем на переходах были утренние и вечерние часы.

Передовой отряд состоял из двадцати двух эскадронов кавалерии с приданной им артиллерией и десяти батальонов пехоты. Общая численность отряда вместе с дружи-

нами болгарского ополчения достигала десяти тысяч. Сила немалая! Но немалая перед лицом разрозненных групп неприятеля. Неизвестно, какая вражеская сила ожидает отряд на Балканах и в Забалканье.

Генерал Столетов, пропустив перед собой на выходе из лагеря дружины ополченцев, теперь обочиной дороги обгонял их, направляясь в голову колонны, где ехали на конях начальник штаба ополчения подполковник Рынкевич и полковники-бригадиры Вяземский и Кирсанов. Когда генерал поравнялся с командиром одной из дружин поручиком Кесяковым, болгарин по рождению, служившим до войны в знаменитом Преображенском полку, тот лихо, озорно козырнул и, как показалось Столетову, еще и подмигнул при этом: мол, кто-кто, а мы, болгары, очень хорошо понимаем, что дорога, по которой мы выступили, ведет не куда-нибудь, а прямехонько на Балканы!

Цепь Балканских гор, протянувшаяся через всю Болгарию с запада на восток, как бы делит страну на две части — северную и южную. В центральных Балканах север и юг соединяются тремя проходами: Шипкинским, Травненским и Твардицким. Шипкинский проход можно считать благоустроенным: по нему проложено что-то вроде шоссе, идущее из Габрова в Казанлык. Твардицкий и Травненский поглуже Шипкинского, но вообще-то тоже проходимы. Турки, естественно, берегут все эти три прохода. Шипкинский ими укреплен, у выхода из двух дружин стоят их военные таборы.

Но между Травненским и Твардицким есть еще один проход. По донесениям лазутчиков, его турки оставили без внимания: стоит ли его охранять, когда он и так непроходим. Разве что какой-нибудь смельчак, отпетая голова проберется им, но не войско. Хаин-богаз — Предательский путь — назвали турки этот проход из деревушки Присово, что в Предбалканье, в забалканское село Хаинбогазское ущелья.

И вот как раз по этому именно ущелью командующий Передовым отрядом генерал Гурко решил перевести в Долину роз свое войско.

Когда солнце пошло на полдень и жара стала неумолимой, остановились на дневку. Надо было и отдохнуть, и подкрепиться перед трудной дорогой в горах. Балканы уже синее где-то у горизонта, они вот, совсем близко, рукой подать.

Горы громоздятся на горы, словно хотят, став друг другу на плечи, дотянуться до самого неба. Поглядишь вверх, холодные скалы, утрюмые утесы, нависающие над головой каменные кручи; взглянешь вниз, глубокие ущелья, темные бездны. Горные хребты то сходятся совсем близко — вот-вот соединятся, то стремительно удаляются, словно их невидимый богатырь взял и разом раздвинул, раскидал в разные стороны. Только что было небо над тобой, а вот уже и опять закрыли его скалистые утесы, по узким карнизам которых вьются едва видимые тропки. Гулко гремят горные речки, прыгая по своему каменистому руслу. То они мелки — можно перейти, замочив одни подошвы, то вдруг срываются вниз и с водопадным ревом бьют о скалы. Осталась речка в стороне, и тебя объемлет жуткая тишина. Разве что шелест дубовых и букковых рощ, которые кое-где лепятся по кручам, нарушает мрачное безмолвие.

Такой дорогой — собственно, о какой дороге можно говорить, правильное будет сказать, горной тропой — надо было пройти не версту и даже не десять, а более тридцати верст. Пройти не одному, не сотне — тысячам, и не налегке, а в полном вооружении.

Впереди шла 4-я стрелковая бригада с двумя сотнями пластунов и двумя горными батареями, за ней драгунская бригада с конной батареей, далее следовали пять дружин болгарского ополчения с четырьмя орудиями, и замыкала шествие казачья бригада с батареей.

Тяжелые подъемы сменялись не менее трудными спусками, кончался один горный гребень, начинался другой. Всем было тяжело, но тяжелей всех доводилось артиллеристам. Тропки были так узки, так резко обрывались в пропасти, что орудия часто приходилось переносить на руках. Когда надо было пересекать горные ручьи и речки, колеса орудий вязли в глинистом, мягком, лишь местами каменистом русле. Повороты извилистой дороги иногда были столь крутыми, что даже маленькие горные орудия и те срывались с тропок. Одно орудие, падая, увлекло за собою лошадь. Пушку каким-то образом солдатам все же удалось схватить за колесо и удержать. Животное билось на весу и, чтобы спасти орудие, пришлось обрезать постромки. Другое орудие, потяжелей, полетело с тропинки с четырьмя лошадьми. Хорошо, что упало оно удачно и осталось в строю...

Верстах в десяти от выхода в долину сделали неболь-

шую остановку. Казачий урядник князь Цертелев, служивший до войны в русском посольстве в Константинополе и знавший турецкий язык, переоделся в болгарский костюм и вместе с болгаринном Славейковым отправились вперед. Смелчаки не только побывали в Хаинкиое, им удалось даже поговорить с турецкими солдатами и офицерами. Оказалось, что турки даже и не подозревали о близости русских. В Хаинкиое стояли всего два табора их пехоты. Не было большого скопления войск и в соседних селениях.

Гром пушек возвестил ошеломленному внезапностью врагу, что русские орлы вместе со своими болгарскими братьями перелетели Балканы и спустились в знаменитую Долину роз.

В Долине роз

Дружинники думали, надеялись, что теперь-то уж определенно настал их час. Нет, и на этот раз их опередили. Чтобы не дать врагу опомниться, Гурко пустил вперед кавалерию. Турки дрогнули и побежали. Так что пехоте, дружинникам, можно сказать, и дела никакого не осталось.

Генерал Столетов видел неподдельное огорчение и досаду на лицах ополченцев. Люди досадовали на то, что не удалось побывать в настоящем бою, хотя и хорошо знали, что далеко не каждый мог из того боя вернуться...

Под общим начальством Столетова болгары вместе с 26-м донским полком были оставлены у Хаинкиоя на случай защиты выхода из ущелья. Хаин-богаз пока был единственным проходом, который соединял Передовой отряд с главными силами русской армии. Стоило туркам захватить его, и отряд оказался бы отрезанным и обреченным на полное истребление. Но сколько Столетов ни объяснял дружинникам всю ответственность возложенной на них боевой задачи, они в ответ твердили одно: когда же, когда их пустят в настоящее дело?

Между тем Гурко, прежде чем идти на штурм Шипки, решил сначала расширить плацдарм в долине Тунджи, чтобы надежнее обезопасить себя и с тыла и с флангов.

Наступавшие с севера, из Габрова, войска, не поддержанные вовремя наступлением с юга, были отбиты турками. Это произошло 5 июля. А 6-го утром пошел в атаку на Шипку с юга Гурко. Пошел тоже в надежде, что его

атака будет поддержана габровским отрядом. Поддержки не было, и, оставив на крутых склонах около полутора сот убитыми, штурмующие батальоны вынуждены были отойти.

Правда, и врагу этот день тоже обошелся дорого.

В одной из атак, когда турки почувствовали, что могут не выдержать натиска русских, они выкинули над окопами белый флаг. Естественно, атака была приостановлена. Разом все стихло. Боя будто и не было. Радостью и ликованием наполнились сердца солдат: неприступная позиция сдавалась... Из укрепления вышел турецкий парламентар. Командир отряда, севастопольский герой, полковник Климантович послал ему навстречу майора Солянку с рядовым татаринном. Начались переговоры об условиях сдачи. Далеко и отовсюду видный белый флаг развевался над окопами. Однако же, едва парламентары разошлись, с вражеской стороны грянули залпы. Приостановление атаки туркам было нужно для того, чтобы успеть спустить с гор цепи стрелков и начать окружение русских. Никто из офицеров не мог не то что предвидеть, даже подумать о таком вероломстве. Батальоны в нерешительности топтались на месте. Неожиданность действовала парализующе.

— Ребята, за мной! — закричал первым опомнившийся Климантович.

Его клич разом поднял ряды стрелков. С яростным воплем, не обращая внимания на пули, картечь и гранаты, кинулись стрелки на укрепление за своим командиром. Турецкая пуля уложила отважного офицера насмерть. Это еще более озлобило солдат. Они вихрем ворвались в окопы. Засверкала на солнце вороненая сталь штыков, началась рукопашная. Турки в ужасе бежали. Но штурмом была взята лишь одна из вражеских позиций. И поскольку соседние оставались в руках турок, удерживать ее за собой не имело смысла.

Все же врагу пришлось выкинуть белый флаг если и не в прямом, так в переносном смысле. Эти две пусть и разрозненные, несогласованные атаки, должно быть, убедили турок в бессмысленности дальнейшего сопротивления. К тому же накануне штурма русским войскам удалось перехватить у деревни Шипки следовавший на перевал обоз в 80 повозок с сухарями. Так что Халюзи-паша со своими таборами остался без провианта. И когда на третий день, 7 июля, русские войска, предводительствуе-

мые генералом Скобелевым, опять пошли на штурм турецких позиций на Шипке со стороны Габрова, их ждали на перевале пустые брошенные окопы. Оставлены были даже девять орудий. Халюзи-паша решил уйти, пока еще не все пути ему были отрезаны. Правда, и на этот раз не обошлось без хитростей.

Должно быть, получив известия о движении из Габрова скобелевского отряда на новый штурм Шипки, турки утром 7 июля прислали к Гурко — не к Скобелеву, а к Гурко! — парламентаря, имевшего при себе письмо за подписью паша о сдаче. Гурко принял капитуляцию с условием, чтобы все сложили оружие и выдали офицеров, виновных в вероломной выходке с белым флагом. Но оказалось, что и сама посылка парламентаря была новой хитростью врага. Просто турки и на этот раз хотели выиграть время для отступления. Не успел еще парламентар присоединиться к своим, как с Шипкинского перевала было получено известие, что враг бежал, оставив лагерь и орудия... Турки не просто бесчестно пользовались нашим добродушием, но и вводили его как постоянно действующий фактор в свои тактические расчеты.

Скобелев и Гурко съехались на перевале. Шипка со своей неприступной горой Николай перешла в руки русских.

Турецкие лагеря представляли собой ужасную картину. У телеграфного столба пирамидою сложены были отрубленные головы стрелков и пластунов, оставленных на месте в бою 5 и 6 июля. У другого лагеря было найдено несколько десятков обезображенных трупов. У большинства были отрублены головы, у некоторых руки и ноги. У одних вырезаны языки, у других проколоты глаза, третьим... Надо ли продолжать? Зверей и то бывает жалко, когда с ними обходятся по-зверски. Каковы же должны быть люди, которые проявляют бессмысленно зверское отношение к себе подобным!..

Со взятием Шипки и второй перевал, второй проход через Балканы был в наших руках. Теперь уже без риска быть отрезанным Передовому отряду можно было продолжать боевые операции в Забалканье.

На несколько дней войскам был дан отдых. Затем Гурко возобновил боевые действия в долине реки Тунджи, стараясь расширить треугольник: Казанлык — Старая Загора — Новая Загора.

Особое внимание командир Передового отряда уделял

Новой Загоре. Это и понятно: город стоит на линии железной дороги; отсюда в случае дальнейшего успешного наступления за каких-нибудь два-три дня можно достигнуть Константинополя. Сюда же в любой день и час из того же Константинополя могли подойти вражеские резервы. Так что и в том и в другом случае было очень важно владеть этой ключевой позицией.

В самом же скором времени, однако, стало ясно, что ни о каком наступлении в сторону Константинополя не может быть и речи. Что ни день, в Новую Загору прибывали войска, и, хотя достоверных сведений об их численности пока и не имелось, видно было, что затевается что-то серьезное.

Русское командование знало, что в районе Рушук на востоке и около крепости Никополь на западе находятся турецкие армии. Но сведения и о расположении тех армий (ведь необязательно стоять армии в одной точке!), и об их численности были смутными, неточными, неопределенными. Потому именно и возникла «вдруг» Плевна. Пока недалекий, но упрямый барон Криденер штурмовал никому — ни нам, ни самим туркам — не нужную старенькую крепость Никополь, умный Осман-паша сумел привести из Видина свою армию в соседний с Никополем Плевен и сделать его почти неприступным.

Целая армия с артиллерией, обозами прошла около ста пятидесяти верст, а русское командование даже и «не заметило» этого!

Никем своевременно не был предупрежден и Гурко, что на побережье Мраморного моря высаживается с судов огромная армия Сулеймана-паши, дотоле находившаяся в Черногории. Почти пятьдесят батальонов испытанных, закаленных в боях воинов бросал султан Абдул-Гамид на наш десятитысячный отряд. Узнали же об этом не от разведчиков, а от болгар, которые в страхе и ужасе бежали перед грозно надвигающейся с юга армией Сулеймана. Через Долину роз к горам потянулись бесконечные обозы с жалким скарбом, сопровождаемые детским плачем и женскими стенаниями. На все расспросы перепуганные беженцы отвечали только одно: «Турки, турки... Много турок!».

Вот так в Придунайской Болгарии перед русскими, словно из-под земли, выросла в Плевне шестидесятитысячная армия Османа-паши, а в Забалканье — почти такая же армия Сулеймана-паши.

А вот Тунджи долина,
Где кровь лилась рекой,
Где храбрая дружина
Дралась за край родной...

*Песня болгарских
дружинников*

Исполняя приказ командира Передового отряда, болгарское ополчение генерала Столетова и три полка кавалерии герцога Лейхтенбергского 17 июля выступили в направлении Новой Загоры. Согласно диспозиции они должны были достигнуть этого города в два форсированных перехода. Однако же, дойдя до деревни Долбоки, кавалеристы и болгары неожиданно встретили неприятельский авангард с 12 орудиями, шестью таборами пехоты и отрядом конных черкесов. Завязался ожесточенный артиллерийский бой, не давший перевеса ни той, ни другой стороне. Не видя возможности соединиться с отрядом Гурко, дружинники и кавалерия отошли на почевку на несколько верст от Долбоки. Турки остались на своих позициях.

В ночь с 17 на 18 июля герцог Лейхтенбергский получил донесение от казачьего полковника Краснова, что южнее Старой Загоры двигается большой турецкий отряд в сопровождении кавалерии и артиллерии. Положение наших войск оказалось критическим. Они стояли между двумя неприятельскими отрядами, каждый из которых превосходил их своей численностью. Что делать?

Собрался военный совет. Генерал Столетов был за то, чтобы всеми наличными силами прорываться на соединение с главным отрядом. Принц Лейхтенбергский предлагал направить на соединение с Гурко только конницу и конную артиллерию, а болгарам с астраханским драгунским полком вернуться в Старую Загору. Трудно было в сложившейся обстановке придумать что-либо более несуровое, чем это дробление и без того не очень-то больших сил. Но именно второе предложение на совете взяло верх. Сыграло тут немалую роль, надо полагать, и то обстоятельство, что слово принца крови имело больше веса, чем голос сына владимирского купца Столетова.

Как показало дальнейшее, военный совет был первым актом разыгравшейся потом трагедии, ее, так сказать, завязкой. Кульминация и развязка наступили через день.

Прежде чем вернуться в Старую Загору, 18 июля была

сделана еще одна попытка пробиться через Долбоку. Но, подойдя к деревне, дружинники нашли положение вещей в прежнем виде: турки занимали свои позиции и преграждали нам путь.

Это было 18 июля.

Постояв на месте часа полтора, ополченцы опять двинулись назад. Боя еще не произошло, но он уже не менее как наполовину был проигран, так как на этот раз туркам была дана возможность убедиться в малочисленности наших сил. Они снялись с позиций и молча, без выстрелов, двинулись по пятам отступавших. Турки преследовали двумя колоннами: одна шла по шоссе за болгарами, другая параллельно. Неприятель словно бы давал понять, что любое отклонение от принятого направления может привести к немедленному охвату, а то и полному окружению. Так что это походило скорее на конвоирование, чем на преследование. Конвоируемый хоть и идет впереди, но указывает ему путь все же идущий сзади конвоир. Турки вели наш малочисленный отряд в Старую Загору. Вели как на заклятие. Не надо быть великим полководцем, чтобы понимать: если ты идешь по пути, который тебе указывает враг, значит, ты уже как бы признаешь себя наполовину побежденным...

С тяжелым сердцем шли болгары в свою Старую Загору.

Наступил вечер, и их глазу предстало новое зрелище: все пространство, по которому шли за ними турки, осветилось заревом громадного пожара. Горели родные села, деревни и города. Деревья, кусты, остовы сгоревших зданий — все резко обрисовывалось на освещенном фоне. И в зловещем ореоле этого зарева двигались черные массы турецкой армии. Сулейман-паша еще в Черногории приобрел мрачную славу не только опытного, но и исключительно жестокого полководца. Кроме обычных при турецких армиях бандитских шаек башибузуков, в рядах Сулеймана-паши были также полудикие зебеки, негры, арабы, присланные египетским хедивом*.

Враг как бы заранее торжествовал свою победу. Кто-то, а болгары хорошо знали, что турки не просто жгут их села и деревни, они, как бы мстя за то, что жители этих селений еще недавно радушно встречали своих рус-

ских освободителей, теперь режут и убивают всех поголовно. Никому нет пощады — ни женщинам, ни старикам, ни детям. Об этом дружинникам известно не по слухам или чьим-то рассказам — им все это не раз приходилось видеть собственными глазами. И когда они оглядывались сейчас на двигавшееся за ними страшное зарево, сердца их обливались кровью.

Две дружины под командою полковника Депрерадовича расположились южнее города, остальные две, подкрепленные кавалерией и артиллерией, заняли позицию восточнее Старой Загоры. Ночь прошла тревожно. Несмотря на усталость, мало кто спал. Все понимали, что завтрашний день будет для них днем тяжелейших испытаний, и чем он кончится, неизвестно.

Едва занялась заря, турки начали наступление.

Только теперь дружинники увидели, сколь велики развернувшиеся перед ними силы неприятеля.

Густыми цепями в несколько рядов, поддерживаемые артиллерией, наступали турецкие пехотинцы на наши позиции. Рев пушек и ружейная пальба несмолкаемо повисли над полем боя.

Командир ополчения Столетов распорядился занять оборону на окраине города двум дружинам, а остальные две на первое время оставил в резерве. Но, как ни мужественно сражались с превосходящим противником ополченцы, силы их начали иссякать. Пришлось ввести в бой резервы.

Теперь все четыре дружины развернулись в одну линию общего строя. Это было сделано для того, чтобы врагу было труднее обойти с флангов. Но если бы с прибавкой в ширине фронта была усилена и его глубина! Усилить, подкрепить передовую, с каждым часом редевшую линию, увь, было нечем.

А турки все увеличивали свой натиск. У них было кем заменить выбывших из строя, было чем пополнить ряды атакующих. На шесть наших орудий у них было три батареи. На каждый наш ружейный выстрел они отвечали десятью. Нам приходилось экономить боезапас — у них и снарядов и патронов было вдоволь.

Напряжение боя с каждой минутой нарастало.

С каждой минутой... Потому что каждая минута была вечностью. В каждую минуту обрывалась не одна человеческая жизнь.

А бой длился уже целый час.

* Хедив — с 1867 года официальный титул вице-короля Египта.

Два часа.

Три часа.

На исходе четвертого часа, когда отважно сражавшиеся во главе дружин офицеры почти все полегли, ополченцы дрогнули. Наступил тот критический момент, когда нужно было или рвануться вперед, или начинать отступление.

Замешательство в рядах дружинников как бы послужило неприятелю сигналом к атаке.

Тут, видимо, следует заметить, что вообще турки не любят рукопашного боя, предпочитая ему дальний, огневой. Объясняется это, кроме всего прочего, тем, что ружья системы Пибоди-Мартини, которыми они были вооружены, значительно превосходили и скорострельностью и дальностью наши Кренке и Шаспо. И если не любящие штыка турки на этот раз сами пошли в атаку, значит, они были более чем уверены в своей превосходящей силе.

Вначале был атакован левый фланг ополченцев, который защищала первая и третья дружины. Хотя турки продолжали стрелять на ходу, все же с их приближением ружейный треск стал не таким сплошным. И чем ближе подходил неприятель к болгарской цепи, тем становилось тише. И в этом относительном, конечно, зловещем затишье единственный уцелевший в первой дружине офицер Кесяков запел свою болгарскую песню:

Ой, ви, болгаре-юнаце,
Ви во Балканы родени...

Ополченцы дружно поддержали командира, и словно силы и отваги у них прибавилось — прямо с песней пошли на турок в штыки.

Знакомый напев долетел до слуха соседней дружины, она подхватила:

Напред, напред, на бой да варвим... —

и кинулась на подмогу своим братьям.

За всю войну, наверное, немного было таких рукопашных. Ведь тут сошлись не просто воюющие стороны, сошлись лицом к лицу, грудь к груди давние и непримиримые враги...

В этой войне было допущено в действующую армию более тридцати корреспондентов от сорока пяти газет мира. И корреспонденты потом напишут в свои газеты, что «болгары дрались львами». Рассказы об этом сражении

будут преисполнены восхищения и удивления: как это трехтысячному отряду дружинников удалось сдерживать в течение столь долгого времени бешеный натиск двадцатитысячного неприятеля. Кто-то отметит хорошую боевую выучку ополченцев, кто-то вспомнит историю и скажет, что в болгарях словно бы проснулся наконец дух великих предков Крума, Симеона и Самуила, когда-то героически отстаивавших Болгарию от византийских завоевателей...

Но все это будет потом.

А пока что сражение продолжалось уже более четырех часов, и никто не знал, когда и чем оно окончится.

Ряды дружинников таяли. Фланги постепенно сжимались к середине, туда, где в пороховом дыму, как громадная птица, реяло знаменитое Самарское знамя.

Турки начали обходить болгар. Чтобы не попасть в ловушку, командир ополчения Столетов распорядился убрать орудия на возвышенность и под прикрытием их огня начать отступление. Другого выхода не было. На позиции болгар катились новые и новые волны турок.

Вдруг знамя как-то непонятно заколыхалось и начало клониться к земле.

— Цымбалюк ранен! — пронеслось по рядам. — Спасайте знамя!

Командир третьей дружины подполковник Калитин резко повернул коня. Боевой офицер, побывавший под пулями еще до этой войны, он хорошо знал, что потеря знамени повлекла бы за собой бегство, а значит, и гибель всего отряда.

Знаменщик Авксентий Цымбалюк, раненный в грудь, шатался, захлебываясь кровью, однако не выпускал из своих слабющих рук самарскую святыню — залог любви русских людей к болгарским борцам за свободу. Подполковник подхватил древко в тот самый момент, когда Цымбалюк уже падал.

— Ребята! — закричал Калитин, поднимая над головой знамя. — Видите, знамя с нами. Держитесь, ребята!

Но едва он успел проговорить эти слова, как вражеская пуля насмерть сразила храбреца. Подполковник Калитин как истинный герой умер на спасенном им знамени.

Воспользовавшись минутной заминкой, турки с удвоенной энергией бросились на дружинников, и кому-то из вражеских солдат удалось дотянуться до знамени. Но разве теперь болгары могли отдать свою политую кровью святыню?! Знамя опять взвилось над их рядами.

Новая вражеская волна накатилась на дружинников, и туркам опять удалось завладеть знаменем. И опять болгары бесстрашно вырвали из рук врага священный символ славянского братства. В сердце каждого дружинника негасимым огнем горели памятные слова:

«...Да пройдет это знамя из конца в конец землю болгарскую! Да осушат им наши матери, жены и дети свои скорбные очи!..»

...Болгария надеется, что вы с достоинством будете защищать настоящее знамя и прославите его победами, а если надо, то геройски умрете на ратном поле...»

Они готовы были умереть на этом поле, но не отдать свой боевой стяг. Враг мог взять его только у мертвых. У мертвых, но не у живых...

Знамя передавали из рук в руки, пока оно не оказалось вынесенным из передовой линии. Древяно знамени было обломлено, а венчавшее его коные погнуто; полотнище во многих местах пребили пули. Тем дороже теперь оно было дружинникам.

Не дождавшись поддержки со стороны главного отряда, болгары отступили.

Лишь под вечер показался с частью своих войск генерал Гурко. Но было уже поздно.

Многих своих товарищей недосчитались дружинники в этот день. Погибло двадцать два офицера, восемьсот солдат было убито и ранено.

В кровавой купели приняло свое боевое крещение болгарское ополчение!

Запертая дверь

Остатки болгарских дружин вместе с отрядом генерала Гурко отступили в Казанлык. Здесь, перейдя Балканы, Передовой отряд начал свой победный марш по Долине роз. Здесь же и закончил.

Все — и друзья и недруги — признавали, что блистательный переход через Балканы останется одной из ярких страниц не только этой войны, но и военной истории вообще. Велик был и моральный эффект от появления наших войск в Забалканье: с одной стороны, оно поднимало освободительный дух у болгарского населения, а с другой — действовало деморализующе на противника, считавшего себя за Балканским хребтом и в прямом и в переносном смысле как за каменной стеной.

Отряд Гурко у Хаинкюя разделился на две части: пехота и кавалерия вместе с командиром отряда отступили через знакомое уже ущелье Хаин-богаз на Тырново, а болгарские ополченцы пошли на Шипку, заняв ее вместе с Орловским полком.

По старой русской пословице «За одного битого двух небитых дают», на Шипке сошлись двое «битых»; Орловский полк в июльских боях за перевал тоже потерпел немалый урон. Жаль, эти обстрелянные, уже прошедшие боевое крещение части не были пополнены.

Впрочем, за Шипку не особенно беспокоились. Какой резон туркам брать силой позицию, которую можно обойти хоть справа, хоть слева. Если при наличии многих дверей одна дверь окажется закрытой, какой смысл ломиться именно в эту плохо ли, хорошо ли, но закрытую дверь?

Правда, Шипкинская дорога через Балканы — одна из самых удобных и благоустроенных, и, возможно, неприятель сочтет необходимым взять ее в свои руки — на этот случай были выполнены кое-какие работы по укреплению боевых позиций. Но работы проводились без определенного общего плана, без учета важности той или другой позиции. И дело тут было не в беспечности или инженерной малограмотности командования.

Едва ли не месяц работал на Шипкинском перевале с саперной командой опытный и умный генерал-лейтенант Кренке. В помощь саперам было мобилизовано местное население, и выпадали дни, когда работало на перевале до пятисот и более болгар. Но что делала эта масса людей? Строила шоссе. Его успели довести не только до перевала, шоссирован был и южный спуск к деревне Шипка. Шоссе? Зачем шоссе — уж не затем ли, чтобы неприятелю удобнее было по нему наступать на нас? Надо было думать не о шоссе, а об укреплении Шипкинских высот!

Все правильно. Но кто сказал, кто знал, что враг пойдет на Шипку? Да, в Забалканье сосредоточилась прибывшая из Черногории армия Сулеймана-паши, на соединение к ней подходил корпус Реуф-паши, и почему бы не предположить, что эти войска могут по пятам отряда Гурко перевалить Балканы и двинуться на выручку осажденной Плевны. Но кто мог предполагать, что переходить через Балканы Сулейман будет обязательно че-

рез занятую русскими Шипку, а не через любой другой, свободный, незанятый перевал?

Шоссе строилось в дни победоносного рейда генерала Гурко по долине Тунджи. Оно было необходимо русским войскам на случай быстрой переброски подкреплений в Забалканье. Кто знал, что и вторая атака Плевны будет отбита. А ведь если бы Плевна пала, Гурко не надо было бы уходить из-за Балкан, на подмогу к нему можно было бы двинуть освободившуюся армию из-под Плевны. Вот тут бы шоссе очень и очень пригодилось! Но война есть война, и развитие событий на ней идет далеко не всегда так, как бы кому-то хотелось.

Вот так и получилось: где-то построили новые укрепления, а где лишь привели в порядок те, которые были возведены еще турками. Как наши, так и оставшиеся от турок ложементы были столь мелки, что солдаты могли укрыться за ними только сидя. Никаких бойниц, никаких блиндажей не было.

Шипкинскую позицию как бы составляло вновь устроенное шоссе. Фронт позиции, или ее южная сторона, примыкал к горе святого Николая, господствовавшей над всей местностью. На ней было поставлено три батареи с круговым обстрелом. У подошвы горы Николай по другую сторону шоссе возвышалась Турецкая, или Сгальная, батарея, названная так потому, что досталась от турок и состояла из шести стальных дальнбойных орудий. Чуть в глубине, в тылу, стояли по обеим сторонам шоссе еще две батареи — Круглая и Полукруглая.

Позиция наша имела и свои выгоды, и свои уязвимые места. Несмотря на всю малочисленность защитников, позиция все же как бы запирала шоссе, а это было очень важно, учитывая гористую местность. В чистом поле, если дорога заперта, взял да и обошел. В горах обойти не так просто: на гору тебя могут не пустить, а пойдешь низом — сверху легко взять на прицел.

Уязвимость же была в том, что как бы параллельно шоссе, идущему по гребню, увенчанному горой Николай, и справа и слева на расстоянии полутора-двух верст тянулись другие горные хребты: с левой, восточной стороны — так называемые Бердекские высоты, а с правой, западной — Лесная и Лысая горы. И если Николай господствовал над окружающей его местностью, то Лысая и Большой Бердек господствовали над самим Николаем. А это значит, что, достаточно было неприятелю занять

эти господствующие высоты (что турки потом и не преминули сделать), вся наша позиция могла простреливаться насквозь ружейным и артиллерийским огнем. Получалось так, что с соседних высот мог быть взят на прицел буквально каждый наш защитник, будь то солдат или офицер.

Остается добавить, что точно так же простреливалась наша позиция и на всю глубину обороны, составлявшую около двух с половиной верст. Сюда следует приплюсовать еще столько же расстояния по шоссе, идущему на перевал из Габрова.

Что же в итоге получалось? Сообщение наших позиций с Габровом шло по шоссе и только по шоссе, но, чтобы со стороны Габрова добраться до высшей точки Шипкинского перевала — горы Николай, надо было последние пять верст проходить под непрерывным прицельным (целиться туркам никто не мешал) огнем. Где укрыть резервы? Где устроить пункт первой помощи раненым? Как снабжать фронтную позицию патронами, снарядами, продовольствием, наконец, водой? Да, да, и водой. Будем помнить, что дело происходит в начале августа и не под Вологдой, а в южной стране: ночью ничего, а днем жажда мучает больше, чем голод. Источники же на горных вершинах не бьют, надо спускаться вниз. Спускаться опять-таки под неприятельским огнем.

Но тогда зачем же отдали туркам соседние высоты?

Мы подошли к главному. Кто держал оборону Шипкинского перевала и какие силы противостояли обороняющимся?

Шипкинский отряд составляла, в сущности, небольшая горстка людей: два батальона, или десять рот Орловского полка и пять дружин болгарского ополчения при двадцати восьми орудиях. Еще прислано было из упраздненного отряда Гурко три сотни казаков, но лошади у них были так измучены, что казаки не могли быть использованы по прямому своему назначению. Если все это сложить вместе, то общая численность отряда едва ли будет превышать три тысячи. Как этими более чем скромными силами держать оборону целого перевала? Оборонительная линия за недостатком защитников и так местами была не сплошной, а шла с перерывами — где уж тут было занимать соседние высоты?! Тем более что соединялись эти высоты с центром позиции лишь узкими,

да и то простреливаемыми перешейками, так что неприятелю ничего не стоило их отрезать и окружить.

А теперь посмотрим, что происходило в долине Тунджи и какие силы шли оттуда на Шипку.

В течение многих дней через перевал тянулись бесконечные обозы беженцев. Одни шли, навьючив уцелевших волов и лошадей домашним хламом, который удалось выхватить из дому, завидев приближающихся башибузуков. У других ни коня, ни вола, никакого имущества, видимо, выскочили в чем есть. Брели осиротевшие дети: эти потеряли родителей, у тех отец и мать зарезаны, спаслись только они сами. Неожиданно прошла веселая, постоянно улыбающаяся женщина. У нее был муж и шестеро детей, турки на ее глазах порешили всех. Как (да и зачем) уцелела она, никто не знает, сама она тоже сказать не может — несчастная сошла с ума. Идет, смеется, пока не увидит ребенка, а увидит, зарыдает, упадет на колени и начинает биться головой о землю...

Когда менялся ветер и начинал дуть из Долины роз, то не запах роз нес он с собой, а запах гари и трупного зловония. По долине стлался густой дым — горели подожженные башибузуками болгарские села и деревни. С перевала долина просматривалась далеко, до самого Казанлыка, и на всем этом пространстве неистовствовали передовые отряды турок, злобно мстя болгарам за то, что они недавно так радушно встречали русских. Можно представить, что там творилось!

Пожарами и поголовным истреблением болгар Сулейманово войско как бы возвещало свой приход в долину Тунджи.

А 7 августа взору защитников Шипки предстала и сама армия. От Николая было видно, как с горного хребта Малых Балкан, который отделял долину Тунджи от долины Марицы, табор за табором сползали густые массы войск и медленно растекались по равнине.

Восточнее города Казанлыка Сулейман выстроил свою армию в три линии, в каждой по 14 таборов. И хотя армия находилась от перевала в расстоянии не меньшем, чем двенадцать верст, в бинокли хорошо видны были каждый из 42 таборов.

— Сулейман делает парад своим войскам в нашу честь, — пошутил кто-то из офицеров.

— Скорее другое: зная, как велико наше войско, он развертывает свои силы, чтобы нас застраховать...

Шуткам никто не засмеялся. Офицеры бодрились как могли, но все понимали, что дело принимало далеко не шуточный оборот.

В деревне Шипке, расположенной у подножия перевала, стояла болгарская дружина, а на полугоре южного склона занимала позицию сотня уральских казаков. До селе те и другие использовались для рекогносцировок и отражения случайных отрядов башибузуков. Теперь, перед лицом надвигающейся армии, оставлять их на прежних местах не имело никакого смысла. И генерал Столетов распорядился ополченцев и казаков поднять на перевал, на главную позицию.

Между тем армия Сулеймана медленно, но неотвратно двигалась к перевалу.

Столетов написал донесения генералу Дерожинскому в Габрово и генералу Радецкому в Тырново, в которых извещал о появлении турецкой армии и решительном намерении неприятеля атаковать Шипку. В Габрове оставалось еще пять рот Орловского полка, и Столетов заключил донесение просьбой о присылке подмоги. Присутствовавший при этом генерал-лейтенант Кренке заметил, что формулировку о намерении Сулеймана атаковать именно Шипку следовало бы несколько изменить, сделав ее не такой категоричной. Опасность угрожает одинаково и Шипке и Габрову, куда неприятель может пройти через соседнюю с Шипкой Янину и затем Трявну. Может быть, Сулейман пойдет прямо на Габрово; может быть, он атакует одновременно и Шипку и Габрово — что же будет, если Габрово останется без защиты?.. Доводы были резонными, и с ними пришлось согласиться. В донесении вместо слов о решительном намерении атаковать Шипку Столетов написал, что Сулейман-паша, по видимому, намерен атаковать Шипку.

Поведение неприятеля как бы подтверждало эту неопределенность. Турецкая армия приближалась к подножию Балкан как раз в среднем между селениями Яниной и Шипкой направлении. До Янины турки немного не дошли. А достигнув Шипки, они ознаменовали свой приход тем, что середь бела дня без всякой причины и надобности зажгли селение.

Весь следующий день защитники перевала провели в напряженном, но, как оказалось, напрасном ожидании. Похоже, Сулейман ждал еще каких-то подкреплений. И действительно, в скором времени к Шипке были стя-

пути из разных мест еще несколько отрядов, а затем подошел корпус Реуфа-паши, так что общая численность войск теперь доходила едва ли не до ста таборов пехоты с соответственным количеством горных и полевых орудий. Надо полагать, турецкие полководцы стягивали такие огромные силы к Шипке, чтобы действовать наверняка, чтобы не просто сбить с перевала русских и овладеть им, а протаранить жидкую цепочку обороны и всей огромной массой идти, не останавливаясь, дальше — на Габрово, а оттуда к осажденной Плевне.

Султан приказал Сулейману и Реуфу-паше во что бы то ни стало отбить у русских Шипкинский проход и даже, говорили, самые ущелья и горы его по-восточному велеречиво назвал своим сердцем. Сулейман и Реуф, в свою очередь, дали клятвенные обещания султану, что они очистят Балканы от неприятеля и придут на помощь своим Придунайским армиям.

Да и отчего было скупиться на обещания-клятвы турецким полководцам?! Если мы имели самое смутное представление о движении и численности армии Сулеймана за Малыми Балканами и теперь вот гадали, когда и куда направит он свой удар — на Шипку или на соседние — Хаинкиойский и Иметлийский — проходы, то турки-то отлично были осведомлены не только о наших малочисленных силах на Шипке, но и знали, что если сюда и будут посланы подкрепления, то прийти они смогут не раньше чем через три дня. А трех дней более чем достаточно для того, чтобы 60-тысячная армия успела сбить с Шипкинских высот жалкую горстку защитников. Да что сбить — стереть в порошок и развеять по ветру. Ведь это только считалось, что Шипку защищает полк и пять дружин. Полк в июльских боях за перевал понес немалые потери, но не пополнялся. Что же до болгарских дружин, то сюда из-под Старой Загоры пришли лишь их остатки. Правда, дружины успели пополнить пятюстами ополченцев, но это были необстрелянные, не успевшие пройти даже элементарной подготовки новички.

Так что можно было давать любые клятвы.

Между прочим, потом станет известно, что Сулейман, зная о ничтожном числе защитников Шипки, одновременно с приказом начинать наступление на перевал распорядился послать султану донесение о его взятии. Вот какая твердая уверенность была у неприятеля в своей победе! Да и кто мог усомниться, кто мог сказать, что для

такой уверенности не было достаточных оснований?! Десять против одного, и то многовато. На каждого защитника Шипки приходилось едва ли не двадцать врагов...

Поздно вечером генерал Столетов, которому было поручено общее командование обороной перевала, собрал у себя в палатке, на склоне горы Николай, что-то вроде военного совета.

На войне не знаешь, что может произойти через час, тем более нельзя предугадать, как сложится завтрашний бой. Неизвестно даже, будет ли он вообще. Нынче вот прождали целый день, а никакого боя не было. Ничего нельзя заранее планировать, трудно хоть что-либо заблаговременно предусмотреть. И все же с незапамятных времен полководцы заранее составляют подробные диспозиции, оговаривают детали предстоящего боя, пытаются предугадать действия неприятеля и обдумывают меры своего противодействия, то есть, в сущности, все-таки пытаются планировать нечто не поддающееся никакому планированию.

Еще накануне была в подробностях оговорена общая диспозиция, по которой гору Николай занимает батальон Орловского полка с батареей под начальством полковника графа Толстого. Другой батальон орловцев занимает ложементы на правом фланге (против гор Лесной и Лысой) и одновременно составляет прикрытие Центральной и Круглой батареям. Три дружины болгарского ополчения занимают левый фланг (против Бердекских высот). Правым флангом и тылом командует полковник Дебрерадович, левыми ложементами — полковник князь Вяземский. Три роты орловцев и две болгарские дружины с четырьмя орудиями составляют резерв с местонахождением у подошвы горы Николай.

На нынешнем совете уточнялись детали, обсуждались возможные варианты течения и даже исхода боя. Что и кому следует делать в этом случае, что и кому в том.

Вызвал разногласия вопрос, кто должен распоряжаться резервом. Поначалу предлагалось командиру первой болгарской дружины подполковнику Кесякову, поставленному во главе резерва, давать помощь по требованию начальников отделов обороны, то есть начальника фронта, правого фланга и левого фланга.

— При таком порядке к исходу первого же часа боя

от резерва может ничего не остаться, — возразил на это начальник штаба полковник Рынкевич, поддержанный генералом Кренке.

— Поясните свою мысль, — попросил князь Вяземский.

— Начальник того или другого участка фронта по чувству самосохранения будет просить помощи, и резерв может получить неправильное назначение. Он должен состоять в личном распоряжении командующего всей позицией и расходоваться только по его личному распоряжению.

С этим все согласились.

— Следовало бы заблаговременно договориться и вот о чем, — сказал Кренке, и все приготовились внимательно выслушать старого генерала. Он вызывал уважение у офицеров и солдат и своими умными советами, а также тем, что и теперь продолжал оставаться с ними на перевале. — Мы можем отбить двадцать, тридцать атак, но на тридцать первой наша длинная линия может оказаться прорванной и потому в этом крайнем случае надо знать, куда собираться отряду.

— Я уже думал об этом, — отозвался Столетов, — и выбрал редюитом * гору Николай.

— Вы что же, Николай Григорьевич, хотите добровольно отрезать себя от сообщения с Габровом?

— Но гора Николай командующая, — напомнил Столетов.

— Это так, — согласился Кренке. — Но если гарнизон останется без зарядов, без хлеба и воды, долго ли он накомандует. К тому же тыл Николая полностью открыт для огня неприятеля.

— К сожалению, любая наша позиция доступна неприятельскому огню, — с тяжелым вздохом проговорил Столетов, но в конце концов все же уступил доводам старого опытного генерала.

Решено было считать редюитом Круглую батарею вместе с тыльным укреплением.

Возможно, следовало бы заодно оговорить и порядок отступления, принимая во внимание явно превосходящие силы противника — ничего зазорного или малодушного

* Редюит — последнее убежище обороняющегося, внутренний опорный пункт, огонь из которого должен мешать победоносному противнику утвердиться на захваченных им участках обороны.

в этом не было: ведь диспозиция должна предусматривать не только лучшие, но и самые наихудшие исходы боя. Однако же слово «отступление» на совете никем ни разу не было произнесено. Тем самым как бы само собой подразумевалось, что каждый будет защищать свою позицию до конца, до последнего.

Окончился совет уже за полночь.

Мало кто спал в ночь на 9-е на Шипкинском перевале. Зарево пожаров бросало кровавый отблеск на вершины. То и дело раздавался треск ружейных выстрелов на южном склоне. Главное же, все знали, чувствовали, что каждый час, каждая минута неумолимо приближают их к сражению, из которого если и не всем, то многим и многим наверняка не выйти живым.

В русском военном лексиконе еще со времен Суворова редко употреблялись такие слова, как «битва» или «сражение». Куда чаще в ходу было скромное словечко «дело»: дело под Рымником, дело под Фокшанами. Битва — это если Полтавская, сражение — разве что Бородинское, побоище — так уж Ледовое. Завтрашний бой пока еще рано считать сражением, но и обычным делом его тоже вряд ли назовешь. Занимали перевал солдаты и офицеры уже достаточно обстрелянные, побывавшие не в одном жарком деле. Но никому из защитников еще ни разу не приходилось участвовать в такой воистину смертельной схватке, когда каждому воину уже заранее известно, что против него по ту линию фронта стоят два десятка врагов...

Этот день принадлежит истории...

Вспомним, братцы, как стояли
Мы на Шипке в облаках!

*Песнь защитников Шипки в
1877 году*

В семь часов утра турки начали атаку.

С Лесной и Лысой гор, которые неприятель занял накануне, потекли-потекли вниз стройные колонны в красных фесках. Одновременно густые таборы тронулись по шоссе к подножию Николая. Наши артиллеристы ударили картечью в самую гущину наступающих, и турки отхлынули, оставив десятки убитых и раненых. Но тут же новая волна грозно покати́лась-покати́лась на наши позиции и, дохлестнув до подошвы Николая, начала заливать

его нижние ярусы. Новые оружейные и ружейные залпы остановили темно-синий с красным гребнем вал, и он не сразу, словно бы нехотя, но тоже откатился. И точно так же, как морская волна, отливая, оставляет после себя пену на прибрежной полосе, неприятель, отступая, оставлял на поле боя ряды трупов, и эти ряды, сначала редкие, с каждой новой атакой уплотнялись.

Чтобы не давать защитникам перевала никакой передышки, атаки пошла почти без перерыва. Высылалась густая цепь солдат, а через небольшое время следом за ней шла новая. И когда после страшного для турок штыкового удара первая цепь откатывалась, то наши солдаты, преследуя противника, натыкались на его свежие силы. А там уже новая лавина неотвратимо двигалась на наши позиции...

Особое упорство проявили гурки в атаках за шоссе. Прекрасно понимая, что их продвижение по шоссе неизбежно изолировало, отрезало сердцевину нашей позиции — гору Николай, они бросили сюда огромные силы. Спасли заблаговременно заложенные здесь фугасы. Правда, первый фугас был взорван неудачно — слишком рано, но и то неприятель в паническом ужасе шархнулся враспышную. Психический эффект был так велик, что османы не сразу отважились на повторение атаки. Турецкому командованию пришлось прибегнуть к крайней мере: в колоннах появились люди в белой одежде — муллы. Муллы размахивали руками и истошно вонили «алла!», должно быть, внушая турецким солдатам, что аллах непременно поможет им пройти целыми и невредимыми это ужасное место и одолеть неверных.

Второй и третий фугасы взорвались в самой середине неприятельских колонн и произвели столь страшное опустошение, что в этот день атаки на шоссе уже не возобновлялись.

Но тем неистовее турки лезли на другие позиции. Несмолкаемый ни на минуту треск ружей сливался в один общий хаотический шум. Казалось, тысячи невидимых молотков вбивают в горы тысячи гвоздей. Вбивают час, вбивают два и три часа, и нет этому конца... Заунывные крики «алла!», громкое утробное, но постепенно слабеющее «ура!», стоны раненых — все тонуло в ружейной трескотне и грохоте орудий.

Бельмом на глазу у турок была доставшаяся от них же Стальная батарея. И урон своим огнем она ощутимый

наносила, и досадно, надо думать, было неприятелю, что стреляют по нему из его же пушек. И, потерпев неудачу на правом фланге, чему в немалой степени способствовал меткий огонь Стальной, турки с удвоенной энергией кинулись теперь на левый фланг обороны, в первую очередь на батарею.

Длинные и густые цепи неприятеля спускались с ближайших лесистых высот в открытую долину, быстро перебежали ее и с криками «алла!», под звуки барабанов и рожков, игравших «атаку», настойчиво, с поразительной ловкостью и упорством карабкались на кручу (сказывался боевой опыт, приобретенный воинами Сулеймана в Черногории!). Огонь изреживал неприятельские ряды, натиск постепенно слабел, и разрозненные остатки атакующих скатывались назад, в лощину. Но раздавался звук рожка, наигрывающего наступление, крики «алла!», и на смену отступившим шли новые и новые цепи и с нарастающей раз от разу настойчивостью штурмовали наши позиции.

Редел не только турецкие, но и наши ряды, и последующие приступы приходилось отбивать уже штыками. В одном месте пятнадцать болгарских ополченцев опрокинули и погнали сто восемьдесят турок; «ура!», с которым они кинулись в штыки, неожиданно и для них самих и тем более для турок получилось уж очень громогласным — это занимавшие соседнюю позицию орловцы, не имея возможности помочь своим братьям штыком, воодушевляли их громким боевым кличем. Ну а чем громче «ура!», тем оно, вонятое дело, страшнее для неприятеля: туркам показалось, что не пятнадцать, а по меньшей мере сто пятнадцать солдат на них обрушились.

А один из ополченцев, Леон Крудов, в тяжелую для своей дружины минуту с неразорвавшейся турецкой гранатой в руке выскочил из ложемента и со словами «Что ж, братцы, умирать так умирать!» бросился в турецкую колонну. Граната, которую он кинул оземь, разорвалась очень удачно: побив много турок, она самого героя лишь слегка задела за щеку. Главное же, взрыв гранаты принес огромный эффект: турки, говоря солдатским языком, тут же «дали драла»...

Сколько атак было предпринято за день? Кто насчитал десять, а кто и больше. Расхождение вполне понятное: под пулями не мудроно и со счета сбиться. Достаточно сказать, что последняя атака, особенно упорная,

если не сказать отчаянная, была сделана уже почти в темноте...

Но не будем забегать вперед. До темноты еще долго. Солнце стоит в зените и печет немилосердно. В тени и то, наверное, около сорока градусов — сколько же здесь, на раскаленных камнях брустверов?! И никуда не спрячешься. Прятаться надо не от солнца, а от вражеской пули.

Солдаты с утра без еды, а еще хуже того — без воды. Мучает жажда, а воды ни капли. За водой надо спускаться вниз под перекрестным огнем неприятеля. И нет времени, чтобы сходить за водой, а если и пойдешь — вернешься ли обратно. Нередко фляжка воды стоит жизни.

Неприятель постоянно освежает свои атакующие ряды новыми силами. У нас некому заменить даже убитых и раненых. Мы не можем отвести раненых на перевязочный пункт: весь путь туда, как, впрочем, и сам медицинский пункт, простреливаются. Понесут двое раненого товарища, а по дороге их самих ранят или вовсе убьют. Зная это, нетяжело раненные солдаты или перемогаются в ложементях, или идут на перевязку без провожатых: санитары больше чем наполовину перебиты, каждый солдат на счету...

Если в первой половине дня турки, ведя наступление по всему фронту, все же перенесли центр тяжести то на одно, то на другое крыло наших позиций, словно бы прощупывая крепость обороны, то теперь они повели планомерные атаки уже по всей линии. Похоже, это была ставка на изнурение тающей горстки защитников. Если до этого один фланг мог подать помощь другому артиллерийским или ружейным огнем, то теперь ни на какую помощь со стороны рассчитывать было уже нельзя. Да и какой-либо передышки отдельные участки обороны лишались начисто. Одна атака шла за другой. Чуть дрогнет вражеская цепь под нашим огнем, заиграл рожок, и под его музыку словно из-под земли вырастает новая линия атакующих. Турки в этот день играли только три сигнала: «наступление», «сбор» и «убит начальник».

Во второй половине дня заработали, загрохотали установленные на соседних высотах турецкие батареи, и под их смертоносным огнем стало еще труднее останавливать грозные волны атакующих. Все чаще и чаще эти волны доходили, доплескивали до наших ложементов. И тогда оставалось лишь одно спасение — дружное «ура!» и русский штык. Турки не выдерживали штыково-

го удара: поглядеть издали — их словно разом смывало с наших позиций вниз. Но каждый такой выход из укрепления для штыковой контратаки убавлял и без того малое число защитников: выходя из укрытий, солдаты оказывались под прицельным огнем неприятеля, занявшего соседние высоты. Да и атаки были столь неистовы, что турки хватались за наши штыки, стягивали к себе наших солдат и тут же моментально рубили их на куски.

Неумолчно свистят пули, рвутся снаряды. Донимает несусветная жара. Мучит жажда. Вся еда — сухарь, но и он не лезет в пересохшее горло. Откуда брать силы, чтобы выстоять в этом крошечном аду? Если есть предел всему, есть он, этот предел, и человеческой выносливости и терпению.

Физические силы защитников перевала давно уже подошли к своему предельному рубежу. И если что еще и удерживало их на прежних позициях, так это разве сознание, что им не столько нужно умереть на крутизнах Николая, сколько удержать здесь наступающую армию. За ними была не одна Северная Болгария, куда рвался враг, за ними была Россия, ее честь и слава.

Генерал Столетов приложил к глазам бинокль. Что такое? Почему так странно начала вдруг растягиваться вражеская цепь перед возвышенностью, на которой стоит Круглая батарея? Фланги турецкой цепи постепенно огибали подножие горки, вот уже охватили ее полукольцом, и полукольцо это продолжает расти, прибавляться, угрожая превратиться в полное замкнутое кольцо.

— Немедля к подполковнику Кесякову! — приказал Столетов последнему оставшемуся при нем ординарцу. — Выступить с остатками резерва на подмогу Круглой батареи, не дать неприятелю окружить ее!

Ординарец не мешкая полетел исполнять приказание.

Ну вот, теперь все. Теперь каждому командиру надо рассчитывать только на собственные силы. Резервы исчерпаны...

Столетов командовал обороной с главного опорного пункта наших позиций — с горы Николай.

Утром далеко и ясно было видно отсюда окрест, а сейчас за клубами дыма, за разрывами снарядов временами плохо просматривались даже ближние позиции. И во вре-

мя контратак, когда наши ряды мешались с вражескими, нельзя было понять, кто же кого пересиливает, кто кому уступает. Оглушительно трещали ружейные залпы, пушки изрыгали огонь и дым, снаряды, разрываясь, вздымались в небо целые облака земли...

Какой даже самой умной диспозицией можно предусмотреть все, что сейчас происходит на перевале?! Как можно было это заранее, еще вчера или позавчера себе представить? Пустой вопрос! Но не будь той диспозиции, того приблизительного и пусть теперь во многом уже перекроенного плана боя, возможно ли было бы вообще управлять им, вмешиваться в его постоянно завихряемое течение?!

Не каждую минуту, так каждый час обстановка меняется, и, если командиры на местах стали бы каждый раз ждать новых распоряжений, турки уже давно бы оседлали перевал.

С командиром огневых позиций на Николае графом Толстым Столетову сноситься было просто; с командирами флангов полковником Депперадовичем и князем Вяземским связь поддерживалась с большим трудом — все по той же причине сквозного прострела неприятелем всей нашей линии. Но еще больше тревожило командира Шипкинской обороны отсутствие постоянной связи с вышестоящим начальством. На донесение командиру корпуса генералу Радецкому о появлении турок под Шипкой и просьбу о помощи никаких определенных действий пока не последовало. Вчера он послал в штаб, в Тырново, еще одного офицера, и тот привез разрешение забрать из Габрова последние пять рот Орловского полка. Ночью роты пришли на Шипку. Но разве такая подмога требуется защитникам перевала? Это же капля... капля против моря. Надо немедленно послать нового гонца, надо, чтобы там услышали наш крик о помощи... Если и не придет подкрепление, все равно будем драться, драться до конца. Подкрепление нужно не для нашего спасения — оно необходимо для спасения Шипки...

Солнце уже начинало клониться к закату, а бой все еще не утихал. Разве что пушки стали стрелять не сплошь, не подряд, а с перерывами да атаки стали не такими частыми. Но по-прежнему то на одном, то на другом участке обороны все еще возникали крайние, критические ситуации. Надо было не проглядеть, вовремя заметить их и вовремя же прийти на помощь то ли огнем

с соседних позиций, то ли, как сейчас, посылкой хотя бы небольшого резерва. Столетов уже не раз убеждался, что посылка даже совсем ничтожной подмоги в каких-нибудь двадцать-тридцать штыков производит большое воодушевляющее воздействие: нас не забыли, о нас помнят! — и словно сил прибавляется у изнемогающих ратников.

Вот и сейчас стоило подойти Кесеякову со своими дружинниками к Круглой, как воспрянувшие духом защитники сначала разрубили, расчленили, а потом и совсем смяли и отбросили неприятельскую цепь. От полукольца, которое грозило превратиться в кольцо, остались лишь отдельные обрывки... Турки, конечно, повторяют — может, и не раз — свою атаку на батарею, уж очень она им мешает, уж очень ее позиция выгодная: батарея имеет круговой обстрел, за что и названа Круглой, — но теперь моральный перевес на стороне защитников, теперь им держаться будет легче...

Эх, если бы еще пять рот — ладно, не пять, хотя бы три роты — резерва! По роте на фланги, одну сюда, на Николай, можно бы жить, можно бы держаться...

Целый день — и какой день! — без еды и без воды... Такой страшной усталости, такого крайнего утомления солдат Столетову еще не приходилось видеть. Тяжело было на маршах под палящими лучами солнца, в песках Зааралья, под Красноводском, где он прослужил не один год. Но там против людей чаще всего были только пески да солнце...

Будь силы хоть мало-мальски равными, можно бы ждать, надеяться, что и турки тоже ведь люди, а не железные машины — в конце концов устанут, утомятся. Но Сулейман методично заменял отбитые части свежими, еще не бывавшими в деле таборами. Одна и та же наступающая на Николай цепь за два часа обновлялась, освежалась шесть раз! Здесь был явный расчет именно на то, что русские, как бы они стойко ни защищались, рано или поздно устанут, изнемогут. А чтобы это произошло пораньше, надо, не давая им передышки, непрерывно атаковать.

Наконец-то красное дымное солнце скатилось за дальние отроги Балкан. Начало смеркаться. Бой стал затихать. Еще немного, и можно будет вздохнуть свободно. Кажется, выстояли...

Но что это за дикие, пронзительные вопли слышатся

от Стальной батареи? И что за темные массы копошатся, перетекают по склонам горы, на которой она стоит? Неужто еще одна атака? Но тогда это будет едва ли не самая опасная за весь день атака: в сумерках плохо видно, стрелять защитникам можно голько наугад, и если эта сплошная черная лавина доплеснет до наших ложементов, она все затопит, задавит своей массой. И артиллерией с соседних позиций нельзя помочь: плохо видно, можно ударить по своим. Лучше видно с самой Стальной батареи, но турки карабкаются по крутым склонам, а это для пушек мертвое пространство: пушка не ружье, ее под любым углом не поставишь, не наклонишь...

Столетов вскочил на стоявшего под ближним деревом коня и поскакал к Стальной батарее.

...Действительно, это была самая решительная и, пожалуй, самая опасная за весь день атака. Как потом стало ясно, она и готовилась турками едва ли не весь день. После каждого отбитого приступа в мертвом, недосягаемом ни для артиллерии, ни для ружейного огня пространстве под крутизнами оставалось по несколько десятков неприятельских солдат. Новая атака — новая группа оседала в укромном месте. Так турки копились да копились. А когда их набралось уже достаточно много, они дождались темноты и под ее покровом двинулись вверх на штурм наших позиций. Знакомое «алла!» огласило окрестности, оно долетело и до позиций на Николае...

Несколько ружейных залпов на какое-то время приостановили движение густой массы. Но целиться было очень трудно, урон неприятель потерпел не очень большой, и вскоре атака возобновилась.

Что делать?

— Если бы хоть один залп можно было дать из пушек! — в отчаянии воскликнул кто-то из артиллеристов.

— А может, сделать так... — отозвался другой и, взяв картечный снаряд, ухнул его вниз.

Грохот взрыва потряс горы, эхом отозвался в ущельях, заглушил громкое «алла!».

За первым снарядом полетели вниз второй, третий... Орловцы и болгарские ополченцы отваливали большие камни и тоже обрушивали их на головы атакующих. Теперь их ряды заметно поубавились, но оставалось турок в сравнении с нами все еще так много, что они дошли, добрались до наших позиций.

Солдаты знали, что никаких резервов не осталось. На-

до было рассчитывать только на собственные силы. В «резерве» оставалось разве лишь «ура!» и русский штык; или отбросить врага, или умереть на месте. Вот уже и слышна последняя команда, которая как бы прошла незримой чертой между жизнью и смертью:

— Не стрелять! В штыки! Ура!

Плечом к плечу орловцы и болгары вышли из ложементов.

— Ур-ра-а!

— Алла!

«Ура!» звучало все громче и громче и постепенно заглушило «алла!».

Турки сражались с поразительным упорством. Оно и понятно: не для того они выжидали целый день, чтобы не солоно хлебавши повернуть назад. Но и орловцы с болгарками не для того отбили за день десять, если не больше, атак, чтобы в этой, последней, уступить врагу.

У турок еще какой-то выбор был: столько раз их уже вынуждали отступать — такая ли уж великая беда отступить и сейчас? У защитников батареи выбора не было: победа или смерть!..

Немногим участникам коварной атаки удалось вернуться в свое расположение.

Так закончился этот ужасный день — первый день героической обороны Шипки.

Каждый уходящий день принадлежит прошлому. Но далеко не каждый день принадлежит истории. 9 августа 1877 года, как потом будет написано в газетах и книгах, принадлежит истории. И славу этого исторического дня по праву разделили со своими русскими братьями болгарские ополченцы.

Столетов вместе с начальником штаба полковником Рынкевичем объезжали позиции. Надо было иметь точные сведения о потерях и найти замену выбывшим из строя офицерам; надо осмотреть повреждения в наших укреплениях от вражеской артиллерии и принять меры к их скорому исправлению. Ясно было, что этот первый день не будет последним, что турки завтра возобновят наступление.

Потери убитыми и ранеными у нас были значительными. И хотя урон турок был в десять раз больше, превышая общее число всех защитников перевала, это могло служить нам слабым утешением. Неприятель по-прежнему превосходил нас во много-много раз.

Понимал ли Сулейман-паша, этот, по отзыву всех его знавших, «суровый, непреклонный волею, начитанный и талантливый полководец», понимал ли он, что его концентрированные атаки при всей великой для нас опасности были и нашим же спасением. Достаточно было противнику рассредоточиться, удлинить линию фронта и вместо нескольких атак в одном месте провести пусть по одной, но в нескольких местах — не в том, так в другом пункте оборона могла быть прорвана... Скорее всего турок подвела слепая и заведомая уверенность в своем абсолютном превосходстве. Они еще до начала боя в своих диспозициях и в своих мыслях уже взяли Шипку и, когда атака не удавалась, считали это не более как досадным недоразумением и посылали новую, свежую цепь. Посылали с прежней непоколебимой верой, что новый приступ будет обязательно победным. Ну а если и его отбили, следующей-то определенно окончится захватом неприятельских позиций, тем более что на них к тому времени и защитников уже не должно оставаться...

Вполне возможно, что именно так рассуждал неприятель, начиная и чем дальше, тем упорнее повторяя свои атаки. А уж потом не мудрено и впасть в азарт. Обычный азарт игрока, когда он видит, что проигрывает, но фанатично удваивает ставки: сейчас, именно сейчас, поставив на эту «счастливую» карту, он обязательно отыграется...

Нынче туркам сорвать банк не удалось. С тем большей непреклонностью они будут пытаться делать это завтра.

Уже совсем стемнело, а ружейная пальба все еще не прекращалась. У наших измученных солдат не осталось ни сил, ни лишних патронов. Палили турки. Им было и чем стрелять, и кому заменить в окопах уставших стрелков: в армии Сулеймана, поди-ка, осталось немало солдат, которым нынче и выстрелить-то не пришлось, вот они сейчас душу и отводят. И не просто душу отводят — не дают после такого дня нашим ратникам ни сна, ни отдыха и ночью.

Впрочем, солдатам было не до отдыха. Надо было раненых товарищей в тыл отвести. Надо было поправить разбитые ложементы, иначе завтра их турки смогут взять, что называется, голыми руками.

А когда и спать повалились, несмотря на страшную усталость, сон был выбким, неглубоким, не сон, а тяжелое забытие. Нечеловеческое нервное напряжение дня все еще не уходило, все еще давало себя знать. Многие кричали во сне: они все еще шли в штыки на неприятеля...

Памятная встреча

Плохо спалось в эту ночь и Николаю Григорьевичу Столетову.

Стоило закрыть глаза, как сразу перед мысленным взором одна за другой вставали кровавые картины нынешнего дня, а в ушах начинал звенеть играющий атаку рожок и следом истошное «алла!». В груди начинало теснить, дыхание непроизвольно прерывалось, словно бы переставало хватать воздуха. И лишь когда шум битвы покрывало «ура!» и неприятель откатывался от наших позиций, из груди вырывался вздох облегчения.

Потом рядом с нынешними стали возникать в памяти другие, чем-то на них похожие картины. Вот ложементы горы Николай, а вот редуты Севастополя... Там тоже гремели пушки и лилась кровь, там тоже ходили в штыки, но то ли оттого, что прошлое всегда мы видим как бы через смягчающую дымку времени, то ли потому, что было это в молодости, но воспоминания о Севастопольской обороне не били по натянутым нервам, а даже успокаивали. Дышалось и то словно бы ровнее и легче. И, отдавшись во власть воспоминаний, генерал Столетов сквозь даль времени увидел на редутах Севастополя молодого волонтера-фейерверкера * Столетова...

...Как он радовался, получив назначение в действующую армию! Будто не на войну, а в увлекательную прогулку отправлялся.

Дома все — и отец с матерью, и братья с сестрами — дружно отговаривали его. Отговаривали вообще не поступать в военную службу, а «устроить себя получше». Владимирский купец третьей гильдии Григорий Столетов мечтал, «чтобы сыновья прежде всего пошли в крупное учение». (Он даже дочерей выдал замуж за окончивших университетскую науку.) Старший из сыновей, Василий,

* Фейерверкер — нижний чин в артиллерии, равный по званию унтер-офицеру в других родах оружия.

по окончании Владимирской гимназии поступил в Московский университет. Этой проторенной дорожкой за ним зашагали и он, Николай, и младшие братья Александр и Дмитрий. Александр и впрямь пошел в крупное учение: стал известным физиком, преподавал в том же Московском университете, работал в Гейдельберге, Геттингене и Берлине. Николай же, а потом по его примеру и Дмитрий после университета, к большому огорчению родителей, пошли в военную службу.

Решение посвятить себя военному делу созрело и укрепилось в Николае еще до университета. Еще когда ему было всего четырнадцать лет, он объявил, что будет военным, и стал готовить себя к этому: вел спартанский образ жизни, закалялся, запоем читал военно-историческую литературу. Родители еще и еще раз пытались образумить сына, отговорить его от опрометчивого, как им казалось, юношеского решения, но ничто не помогло. Тихий, застенчивый от природы Николай проявил удивившую родителей твердость. «Позвольте мне самому распорядиться своей судьбой», — сказал он, и, хотя прозвучало это, наверное, излишне торжественно, родители поняли, что решение сына окончательное, и больше к этому разговору не возвращались.

В двадцать лет мечта его сбылась.

Ускорила дело начавшаяся война с Турцией.

Сразу же по окончании университета, летом 1854 года Николай определился в 10-ю артиллерийскую бригаду фейерверкером.

Участие в постоянных боях под Севастополем скоро из вчерашнего студента сделало закаленного воина. А известное дело под Инкерманом дало ему солдатский Георгиевский крест и офицерский чин.

Как-то поздней осенью 1854 года вскоре после Инкерманского сражения произошла у Николая Столетова памятная на всю жизнь встреча.

Командир батареи, в которой служил Столетов, приказал ему развести по мелким позициям бригады различные, в том числе и важные, приказы, а также денежное довольствие. Команда из нескольких нижних чинов, которую возглавил Столетов, вышла под вечер. Скоро наступила темнота, к ней прибавился густой туман. Не мудрено, что группа сбилась с пути.

И час и два они двигались в кромешной мгле и полной тишине, потом впереди послышались голоса. Кто-то

из команды, не расслышав слов, громко отозвался вопросом; голоса повторились, и на этот раз довольно ясно слышна была французская речь. Когда же из команды, то ли не расслышав, то ли не поняв, кто перед ним, опять задали свой вопрос, в ответ над головами зажужжали пули. Пришлось круто свернуть и изменить направление.

Прошло еще около часа, тишина опять была нарушена раздавшимися впереди голосами. На этот раз Столетов отозвался не сразу, а лишь после того, как убедился, что перед ними находились наши.

Оказалось, что они попали на укрепление 11-й артиллерийской бригады. Их провели к офицеру, тот был явно недоволен, что нарушили его отдых. Он довольно сердито расспросил, куда и зачем направляется команда, а когда Столетов, ответив на его вопросы, сказал, что хочет продолжить розыск своих позиций и просит указать дорогу, офицер решительно возразил:

— Никто и днем-то дороги не найдет и не укажет, а куда вы по ночной темноте да по непроглядному, хоть глаз выколи, туману пойдете? Нет, нет, я вас не отпускаю. Оставайтесь до утра, поспите у нас.

Команду чем бог послал накормили, Столетова офицер тоже угостил ужином. Но спать до самого утра так и не пришлось. Всю ночь они проговорили, сидя в палатке офицера за самоваром.

У них нашлось о чем поговорить. Каждый вспомнил свою alma mater — офицер за несколько лет перед Столетовым тоже учился в университете. Его воспоминания об университетской жизни живо напомнили вчерашнему студенту Столетову то счастливое время, которое теперь уже казалось далеким-далеким.

Разговор перекинулся на Севастополь, и офицер, припоминая разные случаи из боевой жизни, говорил о них так ярко, зримо, что Столетову словно бы по-новому, по-другому виделось то, что казалось до этого хорошо знакомым. Он и рассказывал и читал без умолку, а на прощание подарил Столетову небольшой, в несколько минут шутливо набросанный для него рассказ «о ночном пробуждении».

Столетов был рад получить этот маленький знак внимания в обмен на простой клочок бумаги, на котором он довольно казенно написал свое звание: старший фейерверкер такой-то.

Под рассказом стояла подпись: «Лев Николаевич Тол-

стой, поручик артиллерии». Но самой подписи Столетов не придал большого значения: тогда его просто порадовало внимание к себе со стороны незнакомого и столь необычного офицера. Подпись эта тогда еще не значила того, что потом, с течением времени, будет значить...

Наступило утро, а Столетову все еще не хотелось уходить из гостеприимной палатки поручика артиллерии Толстого. Но служба есть служба. И, прощаясь с хозяином, он сказал ему:

— Пусть же наши воспоминания соединят накрепко две альмы — наши *alma mater* и здешняя Альма*.

Толстой засмеялся, но через секунду, приняв серьезный вид, сказал:

— Да, все эти Альмы, Балаклавы, Инкерманы... Когда-то и как рассеются ужасные воспоминания о них...

Так они расстались.

Еще раз пришлось увидеться им уже в августе 1855 года, во время отступления на Черной речке.

— Здравствуйте, Николай Григорьевич! — издали кланяясь, поздоровался Толстой. — Да, такие дела, — прибавил он, кивая на отступавшие в беспорядке части. И, уже уносимый движением своей батареи, успел крикнуть: — А, вы уже офицер!

Больше во время войны встречаться им не приходилось.

В 1858 году уже в Петербурге, когда Столетов учился в Академии Генерального штаба, он случайно услышал о приезде Толстого и пошел к нему. Толстой опять принял его очень любезно. А когда Столетов показал ему тщательно завернутый в чистую бумагу набросанный карандашом рассказ, улыбаясь, воскликнул:

— Ах, вы бережете эту шалость мою!

Он пробежал рассказ, а затем достал из лежавшей у него на столе шкатулки небольшую, но довольно толстую книжку и, полистав ее, показал Столетову потемневший от времени, измятый, вклеенный между страницами небольшой листок с его подписью «старшего фейерверкера». Под фамилией красовалась сделанная рукой Толстого приписка синим карандашом: «Альма — *alma mater*»... Он молча указал на нее.

* Альма — название реки, при которой 8 сентября 1854 года произошло кровопролитное сражение русских войск с союзниками.

— Что это вы приписали? — смутился Столетов. — Вы меня, право, конфузите.

— Чем? — просто спросил Толстой.

— Уничтожьте эту приписку, — попросил Столетов. — Мне стыдно вспомнить мою неуместную, неудачную остроту...

— Неудачная или удачная острота, разве это важно? Важно, что это было, и забыть этого нельзя. Потому что это воспоминание о тех минутах молодости, когда при всех жизненных тягестях нам легче жилось, легче думалось и потому легко острилось. Это дорого, и незачем это дорогое забывать...

На всю жизнь памятная встреча! Ничего особенного в ней вроде бы и нет. Но вот пронеслась она в голове, и словно бы легче стало, словно жизненная тяжесть немного убавилась. Трудно было в Севастополе, но выстояли. Надо выстоять и здесь. Выстоять во что бы то ни стало...

Столетов уже начал забываться сном, когда его разбудило какое-то не совсем понятное для ночного времени всеобщее оживление. Кто-то тихонько даже крикнул «ура!». Нет, не во сне. В голосе радость и ликование...

Было чему радоваться, было отчего ликовать: на подмогу защитникам Шипки пришел Брянский полк!

Зов о помощи с Шипки услышан. Действительно, в пору кричать «ура!». Но не стоит торопиться: накричимся досыта завтра.

От того, что мы кинули на весы сражения новый полк, они даже и не качнулись. Сулеймановская армия по ту сторону Шипки все так же безмерно тяжело давит на свою чашу весов, а наша чаша по-прежнему под самыми облаками...

И все же это была великая помощь. Столетов уже видел, как воодушевляла вконец обессиленных солдат даже та ничтожная подмога, какую ему удавалось выкраивать из скудного резерва. Полк не рота, теперь воспрянут духом все защитники Шипки. Теперь мы еще поборемся, непреклонный волею Сулейман-паша!

В эту ночь было лунное затмение. На наших позициях оно не вызвало большого интереса. Многие его даже не заметили. А кто и видел, не придал никакого значения, разве что порадовался: чем ночь темнее, тем авось будет спокойнее.

Не то было во вражеском лагере. Месяц для мусульман не просто ночное светило. Недаром же, если купола русских храмов венчает крест, шпили мечетей украшает полумесяц. И затмение луны для турок могло быть таким же дурным предзнаменованием, каким было солнечное затмение для дружины новгород-северского князя Игоря. Особенно зловещим оно могло показаться туркам после целого дня упорнейших, но так и оставшихся безрезультатными атак на наши позиции. И чтобы как-то ослабить это впечатление и поднять в солдатах воинский дух, муллы читали Коран и заставляли клясться на нем. Войска давали клятву во что бы то ни стало взять Шипку.

Приведя в порядок вечером разбитые ложементы, болгарские ополченцы и орловцы тоже поклялись. Они дали обет, по древнему славянскому обычаю, лечь костями. Теперь к этой клятве присоединились и брянцы: ляжем до последнего человека, а Шипку не отдадим!

Балканские Фермопилы

Утро 10 августа началось мощной артиллерийской канонадой. Должно быть, после ночного затишья она казалась особенно оглушительной.

Нет, дело не только в этом! К немалому удивлению своему, защитники Шипки увидели, что пушек у неприятеля прибавилось. На отвесные Бердекские высоты туркам ночью удалось втащить две батареи. И вот теперь эти батареи вместе с прежними вели непрерывный огонь по нашим позициям. Особенно мощной была одна из новых: она изрыгала огонь и железо из девяти стволов. Солдаты сразу же окрестили ее «девятиглазой», и прозвище это осталось за ней на все время Шипкинской обороны.

Похоже, фанатический азарт сплошных атак у неприятеля прошел. Вместо того чтобы идти напролом и бить как тараном своими батальонами в неприступную позицию, турки повели дальнейшее обходное движение против обоях наших флангов. Они и батареи установили не по фронту, а с заходом во фланг. Дорога, по которой пло наше сообщение с тылом, с Габровом, и так была досягаема для неприятельского огня; теперь она окончательно перерезалась уже не дальним, а ближним артиллерийским огнем новых батарей. Огневые позиции турок теперь окружали нас подковой. Оставалось только сомкнуть

концы этой подковы вокруг наших укреплений, в первую очередь вокруг горы Николай, и весь шипкинский отряд оказался бы отрезанным. Столетов это прекрасно понимал, но чем и как мог помешать туркам при такой большой протяженности линии обороны и такой малочисленности обороняющихся?!

Собственно, как теперь стало ясно, артиллерийская канонада с утра 10 августа и была началом сжимания подковы. Под непрерывным огнем своих пушек турки принялись в обход левого фланга рыть траншеи. Взять нас не только в огненное кольцо, еще и «закольцевать», окружить своими окопами! А чтобы наша артиллерия не мешала этим работам, они сосредоточили на ней огонь своих батарей.

Артиллерийская перестрелка продолжалась с пяти часов утра до семи вечера. Ответным огнем наши пушкари сшибли в пропасть три орудия с новых батарей, взорвали два снарядных вьюка. Но по недостатку боезапаса не имели возможности вести интенсивный огонь по траншейным работам. А турки, надо отдать им должное, большие мастера окапываться. Быстрота, с какой они делали земляные работы, не раз удивляла наших солдат. Вот и в этот день они рылись так успешно, что к вечеру подошли на шестьсот шагов к горе Николай.

Пушечная пальба длилась весь день. Но если бы одной пальбой турки и ограничились! У них хватало солдат и на то, чтобы устанавливать новые батареи, и на то, чтобы обходить нас траншеями. А чтобы мы не могли каким-либо образом усилить защиту своих флангов, чтобы не мешали им сжимать свою подкову, турки продолжали тревожить наши позиции с фронта — у них и на это доставало сил.

Правда, действия неприятеля уже не были столь настойчивы, как накануне. Главный смысл их, видимо, был не столько в попытке сбить нас с занимаемых позиций — сколько уже таких попыток оказались безрезультатными, можно и отчаяться! — сколько в том, чтобы держать всю линию обороны в предельном напряжении и отвлекать от защиты флангов.

В постоянном напряжении держали наших солдат турки и в перерывах между атаками. Они так пристрелялись, что выставленные из ложементов шапки моментально пробивались в нескольких местах. Одновременно с установкой новых батарей неприятель занял меткими

стрелками и все соседние высоты, господствующие как над флангами, так и над ведущей в тыл габровской дорогой. Сидит себе в полной безопасности такой стрелок или несколько стрелков где-нибудь на удобном уступе скалы, за большим камнем или в кроне дерева и не торопясь постреливает с утра до вечера, благо, что и еды, и воды, и особенно патронов дадено на несколько дней. Только стреляй не ленись. Один притомился, другой начал. Стреляют на выбор, в первую очередь по офицерам, по артиллеристам. За водой какой-нибудь солдатик направился к источнику, тоже хорошая цель: пусть ждут его изнывающие от жажды товарищи! А новый охотник вызвался за водой, и его на мушку...

Получалось так, что чуть ли не каждый защитник Шипки, будь то офицер или солдат, как бы постоянно чувствовал себя на мушке. Даже в ложементах, в укрытиях нельзя было считать себя в безопасности. Брустверы укрывали ратника от фронтального огня. А тут турецкий снайпер стрелял сверху: ему и видно хорошо, и спрятаться от него некуда. А куда нельзя попасть прицельно, туда турки приноровились стрелять навесно. Конечно, далеко не каждая пуля попадает в цель, но на перевязочном пункте, находящемся между позициями и большим госпиталем, было несколько человек убито и много ранено именно пулями, падавшими сверху. Такими пальными пулями был убит генерал Дерожинский и ранен в ногу генерал Драгомиров.

Чтобы получить представление о том, как густо был насыщен смертоносным свинцом весь воздух Шипки, достаточно указать на такой пример. В одной стрелковой роте вышло из строя 30 человек во время передышки, когда люди находились под прикрытием вала!

Трудно сказать, одна пуля из десяти или одна из тридцати попадает в цель при такой стрельбе. Но если есть из чего и есть чем стрелять, почему бы не делать этого?! Когда, случалось, наши солдаты выбивали неприятеля из его укреплений, их всегда поражало обилие боезапаса. У каждого стрелка ящик патронов, хоть целый день стреляй, хватит и еще останется...

Кажется, Сулейман-паша начинал оправдывать свою репутацию умного, талантливого полководца. Не давать защитникам перевала ни минуты покоя, держать их в постоянном напряжении, изматывать физически и мораль-

но — что можно было придумать умнее такой тактики при сложившихся обстоятельствах?! Такая тактика сулила едва ли не больший эффект, чем одни пусть самые массовые и ожесточенные атаки. Она давала возможность медленно, но уверенно сжимать концы подковы, а это при теперешней ситуации было главным.

И надо признать, что туркам если и не полностью, то почти удалось добиться своего. Исход тонко задуманного дела опять решил лишь не запланированный неприятелем беспредельный героизм и находчивость русского солдата.

...К вечеру ружейная и артиллерийская канонада со стороны турок стала стихать. Рытье траншей и то, кажется, приостановилось. Неприятель словно бы решил и сам отдохнуть и дал наконец долгожданную передышку защитникам перевала. Правда, пули продолжали свистеть, но уже начинало смеркаться, и, значит, прицельной стрельбе тоже приходил конец.

Защитники Шипки ожили. Кто помогал санитарам отвести или унести на носилках раненых, кто поправлял разбитые артиллерией укрепления, кто отправился за водой. Даже шутки и смех слышались среди повеселевших солдат, когда они утолили мучившую их весь день жажду и съели по сухарю. Теперь бы только еще хоть немного поспать! Начиная с тревожной ночи с 8 на 9 августа это, считай, уже третьи сутки солдатам было не до сна.

Неприятельский стан озарился бесчисленными кострами. Турки готовили ужин. У них все шло обычным порядком: работа, еда, отдых.

А нашим солдатам и болгарским братушкам и на ужин, кроме сухаря, ничего не нашлось, и до отдыха было еще далеко.

Раненых унесли. Теперь надо было захоронить убитых.

После того как были вырыты братские могилы, к ним потянулись длинными вереницами носилки с подобранными на поле боя, уже свое отвоевавшими орловцами, брянцами и ополченцами. Священники творили краткую зауспокойную молитву, окружавшие могилу офицеры и солдаты, подняв горсть шипкинской земли, посылали ее на уснувших вечным сном своих боевых товарищей, потом могилу засыпали.

Это были воистину братские могилы: русские солдаты лежали в них вместе со своими болгарскими братьями.

Пока одни искали и хоронили убитых, другие углубляли траншеи, наращивали брустверы. Отошли солдаты на отдых только далеко за полночь.

А 11 августа утром чем свет разбудил защитников Шипки не обычный будильник, не гром пушек, а отчаянный крик:

— Взяли, взяли!.. Обошли!..

Выбежавшие на крик из ложементов солдаты и офицеры увидели, что главная опорная наша позиция на Николае отрезана неприятелем. Отрезана вместе со штабом, так что никаких указаний и приказаний и ждать неоткуда...

Так вон почему накануне турки и из пушек перестали стрелять рано, и ночью не беспокоили! Они тем самым усыпили нашу бдительность, а под покровом ночи по откопанной траншее подползли вплотную к нашим позициям и заняли седловину, по которой идет шоссе. Они очутились между нашим резервом и перевязочным пунктом с одной стороны, и орловским полком с болгарскими дружинами — с другой. Другими словами, они-таки замкнули свою подкову! То, что не удалось им сделать днем, они сделали ночью. И замкнули подкову не где-нибудь, а вблизи постоянно досаждавшей им Круглой батареи.

Трудно сказать, что могло бы произойти дальше, если бы рота Брянского полка, не ожидая команды — каждая минута дорога! — не бросилась на турок, не успевших еще закрепиться у шоссе. В то же самое время артиллерист Поликарпов бесстрашно под огнем неприятеля повернул пушки в сторону шоссе и ударил по туркам. Штыки брянцев довершили дело: турки были опрокинуты и отступили.

Только потом стало ясно, что неприятельская затея была достаточно серьезной: под Круглой батареей турки сосредоточили за ночь девять таборов своего отборного войска. Стоило передовому отряду закрепиться на шоссе, эти таборы в любое время могли бы прийти к нему на подмогу, и тогда всякая связь с тылом у нас была бы отрезана.

Так начался третий день героической — тут слово на месте! — обороны Шипки.

Не менее, если не более тяжелым было и его продолжение.

Минувшей ночью туркам удалось поставить еще одну батарею — на этот раз на высотах против нашего право-

го фланга. Таким образом, огненная подкова вокруг наших позиций стала еще теснее.

На правый фланг неприятель направил свои первые атаки. Наступление четырех турецких колонн сопровождалось шквальным ружейным и артиллерийским огнем. Гул непрерывных орудийных выстрелов сливался в один раскат бесконечного грома. Это был поистине адский огонь, от которого, казалось, дрожат не только окрестные горы, но все Балканы.

Начальствующий над правым флангом командир Брянского полка полковник Липинский (он сменил на этом посту Депперадовича) вынужден был сразу же ввести в бой две резервные роты — так силен был натиск неприятеля.

Чтобы не дать нам опомниться, а также лишить возможности маневрировать резервами, турки вскоре же, если не одновременно с наступлением на правый фланг, начали атаку и центра нашей позиции — горы Николай. За первой отбитой атакой тут же последовала вторая, еще более упорная... Это было похоже на повторение бешеных приступов 9 августа, но только в еще больших размерах. Сулейман-паша, должно быть, знал, что на помощь русским из окрестностей Тырнова уже выступило еще два полка — надо было во что бы то ни стало покончить с Шипкой до прихода подкрепления!

Наши цепи били по наступающим залпами и многих укладывали на месте — турки шли вперед. Артиллерийская картечь вырывала из рядов наступающих десятки, если не сотни — турки шли. У них будто бы не было иного пути, как вперед и только вперед. Говорили, что турки в этот день были пьяными, и это очень похоже на правду: в их слепом упорстве было что-то противоестественное. Одурманенные гашишем, они будто не видели перед собой ничего. И лишь когда натыкались на русские штыки, понимали наконец, что дальше дороги вперед нет...

В восьмом часу утра полковник Липинский получил с самого края правого фланга донесение: с помощью посланных им двух орловских рот неприятельскую атаку удалось отбить, противник отступил, но вскоре же показались новые колонны турок, которые, пропустив в интервалы отступившие толпы, повели новое, еще более решительное наступление. Отправив из резерва еще одну роту, Липинский послал к генералу Столетову ординара

с просьбой приехать лично на правый фланг, чтобы самому убедиться, насколько опасно наступление, которое ждет здесь противник.

Столетов приехал, осмотрел позицию и согласился с Липинским:

— Да, опасно... — повторил: — Очень опасно!

Но что он еще мог добавить к сказанному?! Здесь был один конец подковы, который неприятель стремится поскорее соединить с другим концом. Но и на том конце, на левом фланге у князя Вяземского, если турецкая атака еще не началась, то скоро начнется: туда точно так же двигаются неприятельские колонны и развертываются в цепи. И хотя атаки на центр нашей позиции — гору Николай продолжают, главным, решающим наступлением неприятель, по всему видно, считает вот этот охват флангов, окружение наших позиций.

Нет, ничего он не может дать командиру правого фланга Липинскому. Поскольку загнутые вовнутрь фланги становятся уже как бы тылом наших позиций, придется взять на себя непосредственно его оборону. Здесь решается участь Шипки! Удастся противнику сжать, замкнуть подкову, защитники Шипки хотя и смогут еще какое-то время обороняться, но будут обречены.

На том и порешили. Вместо ожидаемой помощи Столетов взял у Липинского две полуроты с четырьмя орудиями и повел их на курган, лежащий в тылу наших позиций, напомнив на прощание, что до подхода Радецкого надо удерживать оборону, чего бы это ни стоило.

Между тем началось наступление неприятеля и на левом фланге.

Теперь по всей линии нашей защиты шел бой с нарастающим час от часу ожесточением. Шквальные атаки, одна другой яростнее, обрушивались с вызывающим удивлением постоянством. Все пространство впереди ложементов усеяно телами в красных фесках («Словно мак в огороде алеет»), — замечают солдаты), а новые и новые цепи, новые колонны красных фесок идут на очередной приступ.

— Откуда только сила такая берется? — удивляются наши ратники. — Чем больше бьем, тем их больше лезет на нас...

В батареях все меньше остается снарядов. Стрелкам тоже приходится экономить патроны. А это значит, тем больший урон несут защитники от каждой новой атаки.

Сильный артиллерийский и ружейный огонь еще на подходе изреживал, ослабляя противника, и до штыков доходила иногда только половина, а то и того меньше. Теперь главным оружием становится штык. Но если стрельба из ружья требует одной лишь меткости, работа штыком требует силы. А откуда взяться силе в человеке, даже если он самый выносливый в мире русский солдат, когда человек этот уже трое суток без пищи и сна?! А вот сейчас, в полдневную жару, еще и без воды. Спсибо габровцам, которые, рискуя собственной жизнью, нет-нет да доставят на позиции бочонок-другой родниковой водицы. Кое-кого из них уже ранило, одного убило, но остальные бесстрашно продолжают исполнять добровольно взятую на себя обязанность.

На передовой перевязочный пункт шли и шли, группами и в одиночку, раненые. И уже по одному громадному числу их, скопившихся в ожидании врачебной помощи, можно было судить о тех огромных потерях, которые мы несли. Счет шел не на десятки — на сотни. Врачи не успевали накладывать бинты, многие часами оставались без помощи. Но редкий стон вырывался из груди какого-нибудь уж совсем изнемогшего или умирающего от ран страдальца. Большинство же, как бы сознавая, что всякое вслух сказанное скорбное слово или стенание может влиять на состояние духа уцелевших еще товарищей, переносили ужасные муки молча. Легко раненные после перевязки просили дозволить им возвратиться на свои места в ложементы, а многие делали это даже и самовольно, без всяких разрешений.

Особенно ожесточенные атаки в этот день противник вел на правый фланг. Должно быть, турки решили именно здесь, сломив сопротивление, замкнуть свою страшную подкову.

Около двух часов пополудни к полковнику Липинскому явился запыхавшийся гонец с крайней позиции правого фланга. Донесение было самое неутешительное: у нас, что ни час, прибывает число раненых, а у противника прибывают и прибывают новые силы, так что удерживать позицию уже нет никакой возможности, если не будут сейчас же даны достаточные подкрепления.

«Достаточные...!» У Липинского оставался в наличии лишь полувзвод со знаменами...

Полковник послал ординарца на гору Николай к графу Толстому. Послал без всякой надежды на помощь,

просто хотя бы узнать, как там у них, на главной нашей позиции.

Вскоре с Николая пришел сам Толстой и привел с собой роту брянцев — все, что у него оставалось. Такое подкрепление дало возможность заполнить опустевшие ложементы и сохранить хотя бы какую-то сомкнутость общей оборонительной линии.

Граф Толстой пришел к Липинскому как к старшему, чтобы получить распоряжения, поскольку добраться до тыльной позиции, где находился генерал Столетов, уже не было никакой возможности. По запыленному и закопченному порохом лицу полковника Толстого струился пот, его мундир в нескольких местах был порван и висел лоскутьями. Не сразу можно было узнать в этом обросшем, изнуренном бессонницей и нечеловеческим напряжением офицере недавнего блестящего флигель-адъютанта.

— Распоряжения? — переспросил полковник Липинский. Помолчал и договорил: — Распоряжений никаких не будет. Просто давайте порешим: не отступать ни в каком случае, ни под каким видом, а умирать всем до последнего человека на месте.

Толстой в знак согласия протянул руку:

— Ни в каком случае. Ни под каким видом!

Офицеры скрепили свой обет крепкими рукопожатиями, по-братски обняли друг друга.

Наступала едва ли не самая критическая за все дни обороны Шипки минута.

Вслед за Брянским полком командир корпуса генерал-лейтенант Радецкий обещал привести на Шипку новые части. И солдатам было сказано, что подкрепления уже в пути, и если не успеют к утру, то к середине дня будут обязательно. Все видели также, что генерал Столетов, чтобы поторопить идущую на Шипку подмогу, послал навстречу Радецкому одного за другим нескольких ординарцев.

Но вот солнце уже начало клониться к закату, а сколько ни всматривались солдаты в синеву ущелий, по которым змеялась дорога из Габрова, на ней никто не показывался.

Торопя подмогу, Столетов отдавал себе ясный отчет в том, что судьбу Шипки решали уже не дни, а часы.

Теперь счет пошел, пожалуй, на минуты...

Наших оставалось так мало, что солдаты для защиты позиций должны были перебегать с места на место. На линии обороны оставались уже не роты, а ничтожные горстки людей, дравшихся *12 часов без перерыва, без малейшего отдыха* против несравненно сильнеею числом неприятеля.

На некоторых участках почти все офицеры были ранены и перебиты. Достаточно сказать, что во многих ротах — а точнее, тех небольших группах солдат, которые утром назывались ротами, — места командиров, заменяясь последовательно младшими офицерами, фельдфебелями и унтер-офицерами, перешли наконец к ефрейторам и даже, за убылью последних, к простым рядовым солдатам.

Раненые не уходили, потому что без них некому было защищать позиции. Наскоро здесь же, на месте, перевязанные санитарями, они снова брали в руки оружие.

— Надо постараться, — говорили солдаты. — Время такое... Все одно умирать.

Все имеющиеся резервы давно израсходованы. Приходилось маневрировать лишь оставшимися в наличии жалкими силами. Липинский дал приказ «стараться держать роты, взводы и даже звенья попарно, дабы иметь возможность попеременно осаживать неприятельскую цепь, не смотря на ее многочисленность, и во что бы то ни стало удерживаться на своей позиции». А болгарские дружинники, чтобы как-то парализовать во время атаки превосходящие силы неприятеля, бросались в толпу врагов поодиночке и, схватясь за дуло своего ружья, работали прикладом: раззудись, плечо, размахнись, рука!..

Если у солдат и ополченцев кончались патроны или портились ружья, они все равно с позиций не уходили. И когда один офицер, подойдя к кучке таких солдат, сказал что-то в том смысле, что, мол, какой смысл вам оставаться, если стрелять не можете, солдаты ему дружно ответили:

— Так точно, ваше благородие; для того мы в особую команду собираемся, чтобы, значит, работать штыками.

С каждым новым приступом неприятеля держаться становилось труднее и труднее. Силы вконец иссякали. Но об отступлении, о сдаче позиций никто не думал. Только раз с особенно тяжелой правофланговой позиции тронулась группа раненых, а за ней потянулись было и здоровые, но оставшиеся без патронов солдаты.

Полковник Липинский кинулся наперерез бредущей толпе:

— Куда вы, братцы? Куда?.. Назад! Назад в ложементы, на позицию! Кто вам сказал отступить? Отступления нет, и не будет, и быть не может! Сейчас придет подкрепление, они уже близко... Назад!

Смешанная толпа орловцев, брянцев и болгарских дружинников тотчас повернула назад и бросилась к оставленным ложементам. К ним примкнули и легкораненые. Накатившаяся волна турок, предполагавших найти покинутые укрепления, неожиданно натолкнулась на такое упорное сопротивление, что вынуждена была отхлынуть назад. Солдаты за недостатком патронов швыряли в неприятеля сломанными ружьями, камнями, пустыми подсумками — всем, что только ни попадало под руку...

Время шло, а подмоги все еще нет. Солдаты жадно всматривались в извивающуюся ленту Габровской дороги, но на ней, кроме раненых, никого не было видно. Разве еще по сторонам дороги на некотором удалении то тут, то там показывались конные отряды башибузуков — это уверенный в своей победе Сулейман-паша заблаговременно выслал их в наш тыл для преследования при нашем отступлении. Сулейману-паше мало было сбить нас с перевала, в отместку за упорное сопротивление он решил полностью уничтожить Шипкинский отряд...

Пятый час на исходе. Можно было уже разувериться в том, что придет подкрепление. Можно впасть и в отчаяние.

— Видно, силы нашей не хватает, — говорили меж собой солдаты. — Оставили нас одних...

Солдаты плакали. Нет, их не страшила собственная смерть. Их страшила потеря Шипки. Сердца защитников словно бы приросли к этим голым скалам и серым откосам — ведь они были так обильно политы их кровью и кровью товарищей!

«Алла! Алла!» — опять — уже в который раз! — зазвенело по всей линии обороны. Запели рожки, зарокотали барабаны.

Турки пошли в новое — не последнее ли для нас? — наступление. Они идут твердо, смело. Их не смущает, что приходится постоянно перешагивать через трупы своих убитых соратников. А на крутых склонах они и вовсе

изгают по телам своих соотечественников, как по ступенькам лестницы. Вперед, вперед! Во что бы то ни стало вперед! «Алла! Алла!..»

Не хватает сил, чтобы остановить плотные ряды противника. Кое-где торжествующие турки уже врываются в наши ложементы. И хотя солдаты и ополченцы не отдают своих позиций, хотя везде идет отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть, враг начинает одолевать. Все. Конец...

Но что это за странный гул покотился по ущельям? И что это засверкало под лучами заходящего солнца на извивах Габровской дороги? Неужели идет долгожданная подмога?

А гул все растет, все приближается, и в нем хоть и смутно, но начинает прослушиваться что-то знакомое, что-то близкое и родное — в эти минуты тысячекратно близкое и дорогое — в нем все явственнее слышится наше русское «ура!». А вот оно уже подхвачено ранеными на перевязочном пункте. И уже видно, что там, чуть дальше полевого лазарета, сверкают на солнце стальные штыки...

Ратный боевой клич перекинулся на гору Николай, повторился на одном, на другом фланге, и вот из тысячи грудей почти отчаявшихся, погибающих, но несдающихся защитников перевала несет такое могучее и такое вдохновенное «ура!», что оно заглушает не только торжествующее «алла!», но и весь гул и гром сражения.

Рано, рано враг торжествовал победу!

Еще когда дойдут до позиций утомленные сорокаверстным переходом солдаты. Да и подойдут пока всего лишь передовые две роты Житомирского полка (их Радецкий догадался посадить на стоявших в тылу, за лазаретом, лошадей, седоки которых, донцы, дрались в ложементах). Никакой реальной помощи от них — помощи огнем и штыком пока еще нет. Но защитники теперь уже твердо знали, что они не забыты, что Россия помнила о них, герои твердо верили, что кровь, пролитая здесь, на этих скалах, пролита не зря — Шипка не достанется ликующему врагу.

Вслед за первыми двумя ротами Радецкий привел на Шипку Житомирский и Подольский полки и как старший по званию вступил в командование обороной перевала.

Вечером, уже в сумерках, обходя позицию, Радецкий оказался на участке обороны, который днем выдержал более десяти атак противника. Рядом с бруствером лежали вповалку семнадцать солдат, а около них одиноко стоял офицер с окровавленным лицом и ногою. Завидев генерала, офицер взял под козырек.

— Что это они у вас? Спят? — спросил Радецкий, указывая на солдат.

— Да, ваше превосходительство, спят, — ответил офицер. — Спят... — и не проснутся: они все убиты.

— А вы что же здесь делаете?

— Дожидаю своей очереди, — все так же тихо и спокойно отвечал офицер. — Это была моя команда...

Через два дня в газетах будет напечатано:

...Отдавая должное железной энергии Сулеймана-паши и храбрости его войска, все иностранные офицеры (а такие были при штабах воюющих армий) и корреспонденты, побывавшие на Шипке, изумляются стойкости наших солдат.

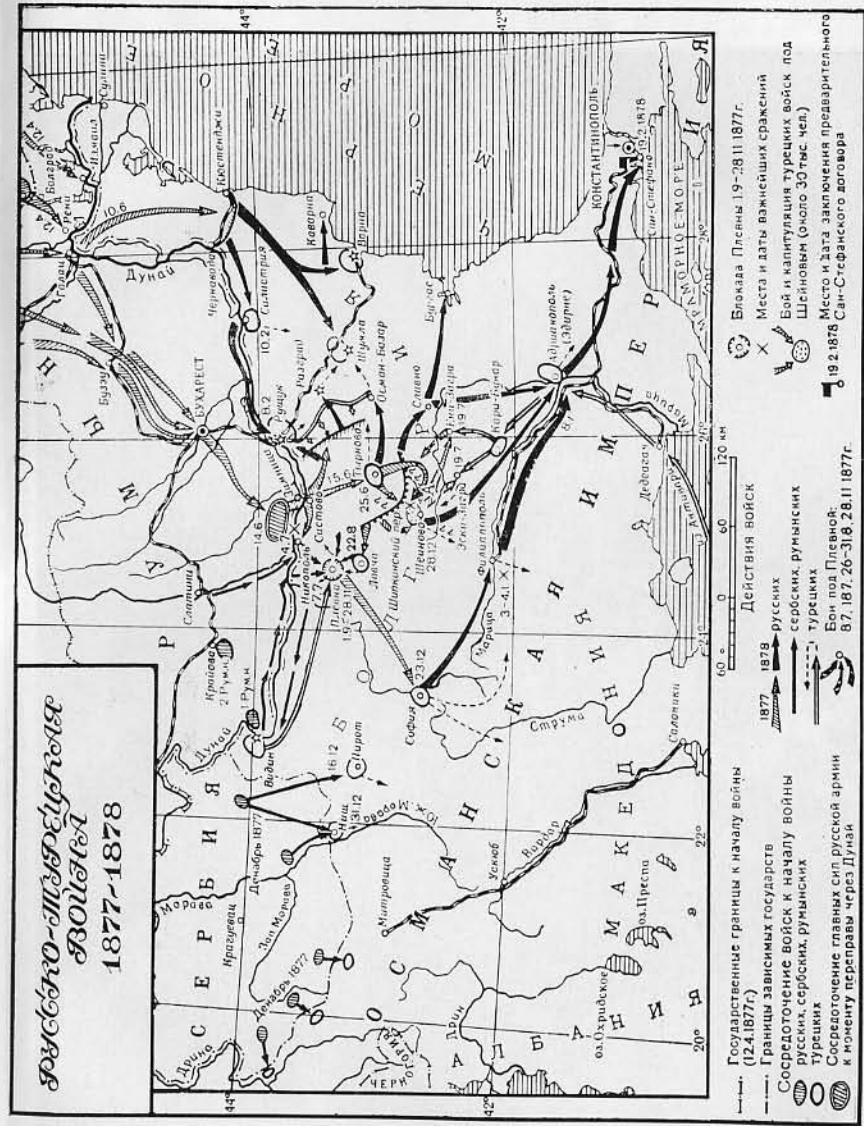
...Защитникам Шипки суждено было держать в своих руках участь всей армии и судьбы России, обнажившей меч в защиту братьев-славян. Стальными оказались эти руки, стальной же оказалась и закаленная твердость молодцев-братушек, изумивших и весь мир, и самого не менее твердого врага.

...Болгарский легион доказал, что болгары могут драться как львы. Ополчение создало себе в эти дни навсегда громкую славу.

...На Шипке героев не было, потому что все были героями.

А один корреспондент назовет Шипку Фермопилами новейшей военной истории, которая — кто бы ни писал ее, друзья или недруги — обязана воздать должное героизму защитников этого прохода через Балканы.

По условиям местности Шипкинский перевал вовсе непохож на Фермопильское ущелье, которое две с половиной тысячи лет назад при нашествии персов на Элладу защищали триста спартанцев во главе со своим царем Леонидом. Просто когда мы пытаемся объяснить или описать из ряда вон выдающееся событие, то ищем в истории какие-то широко известные аналогии ему. И тут неважно, что Фермопилы — ущелье, а Шипка — гора, важно, что

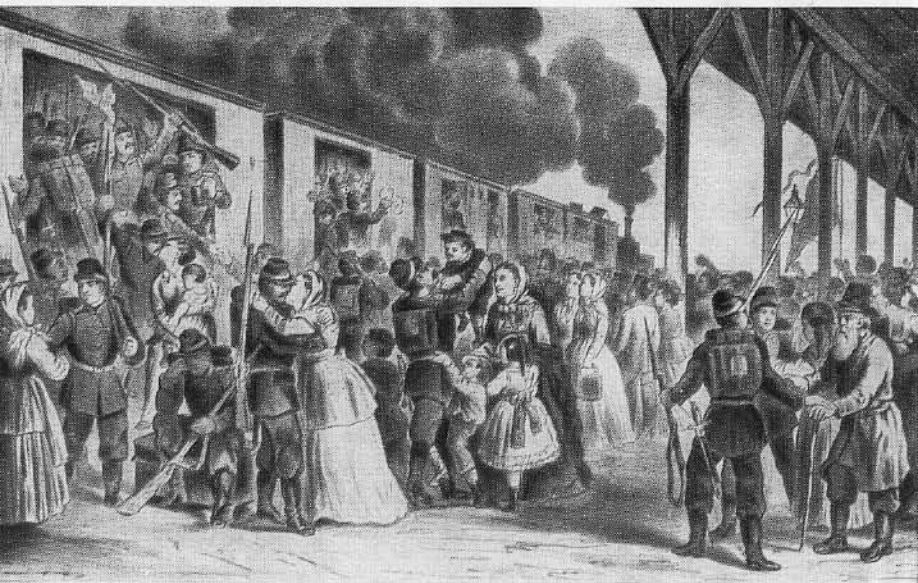




Памятник «Братьям-освободителям». Фрагмент. София.



Памятник Победы у реки Вит в окрестностях Плевны.



Прощание русских воинов при отъезде на театр войны.
Гравюра 1878 года.



Зимница, 15 июня. Понтон, на которых был форсирован Дунай.
Снимок военного фотокорреспондента Н. Дурново.



Начальник болгарского ополчения
генерал Н. Г. Столетов.



Командир 14-й стрелковой дивизии
генерал М. И. Драгомиров. Портрет
работы И. Е. Репина.



Форсирование Дуная. Гравюра 1877 года.



Передача Самарского
знамени болгарскому
ополчению. Гравюра
1877 года.



Самарское знамя. Картина болгарских художников Георгия Попова и Ярослава Вашека.

Генерал Н. Н. Обручев, автор первого плана русско-турецкой войны.



Воевода Цеко Петков, один из самых легендарных болгарских героев.



Начальник штаба болгарского ополчения подполковник Ринкевич.



Командир роты 3-й дружины болгарского ополчения капитан Попов.

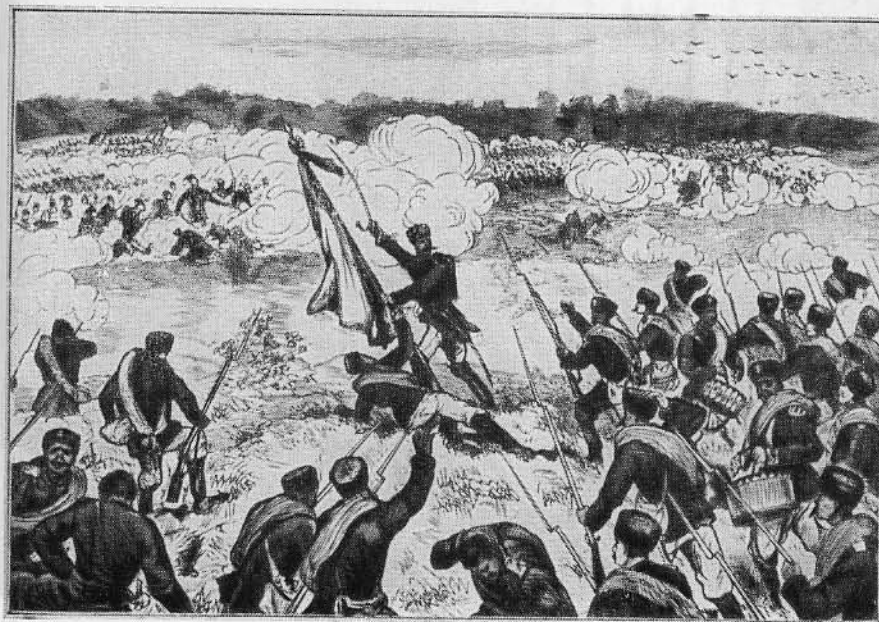
Прием добровольцев-волонтеров в болгарское ополчение. Набросок 1877 года М. П. Федорова, рис. С. Шамоти.



Болгарка Райна, участвовавшая в боях за Шипку. Рисунки 1877 года.

Доктор Мирков, врач болгарского ополчения.

Подполковник Калитин, спасающий Самарское знамя. Рисунки 1878 года.





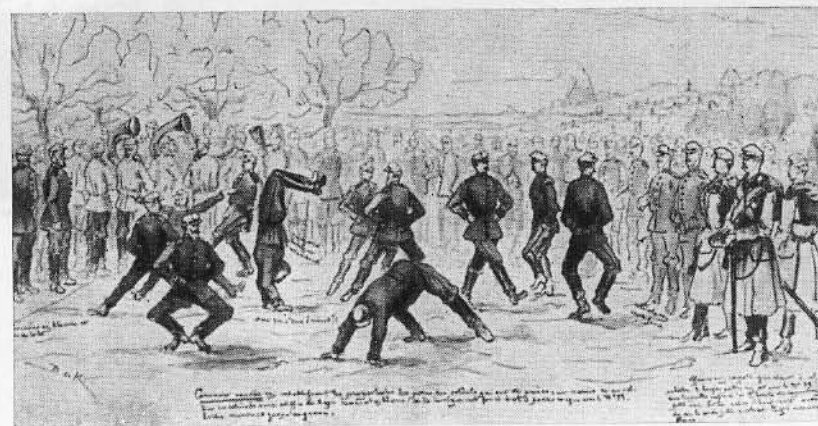
Спасенная девочка. Снимок военного фотокорреспондента А. Иванова.

В гостях. Снимок военного фотокорреспондента А. Иванова.



Встреча русских войск в Тырново. Рисунок 1878 года.

Трепак. Рисунок из походного альбома Дика де Ленгле.

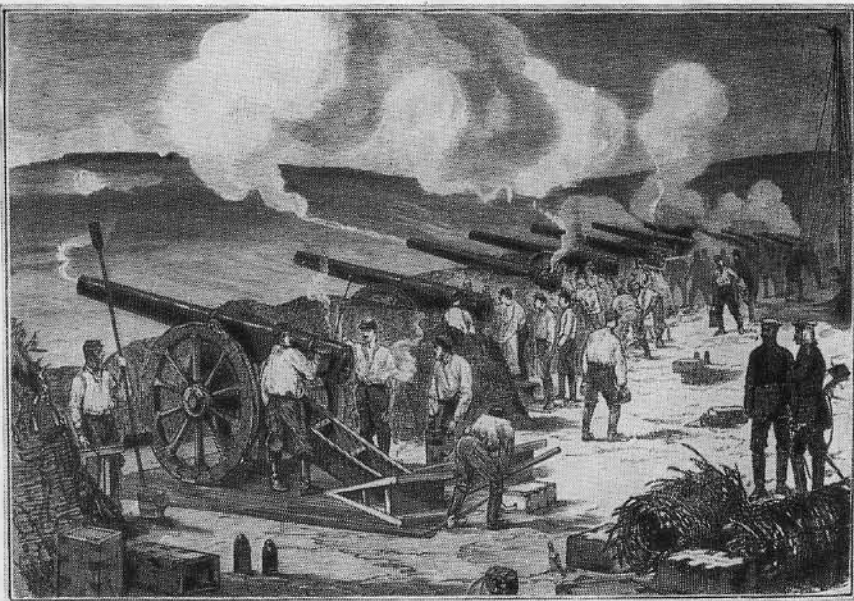




Скульптурная композиция «Признательная Болгария» в парке «Освобождение Плевны».

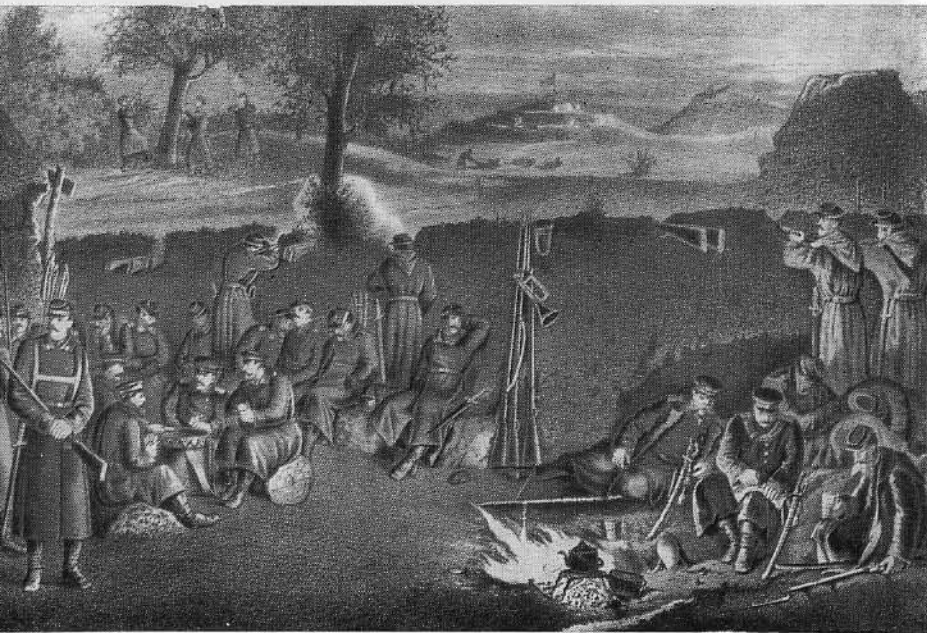


Мавзолей русских и румынских воинов, погибших в битве за Плевну. Плевна.



Осада Плевны. Гривицкий редут. Гравюра 1878 года.

Скобелевские траншеи на Зеленой горе под Плевной. Гравюра 1878 года.



Генерал Э. И. Тотлебен,
разработавший план
блокады Плевны.



Один из самых по-
пулярных героев рус-
ско-турецкой войны
генерал М. Д. Ско-
белев.



12 октября 1877 года. Бой за Горный Дубняк. Гравюра 1878 года.

Лубочная картина, посвященная русско-турецкой войне.

РАЗЫ ДВА ТРИ



то и другое является символом стойкости и отваги, символом неколебимого мужества.

Но прошло сто лет, и Шипке стали не нужны какие-то аналогии и символы. Наряду с Фермопилами она сама стала символом. Символом беспримерной воинской доблести и готовности к самопожертвованию во имя высокой идеи человеческого братства.

Последняя точка

...И снова Шипка.

Только на этот раз Николай Григорьевич Столетов уже не «сидел» на Шипке, а поднимался туда, и поднимался не с севера, не из Габрова, а с юга, из Забалканья.

Южный склон перевала в отличие от северного крутой, коням идти трудно, они постоянно оскальзываются, и приходится время от времени останавливаться, чтобы дать им передышку. И в такие минуты коротких передышек Николаю Григорьевичу начинает казаться, что все, что было у него в жизни до этого, было как бы приуроченным к Шипке, что всю свою жизнь он шел к этому своему горному, уносящемуся в самое поднебесье перевалу...

Правильно говорится: неисповедимы наши пути!

Мог ли он думать, мог ли предполагать в годы учения во Владимирской гимназии, что такой в общем-то пустяк, как знакомство с татарским языком, потом неожиданным образом скажется на его военной карьере?!

Сразу же по окончании Севастопольской кампании прапорщик Столетов был направлен в Академию Генерального штаба. Пройдя полный курс академии, Николай Григорьевич уже в чине штабс-капитана получил назначение в главный штаб Кавказской армии.

К месту своей новой службы, в Тифлис, он прибыл летом 1860 года. А вскоре с ним произошел незначительный, в сущности, эпизод, который, однако, имел очень и очень далекие последствия.

Начальник штаба потребовал представить ему вновь прибывших на службу лиц. Подойдя в назначенный день к квартире и увидав, что представляться еще рано, Столетов стал прохаживаться возле дома. Три мест-

ных жителя, как оказалось, черкесы, подошли к нему с расспросами. Он с ними поговорил минут двадцать, а затем вошел в дом, куда уже стали собираться остальные.

Среди представлявшихся генералов и офицеров Столетов оказался самым младшим, поэтому в кабинет начальника штаба он был приглашен последним.

— Это вы часа полтора тому назад перед окнами моей квартиры разговаривали с черкесами? — спросил генерал.

Столетов ответил утвердительно.

— О чем они могли с вами говорить так живо? Они же русского языка вовсе не знают.

— Я говорил с ними по-турецки, их язык очень похож...

— А откуда вы знаете по-турецки?

— Еще в годы учения в гимназии я брал уроки татарского языка вместе с детьми знакомых купцов-татар; впоследствии же интересовался языком и изучал его сам.

— Теперь тоже будете изучать? — полюбопытствовал генерал.

Столетов ответил, что имеет такое намерение.

Интерес, который вызвало у генерала знание турецкого языка штабс-капитаном Столетовым, вполне понятен. Трудно удивить было знанием французского. А тут турецкий. Да и не где-нибудь, а здесь, рядом с турецкой границей...

Беседа продолжалась более часа. Генерал расспрашивал Столетова о его прошлом, вспоминал Севастопольскую кампанию. А на прощание сказал, что рад был познакомиться и что знания Столетова очень пригодятся в дальнейшем и ему самому и его начальству, особенно же здесь, на Кавказе.

Слова генерала ободрили молодого офицера. У него даже мелькнула мысль о возможности какого-либо содействия успешному ходу его службы со стороны начальника штаба. Однако уже в следующую минуту мысль эта показалась суетной, а потом и совсем забылась. Да и сам генерал вскоре был вызван в Петербург, где получил на значение на пост товарища военного министра. «Генерал в разговоре сказал большую любезность да, вероятно, тут же и забыл о ней; тем более следует забыть о ней и мне» — так рассудил Столетов.

Однако же генерал оказался памятьливым. Был это не кто иной, как Дмитрий Алексеевич Милютин, ставший вскоре военным министром. Заняв этот высокий пост, он вспомнил о молодом офицере, знания которого показались ему еще при первой встрече стоявшими внимания.

Служба на Кавказе в должности начальника Закавказского округа шла у Столетова успешно. За короткое время он успел занять репутацию хорошего администратора и распорядительного военного начальника, получить чин подполковника и ордена Станислава и Владимира.

И все же Милютин считал, что наибольшую пользу Столетов может принести своей службой в другом крае — Туркестанском, начавшем к тому времени свое присоединение к России.

Летом 1865 года Столетов переводится в Ташкент.

И здесь он берется за порученное дело со всей присущей ему энергией и обстоятельностью. Он не только близко знакомится с положением дел в Прикаспийском крае и Средней Азии, но и, пользуясь знанием восточных языков, трижды посещает пограничные с Россией Персию и Афганистан.

В 1868 году с особой резкостью обозначилось усиление могущества афганского эмира, заключившего союз с Англией — с одной стороны, и явно враждебные по отношению к России действия хивинского хана — с другой. В связи с этим было принято решение вместе с увеличением войск оренбургского военного округа немедленно занять нашими войсками также и юго-восточный берег Каспийского моря с центром в Красноводске. И начальником экспедиционного корпуса был назначен генерального штаба полковник Столетов.

В самый разгар деятельности Красноводского отряда Столетов в результате затеянных против него интриг был отчислен от этой должности и какое-то время командовал пехотным Уральским полком. На окружном смотре в присутствии царя и военного министра полк отличился в стрельбе; последовала новая встреча Столетова с Милютиным, а вскоре и новое назначение на прежнее место службы — на этот раз начальником «особой ученой экспедиции для исследования старого русла реки Аму-Дарьи и для производства других изысканий, намеченных военным министерством в согласии с императорским Географическим обществом».

С ранней весны до поздней осени 1874 года пробыла экспедиция на Амударье. Затем несколько месяцев ушло на составление обстоятельного отчета о ее работах. Как военное министерство, так и географическое общество признали, что «просвещенное участие Николая Григорьевича Столетова в этом деле оживило работы, причем дало им много таких сторон успеха, каких трудно было ожидать и ни в каком случае не получилось бы без его участия и без его указаний».

Столетов был принят во дворце и пожалован чином генерал-майора. Не многие дослуживались до генеральского звания в столь молодые годы: Столетову только исполнилось сорок.

Не забыл военный министр о своем старом знакомце и когда начал формировать штаб действующей армии для войны с Турцией. Николаю Григорьевичу Столетову было поручено собрать воедино и обучить болгарское ополчение.

Переправа через Дунай; поход за Балканы с Гурко; оборона Шипки... И вот теперь уже второй переход через Балканы вместе с болгарскими братушками в составе отряда Скобелева.

Первый раз Шипкинский перевал был обойден слева через Хаин-богаз; на этот раз справа, через Иметлинский проход. Слово бы вся война для Столетова и его дружинников сосредоточилась в одной точке с коротким и одинаково понятным для болгар и для русских названием — Шипка. (В отличие от Долины роз на суровом перевале выживают лишь дикие розы шиповника; его на здешних склонах много — отсюда и Шипка.)

Вся война или на Шипке, или вокруг Шипки...

На этот раз переход через Балканы в рождественские морозы был несравненно тяжелей первого, июльского. Приходилось пробиваться по колено, а где и по пояс в снегу. И по ночам нельзя было разжечь костров, чтобы раньше времени не обнаружить себя. С господствовавшей над Шипкинским перевалом Лысой горы, занятой неприятелем, просматривалась добрая половина дороги, по которой совершался обход Шипки из Топлиша через Марковы Столбы к деревне Иметли, что в Забалканье.

Перед выходом из Топлиша в ротах и дружинах был зачитан приказ начальника отряда. Приказ суровый, как и предстоящая дорога.

«Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня начнем переходить через Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду неприятеля через глубокие снеговые сугробы. Нас ожидает в горах турецкая армия; она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь отечества, что на нас смотрит вся Россия. От нас она ждет победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Наше дело святое и правое!»

Болгарские дружинники! Вам известно, зачем русские войска посланы в Болгарию! Вы с первых дней формирования показали себя достойными участия русского народа. В битвах в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей, наших солдат — пусть будет так же и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на Земле есть ценного и святого. Ваше отечество велит вам быть героями!..»

Чтение приказа дружинники встретили восторженным «ура!». Они уже знали, что пойдут в авангарде отряда, а это значит, что им будет особенно трудно, но уж если сама родина велит им быть героями, они постараются выполнить этот святой наказ.

И потом, когда скобелевский отряд перейдет Балканы с правой стороны Шипки, а отряд Святополка-Мирского — с левой и недалеко от подножия перевала под деревней Шейново закипит последний бой, даже бывалые, видавшие всякие виды солдаты и офицеры будут поражены той беззаветной неустрашимостью, с какой рвались вперед болгары, и тем, за многие годы накопившимся, ожесточением, с каким они бились врукопашную. Раненые устремлялись не на перевязочные пункты, а собирали последние силы и старались добежать до редута, чтобы приколоть перед смертью еще одного врага... Дружинники словно бы понимали, чувствовали, что это последний бой, а значит, и последняя возможность свести многовековые счеты со своими угнетателями...

Бой кончился нашей полной победой. Неприятель вынужден был выкинуть белый флаг. Командующий турецкой армией Вессель-паша прислал Скобелеву с полковником-парламентером свою саблю в знак того, что сдается на милость победителя. Всего под Шейновом и сосед-

ней деревней Шипкой сдались два паши, четыре полковника, 280 офицеров и 12 тысяч солдат.

Но оставались еще Шипкинские высоты, на которых сидел Хаджи-Осман-паша с войском, насчитывавшим больше двадцати таборов.

— Как вы дадите знать на высоты, чтобы там сдавались? — спросил Скобелев у Весселя-паши.

— Пошлите кого-нибудь из ваших, а я пошлю своего начальника штаба и двух высших офицеров на Лысую гору с приказанием положить оружие, — ответил тот и тут же написал свое приказание.

Кому из наших было идти на Шипку? Конечно же, генералу Столетову. И не только потому, что он знал по-турецки. Со Столетова шипкинская эпопея начиналась — не самое ли правильное ему и ставить последнюю точку?!

И вот он вместе с турецкими офицерами поднимается по знакомой дороге на очень и очень знакомый перевал. И чем выше подъем, тем дальше видно окрест. А вместе с тем с этой большой высоты Столетову словно бы резче и яснее видится и вся его прежняя год за годом жизнь. Жизнь, которая была как бы приурочением к тому, что происходило здесь в августовские дни и что происходит теперь...

Где-то на половине пути встретили полтора табора турок у телеграфной станции. Когда этому отряду было передано приказание о сдаче, солдаты охотно положили оружие и в рассыпную отправились вниз.

Но впереди еще шла стрельба.

В то время как наши войска внизу торжествовали победу, защитники перевала еще ничего не знали об этом. Они только слышали, что стих тяжелый многочасовой бой, а чем, чьей победой он кончился, им было неизвестно.

И вот теперь чем дальше, тем ехать было опаснее. Нечего было опасаться турецких пуль — они летели в противоположную сторону. Довольно близко и довольно густо ложились наши, русские, пули — вот что было страшно. Погибнуть от своих же — ничего более нелепого и придумать нельзя...

Так под русским огнем с высоты на высоту, с перевала на перевал добрались до первых редутов и поехали на

левый фланг, к командующему верхними позициями Хаджи-Осману.

Когда ему передали приказание главнокомандующего турецкими силами, Осман даже побледнел:

— Я не сдамся! Я еще могу держаться!..

Ему дали время на размышление.

— Я не сдамся! — повторил Осман. — Я не могу сдатьсь!

Тогда взял слово Столетов. Он сказал, что Хаджи-Осман окружен и если не сдастся, то мы сейчас же пойдем со всех сторон на штурм его позиций.

— Идите, — не сдавался упрямый паша, — вы уложите здесь половину вашего отряда.

Дело было, конечно, не в одном упрямстве. Просто Осман-паша твердо верил в неприступность своих командных над перевалом позиций. Они неприступны были и летом, сейчас местами заснеженные, местами обледенелые крутизны были неприступны вдвойне и втройне.

Переговоры начинали затягиваться. Сплошное море турецких фесок вокруг палатки росло и росло, гул усиливался, заглушая выстрелы с наших позиций.

Столетов в ультимативной форме потребовал окончательного ответа. Тогда Осман попросил показать ему ордер Весселя-паши. Ему показали.

— Эту записку я сохранию, в ней моя честь, — сказал Осман уже другим голосом. — Когда я вернусь в Стамбул, она послужит доказательством, что я не сдался, а исполнил приказание старшего... — И добавил: — Я бы предпочел умереть здесь!

После этого командующий турецкими позициями на Шипкинских высотах заявил, что он складывает оружие.

— Где ваши знамена? — спросил Столетов.

— Усланы в Адрианополь давно уже...

И знал, что позиции неприступны, а все же знамена «на всякий случай» отослал...

Заключив переговоры, Столетов поскакал к Радецкому. Тому самому Радецкому, который сменил его в августе на посту командующего обороной перевала и держал эту оборону до сего дня. Тот приказал командиру Минского полка Насветевичу немедленно же заняться обезоруживанием Лысой горы — главной позиции турок.

Но как идти туда? Нужен белый флаг, а его не оказалось. Если турки предусмотрительно отослали свои знамена в глубь страны, мы обзаводиться белыми флагами

не торопились. Находчивый Насветевич повесил на копье расшитое петухами русское полотенце и, вздымая его над головой, выступил вперед...

Так и осталась навсегда в памяти Николая Григорьевича Столетова эта картина, это последнее видение Шипки: заснеженные, сияющие под ярким солнцем горы, безмолвные батареи на них, высыпавшие из своих ложементов русские, ополченцы и турецкие солдаты и идущий недавним полем боя Насветевич с полотенцем на копье. Вот именно: не с боевым воинственным стягом, а с мирным, расшитым петухами полотенцем.

В тот солнечный декабрьский день вершиной уже известного на весь мир Шипкинского перевала шел не кичливый завоеватель, шел русский воин и нес на древке копья развевающеся на ветру и далеко всем видное полотенце с петухами. Пусть отныне людей, живущих на этой многотрадной славянской земле, будит по утрам не гром пушек, а веселое петушиное пенье...

Осенью 1902 года Болгария отмечала двадцатипятилетие Освободительной войны. В числе самых почетных гостей на юбилейные торжества был приглашен генерал от инфантерии Николай Григорьевич Столетов.

К тому времени на Шипке был построен, храм-памятник. И в юбилейные дни, при открытии этого храма собравшиеся здесь представители болгарского ополчения поднесли и во всеуслышание прочли Н. Г. Столетову адрес, в котором между прочими были и такие слова:

«Мы бесконечно счастливы в минуту освящения храма-памятника видеть здесь перед собой славного своего учителя, храброго и неустрашимого воеводу, которого подвиги совершены им во главе героев-орловцев, брянцев и юнаков-ополченцев, сплотившихся в одну железную, оказавшуюся непроницаемой для врагов стену.

Ваше здесь среди нас присутствие мы считаем событием историческим; оно живо воскресило в нашей памяти день 6 мая 1877 года, когда вы, приняв Самарское знамя, под сенью святыни этой двух народов коленопреклонно с нами принесли клятвенное обещание свято исполнить воинский долг — лечь костями, мощно защищая святой крест и наши отечества.

Живо представляется нам сорокачетырёхлетний отец-

командир, уже украшенный тогда многими знаками военного отличия, кои напоминали в нем бойца 1854—1855 годов за севастопольские твердыни, за поддержание боевой славы на восточном берегу Каспийского моря при основании им града Красноводска в 1869 году, за военно-походное изучение им Аму-Дарьинского края в 1874 году; вот какой знатный воин, сын великой России, сделался тогда нашим полководцем на вечную славу нашей страны и нашей армии. Память о нем запечатлена в наших благодарных сердцах навеки; ни давность времени, ни древность возраста, успешного покрыть нас сединой, не изменила и не изменит этой памяти; она нерушимо, из века в век будет передаваться нашим детям, внукам и дальше грядущим поколениям сынов созданной нашими усилиями Болгарии.

С гордостью вспоминаем мы, как вы водили нас в богатырской борьбе плечо в плечо с русскими братьями. Рядом с ними и их примером, под вашим воеводством мы, полные славных надежд и идеальных стремлений, волновали наши души и наполнявших наши сердца, радостно проливали нашу кровь, бодро подходя к закреплению твердо принятого всеми нами с первых дней девиза: «Свобода или смерть». Закрепление это свершилось, будучи куплено дорогою ценою гибели наших братьев, 19 июля под Старой Загорой, а затем 9, 10 и 11 августа на Шипке; здесь, на этом самом месте, на которое мы были посланы тогда проливать под вашим начальством и по вашим указаниям кровь, а теперь мы собрались отдать долг памяти славным воинам, павшим за нашу свободу на поле битвы.

Славный наш полководец!

Мы, ваши ученики-ополченцы, счастливы видеть вас здесь, среди нас, и принести вам горячую благодарность за понесенные вами для нашего отечества старания и труды, завершившие создание нашей свободы и создавшие нашу армию, являющуюся великой гордостью страны.

Пусть отныне об этом и об неизменности наших чувств бесконечной признательности к России — гордости славян, славным генералам и воинам мощной русской армии, к вам, нашему учителю, — вечно всему миру возвещает благородный, величественный звон колокола, увенчанного вместе с православным крестом на этом святом храме верхушку горделиво возвышающейся Шипки — свиде-

тельницы наших ратных трудов под вашим скромным, но несокрушимым для сил пятивекового врага-тирана, нас сплотившим в исторической борьбе, дорогим сердцу нашему отеческим начальством».

Этот адрес в скромной, простой папке за подписями братушек, дравшихся в славных рядах дружин, был вручен Н. Г. Столетову у подножия памятника 15 сентября 1902 года.

В жизни каждого человека есть свой апогей, своя вершина. В сущности, он идет к ней всю жизнь, хотя и так бывает, что достигает ее не обязательно в конце своего земного существования.

Вершиной жизни Николая Григорьевича Столетова стала Шипка.

Еще до того, как он попадет на Балканские высоты, имя его будет широко известно. По материалам Амударьинской экспедиции Столетов опубликует несколько научных статей, и Географическое общество изберет его своим действительным членом. В книгах будет написано, что им основан город Красноводск...

И после Освободительной войны Николай Григорьевич Столетов еще много славных дел совершит в пользу отечества. Он будет возглавлять дипломатическую миссию в Афганистане, дослужится до «полного» генерала, а с 1899 года будет состоять членом Государственного совета...

И все же вершиной его жизни, ее высшим взлетом останется героическая оборона Шипки.

Он будет менее известен как основатель города Красноводска и более как почетный гражданин города Габрова, откуда ведет дорога на Шипкинский перевал. И вот уже почти сто лет самая высокая точка перевала называется вершиной Столетова и будет называться так всегда, на вечные времена.

Кто бы ни писал о войне 1877—1878 годов, никто не может обойти молчанием Шипку. Потому что она — символ мужества и стойкости, символ братства русского и болгарского народов. Склоны Шипки обильно политы кровью народов-братьев, и, значит, ничего не может быть прочнее такого братства. Как сказал великий русский поэт: дело прочно, когда под ним струится кровь!

— ...Вот это и есть знаменитый Шипкинский перевал, а короче — Шипка. Здесь стояла Круглая батарея, там Стальная... Это — гора Николай, а там, где памятник, вершина Столетова...

За достойные дела людям ставят памятники.

Трудно представить более величественный и вечный памятник, чем этот, созданный самой природой.

Над ним не властно время, он не подвластен забвению.

Слава Шипки пребудет в веках.

Виктор Петелин
ЭТО БЫЛО ПОД ПЛЕВНОЙ

1

За Дунаем

Русские войска, успешно форсировав Дунай, двинулись по Болгарии в трех направлениях: Западный отряд в составе 9-го корпуса под командованием барона Н. П. Криденера численностью около 35 тысяч человек должен был захватить Никополь, Плевну и двигаться по направлению к Балканам, оставив часть войск для прикрытия правого фланга Дунайской армии; Передовой отряд генерал-лейтенанта И. В. Гурко, куда входили дружины болгарского ополчения во главе с генерал-майором Столетовым, должен был наступать в сторону Тырнова, захватить Шипкинский перевал и укрепиться за Балканами; наконец, Руцукский отряд во главе с цесаревичем Александром в составе двух корпусов численностью около 75 тысяч должен был сковать основные силы неприятеля, расположенные в четырехугольнике крепостей Силистрия—Руцук—Шумла—Варна.

С бою взяв Никополь, барон Криденер на несколько дней дал отдых войскам, чтобы можно было пополнить запасы продовольствия и снарядов, навести порядок в боевых рядах корпуса. А между тем события развивались с молниеносной быстротой: Осман-паша вместе со своей армией, дислоцированной в Видине, буквально «бросился» к Плевне и за несколько часов до русских занял ее, начав воздвигать укрепленные линии.

6 июля, получив указание из главного штаба армии о занятии Плевны, Криденер направил три полка, чтобы овладеть Плевной 7 июля, «если не встретится особого препятствия». Никто тогда и не предполагал, что обыкновенный болгарский городок, раскинувшийся в долине

реки Вид, встанет на пути русской армии неприступной крепостью.

Осман-паша, расположившись с отборными частями турецкой армии в Видине, как только узнал о форсировании русскими войсками Дуная, начал готовиться к выстулению. Но приказ султана запоздал, и он не успел на помощь Никополью. Да и никто не придавал серьезного значения этому городку, раз русские уже переправились через Дунай. Плевна — вот самой природой приготовленная крепость, лишь она может остановить движение русских к Балканам. Отсюда и возник его план сосредоточения войск в Плевне. С севера Плевну закрывали Опанецкие высоты, с запада и юго-запада Гривицкие и Тученицкие, с юга Зеленые горы и Кришинские высоты, с запада река Вид с ее высоким левым берегом. Так что вся местность, в которой расположился этот небольшой городок, представляла собой удобнейшие позиции для обороны и ни малейшего шанса на успех наступающим войскам.

Русские войска начали движение в сторону Плевны 6 июля. Шли по отвратительным дорогам, с тяжелыми ранцами, и генерал-лейтенант Шильдер-Шульднер, увидев, что цель близка, приказал отдыхать до следующего утра.

— Эй ты, молодец! — крикнул он проезжавшему мимо казаку. — Съезди-ка вперед, посмотри, нет ли где ключевой воды...

Через несколько минут казак вернулся блее полотна:

— Ваше превосходительство! Родник есть, но из него турки черпают воду.

— Какие турки?.. Ты что вздор мелешь!

— Ей-богу, турки, сами посмотрите.

И действительно, турки спокойно набирали воду из источника и уходили к себе в лагерь, скрытый возвышенностью. Тогда Шильдер-Шульднер предположил, что в Плевне могли остановиться разбитые части никопольского гарнизона, число которых вряд ли превышало пять-шесть таборов (табор — 500—700 человек). Первая же попытка атаковать позиции турок была встречена огнем крупнокалиберных орудий. Шильдер-Шульднер отложил атаку до следующего утра.

8 июля в пять часов утра русские войска приготовились к атаке, выстроившись ротными колоннами в две линии в соответствии с диспозицией генерала Шильдер-

Шульднера: два батальона Вологодского полка на правом фланге, третьему батальону приказано оставаться за ними, в частном резерве; в центре два батальона Архангелогородского полка: на левом фланге расположились две батареи под прикрытием третьего батальона архангелогородцев.

Артиллерийская подготовка длилась всего три четверти часа. А затем генерал отдал приказ правому флангу перейти в наступление. Два батальона вологодцев скатились в лощину, разделявшую позиции противника. Под градом пуль вологодцы стремительно бросились вверх по скату, на котором густо засели в кустарниках турецкие цепи. С криком «ура!» они выбили турок из первой линии укреплений и, поддержанные двумя ротами архангелогородцев, ворвались на окраину города, но здесь, встреченные сильным огнем, были вынуждены залечь. Подходили все новые и новые резервы турок, с ходу вступавшие в бой. Вологодцы решили во что бы то ни стало отстоять завоеванные позиции. Кончились патроны, стали отбиваться штыками. Но было ясно, что удержаться уже не удастся.

Турки, пополненные свежими таборами, стремительно наступали. Русские с боем отходили: резервы были уже использованы.

И не было никаких известий от Костромского полка и Кавказской бригады. Оставалось только догадываться, что костромичи ввязались в бой в районе села Гривицы — оттуда доносились залпы, орудийные выстрелы. Получив наконец первое донесение, что атака Костромского полка тоже отбита, Шильдер-Шульднер отдал приказ всем войскам отходить на исходные позиции.

Атака Плевны от Гривицы вначале тоже развивалась успешно. Первая и вторая линии турецких окопов были взяты в штыковом бою, которого никогда не выдерживали турки. Полковник Клейнгауз был убит осколком разорвавшейся гранаты. Погибли подполковник Дьяконов, майор Цеханович, поручик Тарасевич... Но русские продолжали наступать. Собравшись вокруг отважного подпоручика Шаталова, поредевшие роты снова бросились в штыки и взяли третий ряд турецких окопов.

После этой героической атаки наступило временное затишье. Майор Барашев, один из немногих старших офицеров полка оставшийся в живых, снова повел войска в наступление. Турки дрогнули и открыли путь до само-

го города. Но бегущих турок остановили подошедшие крупные резервы. Русские залегли.

Перед майором Барашевым встал вопрос: что делать, что предпринять? Патронов не осталось. Ружейный же огонь турок с каждой минутой уносил все новые и новые жертвы из рядов русских. Удержать занятые позиции вблизи города не было никакой возможности. Оставаться здесь значило обречь оставшихся в живых на верную смерть. И майор Барашев отдал приказ об общем отступлении.

Но эта первая неудача под Плевной ничему не научила высшее командование армии. Барон Криденер и генерал Шильдер-Шульднер в своих донесениях указывали на большую несообразность наших сил с силами неприятеля как на главную причину неудачи под Плевной. Действительно, девять неполных батальонов русских, притом разделенных на два отряда, действовавших порознь, не могли сломить сопротивление сорока пяти — пятидесяти турецких таборов. Именно это прежде всего и нужно было выяснить, а не действовать наобум, без артиллерийской подготовки, без знакомства с местными условиями, без сведений о противнике, без ясной и четкой диспозиции, без достаточных резервов.

Первый штурм под Плевной показал силу штыкового наступательного боя русских солдат и офицеров. Это качество отмечал и генерал Шильдер-Шульднер: «И солдаты и офицеры вели себя в эти дни безукоризненно: они сделали все, что могут сделать самые доблестные войска. Оставаясь двое суток без пищи, они шли вперед под градом пуль и картечи, прокладывая себе путь огнем и штыком, пока половина из них не осталась на месте, потеряв 74 штаб- и обер-офицеров. По совести, можно смело гордиться подобными войсками, которые не считают врагов и не знают отступления, пока им этого не прикажут. Они сделали свое дело молодецки и заслуживают самое полное, горячее спасибо».

Через десять дней после первой Плевны последовала вторая.

Главный штаб армии приказал во второй раз атаковать Плевну, осознав ее большое стратегическое значение для последующих наступательных операций русской армии.

Накануне штурма Криденер созвал военный совет, а затем роздал диспозицию вверенным ему частям, в ко-

торой не было никаких указаний относительно предстоящих действий каждой отдельной части, не было никаких сведений о расположении противника, его батарей, его редутов и ложементов, не были даже намечены пункты отступления. Такая диспозиция, сковывая инициативу частных начальников, только вводила в заблуждение относительно общих и взаимосвязанных действий двух корпусов. О частях же корпуса Шаховского говорилось вообще как-то вскользь.

Барон Криденер вполне мог командовать на параде, здесь же он оказался совершенно неспособным к такой тяжелой службе, полной неожиданностей, непредвиденных ситуаций.

Но и второй штурм плевненских укреплений был отбит турками.

Главкомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич был явно не в духе: только что он лично принял телеграмму. «Бой длился целый день, у неприятеля громадное превосходство сил, отступаю на Булгарени, шлю Лярского», — телеграфировал генерал Криденер.

Что можно было понять из такой телеграммы? Все очень смутно и неопределенно... Начальник главного штаба армии Артур Адамович Непокойчицкий, престарелый генерал-адъютант, тоже в недоумении разводил руками.

Главкомандующий позвал своего личного адъютанта полковника Дмитрия Антоновича Скалона.

— Ну уж мне твой дядюшка, Митька! Ничего не удержишь из его телеграммы... Да вот сам посмотри...

Николай Николаевич протянул только что полученную телеграмму.

Скалон быстро пробежал ее глазами.

— ...Из этого решительно нельзя ничего понять... Кроме одного: барон Криденер отступает от Плевны.

Скалон внимательно посмотрел на великого князя и отметил про себя, что тот ничуть не изменился, получив столь неприятное известие.

— Ничего бы этого не было, если бы он своевременно выполнил мой приказ незамедлительно следовать к Плевне после штурма Никополя, а он замешкался и опоздал...

— Если бы не в Плевне, то где-нибудь дальше турки все-таки собрались бы, ваше высочество. Нам Плевна,

пожалуй, будет сподручнее. Здесь мы не так растянуты и имеем преимущество центрального расположения.

— Вот вместо того, чтобы мне выговоры давать, государь лучше бы мне дал войска, которые я у него просил. Подойдут подкрепления, я сам туда поеду, и вновь атакуем Плевну.

— Как хорошо, ваше высочество, что вы отговорили государя ехать в Тырново. Если бы сейчас и ему пришлось отступить, это произвело бы самое неблагоприятное впечатление не только в армии, но и в России и за границей...

— Пошли телеграмму моему державному брату. В два часа я поеду к нему, а вы все отправитесь вслед за мной часа в три.

Полковник Скалон взял телеграмму, составленную главнокомандующим, зашифровал ее и отправил в Белу, где расположилась Главная императорская квартира. «Получил телеграмму от Криденера, — сообщал великий князь, — что после вчерашнего боя под Плевной неприятель оказался будто бы в превосходных силах, и что он вчера же отступил к Булгарени. Я предписал немедленно 16-й дивизии из Иванчи идти на Градище; отсюда собираю четыре полка к Сельви по направлению к Ловче. Сам сегодня отправляюсь через Полукраешти, Иванчу, Овчу-Могилу в Булгарени. Намерен непременно еще атаковать неприятеля и лично вести третью атаку. Гурко пока оставляю в его положении. Заеду к тебе в Белу».

В два часа дня была получена телеграмма от императора Александра: «Крайне огорчен новой неудачей под Плевною. Криденер доносит, что бой продолжался целый день, но громадное превосходство сил турок заставило отступить за Булгарени. Завтра ожидаю Имеретинского с подробностями. Пишу тебе с адъютантом наследника, Оболенским. Под Русуком и к стороне Разграда вчера ничего не было».

Вторая неудача под Плевной озадачила и привела в уныние. Многие рассчитывали на легкую победу над слабыми турками, старались побыстрее отличиться и получить продвижение по службе. Так оно и было вначале.

Вечером 19 июля 1877 года в Главной квартире императора Александра II состоялось совещание, в котором приняли участие военный министр Д. А. Милютин, цеса-

ревич Александр, главнокомандующий и начальник штаба Дунайской армии Непокойчицкий.

— Ваше императорское величество, — с горечью сказал главнокомандующий, — ведь я еще в Ливадии говорил, что необходимо увеличить численный состав Дунайской армии. И вот мы сейчас убеждаемся в нашем промахе. Это наша всегдашняя слабость посылать войска по клочкам.

Милютин признал, что он и его советники при составлении планов кампании недооценили силы турок, плохо были информированы о боевой готовности турецкой армии.

— Мы решили мобилизовать весь Гвардейский корпус, за исключением кирасир, и 24-ю и 26-ю пехотные дивизии, из коих гвардия и 24-я дивизия для немедленного по окончании мобилизации усиления действующей армии, — успокаивал император своего недовольного брата.

— Ожидается прибытие 65 батальонов, 25 эскадронов, 192 пехих и 18 конных орудий, — уточнил военный министр Д. А. Милютин.

— Это все очень хорошо. Жаль только, что эти дополнительные части я буду получать пакетиками... — не успокаивался главнокомандующий.

Никто ему и не возражал. На совещании было решено вновь атаковать Плевну, но более тщательно подготовиться: подтянуть подкрепления, разведать силы Османа-паши и укрепить командование.

Главнокомандующий сам взялся разработать всю операцию третьего штурма Плевны. Для этого он и выехал к Плевне.

По дороге в Булгарени в шатре дивизионного госпиталя и застал его командовавший вторым штурмом Плевны барон Криденер. Полковник Скалон испугался за своего дядюшку, опасаясь гнева великого князя. Но ничего подобного не произошло. Великий князь подошел к барону, обнял его и нежно поцеловал:

— Ах, Криденер, голубчик мой! Спасибо вам и от государя спасибо.

Такого оборота дел барон Криденер никак не ожидал. Шесть тысяч вышли из строя в результате проведенной им операции!.. Но все миновало для него благополучно.

29 июля Александр II вызвал военного министра Милютина.

— Дмитрий Алексеевич, к обеду будет великий князь, главнокомандующий, для согласования своих действий. Все пока тихо, спокойно. Но у меня не выходит из головы плевнинское дело... Так оно повлияло на настроение всей армии... Что-то нам нужно делать с этим настроением, а то уж совсем закиснут...

— 18 июля мы проиграли, ваше императорское величество, по вялости и нерешительности Криденера...

— По моим сведениям, за плевненское дело хвалят только одного генерала Скобелева. Многие убеждены, что если бы его своевременно поддержали на левом фланге, то сражение решилось бы в нашу пользу: утверждают, что турки будто бы уже приготовились к отступлению и даже начали вытягивать свои обозы на Софийскую дорогу... А вот о бароне Криденере говорят, что он утратил всякое доверие в войсках. Да и вообще, говорят, доверие к начальствующему составу сильно подорвано. Атака Плевны велась неискусно... Фронт атаки был растянут на восемнадцать верст... Ах, барон Криденер, сколько горя он мне причинил...

Вошел адъютант и положил перед императором свежую депешу. Александр прочитал ее.

— Ну вот, легок на помине, скоро будет наш главнокомандующий... Поговорим... А пока скажите мне, Дмитрий Алексеевич, что вы думаете о ходе нашей кампании...

Милютин был готов к этому разговору.

— Ваше императорское величество, я давно собирался просить вас выслушать меня... После неудачи под Плевной я все время думал о причине ее и считаю, что нам необходимо переменить наш способ действий. Мы не можем всегда вести бой, бросаясь смело, открыто, прямо на противника. Рассчитывая на одну беспредельную храбрость русского солдата, мы истребим всю нашу армию. Считаю необходимым, ваше величество, разработать план дальнейших действий таким образом, чтобы не подвергать наши войска непомерным потерям...

Под Плевной продолжались приготовления к штурму. В ночь с 25 на 26 августа были установлены две батареи крупных осадных орудий. Ровно в шесть часов утра раздался первый выстрел, которым начиналась четырехдневная артиллерийская подготовка к штурму. Войска готовились к атаке.

В тот же день в пять часов утра император в сопровождении конвоя и огромной свиты отправился к Плевне: он твердо решил, несмотря на уговоры главнокомандующего, присутствовать во время сражения.

К 11 часам вся кавалькада во главе с императором и главнокомандующим достигла Гривицкой высоты, которая была предназначена под наблюдательный пункт. Земляные укрепления, масса движущихся войск, осадные орудия, то и дело извергающие смертоносный металл, — все здесь было как на ладони. С этой возвышенности просматривались и деревня Гривица, и Ловчинское шоссе, и Зеленые горы, и Буковлекский укрепленный лагерь турок.

Четыре дня продолжалась бомбардировка Плевны. Четыре дня каждое утро император с огромной свитой приезжал на облюбованную высоту и наблюдал за движениями наших войск, готовившихся к атаке. Все эти дни около него находились и главнокомандующий, и князь Карл, и генерал-лейтенант Зотов. Присутствие императора сковало всех: главнокомандующий отказался от непосредственного руководства боем в связи с желанием императора все время быть вместе; румынский князь Карл, начальник Западного отряда, ни во что не вмешивался, и все время, как и главнокомандующий, безотлучно находился при императоре; начальник штаба генерал Зотов все эти дни тоже не покидал царского наблюдательного пункта.

Среди многочисленной свиты императора находился и его врач Сергей Петрович Боткин. О своих впечатлениях о пребывании на Гривицкой высоте он писал: «...До четырех мы просидели на нашей высоте, — то полежим, то походим, то сядем верхом и приблизимся к батареям, то стоим. Беспременно приезжали ординарцы с весьма тощими донесениями. К счастью, солнце не постоянно нас пекло, временами скрывалось за тучи и давало нам вздохнуть. Наконец в час завтрак, на который вся эта молодежь с отличным пищеварением бросается с волчьей жадностью... Сегодня целое утро, пока тебе пишу, у меня беспременно народ; большая часть приходит за советом, по некоторые — отвести душу; поговорить по душе, пожаловаться на штаб, на ход всего дела. Из всего слышанного сегодня узнал, что командует осадой, в сущности, Зотов; принц Карл держит себя с большим тактом и ни во что не вмешивается, так же как и Великий князь. Зотова хвалят, но говорят, что осада ведется не так, как

бы следовало: для штурмового дела тянут, для фортификационного же не предпринимают земляных работ, недостаточно подвигаются к туркам; выходит ни то ни се...»

На 30 августа был назначен общий штурм. Это был день тезоименитства императора, и его хотели отпраздновать победным шествием в Плевну.

В ночь на 30 августа пошел холодный дождь. Ясная и знойная погода неожиданно переменилась, поплыл туман, заморосил дождь. Земля набухла, стала вязкой, колеса орудий надолго застревали в земле. И самое разумное было бы отменить штурм, но этот день был особенным. В этот день решили преподнести подарок государю.

Как только прибыл император на свой излюбленный царский валик, как стали называть возвышенность на Гривицких высотах, около 12 дня началось молебствие. До штурма было еще много времени. Но вдруг земля дрогнула от залпов сотен орудий и тысяч ружейных выстрелов. Сквозь пелену дождливого тумана трудно было разобрать, что происходит внизу. И почему так рано начались боевые действия, нарушившие строго продуманный ритуал сражения.

На царском валике продолжалось молебствие, а русские воины уже падали, сраженные метким турецким огнем. И многим горько становилось от предчувствия большой беды.

В три часа пополудни по всему фронту двинулись вперед штурмовые колонны. Но движение начало замедляться. Начало штурма не предвещало ничего хорошего. Два полка 4-го корпуса были вовлечены в бой уже в 11 часов. Встреченные убийственным огнем, они начали отступать. Но тут генерал Шнитников, желая отличиться и оправдать доверие великого князя, в три часа повел еще два полка своей дивизии на штурм. Эти два полка, столкнувшись с отступающими двумя полками, были сбиты с толку. Но окончательно все смешалось, когда еще три полка бросились на выручку этим четырем полкам. Так что уже в начале штурма семь полков было временно выведено из строя.

В это же время начал свое движение отряд Скобелева за овладение третьим гребнем Зеленых гор. В два часа он был уже взят. В три часа Владимирский и Суздальский полки с музыкой и барабанным боем двинулись к четвертому гребню, туда, где были оборудованы два силь-

ных турецких редута. 400 метров нужно было взбираться по крутой голой горе, на скатах которой турки засели в ложементях. Огонь был ужасающий, и задача, стоявшая перед отрядом Скобелева, была трудновыполнимая.

План Скобелева атаковать редуты поразила турок своей неожиданностью, дерзостью, смелостью. Блестящая идея талантливого полководца была выполнена с неумолимой последовательностью. И если бы руководство штурмом вовремя поддержало действия Скобелева, то армия Османа-паши наверняка была бы разгромлена на три месяца раньше, чем это случилось впоследствии. Нужно было именно сюда направить главную атаку всех оставшихся свободных резервов, но никому и в голову не пришло это сделать. Все только наблюдали с вершины за ходом боя и ждали успешного исхода.

— Вперед, ребята, — гремел голос Скобелева. — За мной! Стройся, я сам поведу вас. Кто от меня отстанет, стыдно тому... Барабанщики! В наступление...

Скобелев увлек за собой солдат. Турки не выдержали натиска и оставили первую линию ложементов, скрывшись в редуте. Еще радостнее и отчаяннее грянуло «ура!» при виде отступавших турок. Самые отчаянные уже в траншеях, около редута. Огонь турок не достигал их, скрытых как бы земляным навесом редута.

— За мной, дети, не отставать! — снова гремит голос Скобелева.

Началась отчаянная схватка. Скобелев был в числе первых, ворвавшихся в редут.

Первый редут взят. Скобелев отдал приказание преследовать врага. Второй редут был взят штурмом через час полтора после первого; с двух сторон, с фронта и по соединительной траншее, суздальцы и либавцы бросились на редут и овладели им в 6 часов вечера. Два редута, прикрывавшие Плевну, оказались в руках Скобелева. Плевна открывалась перед глазами русских. Ключи от Плевны были в их руках.

Князь Имеретинский — Зотову: «Скобелев просит доложить: высоты и два редута взял после упорного боя. Просит резервов. У меня их нет, все введено в бой, остались мелкие части, которые приводятся в порядок. Скобелев продержится до утра, но просит подкреплений».

Зотов — князю Имеретинскому: «Резервов нет. Держитесь вашими войсками, так как резерв, имеющийся под вашим начальством, сильнее главного».

Зотов — князю Имеретинскому: «Передайте Скобелеву приказание его императорского высочества главнокомандующего оставаться на занятых позициях и укрепиться на них».

Князь Имеретинский — Зотову: «Неприятель в весьма значительных силах обходит наш левый фланг. Весь резерв истощен, осталась только кавалерия». И еще: «Генерал Скобелев просит прислать ему в помощь бригаду. Иначе не ручается за удержание трех взятых им редутов. Левый фланг охраняю одною кавалерией. Последний солдат введен в дело».

Зотов — Имеретинскому: «Скажите Скобелеву, чтоб укрепился на занятой позиции и держался до невозможности. Рассчитывать на подкрепление сегодня нельзя».

Имеретинский — Зотову: «Скобелев сообщает: турки после второй их атаки отброшены в свои ложементы, и он отступает в полном порядке. Сейчас прибыл капитан Болла и передал Скобелеву записку».

Имеретинский — Зотову: «Скобелев доносит: его выбили из укреплений. Неприятель наступает. Скобелев отступает, прикрываясь Шуйским полком».

Получив телеграмму Зотова, Скобелев долго не мог успокоиться, вертел ее в руках, а потом в раздражении сказал:

— Черт знает что такое! Пишут, что нет подкреплений, а между тем целые колонны ничего не делают... Хоть бы произвели демонстрацию с той стороны и отвлекли от нас таким образом часть неприятельских сил! Ведь нам приходится бороться чуть не со всею армией Османа-паши!

Скобелев едва не задохнулся от негодования, и слезы ярости показались у него на глазах. Он опустил голову, стараясь скрыть свое волнение, и добавил:

— Если бы мне теперь свежую бригаду, я доказал бы...

Осман-паша бросил все свои резервы на Скобелевские редуты, отлично понимая всю важность в тактическом и стратегическом отношениях этих пунктов. Во главе турок двигались муллы в белых чалмах. Впереди атакующих развевалось зеленое знамя пророка, а муллы высоко над головами держали священные кораны. Впечатление было такое, что шли напролом, шли смертники, получившие приказ или погибнуть, или победить...

В это время император, по обычаю последних дней,

сидел на царском валике, на походных креслах и глядел в бинокль. Он был в курсе хода событий, выслушивал доносения. Одно время, когда наступил критический момент, ему казалось, что необходимо бросить подкрепления Скобелеву, но его отговорили, уверяя, что крайне опасно и рискованно ослаблять главный резерв. Если Скобелев и будет разбит, то все же главные силы будут способны отразить нападение турок.

Вечером 31 августа в мрачном молчании разъехались по своим квартирам. Всем было ясно, что и на этот раз штурм Плевны оказался неудачным.

Утром 1 сентября погода стояла великолепная. Наши батареи открыли огонь, но турки не отвечали. Загадочное молчание турок вызвало различные толки среди начальствующего состава армии. Оптимисты обрадованно доказывали, что турки так яростно дрались накануне, чтобы, освободив себе проход, навсегда покинуть Плевну; пессимисты, напротив, говорили, что вскоре снова начнется ожесточенная атака со стороны турок, и уж тогда мы не удержимся на занятых позициях, будем отступать.

На царском валике в три часа дня состоялся военный совет под председательством императора. На совете присутствовали военный министр, главнокомандующий, Непокойчицкий, Зотов, князь Карл, начальник артиллерии князь Массальский, Левицкий.

Император предоставил слово главнокомандующему, который предложил отступить за реку Осьму и, укрепившись, держаться до прихода гвардии.

— Страшный, непомерный урон, ослабивший и расстроивший все части, отсутствие резервов — вот мои соображения, в силу которых я считаю невозможным оставаться на занимаемых под Плевною позициях. Не могу скрыть, что считаю необходимым отступление армии к Дунаю. Сейчас ясно, что война начата была с недостаточными силами и средствами.

— Нет, отступление невозможно и было бы для нас и для всей нашей доблестной армии позором, — возразил военный министр Д. А. Милютин. — Нельзя отступать, когда еще ничего не известно о намерениях неприятеля, который, быть может, отступит и сам... Нас никто не теснит... Мы должны стоять, пока не подойдут подкрепления.

Странно было видеть кипевшие страсти этих светских людей, прошедших большую школу придворных интриг.

Странно было видеть, как нелепо выглядел главнокомандующий в своем споре с военным министром.

Но последнее слово было за императором. И он сказал:

— В сознании ответственности своей перед Россией считаю нужным объявить вам, господа, что мы не отступим ни на шаг. Отступление нанесет нам большой урон и в политическом смысле, ухудшит отношения с европейскими державами, ухудшит нравственное состояние войска. Нам сейчас не отступать нужно, а еще теснее сплотить войска вокруг Плевны, притянуть к ней из России возможно больше силы, как правильно говорил здесь Дмитрий Алексеевич, взять сюда гвардию, гренадер и стянуть железное кольцо вокруг Османа-паши, пресечь ему пути сообщения с Видином и Софией и, так или иначе, посредством осады или блокады, вынудить его наконец к безусловной сдаче. Таков наш долг, которого требует от нас не только честь армии, но и честь государства. А для непосредственного начальствования над всеми войсками под Плевною я вызываю из Петербурга генерал-адъютанта Тотлебена...

Со второго сентября главнокомандующий начал объезжать войска под Плевной. Благодарил Скобелева, князя Имеретинского, поругивал Зотова, не проявившего должной распорядительности в руководстве войсками. Во время объезда войск выяснилось, что у солдат нечем окапываться, нет шанцевого инструмента.

Главнокомандующий выбрал позиции для батарей и редутов, пункты для атаки и саперных работ. Начинаясь новая полоса военных действий.

— Правда ли, что вы выписали Тотлебена? — спросил князь Скалон.

— Правда, я просил, но при этом сказал государю, что я по-прежнему считаю Тотлебена неспособным командовать даже корпусом, он гениальный сапер, не более...

Главнокомандующий помолчал, а потом продолжал уже совсем о другом:

— Знаешь, военный министр уже отнекивается от своего разговора 31 августа. Сначала он упрекал меня за то, что мы слишком долго обстреливаем Плевну, что надо штурмовать. А теперь упрекает, что я слишком рано начал штурм, что надо было как следует обстреливать.

— Ваше высочество, а почему вы не приняли, как хотели, начальства в плевненском бою?

— Я не принял начальства потому, что не мог отойти от государя императора...

«Для постороннего лица это будет казаться невозможной отговоркою, — записал в дневнике Д. Скалон, — и совершенно непонятым, но оно так. Великий князь в присутствии государя императора с тех пор, как я близко состоял при его высочестве и хорошо его знаю, похож на человека, находящегося под какими-то неведомыми, непонятными чарами. В одном я сомневался, чтобы сила их была так велика, что они не потеряли своего магического действия в такие грандиозные минуты, как 30 и 31 августа. А между тем это так. Его высочество не мог настоять на своем, чтобы государь не приезжал на поле битвы и великий князь не был бы вынужден все время оставаться при его величестве, несмотря на то, что его тянуло на наш левый фланг, где шла главная атака Скобелева и IV корпуса».

4 сентября во время ужина генерал Левицкий, который производил рекогносцировку Плевны перед штурмом, вдруг неожиданно громко объявил:

— В настоящее время, когда мы объехали все позиции и ознакомились с ними, стало так ясно и понятно, где поставить батареи и как нужно было направить огонь.

Все сидевшие за ужином чуть не поперхнулись. Многие знали, что генерал Левицкий мало что понимает в военном деле, хотя и возглавляет полевой штаб армии, но такой глупости и наивности даже от него не ждали. Больше всех досадовал на своего помощника сам главнокомандующий. Сидевшие за столом князь Черкасский, Неллдов и особенно Кауфман непременно расскажут военному министру об этом. Да и вообще такая фраза может быть очень хорошо обыграна в светской беседе. За такую фразу дорого бы заплатили в главной императорской квартире, а тут сам автор диспозиции штурма выказал такую глупость, что теперь покатится по всему лагерю. «Странный человек Левицкий, — подумал Скалон, глядя на разволнованного генерала, почувшего свой промах. — Когда он спокоен, он говорит обстоятельно и толково, хотя и не всегда умно, но стоит ему встревожиться чем-то, то теряет здравый смысл. Его вообще можно сравнить с бутылкою вина, в которой одна треть осадка, постоят спокойно бутылка, вино чистится, и хорошо, а

тронешь бутылку, все взбалтывается, и выйдет бурда...»

Поздно вечером, оставшись наедине с главнокомандующим, Скалон напомнил ему фразу Левицкого:

— Действительно, это странно, ваше высочество... И вас могут справедливо упрекнуть за то, что у нас и во время третьей Плевны не было основательно сделанных рекогносцировок. Ну как же он мог сказать, что только теперь, после последнего объезда, после штурма, ему стало ясно и понятно, где поставить батареи и как направлять огонь. А ведь вы его направляли перед штурмом произвести рекогносцировку, а не после штурма. Что же он делал? Да ничего! И говорит еще об этом во всеуслышание. Как хотите, а он вам не помощник. И именно против него больше всего кричат у государя в свите. А помните, ваше высочество, какую чушь он нес, приехавши от Скобелева? Ведь он подорвал к себе всякое доверие. Вот про него больше всего кричат, и нельзя не признать, что многое говорят справедливо...

— Что же делать, правда! — сказал его высочество. — Я ценю его доброе сердце и честность...

2

Четвертой Плевны не будет

Тотлебен получил телеграммы от военного министра и главнокомандующего, в которых сообщалось, что он должен в самое ближайшее время выехать в главную императорскую квартиру. Сначала он был обрадован этим долгожданным приглашением, но потом его снова взяли раздумья и неуверенность в том, что его действительно вызывают на театр войны. В телеграммах подчеркивалось, что он должен был приехать временно для дачи советов.

Через три дня после получения телеграмм, 6 сентября, Тотлебен выехал из Петербурга и всю дорогу до Бухареста размышлял о событиях последних месяцев. Со времен Севастопольской обороны в России не было ему равных по заслугам в области инженерного военного искусства. За двадцать с лишним лет после этого он, возглавляя Инженерную академию, построил много укреплений на Балтийском и Черном морях. Но все это были дела мирных дней. Как истинный военный, он все время мечтал проявить свое искусство и опытность в настоящем военном деле. Но Россия не воевала со времен Крымской

войны. И он чувствовал, что кабинетная работа сушит его мозги, разработки в инженерном училище начинают его раздражать, и уже подумывал об отставке. Неожиданно военный министр Милютин по предложению государя вызвал его в Ливадию и назначил главным инспектором Черноморского флота. В конце сентября 1876 года во время аудиенции у государя Тотлебен с большим увлечением излагал свои мысли о возможном театре войны в Европейской Турции, показал государю, что его интересуют не столько инженерные проблемы, сколько военная наука вообще. И до Тотлебена доходили слухи, что после этого разговора у государя возникло предложение назначить именно его главнокомандующим действующей армии против Турции, но что-то помешало этому назначению. Видно, нашлись «доброжелатели» и напели в уши государю: дескать, тяжелый характер, самолюбив и обидчив, а то, что он хорошо знает Европейскую Турцию, уже не раз воевал там, хорошо знает турецкие укрепленные районы по берегу Дуная, как-то совсем не учитывалось. Вскоре разнесся слух, что государь остановил выбор на своем брате Николае Николаевиче — его назначили главнокомандующим действующей армии. Приходилось утешиться мыслью, что и ему доверено большое дело — восстановление укреплений на Черном море.

В конце 1876 года, когда вся Россия всколыхнулась в ожидании решительных событий, Тотлебен оказался пассивным наблюдателем приготовлений к войне с Турцией. Только и разговоров было о предстоящей войне, а его никуда не вызывали и ничего не предлагали. Видно, дошло до государя мнение Тотлебена о готовящейся войне. А он его и не скрывал. Россия, высказывался он неоднократно, не готова к войне. Нужно еще несколько лет, чтобы перевооружить армию, подготовить солдат и офицеров в соответствии с новыми европейскими требованиями военного искусства. И для ведения войны с Турцией необходим флот, а он был потоплен во время Крымской войны и с тех пор не возрожден. Да и вообще Россия только-только начала перестраиваться... Тотлебен не скрывал своих мнений и повсюду громогласно утверждал, что война с Турцией преждевременна и принесет большой урон моральному престижу России, отодвинет ее лет на пятьдесят назад в своем развитии, не дав ей никаких положительных выгод ни в политическом, ни в военном отношении. Чтобы диктовать свою волю на Востоке, Россия сей-

час должна выделить 200—300 миллионов рублей на устройство флота и на укрепление своих береговых линий, на укрепление западной границы. Исполнение этой программы уже само по себе должно возвеличить авторитет России, которая тогда будет способна диктовать свою волю. Редко кто соглашался с ним. Но Тотлебену не раз уже приходилось идти против течения, и на этот раз он не скрывал своего мнения...

После объявления войны Тотлебен все еще надеялся, что император потребует его к себе. Но тот отбыл с большой свитой на театр войны, а Тотлебен, который, может, был более, чем кто-либо, готов к ней как военный специалист, оставался в Петербурге.

Все эти месяцы Тотлебен по газетам внимательно следил за ходом событий. Столько было промахов и просчетов у командования, а кампания, на удивление, началась самым блестящим образом: переправа через Дунай, взятие Никополя, Тырнова, быстрый переход генерала Гурко через Балканы, взятие Казанлыка, Новой Загоры и Старой Загоры, русские войска были уже вблизи Адрианополя, в Константинополе забила тревогу, раздавались голоса, что Турция на краю гибели. Многим казалось, что кампания закончится к осени. Но после первой Плевны все словно изменилось, после третьей неудачи под Плевной в Петербурге и Москве приуныли, а в Европе возрадовались. И вот пробил его час...

В Бухаресте Тотлебен купил себе все необходимое для длительной службы в действующей армии. Пусть и была сделана приписка о временном пребывании его в армии как советника, но сейчас-то яснее ясного становилось, что без него не обойтись под Плевной, а потом, может, и под Рущуком и Силистрией. Где только не был он в последние годы, изучая способы ведения войны против крепостей! Больше двадцати лет назад Тотлебен начал изучать европейские крепости, побывал в Париже, Лионе, Тулоне, Шербурге, Мече, посетил многие германские города, бельгийские и голландские, и всюду прежде всего обращал внимание на укрепления, отмечая в своих записках достоинства и недостатки увиденных крепостей. Не раз бывал Тотлебен в Пруссии, Англии, Бельгии, выражал свое восхищение укреплениями Антверпенской крепости, беседовал с бельгийскими инженерами и генералами, был принят королевой Викторией и лордом Пальмерстоном, видными английскими военными деятелями, которые от-

крыли ему доступ во все крепости. Так что Тотлебен был действительно крупным знатоком крепостной войны, значение которой возросло после того, как немцы выиграли войну с Францией, осадив множество крепостей и принудив их к сдаче. И вот теперь ему придется использовать все свои накопленные знания для разработки плана осады Плевны...

В Бухаресте Тотлебен встретился со многими русскими офицерами и генералами, которые, воспользовавшись затишьем, отпросились у командования в короткий отпуск. Чуть ли не все его знакомые генералы говорили о молодом Скобелеве: одни с гордостью, другие с каким-то непонятым озлоблением, но не было ни одного, кто так или иначе не упомянул бы это имя. Говорили о его кутежах, о его необычайном успехе у румынских женщин, о его необыкновенном полководческом даре и о его редкостной эрудиции. И вот наконец Тотлебен встретился с молодым генералом, которого он знал еще по Петербургу. Но там тот был совершенно незаметен, а здесь, после «третьей Плевны», где он оказался самым дальновидным и отважным генералом, успех его был вполне закономерным. И Тотлебену захотелось поближе с ним познакомиться, из первых рук узнать о том, что же произошло под Плевной и что она сама по себе представляет. Случай не замедлил представиться. В одном из многочисленных ресторанчиков румынской столицы, где часто бывали русские офицеры, Тотлебен пригласил Скобелева отобедать вместе.

Многое отличало их друг от друга. Скобелев был молод, всего тридцать четыре года, а Тотлебену пятьдесят девять. Чисто русское, простое лицо с добрым взглядом голубых глаз, золотистая борода, расчесанная на две стороны, порывистые движения, быстро льющаяся речь Скобелева резко контрастировали с чисто немецкой обстоятельностью и твердой продуманностью внешнего поведения и строя речи Тотлебена.

Тотлебен много и охотно делился своими воспоминаниями о Севастопольской обороне, а Скобелев рассказывал о двух штурмах Плевны, участником которых он был, горько переживая неудачи.

— Мы плохо представляли турецкие силы. Просто ничего не знали о возможной силе сопротивления турок, — сказал Тотлебен. — Мы принимали во внимание только одни материальные данные, ложно определяя при-

том вооруженные силы противника. И уж если собрались воевать, объявили мобилизацию, и всему миру стало известно об этом, то уж поторопитесь с военными действиями... А что ж получилось?

— Провели мобилизацию задолго до объявления войны, оставались в продолжительном бездействии и дали туркам возможность собраться с силами и подготовиться к войне, — сеговал Скобелев.

— Да и то, что мы мобилизовали и попытались продемонстрировать свою силу для давления на турок, разбросали по Черноморскому побережью. Так что для выполнения смелого, решительного плана, рассчитанного на полное уничтожение врага, военных средств оказалось недостаточно.

— Многие испытали разочарование после третьей Плевны...

— Чем розовее были надежды и чем легче доставались начальные успехи, тем глубже должно стать разочарование, Михаил Дмитриевич. И все-таки неужели так упали духом?..

— Нельзя сказать, чтобы упали духом, нет. Армия скорее оскорблена неуспехом, незаслуженностью этих неудач.

— А в Петербурге просто поднялась паника после первых поражений здесь и на Кавказе. Но что же все-таки здесь произошло? Почему так плохо подготовились к третьему штурму Плевны?

...— Все сваливают на малочисленность войска, в чем якобы виноват Милютин... Но беда в том, что даже этими войсками не умеем воспользоваться как следует. А что творится в госпиталях... По два-три дня лежат раненые, голодные и без смены перевязки... А главное, рекогносцировка Плевны по третьему разу была так плохо сделана Левицким, что только сейчас, после еще одного объезда позиций, он заявил, что теперь-то ему все ясно, как нужно было расставить орудия, как нужно стрелять и наступать. А между тем на правой стороне наших войск, говорят, есть какой-то хребет, по которому можно было свободно пройти до Плевны, захватив всю армию Османа. Да и мы на левом фланге держали ключи от города в своих руках... Если бы у меня была хотя бы одна свежая бригада, взял бы город и разгромил Османа... Очень правильно высказался один наш общий знакомый: первое дело под Плевной было неосторожностью, второе — ошиб-

кой, третье — преступлением. Таково убеждение большей части армии...

— Назначение генерала Левицкого было ошибкой великого князя...

— Да разве дело только в нем? Куда ни повернешь, везде недомыслие и беспомощность. И странно, что все сложили руки после неудачного штурма Плевны и ничего не делают. Уверяю вас, войска наши превосходны, но начальники оставляют желать слишком много. Чувство ответственности совершенно отсутствует у многих начальствующих лиц... Все в армии ждали вас и возлагают на вас все надежды...

— Причины наших неудач не в частных ошибках, а гораздо глубже. Иначе не случилось бы одно и то же в двух частях света: в Азии — Зивии, здесь — Плевна. Если б у нас был внутренний порядок, то частные поражения послужили бы нам наукою, а не повлекли бы за собой полный застой и общую неурядицу. Хорошо еще, что мы воюем с турками, которые не умеют пользоваться нашими промахами и почти не способны к энергическому и толковому наступлению. Теперь у нас вошло в моду их возвеличивать. А между тем совсем не за что. Своими пассивными успехами они обязаны нашей распущенности, генерал, и нашей беспорядочности, а не своему искусству. Как ни досадно, но все-таки не теряю надежды на конечный успех, Михаил Дмитриевич...

— Я тоже не теряю надежды, ваше высокопревосходительство... Но обратите внимание, что легкораненые уже не рвутся, как прежде, к своим частям. Офицеры тоже недовольны, считают себя обиженными в наградах. Ординарцы получают кресты, а они ничего... Мальчуганы-ординарцы, приезжающие на несколько часов и остающиеся на позициях за кустиками или за камнями, почему мы их и зовем «закаменскими», получают кресты чуть ли не из рук самого государя или великого князя, а люди, проводившие месяцы без сна, в усиленных трудах, под пулями — какую-нибудь тощую награду, которая подчас и не застает их в живых или найдет их в госпитале без руки и без ноги...

— А что же государь?

— Государь сохраняет спокойствие и даже по временам хорошее расположение духа. Но, главное, около него абсолютно нет никого, кто бы решился высказать всю правду со всеми подробностями...

Тотлебен понял намек Скобелева, который, конечно, знал о причинах отстранения его от действующей армии, и еще больше укрепился во мнении, что государь вызвал его не временно: честные и правдивые люди бывают иногда нужны, особенно тогда, когда дело идет из рук вон плохо.

16 сентября, на следующий день после прибытия, Тотлебен был приглашен к государю на военный совет. Присутствовавшие главнокомандующий, наследник Александр, Непокойчицкий высказались за продолжение операции вокруг Плевны. Решено было всему начальствующему составу армии выехать к Плевне и, объехав все войска, дать точные и ясные предложения по дальнейшему ходу военных действий.

Два дня главнокомандующий вместе с высшими чинами армии осматривал укрепленные позиции. Обезжали все укрепления, побывали на батареях, подолгу рассматривали в бинокль, как турки лениво расхаживали около своих укреплений и, кажется, совсем не обращали внимания на огромную толпу русских военачальников, передвигающихся с одной позиции на другую. Такое равнодушие к своей особе не мог вынести главнокомандующий, и он, как мальчишка, на одной из батарей уселся на гребень бруствера и таким образом выслушал доклад батарейного командира, доложившего, что батарея находится в сфере ружейного огня.

— Турки стали экономить свои патроны... — добродушно отвечал великий князь. — Стрельбы-то нет.

Тотлебена покорила такая поза главнокомандующего, простительная молодому корнету, но уж никак не ему. А главное, что такой объезд позиций ничего не дает. Это только прогулки верхом и возможность себя показать, покрасоваться своей храбростью и мужеством. «Настоящую разведку придется производить после отъезда великого князя», — думал Тотлебен, следуя все время в свите главнокомандующего.

21 сентября Тотлебен вместе с Гурко и князем Имретинским отправились на рекогносцировку на левый берег Вида. После тщательного изучения расположения турецкого укрепленного лагеря, знакомства с начальниками дивизий и бригад русских войск, состояния материальной части и запасов боеприпасов и продуктов Тотлебен вернулся для доклада главнокомандующему.

И вот наконец 22 сентября на совещании у главнокомандующего, на котором присутствовали князь Карл, Непокойчицкий и Гурко, Тотлебен изложил свою точку зрения на дальнейший ход событий под Плевной:

— Господа! После рекогносцировки, сопоставляя средства атакующего и обороняющегося, как мне удалось их представить в столь короткий срок, я решительно высказываюсь в пользу блокады как самого выгодного и верного способа для овладения Плевной. Штурм считаю предприятием крайне трудным. Рисковать возможностью новой неудачи после трех испытанных уже поражений представляется мне опасным не только в военном, но и в политическом отношении. За три штурма мы потеряли 30 тысяч. Самые геройские усилия наших войск остались бесплодными. Произведя предварительные рекогносцировки, я убедился, что турецких позиций нельзя взять открытой силой. И прежде всего необходимо в Западном отряде навести порядок, создать оперативный штаб, который мог бы контролировать действия вверенных ему войск...

Ясная, четкая программа Тотлебена, изложенная им уверенно и твердо, произвела большое впечатление на собравшихся. Великий князь — главнокомандующий решил назначить Тотлебена помощником начальника Западного отряда, то есть фактическим его распорядителем и командиром.

По предложению Тотлебена начальником штаба отряда был назначен князь Имеретинский, начальником всей кавалерии отряда — генерал Гурко, начальником штаба кавалерии — генерал Нагловский, начальником инженеров — генерал Рейтлингер, начальником артиллерии — генерал Моллер, отрядным интендантом — полковник Свечин.

Главнокомандующий отбыл в Горный Студень, а Тотлебен продолжал изучать сложившуюся обстановку под Плевной, вникая в каждую мелочь жизни и быта русских войск.

Пронизывающий ветер, дождь и грязь изнуряюще действовали на русских солдат и офицеров. Негде укрыться от непогоды, негде обогреться и просушить одежду. Русский солдат терпелив и вынослив, но почему же так изнурять его понапрасну?.. И Тотлебен приказал сделать добротные землянки, оборудовать их печками где только возможно. Не на одну неделю сюда пришли, устраивайтесь как у себя дома.

До конца сентября лил дождь, дул пронзительный ветер, по дорогам стояли такие лужи, что порой невозможно было проехать. Спасали построенные землянки. Только в начале октября погода стала налаживаться, просохли дороги, снова посакали по ним ординарцы с донесениями и приказами. И жизнь, было затихшая из-за непогоды, вновь забурилась в своих страстях и противоречиях человеческих.

Не успел Тотлебен осмотреться в войсках и наладить работу штаба, как получил известие о том, что великий князь — главнокомандующий вновь собирается посетить его. Зачем? Что за недоверие к его действиям и приказам? Неужели нельзя дать ему возможность поработать одному со своими помощниками? Так жалко времени, потраченного на эти прогулки по позициям во главе с великим князем!

Погода стояла хорошая, солнце пригревало, хотя с севера по-прежнему дул свежий ветер. Тотлебен приказал воспользоваться этой погодой для максимального улучшения санитарных условий и укрепления позиций. От правильной осады Плевны Тотлебен отказался: никуда не годным нашел он санитарное состояние армии. А тяжелые осадные работы, считал он, при наступавших зимних холодах, трудная служба в передовых траншеях, постоянные мелкие бои и стычки — все это могло дурно отразиться на боевом духе солдат, которые должны не только взять Плевну, но и остаться боеспособными продолжать ведение последующих военных действий. Он предложил самый действенный способ овладения Плевной — блокаду. Этот способ менее активный, но более действенный: в Плевне не может быть много запасов продовольствия, как укрепленный лагерь он возник случайно, второпях, заблаговременно к этому не готовились. Все усилия Османа-паши прокормить столь огромную армию вскоре будут напрасными. Месяц-два они могут продержаться, а потом должны сдаваться или пробиваться сквозь линию обложения. Кроме того, нужно было не только овладеть Плевной и сохранить русские войска для дальнейших действий, но и взять обороняющиеся войска в плен или уничтожить их. И многое уже сделано для успешного обложения Плевны, но приезд главнокомандующего может спутать все его планы. Тотлебен прекрасно знал, что на завтраке у государя главнокомандующий прямо говорил, что с наступлением хорошей погоды пора

начинать решительные действия. Какие? Опять штурмовать? Опять уложить десятки тысяч солдат и ничего не добиться? Нет уж, он будет решительно возражать против великокняжеских глупостей... Беда только, что это помешает провести его план до конца, сохранить необходимую цельность, последовательность и единство действий.

Тотлебен приказал сосредоточить артиллерию на флангах как наиболее приближенных к турецким укреплениям, ослабить ее в центре, так как выстрелы оттуда почти не достигали укреплений турок. Сколько пропало снарядов зря... Он обратил внимание инженеров и артиллерийских офицеров, что нужно сделать, чтобы увеличить батареям угол обстрела, приспособить пушки не только для дальнего, но и ближнего обстрела. Много было сделано и для укреплений: возведены были дополнительные траверсы и ниши для войск, сделаны укрытия для артиллерийских погребов. В расположении войск были налажены дороги, построены временные мосты... Тотлебен выяснил, что артиллерия накануне третьего штурма обстреливала те турецкие укрепления, которые и не собирались атаковать. Да и потом каждая батарея была предоставлена сама себе и по своему усмотрению выбирала себе цель, чаще всего произвольную и не имеющую большой важности. Тотлебен дал указание разработать «Наставление батареям», которое должно было объединить управление всей артиллерией Западного отряда, заставить артиллеристов ежедневно наблюдать и доносить о том, что замечено у неприятеля, какие работы и передвижения войск у него происходят, с каких укреплений и пунктов произведена стрельба и какая, сколько сделано им примерно выстрелов, сколько сделано выстрелов с наших батарей, какими снарядами и по каким целям, какие у нас потери. Все эти требования, по замыслу Тотлебена, должны были сосредоточить огонь на решительном пункте, который к важному моменту будет выяснен.

Огорчило Тотлебена и предположение о переезде Главной квартиры главнокомандующего в Богот, а Главной квартиры императора в Порадим, где находился он вместе с румынским князем. Теперь следовало подумать о своей квартире. Тотлебен решил вместе со штабом переселиться в деревеньку Тученицу, на западе которой протекал одноименный ручей и где был вполне приличный дом. Не любил Тотлебен делить с кем-либо власть, опа-

саясь, что это внесет неразбериху и неясность в действия вверенных ему войск.

10 октября Тотлебен направил великому князю — главнокомандующему просьбу повременить с приездом до завтра: на 12 октября назначена атака укрепленных позиций Горного Дубняка и Телиша. Идет самая серьезная подготовка атаки, тут не до встреч и разговоров. Но беспокойная натура князя не могла выносить долгого сидения на одном месте и терпеливого ожидания событий. К тому же и раздумье о том, что могут обойтись без его распоряжений, серьезно заботило его. Так что уже рано утром 11 октября из Горного Студня он отправился в коляске вместе с Непокойчицким в сторону Плевны и в 9 часов вечера приехал в Богот, где решил расположиться Главной квартирой. Здесь начинались серьезные события. И главнокомандующий не мог быть вдали от них, дабы не посчитали, что он не участвует в этих событиях.

В ближайшее время в Порадим переедет император. Тотлебен напишет об этом в одном из писем: «Руководство действиями благодаря близости двух главных квартир стало теперь гораздо более трудным, эта близость часто препятствует спокойному обдумыванию обстоятельств; нередко приходится тратить попусту силы, необходимые для успешного ведения дела».

Тотлебен приказал Гурко овладеть Софийским шоссе и занять все пространство на левом берегу реки Вид. Генералу Зотову в тот же день предписал занять Ловчинское шоссе, укрепиться южнее Брестовца на Рыжей горе, другим же подразделениям устроить демонстрацию по направлению к Плевне. Да и всем другим войскам Западного отряда в этот день приказано было произвести демонстрацию. Тотлебен и его штаб работали без усталости, рассылая предписания войскам и разработанные диспозиции каждой части в отдельности.

Атака войсками Гурко Горного Дубняка проведена была успешно, но стоила четырех с половиной тысяч выведенных из строя русских солдат и офицеров. Слишком дорогая цена... Тотлебен да и многие военачальники снова заговорили о необходимости более продуманных действий армии, о необходимости тщательной артиллерийской подготовки атаки, о рекогносцировке, наконец, как обязательной предпосылке атаки. Предстояло брать еще два населенных пункта, стоявшие на Софийском шоссе. Гур-

ко разработал диспозицию по овладению Телишем преимущественно артиллерийским огнем. Тотлебен на это донесение дал следующее предписание отряду Гурко: «Вполне разделяю соображения вашего превосходительства, изложенные в рапорте 13 октября № 28, относительно необходимости овладения Телишем и при этом преимущественно артиллерийской атакой, избегая по возможности штурма...» Кроме того, Тотлебен распорядился и о действиях других подразделений вверенных ему войск, чтобы упрочить связь между всеми частями. Особое значение Тотлебен придавал действиям 16-й дивизии Скобелева как наиболее надежной во всех отношениях.

Начальник штаба отряда Гурко генерал Нагловский накануне атаки Телиша послал в штаб Западного отряда следующее донесение: «...Атака Телиша будет предпринята 16 октября рано утром... Атака будет исключительно артиллерийская... Предполагается выпустить по 100 снарядов на орудие, всего же 7200 снарядов. Подойдя к позиции, пехота и батареи окончатся... Надо полагать, что если у турок нет блиндажей, то атака увенчается успехом».

Тотлебен поддержал Гурко и Нагловского в их намерении атаковать Телиш артиллерийским огнем и вынудить к сдаче турецкий гарнизон. Главнокомандующий не возражал, а точнее, вообще не принимал участия в разработке этой операции.

Печальный опыт взятия Горного Дубняка обошелся слишком дорого, чтобы еще повторять его: двадцать пять тысяч отборных войск при самой геройской храбрости, при умелом руководстве талантливого Гурко едва в состоянии были овладеть двумя слабыми турецкими редутами, которые защищали малочисленные отряды турок. Зачем же прибегать к такому способу взятия крепостей, когда есть превосходный способ — заморить голодом и вынудить к сдаче.

Александр II, главнокомандующий, многочисленная свита, среди которой Тотлебен увидел знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова, подъехали к Радишевским высотам. Тотлебен повел государя в самое безопасное место люнета Калужского полка. Впереди люнета расположилась передовая батарея, откуда можно было спокойно обозревать Плевну и чуть ли не всю турецкую позицию. Стоял туман, но порывы ветра то и дело разгоняли его, и в просветы можно было с помощью бинокля

различать минареты мечетей, укрепленные позиции, передвижения турок.

Командующий батареей подполковник Лафитский подробно рассказал о тех укреплениях, которые были видны государю, изложил принципы артиллерийской стрельбы по новым указаниям Тотлебена.

Целый час шла артиллерийская атака Телиша. Никто не знал еще, чем все это кончится, но здесь, с Радишевских высот, батареи давали залп за залпом. С других позиций линии обложения тоже велись сосредоточенные залпы, но турки на них почти не отвечали, скрываясь от огня в блиндажах.

— Сосредоточенные залпы нескольких батарей, направляемые то на один, то на другой редут, производят сильное нравственное впечатление на неприятеля, да и потери были чувствительными, по нашим подсчетам, 50—60 человек в день, — объяснял императору Тотлебен. — Во всяком случае, как говорят пленные и перебежчики...

В 12 часов в соответствии с диспозицией, разработанной Тотлебенем и Гурко, Скобелев произвел демонстрацию по Зеленой горе в сторону Кришинских высот. Но вскоре отступил, и на всех линиях наступила тишина, лишь со стороны Телиша глухо доносилась канонада, продолжавшаяся уже два часа.

Александр II, одоблив действия Тотлебена по обложению Плевны, сказал по-французски:

— Il n'y a que la patience qui pousse venir a bout. (Покончить можно только одним терпением...)

— Да, ваше величество... Четвертой Плевны не будет. Штурм наобум сейчас был бы весьма желателен неприятелю и расстроил наши силы. Весь вопрос теперь заключается в том: на сколько времени хватит у Османа довольствия?

В четыре часа Тотлебен получил донесение, что Телиш взят, гарнизон полностью капитулировал вместе с Измаил-Хаки-пашой и 100 офицерами. Наши потери самые незначительные. Оставалось взять лишь Дольный Дубняк, чтобы завершить полное обложение Плевны. Да и теперь Осман-паша так окружен, что всякая попытка пробиться из Плевны или в Плевну обречена на провал: повсюду его встретят укрепленные позиции с русскими войсками. Дорого ему обойдется прорыв, если он на него осмелится.

Прискакавший ординарец великого князя — главнокомандующего пригласил Тотлебена на завтрак.

За завтраком великий князь — главнокомандующий был очень весел, шутил, сам подкладывал свои любимые бифштексы Тотлебену, угощал его хересом.

Тотлебен тоже был спокоен и разговорчив в это утро, 17 октября. Рядом сидевший с ним Скалон сказал:

— А знаете, ваше высокопревосходительство, что войска смотрят на вас с благоговением. Всякий солдат понимает, что вы настоящий мастер своего дела, вас ценят и уважают, и все убеждены, что только ваш гений может справиться с Плевной и довести Османа до сдачи. Даже Гурко, плохо переносящий чью-либо власть над собой, сам говорил мне, что никогда еще такого авторитетного и опытного начальника не видал. Так что Скобелев, выказывая вам такую дань уважения, ничуть не лукавит с вами, а только отдает должное вам...

— Все равно не хотелось бы, чтобы в мою честь кричали мне «ура»...

— А какое изменение замечаете вы, Эдуард Иванович, в характере ведения войны турками? — спросил Скалон.

— Он не изменился, у них лишь появились большие средства. Ваше высочество, — обратился Тотлебен в сторону главнокомандующего, — а как отнесся государь к взятию Телиша и к действиям гвардии?..

— Он в отличном расположении духа... Совершенно доволен гвардией и теперь признает, что дело под Горным Дубняком было отличное... Нужно было гвардии показать, что она не белоручка. Он очень рад, что она себя показала, несмотря на потери. Особенно доволен взятием Телиша одной артиллерийской атакой и малыми потерями.

Скалон, глядя на мирно беседовавших великого князя и Тотлебена, радовался этому примирению: «Что за противоречие в человеческом сердце! Сам его вызвал, сам признает гениальным сапером, сознает громадную пользу, уже им принесенную, и не может иногда удержаться от мелочного чувства... Зачем он отдает приказание через голову Тотлебена, все хочется самому вмешаться во все дела. А Тотлебен всякий раз опасается приезда великого князя, потому что он может вмешаться и все порушить. Лучше бы нам оставаться в Горном Студне и не мешать Тотлебену самостоятельно распоряжаться здесь...»

И вовсе и не предполагал личный адъютант главнокомандующего, что гроза разразится сразу же после отъезда Тотлебена.

Приехав в Тученицу, Тотлебен узнал, что великий князь — главнокомандующий вновь отдал целый ряд приказаний через его голову.

На рапорт М. Д. Скобелева Тотлебен ответил: «Прошу ваше превосходительство на будущее время помнить, что никто из моих подчиненных не имеет права получать прямых приказаний ни от кого, кроме меня. Поставляя вам на этот раз это обстоятельство на вид, предупреждаю, что повторение сочту нарушением порядка службы».

В тот же день, 17 октября, Тотлебен направил письмо начальнику штаба армии Непокойчицкому: «...Принимая во внимание, что приказание, отдаваемые главнокомандующим, минуя меня, непосредственно войскам Западного отряда, подрывают мой авторитет как начальника этих войск, противны порядку службы и неминуемо поведут к недоразумениям, последствия которых могут иметь губительное влияние на успех дела, я нахожусь вынужден просить ваше высокопревосходительство доложить об этом главнокомандующему и просить его Высочество, чтобы все приказания его войскам Западного отряда или начальникам их были передаваемы не иначе, как через меня, так как в противном случае я слагаю с себя всякую ответственность за успех дела, мне вверенного».

Тотлебен надеялся, что этим и будет исчерпан неприятный эпизод. Но каково же было его удивление, когда на следующий день он узнал, что генерал Карцев, начальник Ловчинского отряда, получил от великого князя приказание, прямо противоположное сделанному им.

В тот же день в Главную квартиру главнокомандующего отправился князь Имеретинский, которому Тотлебен сказал, что если такой порядок будет продолжаться, то он поедет прямо к государю и попросит освободить его от командования.

19 октября главнокомандующий известил Тотлебена о своих решениях следующим письмом, в котором, в частности, говорилось: «Я признаю необходимым лично руководить всеми могущими явиться на западном театре действий операциями с тем, чтобы разными распоряжениями по этим операциям, часто мелочными, не отвлекать вни-

мание вашего высокопревосходительства от главной, серьезной и многотрудной задачи непроницаемого для противника обложения Плевненского укрепленного лагеря, при исполнении которой ваше славное искусство и опытность незаменимы...»

Все блокадные войска разбивались на три отряда: отряд, непосредственно облагающий Плевну под руководством Тотлебена; отряд, действующий на левом берегу реки Вид под руководством Гурко; отряд Сельви-Ловчинского под руководством генерала Карцева. Таким образом, накануне решающих событий под Плевной главнокомандующий поставил во главе блокирующей армии двух начальников, которые отличались как по своему характеру, так и по образу действий на войне. Несомненно, решение главнокомандующего осложнило положение под Плевной, вызвало ненужное раздражение и разногласия в командном составе армии, что не замедлило проявиться: кавалерист Гурко никак не мог понять некоторые предложения и замыслы инженера Тотлебена.

Приказ главнокомандующего вызвал смятение в душе Тотлебена. Но он не пал духом в надежде на то, что стихнет и эта буря распоряжений и снова придет его время. Тотлебен начал составлять записку государю о дальнейших планах по обложению Плевны и связанных с этим опасениях... Никогда не следует пренебрегать врагом и обольщать себя приятными надеждами. Предусмотрительность — мать мудрости, она не вредит ни в каком случае. Очевидно, что исход кампании 1877 года должен решиться в Плевне. Если Осман вынужден будет сдать с 50-тысячным войском, думал Тотлебен, то кампания нами выиграна, а турками проиграна. Если бы мы были в положении турок, то, конечно, употребили бы все усилия, чтобы выручить Османа-пашу. Неприятель, без сомнения, поступит не иначе, тем более что он на других театрах военных действий не имеет никакого вероятия в решительном успехе над нами, а с меньшими силами при помощи сильных укрепленных позиций в Разграде, Шумле и на Шипке может остановить наше наступление. Можно предположить, что в Плевне имеется продовольствие по крайней мере еще на один месяц. Кукуруза на обширных полях в районе Плевненских укреплений еще не снята, и 26 мельниц в постоянной работе. Возможно, неприятель сосредоточит в Софии сильный самостоятельный отряд, чтобы выручить Османа-пашу в Плевне. Гово-

рят, что у турок нет более войск. Подобное предположение неосновательно. В 26 дней турки могут из Шумлы передвинуть часть своих войск к Плевне, пользуясь при этом железной дорогой от Ямболя к Тагар-Базарджику. Если это движение началось десять дней назад, когда цесаревич сообщил об отступлении турок, то часть этой восточной армии может прибыть сюда через шестнадцать дней...

Он писал о том, о чем необходимо было думать главнокомандующему...

«Сколько времени неприятель может продержаться в Плевне, — продолжал он в записке к Александру II, — находится в полной зависимости от количества имеющихся у него запасов продовольствия. Хотя из некоторых сведений о состоянии этих запасов и можно заключить, что они имеются в ограниченном количестве, но тем не менее положительных данных на это нет. Как бы то ни было, во всяком случае, настоящее положение армии Османа-паши, если только она будет предоставлена самой себе, может быть признано безвыходным. Но предоставит ли ее неприятель своей судьбе и останется ли равнодушным зрителем ее неизбежной гибели? В этом, как кажется, позволительно усомниться, принимая во внимание, с одной стороны, общую численность сил, какими неприятель располагает на Балканском полуострове, а с другой — общее положение дел и взаимное расположение борющихся армий на этом театре войны. И действительно, ни со стороны Шипки, ни со стороны линии Янтры наши войска, ограничивающиеся до сих пор строго оборонительными действиями, нигде не угрожали неприятелю наступлением. Время расположиться на зимних квартирах еще не настало, а между тем армия Сулеймана-паши отступила к Разграду и Шумле. Чем объяснить такое странное, так сказать, беспричинное отступление? Не следует ли в нем видеть замысла Сулеймана двинуть часть своих сил вдоль и по ту сторону Балкан на выручку Плевненской беспомощной армии?..»

Тотлебен точно рассчитал, что если Сулейман решится на такой маневр, то через шестнадцать, а самое позднее через двадцать пять дней 30- или 40-тысячная армия турок может появиться в окрестностях Плевны.

«Из предшествовавшего перечисления войск, — продолжал Тотлебен, — блокирующих Плевненский лагерь, видно, что численность их достаточна только для факти-

ческой, тесной блокады; для того же, чтобы парализовать всякие и, по мнению моему, весьма вероятные попытки со стороны турок прийти на выручку Осману-паше, необходимо: 1) заблаговременно составить соображения об образовании особого операционного отряда, независимо облегающих Плевну войск; сделать все предварительные расчеты для передвижения этого отряда в случае нужды к Плевне или где понадобится, и снабжение его продовольствием и боевыми запасами. 2) Неупустительно следить за всеми передвижениями армии Сулеймана-паша для своевременного направления упомянутого выше операционного отряда куда понадобится.

Меры эти представляются тем более безотлагательно необходимыми, что преследуемая нами цель под Плевной должна состоять в полном торжестве над неприятелем, которое одно может иметь решительное влияние на успешный исход войны».

Эта записка была вручена Тотлебену императору во время завтрака в Боготе, куда тот прибыл для совещания с главнокомандующим. Приняв записку и выслушав пояснительные слова к ней, он пообещал тщательно ее изучить после возвращения в Порадим.

В тот же день, вечером 22 октября, Тотлебен дал указание генералу Скобелеву в ночь с 23 на 24 октября занять высоту северо-западнее деревни Брестовец и укрепиться на ней, построив батарею на 24 орудия 9-фунтового калибра, рано утром открыть огонь залпами против Кришинского редута и укреплений Зеленой горы. Для поддержания этих действий отряда Скобелева Тотлебен приказал батарее, расположенной на правой стороне Тученицкого оврага, рано утром 24 октября открыть сильный огонь артиллерии и продолжать его 25-го. Одновременно с этими указаниями Тотлебен предложил Скобелеву сформировать подвижной стрелковый отряд добровольцев, который мог бы по-партизански врваться в неприятельские ложементы, незаметно подкрадываясь к ним, и уничтожать противника.

На следующий день, 23 октября, Тотлебен вместе со своим начальником штаба князем Имеретинским выехал в Медован для встречи Александра II и сопровождения его в его инспекционной поездке по войскам, расположенным на левом берегу Вида.

Все шло обычным порядком. Гурко за версту встретил императора. Выстроенные полки гвардии кричали «ура!»,

а император благодарил их за геройские дела под Горным Дубняком, Телишем и Дольным Дубняком.

Тотлебен был все время рядом с императором. Но вот у Дольного Дубняка, где тоже объезжали выстроенные полки и приветствовали их, мимо Тотлебена промчался гусарский офицер граф Штакельберг. Лошадь его лягнула и ударила подковой в правую ногу Тотлебена ниже колена. Боль пронзила его, и он на какое-то время потерял сознание. Все окружавшие были расстроены этой неожиданностью. Сколько раз Тотлебен был уже за этот месяц под выстрелами неприятеля, но ни один осколочек не попал в него. А тут такая неудача... Но понемногу он пришел в себя. В коляске он вернулся в Медован. «Ночь спал дурно, — записал он в дневнике. — Завтракал у гусударя. Пирогов осмотрел ногу и дал средства». Оказалось, что кость не повреждена, но Тотлебен, вернувшись на другой день в Тученицу, еще целую неделю не выходил из комнаты и с трудом передвигался на костылях.

Боль постепенно уходила, видимо, Пирогов дал хорошие средства для лечения ушиба, и уже 25 октября Тотлебен писал жене в Петербург: «...Сегодня чувствую себя лучше; через неделю надеюсь быть в состоянии снова сесть на лошадь. Теперь, когда я в подробности ознакомился со всеми позициями, все приказания отдаю из моей маленькой комнатки. Но это очень неприятная случайность, так как сырость и холод при недостатке движения и свежего воздуха дурно действуют на общее состояние здоровья».

Неприятель... совершенно окружен; сообщения с Софией и Видином прерваны совершенно. С восточной стороны я приблизился к нему батареями и траншеями. Работы эти выполнялись постепенно ночью, с рассветом открывался внезапно огонь из 30—40 орудий в местах, где неприятель этого не ожидал. Мы приобрели решительный перевес, неприятель держится только оборонительно, и против него я произвожу непрерывные демонстрации, чтобы он предполагал с нашей стороны намерение штурмовать, что в его интересах, так как ужасающий ружейный огонь не может причинить нам большой вред и потери. Когда турки наполняют редуты и траншеи людьми и их резервы приближаются, я приказываю стрелять залпами из ста и более орудий. Таким образом стараюсь избежать потерь с нашей стороны, нанося между тем ежедневно потери туркам...»

27 октября Тотлебен работал, как обычно, много и напряженно. Вместе с корпусными командирами и штабными работниками он обсудил продовольственное положение Западного отряда. Не раз Тотлебен и его помощники предлагали меры, которые могли бы обеспечить порядок в снабжении продовольствием армии, но мало что получалось из этих предложений.

Тотлебен призвал корпусных начальников взять на себя заботы о своем довольствии. Войска Гвардейского корпуса сначала тоже надеялись на интендантство и поэтому часто голодали. А теперь они сами покупают зерно, перемалывают его на болгарских мельницах и пекут в печах, устроенных в Пелишате, Порадимае и Боготе.

— Нам тоже необходимо самим позаботиться о хлебе. На интендантство более рассчитывать нечего... Все пустые лишь обещания, — говорил Тотлебен.

Корпусные начальники поддержали его. Они повсюду видели богатейшие запасы хлеба и других продуктов. Вся страна, можно сказать, утопает в хлебе, а поручили кормить армию товариществу Грегера, Горвица и Когана, агенты которого с приходом армии взвинчивали цены на продукты и не поставляли вовремя. Заранее сговорившись с местными торговцами, Грегер, Горвиц и Коган обирали таким образом не только государственную казну, но и карманы солдат и офицеров. Такое посредничество оказывало вредное влияние на весь ход кампании. Это и возмущало Тотлебена.

Затем со слов вызванных начальников артиллерии корпусов была составлена ведомость имеющихся снарядов и запасов в Систове и Бухаресте. Тотлебен, изучив эту ведомость, отдал распоряжение о том, в какой последовательности подвозить снаряды.

Вызванным румынским инженерам объяснил и показал, как в дальнейшем продолжать минные работы для взрыва Гривицкого редута.

А главное, Тотлебен давно размышлял, как уничтожить те 26 мельниц, на которых мололи кукурузу, собранную на обширных полях внутри Плевненского укрепленного района турок. На реке Вид Тотлебен приказал разрушить мельницы артиллерийским огнем. А на Тученицком и Гривицком ручьях мельницы были скрыты от артиллерии... и продолжали работать. Наконец сегодня Тотлебен приказал отвести воду от мельниц турок на Гривице и в Тученицком овраге. Потом запруду необходи-

мо будет взорвать, и хлынувшая вода должна снести эти мельницы. И для этого Тотлебен отдал приказание сооружать плотины.

В три часа пополудни проведать Тотлебена по пути к себе в Богот заехал великий князь — главнокомандующий. После первых слов сочувствия к болезненному положению Тотлебена главнокомандующий обрадовал его тем, что государь прочитал его записку и одобрил ее.

— Гурко тоже предлагает создать операционный отряд и двинуть его в сторону Орхание, дабы предупредить активные действия турецких войск.

— Ваше высочество, я предлагаю атаковать первый гребень Зеленых гор и захватить его, укрепиться там и продолжать беспокоить турок таким образом, теснить их... Думаю, Скобелев справится с этим...

— Вполне одобряю ваши действия, Эдуард Иванович... По духу ваша записка совершенно сходится с предложениями Гурко.

— А что конкретно предлагает Гурко?

— Он предлагает начать решительные действия против турок на западе от Плевны. Его серьезно беспокоит формирующаяся армия в окрестностях Софии, которая может двинуться на выручку Плевне или, укрепившись на перевалах, будет противодействовать нашему движению за Балканы после падения Плевны. Он предлагает разбить ее до того, как эта армия сформируется и станет большой опасностью для нас. Он просит две гвардейские дивизии, стрелковую бригаду. Турки в панике. При одном приближении наших разъездов они оставляют сильно укрепленные позиции.

— А что говорит по этому поводу Милютин?

— Военный министр возбудил вопрос о продовольствии и высказал опасение, не окажется ли под Орхание нечто вроде второй Плевны. На что получил ответ, что по сведениям от пленных и перебежчиков совершенно ясно, что ничего подобного плевненскому лагерю в Орхание нет. Поэтому чем скорее мы туда двинемся, тем меньше турки будут иметь возможность укрепиться... И еще, Эдуард Иванович, государь просил узнать о вашем здоровье, и вскорости он будет у вас...

— Благодарю вас, ваше высочество, что вы не забыли обо мне и за слова его величества... Надеюсь, что Плевна скоро падет...

Главнокомандующий пожелал Тотлебену быстреего выздоровления и уехал в Богот.

На следующий день Тотлебен разрешил Скобелеву начать наступательные действия против турецких укреплений на первом гребне Зеленых гор.

Вечером того же дня на землю опустился туман, начал капать мелкий дождик, но сформированный Скобелевым отряд охотников уже хорошо освоился на местности, бешумно подполз к турецким окопам и траншеям и без выстрела, с криком «ура!» стремительно рванулся в неприятельские траншеи. Турки открыли жесточайший огонь.

Тотлебену показалось, будто пули выбрасываются какой-то заводной скорострельной машиной. «Похоже на извержение пуль из вращающейся машины», — подумал он. Взволнованный командующий, взяв костыли, медленно выбрался из домика, напряженно вслушиваясь в отчетливо и зловеще доносившуюся стрельбу. Ах, если бы не эта немощь... Он давно помчался бы в Брестовец к месту событий...

Только в первом часу ночи в Тученице получили первое донесение. Полковник генерального штаба Тихменев в записке, написанной в 10.30 вечера, доносил: «Первый гребень Зеленой горы занят, и на нем окапываются, а впереди на втором кряже Зеленых гор передняя турецкая траншея занята 75 охотниками, которым приказано держаться во что бы то ни стало, для того чтобы подальше держать турок от окапывающихся на Зеленой горе. В то время, как пишу это в квартире генерала Скобелева, вдруг раздались выстрелы по всей линии, и я объясняю это себе тем, что турки производят контратаку по всей линии. Генерал Скобелев тотчас поскакал к траншеям».

Утром 29 октября Тотлебену вручили донесение генерала Скобелева, написанное им около девяти утра: «Согласно диспозиции первый кряж Зеленых гор вчера в седьмом часу пополудни занят с бою... Стрелки, молодецки наступая, ворвались в передовые турецкие ложементы, засели в них и тем дали возможность полковнику Мельницкому разбить укрепления под жестоким артиллерийским и ружейным огнем... Подошедшие к утру резервы обеспечили наше положение на Зеленой горе; траншеи были окончены. В пять часов утра неприятель вновь возобновил нападение, но был отбит ружейным огнем из

траншей, по-видимому, с большими потерями. На занятых нами позициях отстояться есть полная надежда. Перестрелка продолжается, и следует ожидать новых попыток неприятеля к атаке новых позиций наших. Придвинул к Рыжей горе суздальцев и казанцев с артиллерией. Войска вели себя молодцами...»

После этого успеха Скобелев снова повел разговоры о новом штурме, просил разрешить ему действовать самостоятельно.

От Скобелева возвратился князь Имеретинский.

— Ваше высокопревосходительство, — рассказывал Имеретинский Тотлебену, — у Скобелева все идет нормально, потери незначительные, и он просит вас разрешить ему атаковать второй гребень Зеленых гор, хочется ему отогнать турок от своих ложементов, их разделяет очень небольшое рассогнание...

— Нет, князь, рисковать больше нельзя. Первый гребень нам нужно было взять, чтобы турки не могли обстрелять наши позиции. Да и потери все-таки значительные, вышло из строя около 300 человек, а это несколько не ускорило падение Плевны... Но Скобелев молодец, каких редко доводилось мне встречать... Редкий наступательный у него талант, а вот для блокады у него не хватает терпения... Да вот Гурко тоже не терпится начать наступление на турок...

— Сегодня между ними происходил эффектный турнир в смелости. Гурко приехал на позицию к Скобелеву. Скобелев был в траншеях, там он устроил свой штаб, чтобы легче руководить действиями, там и обедают, и спят, и музыку слушают. Словом, вы же знаете Скобелева... Так вот, Скобелев, разговаривая с Гурко на ходу, стал как бы нечаянно подниматься на бруствер. Гурко, разумеется, не отстал. Оба, стоя на гребне бруствера, продолжили разговор.

— Турнир эффектный. Это хорошо действует на солдат и молодых офицеров, но вспоминаю в связи с этим Севастопольскую оборону. Корнилов и Нахимов специально появлялись в самых опасных местах, стыдились нагнуться от пули... А с их гибелью мы потеряли Севастополь, проиграли войну... Так что же важнее? Остаться живым и выиграть сражение или показать лихость свою? Будь моя воля, я бы запретил так бесцельно жертвовать собой не только генералам, но и простым солда-

Тотлебен действует

там. Надо научиться побеждать наконец, а не умирать красиво...

Тотлебен твердо решил, что и такие потери, какие понес Скобелев, недостаточно оправданны, и отказался от всяческой мысли продолжать любые наступательные действия.

31 октября, упреждая всякие попытки склонить себя к активным наступательным действиям, Тотлебен писал Скобелеву: «Положение командуемого вашим превосходительством отряда на Зеленых горах в настоящее время таково, что всякое дальнейшее движение еще более вперед я признаю невыгодным, в том внимании, что потери были бы слишком велики и несоразмерны с общою целью наших действий под Плевною; кроме того, занятие отрядом позиции еще более передовой, нежели нынешняя, было бы при настоящей силе отряда слишком рискованным. Поэтому предписываю вам остановиться на занимаемой вами в настоящее время позиции (гора впереди Брестовца, ближайшая к деревне, и первый кряж Зеленых гор), обратив все ваше внимание на укрепление ее наилучшим образом».

В тот же день Тотлебена навестил главнокомандующий в сопровождении Непокойчицкого, адъютантов и ординарцев. Главнокомандующий сообщил, что все войска, облегающие Плевну, слова поступают в полное распоряжение Тотлебена. «Разделение командования между великим князем, имевшим под своим начальством войска к западу от Плевны, и мною, блокирующим Плевну с восточной стороны, оказалось непрактичным. Вследствие этого я вновь получил начальство над всеми войсками под Плевной», — записал он в дневнике.

Всю свою энергию Тотлебен решил сосредоточить теперь на разработке фортификационных укреплений линий на западе, на правом берегу Вида.

2 ноября в Медоване на совещании главнокомандующего в присутствии своего штаба и генералов Тотлебена, Имеретинского, Гурко, Каталая и Ганецкого, командира прибывшего Гренадерского корпуса было решено переименовать Западный отряд в отряд обложения Плевны и начальство над ним возложить на генерала Тотлебена.

Началась заключительная часть драмы армии Осман-паши, только что получившего от султана титул «гази» — «непобедимый».

А в Плевне действительно становилось все ужаснее и безвыходнее. Армия Османа страдала не только от голода, но и от холода: нечем было топить, нечем было обогреться.

Постоянные бомбардировки причиняли туркам невыносимые страдания, разрушали и сжигали орудийными выстрелами помещения, ежедневно ослабляя силы турецкой армии. Количество съестных припасов с каждым днем уменьшалось. Мяса, правда, было достаточно, но не было дров, чтобы приготовить его должным образом. Выручала некоторых самых предприимчивых только кукуруза, которой обычно питались по утрам: собирались по взводу, набирали всяческого мусора, корней, кукурузных стеблей, разводили костерик, кипятили воду и варили початки кукурузы.

К 10 ноября запасы пшеничной муки стали подходить к концу, кукуруза же оставалась в зерне, так как турки вовсе не предполагали, что плотины, находившиеся у Плевны, будут разрушены. Выдачу каждому солдату еще сократили. Большим бедствием для турок было отсутствие табака. Стали курить виноградные листья, а это вызывало нервные припадки и опухоль лица.

Блокада становилась все теснее. Русские войска каждый день подвигались все вперед, стремясь к тому, чтобы стеснить турецкую линию обороны.

И наконец, голод, холод, артиллерийский огонь, начавшийся ренот среди солдат и офицеров сделали свое дело: турецкие паши стали подумывать о том, что страшная и мучительная смерть ожидает всех защитников Плевны, как бы Плевна не превратилась в одну общую могилу для 40 тысяч солдат и офицеров, если они не предпримут нечто решительное. Но Осман-паша оставался глух к их уговорам начать мирные переговоры с русскими.

И каждый день Плевна подвергалась обстрелу, масса снарядов осыпала ее защитников. «Почти перед каждой бомбардировкой нашего лагеря противник пускал из своей главной квартиры ракету, что должно было служить сигналом для начала бомбардировки, после чего следовало исполнение поданного сигнала, — вспоминал майор турецкой службы Таль-ат. — Но, кроме того, в армии

противника употреблялись еще некоторые другие курьезные знаки или сигналы. Так, для привлечения внимания наших войск в Главной квартире противника зажигались разноцветные фонари, после чего разом занятые русскими позиции освещались такими же фонарями и другими приспособлениями, так что мы в первый раз, когда это случилось, подумали, что неприятель празднует что-нибудь. Вслед за такой иллюминацией со стороны русских открылась пальба из орудий холостыми зарядами. Все это невольно обращало внимание наших войск, и когда люди выходили из своих закрытий на насыпь укреплений для наблюдения за этой картиной, то русские моментально открывали по ним убийственный огонь из орудий уже боевыми зарядами и тем наносили нашей армии большие потери».

Неотвратимо приближался конец «плевненскому сидению». Но мысли о дурном исходе отгоняли, все еще верили, что непобедимый Осман-паша найдет выход, а потому все его приказы исполнялись старательно и беспрекословно. И сам Осман пытался найти выход из уже безвыходного положения. Он посылал в Орхание своих лазутчиков, чтобы рассказать о бедственном положении его армии, но все лазутчики возвращались обратно или попадали в плен. Плотным кольцом русских была окружена Плевна: никто не мог выйти из нее, и никто не мог войти...

15 ноября продовольствия оставалось не более чем на пятнадцать дней, и то лишь при условии выдачи в таком количестве, чтобы не умереть с голоду. Фураж истощился. Скот нечем стало кормить. Повсюду стали поговаривать: «Когда же наконец нам удастся с божьей помощью прорваться через эту блокаду...» Не было медикаментов, а поэтому смертность в армии увеличилась до того, что санитары не успевали переносить умерших на кладбище и хоронить их... Надежды на благополучный исход постепенно таяли... Понимая, что критический момент настал, Осман-паша 19 ноября собрал военный совет.

Командующий армией, небольшого роста сорокалетний мужчина с седой бородой, обратился к собравшимся:

— Господа! До тех пор, пока армия не израсходует своего последнего куска хлеба, которого осталось лишь на короткое время, мы должны будем упорно, до последней капли крови сопротивляться нападениям противника. Но когда провианта не станет, то как должны мы

будем поступить тогда? Положить ли оружие и сдаваться русским или же попытать судьбу, попробовать прорваться сквозь линию обложения?..

По-разному отвечали на этот долгожданный вопрос собравшиеся. Одни говорили, что лучше сдать на известных условиях и без потерь, чем сделать то же, но с потерями. Другие члены совета высказались за то, чтобы пробиваться с оружием в руках.

Осман попросил подумать всех собравшихся и посоветоваться с офицерами своих частей.

Полковые командиры собрали своих офицеров и задали все тот же вопрос: пробиваться или сдаваться? Из тринадцати офицеров одиннадцать высказались за то, чтобы пробиваться, лишь двое, трое в каждом полку — за почетную сдачу в плен.

20 ноября военный совет вновь был собран на главной квартире Османа-паши. Командиры доложили о результатах полковых собраний.

— Нет никаких шансов на успех... Мы не должны питать иллюзий на этот счет... А если есть, то уж очень ничтожны... Но я думаю, что честь нашего отечества и достоинство нашей армии налагают на нас свершить это последнее усилие, — сказал в заключение Осман-паша.

Все в один голос поддержали своего командующего, сказав, что оттоманская честь требует попытки прорвать блокаду для того, чтобы выйти из этого критического положения. Тут же было написано решение военного совета, и все члены его подписали это решение.

Решено было пробиваться на запад, то есть к долине реки Вид. Осман-паша разработал диспозицию. Все мероприятия по сосредоточению войск в районе долины реки проводились в строжайшей тайне и только ночью. Ни одно орудие не проехало по городу, дабы не показывать болгарам своих намерений. Ни один взвод не снимался с позиций днем. Все делалось под покровом ночи, а ночи были темными и дождливыми.

Главная задача заключалась в том, чтобы разорвать блокадную линию западного фронта и прорваться основными силами на Софийское шоссе, форсировать Искер и стремительно двинуться к Софии на соединение с формирующейся новой армией, которой предстояло защищать Западные Балканы. Необходимо было любой ценой спасти честь армии и свою собственную честь как непобедимого полководца — гази.

Осман-паша дал указание переформировать свою армию. Почти в каждом из прежних 76 батальонов недоставало многих солдат и офицеров: в армии было около четырех тысяч больных и раненых. 57 новых батальонов были распределены в полки, бригады, дивизии. Кавалерия получила новые ружья Пибоди. Офицерам, артиллеристам, музыкантам раздали винтовки Винчестера. Некоторым солдатам, вооруженным ружьями Снайдера, выдали винтовки Генри-Мартини. Каждый солдат получил по 120 патронов, а в обозе на каждый батальон было отпущено по 170 ящиков, по 1000 патронов в каждом. На каждое орудие было взято по 300 снарядов. 25 ноября Осман-паша приказал выдать солдатам оставшиеся на складах сухари, палатки, деньги. Вьючные лошади, воловьих подводы были осмотрены и приведены в необходимую готовность.

26 ноября впервые за эти дни мусульманскому населению города, собранному в мечети, было сообщено о решении главнокомандующего прорваться сквозь блокаду.

— Аллах прогневался на мусульман за то, что они якшаются с христианами, — говорил мулла. — Грех нужно искупать, а то совсем аллах отвернется от правверных... А кто останется здесь, с христианами, тот погубит себя... Собирайтесь вместе с войском, только оно защитит вас от истребления...

Громкие рыдания раздались в ответ. Старики рвали на себе бороды, били кулаками в грудь, все время причитая проклятия. В мусульманском квартале, как только мужчины вернулись из мечети, раздались отчаянные рыдания и вопли. А потом все стихло, и начались сборы к отступлению.

А в главной квартире главнокомандующего ждали турки, собравшиеся разделить участь армии. Вернувшийся главнокомандующий попытался отговорить их покидать Плевну: русский император милостив, он не даст в обиду.

— При всем моем желании взять вас под мое покровительство я этого сделать не могу, и для спасения ваших же семейств я должен оставить вас...

Но Осману так и не удалось уговорить своих единоверцев. Около двухсот семейств решило последовать за армией, дополнив и без того огромный и малоподвижный обоз с имуществом и ранеными.

Казалось бы, Осман-паша все предусмотрел, тщательно проведя предварительную рекогносцировку той мест-

ности, которая должна скрывать действия огромной армии. Приказал построить два временных моста на телегах по обе стороны постоянного моста через Вид; возвести несколько укреплений на правом берегу Вида, обращенным фронтом на восток, которые вместе со сторожевыми постами на левом берегу служили хорошим заслоном от наблюдателей противника.

Осман-паша надеялся, что небольшая возвышенность с пологими скатами на левом берегу, скрывающая в этом месте долину протяженностью около версты и шириною в 600—700 шагов, даст возможность незаметно переправиться через Вид. И этому должны были способствовать вытянувшиеся турецкие аванпосты по всей линии правого берега реки от Плазиваса до Опанеца, которые старались не подпускать русских к реке.

От каждого батальона был назначен офицер, тщательно изучавший дорогу, по которой предстояло двигаться к мостам. Никакой суматохи и беспорядка не должно быть. Предстояла мучительная и чрезвычайно сложная операция.

С плевенских укреплений все реже раздавались выстрелы. Накануне решительных действий Осман-паша приказал сначала еще ослабить, а затем и совершенно прекратить огонь: пусть русские привыкают к безмолвию на турецких позициях.

27 ноября к вечеру началось движение турецкой армии. Выполняя приказ Османа-паши, первая дивизия в составе четырех бригад снялась со своих привычных позиций на восточной стороне плевенского укрепленного лагеря, от Гривицкого редута до деревни Кришин, и отступила к мостам Вида. Арьергардное полукружье от Опанеца до Плазиваса заняли три бригады второй дивизии, стоявшей ранее на укреплениях северного и южного фронтов.

Первые три бригады первой дивизии перешли по мосткам и заняли аванпостную линию на левом берегу. Начал переправляться обоз, разделенный на восемь частей.

Темная и дождливая ночь словно огромным покрывалом накрыла турецкие войска и обоз. К тому же за пять месяцев хорошо изучили местность, знали каждый холмик, каждую долину и овраг и умело воспользовались холмистой поверхностью обжитой местности. В пять часов утра три бригады первой дивизии были уже на левом берегу. Медленно потянулись по мосткам обозы.

Осман-паша и его штабные работники с раздражением смотрели на повозки, нагруженные доверху домашним скарбом, детьми и взрослыми. С таким обозом далеко не уйдешь... Но, может, и на этот раз аллах выручит многострадальную армию... Таль-ат, один из адъютантов Османа, тоже смотрел с раздражением и беспokoйством на то, что происходило на его глазах, и недоумевал: «Поразительно, неужели может поместиться вся наша сорокатысячная армия, с громадным своим обозом, с обозом двухсот семейств, в таком маленьком пространстве у моста на реке Вид?.. Сохрани бог, если в минуту этого скопления у моста прстивник по своему обыкновению произвел бы по этой массе несколько орудийных выстрелов... Что бы произошло?.. Ужас... Тогда, несомненно, можно было бы ожидать не только большого поражения в этой толпе, но произошла бы даже общая паника и поголовное истребление всей нашей армии, которая не успела бы сделать ни одного выстрела по врагу. О милосердный бог, помилуй нас и на этот раз от лихих взоров противника, свяжи на это время по рукам и ногам нашего противника, а мы, пользуясь удобной минутой, с твоей помощью, о аллах, благополучно переправимся через эту проклятую реку...»

28 ноября турецкая армия Османа-паши начала приводить хорошо задуманный план в исполнение. Ночная переправа, которая была скорее похожа на светопреставление, осталась позади. Большая часть дивизии переправилась и начала развертывание. Русские как будто не замечали турецкой армии. Прорыв казался неизбежным.

Из различных источников Тотлебен знал о готовящемся выходе турецкой армии из Плевны. Еще в начале ноября перебежчики говорили об этом. Но уж слишком противоречивы были их показания: одни твердили о прорыве блокады и называли даже день наступления; другие говорили о том, что Осман-паша ожидает со дня на день прихода сотысячной армии из-за Балкан, которая отбросит русских от Плевны; третьи уверяли, что Осман-паша дожидается праздника Курбан-Байрам (10 декабря), чтобы выкинуть белый флаг. И все эти показания были вполне логичны по своей достоверности. Но что же окажется наиболее вероятным?!

Именно над этим вопросом Тотлебен больше всего

задумывался в эти последние дни ноября. Ясно было только одно: стальной узел блокады настолько крепко связал турецкую армию, что она начинает задыхаться и конец ее активных действий близок. Блокада Плевны подходит к своему естественному завершению. Количество перебежчиков нарастало. Вид их был ужасен. А главное, в их ранцах не было съестных припасов. Это и служило основной причиной сдачи в плен; лучше оказаться в плену, чем умирать от голода.

Все эти дни Тотлебен провел в неустанным труде. С ногой стало значительно лучше. Через несколько дней после ушиба ему уже пришлось выезжать и на заседание военного совета, и на рекогносцировки.

Больше всего его беспокоил западный фронт, где расположились гренадеры во главе с генералом Ганецким. Вот беспокойный старик... Все ему нипочем... Все время горячится и суетится, и никто его не может успокоить. Своего начальника штаба не слушает, да и вообще от подчиненных ему лиц ни мнений, ни советов не принимает. Пришлось послать к нему полковника Фреше, чтобы держать его за фалды. И вот все переменялось, налажена связь между корпусом и главным штабом. Да, полковник Фреше оказался молодцом... Вот что значит веселый, уживчивый характер, покладистый, сумел даже с Ганецким поладить и самолюбие его начальника штаба не задеть. Может, поэтому так удачно прошли маневры в Гренадерском корпусе... Мы должны спокойно выжидать результатов обложения... Час уже пробил... Со взятием и решением дела под Плевной нельзя ожидать конца войны. Турки обладают еще большими средствами и силами и постоянно поддерживаются англичанами. У них свободное сообщение с морем, и они скорее, чем мы, получают все необходимое. А новый штурм стоил бы слишком больших жертв. Неприятель поверил в себя после трех успешных отражений штурмующих русских войск. Вот почему он положительно воздерживался от штурма и спокойно выжидал, пока голод не принудит Османа или пробиваться, или же сдаваться. Можно себе представить, как тревожатся в Петербурге. Но нужно иметь терпение... Терпением можно большего добиться. И это верно не только применительно к армии, но и к отдельному человеку... Сколько раз ему пришлось сдерживать Скобелева от наступательных действий... Бывать у него на позициях и на батареях... Внушать ему, что необходимо

себя поберечь, ведь не мальчишка, а генерал, его отряд, в сущности, равен корпусу... И вот все-таки турки сразили его, на несколько дней вывели из строя. Контуженый, совершенно больной, Скобелев покорно выслушал сердитую нотацию начальника отряда обложения... А что, если бы действительно ранение было серьезным и Скобелеву пришлось бы отказаться от боевой деятельности? Для русской армии это была бы большая потеря. А ее вполне можно предвидеть... Ужасно, что он рискует жизнью без всякой надобности...

...Зеленогорские перестрелки служат ему средством для боевого крещения массы новоприбывающих? Но такие оправдания нельзя принимать всерьез. Едва ли эта цель оправдывает ежедневные и немалые жертвы. Правильно он объявил тогда, что если Скобелев сделает еще хотя бы один шаг вперед на Зеленых горах, то будет отдан под суд за ослушание. Только эта мера несколько успокоила этого столь нетерпеливого, сколь и талантливого воина. Раз решено выдерживать строгую блокаду, так и придерживайся этого благоразумного и последовательного плана сбережения жизни и силы людей, чтобы они оказались свежими, когда понадобится особое, как сейчас, напряжение.

С 12 ноября в течение четырех дней Тотлебен осматривал позиции Гренадерского корпуса и 3-й Гвардейской дивизии. Как он и предполагал, позиции были недостаточно укреплены, а именно сюда может направить свой удар Осман-паша. И прежде всего необходимо было укрепить позицию между Киевским редутом и рекой Видом: здесь обнаружился довольно значительный промежуток, совершенно не укрепленный. Решено было возвести на этом промежутке два редута. Вызвал удивление и тот факт, что укрепления 2-й Гренадерской дивизии были выдвинуты вперед настолько, что позиции 3-й Гренадерской дивизии оказались сзади. Разве это можно было допустить? И Тотлебен, естественно, приказал приступить немедленно к устройству новой линии укреплений, в нескольких стагах шагах впереди уже построенной, на одной высоте с укреплениями 2-й Гренадерской дивизии. Для постройки всей линии укреплений протяженностью около пяти тысяч шагов Тотлебен назначил инженер-полковника Мазюкевича, способного инженера и умеющего заставить выполнять свои проекты.

20 ноября Тотлебен разослал начальникам участков

обложения специальный циркуляр, в котором подробно говорилось о необходимых действиях войск в случае прорыва на этом участке армии Османа. Необходимые распоряжения были сделаны генералом Ганецким и начальниками подчиненных ему отрядов генералами Свечиным и Даниловым.

Все эти меры были предприняты после того, как Тотлебен получил от начальника штаба армии Непокойчицкого следующее уведомление: «Граф Шувалов телеграфирует из Лондона 15 ноября: корреспондент «Тайм» сообщает из Перы, что военный совет решил очистить Плевну и что изыскивают средства передать Осману-паше приказание немедленно прорвать наши линии». Тотлебен сразу же передал эту важную новость начальникам участков отряда обложения.

23 ноября генерал Тотлебен лично произвел маневры войск шестого участка обложения. Задание заключалось в том, чтобы указать наивыгоднейшие места расположения пехоты и батарей в предположении прорыва турок по Софийскому шоссе. Нужно было отработать маневры войск, чтобы каждый знал свое место и занимал его без суеты в том случае, если Осман-паша действительно попытается прорваться именно в этом направлении. К тому же необходимо было посмотреть, не окажутся ли вновь открытые насыпи траншей слишком высокими для прицельной стрельбы. Да и вообще проверить боевую готовность застоявшихся войск.

24 ноября Тотлебен приказал произвести маневры войск шестого участка на тот случай, если Осман-паша главными своими силами устремится в промежуток между Дольным Нетрополем и Демиркиоем.

Два дня, проведенные на маневрах войск шестого участка обложения, убедили Тотлебена, что войска готовы встретить Осман-пашу во всеоружии, дать ему настоящий бой.

26 ноября должен был состояться Георгиевский праздник, общий для обеих квартир, но стояла такая скверная погода, что ни император, ни главнокомандующий не приехали, пришлось принимать парад Тотлебену как старшему распорядителю. Генерал Криденер командовал парадом, на котором участвовало по два георгиевских кавалера от каждой роты. Тотлебену отдавали честь, а он поздравлял и благодарил войска.

Как только закончился праздник, Тотлебену доложи-

ли, что утром на аванпосты против деревни Брестовец, в районе четвертого участка Скобелева, явился перебежчик, турецкий барабанщик Божил Гешов, происхождением болгарин, но несколько лет прослуживший в турецком казачьем полку. Сведения его чрезвычайно важны: действительно турки собираются в ближайшие дни попытаться прорваться на Софийское шоссе и для этого уже сейчас перевозят в направлении моста через Вид патронные ящики и пушечные снаряды, ночами подтягиваются туда и войска, со складов роздано солдатам все, что можно было унести. В ранце Божила Гешова действительно оказалось все, о чем он говорил: обувь, патроны, масло для смазки оружия и девять фунтов сухарей.

На следующий день, 27 ноября, Тотлебену доложили еще о двух перебежчиках, перешедших фронт на пятом участке, которые полностью подтвердили показания Божила Гешова. Поздно вечером Тотлебен получил тревожную телеграмму от начальника третьего участка обложения генерала Белокопытова. «Пойманый сейчас дезертир показывает, что Осман-паша в эту ночь, в два часа, намерен прорваться на Софийском шоссе. Лошадей в турецкой армии нет; орудия хотят оставить. С редутов и траншей против нашей позиции турки предполагают отступить в эту ночь в Плевну. Больных и раненых около десяти тысяч. Дезертиру выдано галет на десять дней».

Начальник штаба отряда обложения князь Имеретинский, вручив Тотлебену телеграмму генерала Белокопытова, обратил внимание и на то обстоятельство, что по всему Плевненскому укрепленному району в течение целого дня царил безмолвие на турецких позициях. Ясно, что Осман-паша начал перегруппировку своих сил для атаки русских войск на левом берегу Вида. Но когда наступление? Сегодня ночью или завтра? Этого так и не могли установить... Сколько уж было перебежчиков, которые говорили о скором переходе Османа в наступление, но подходили сроки, а наступления не было... Так что сомнения оставались, хотя о любом показании перебежчиков Тотлебен информировал начальников участков и главнокомандующего. Поздно вечером 27 ноября Тотлебен отправил главнокомандующему личную записку: «По показаниям перебежчиков Осман-паша собирается выходить из Плевны в эту или в следующую ночь. С наших батарей и траншей действительно замечено, что

передовые турецкие траншеи опустели, что турецкие войска отовсюду отходят к Плевне и далее к реке Виду. Все начальники предупреждены. Все меры приняты. По телеграфу Тотлебен сообщил в штаб главнокомандующего: «В ночь на 28 ноября. Сегодня неприятель не стрелял из траншей. Траншеи турецкие слабо заняты. С батареей замечено, что турки сосредоточивают войска за Плевною. Перебежчики показывают, что войскам выданы обувь и хлеб на несколько дней. Выход турок по Софийскому шоссе или на Видин назначен в эту ночь; по другим сведениям, в следующую ночь. Показания эти сообщены по телеграфу генералам Ганецкому, Каталею и Чернату».

В час ночи на русскую цепь в районе Брестовца наткнулся в полном вооружении турецкий солдат, наткнулся случайно в поисках своего взвода, ушедшего уже к мостам Вида. Доставленный в штаб Скобелева, он сразу же ошеломил всех чрезвычайным сообщением:

— Кришинский редут очищен турками, отправившимися за Вид... Они бросили меня, когда я спал...

— Правду ли ты говоришь? — спросил Куропаткин.

— Правду.

Тотчас же Скобелев отправил партию охотников, чтобы убедиться в правильности показаний. Действительно, Кришинский редут оказался пуст. Турки зажгли костры, пылавшие ярко, и тем самым ввели в заблуждение русских. Около костров никого не нашли. Так без единого выстрела заняли редут, за который столько пролилось крови.

После получения таких сведений ординарцы были отправлены во все главные пункты командования отрядом.

В ту же ночь Тотлебен приказал румынскому генералу Чернату, начальнику первого участка отряда обложения, с рассветом направить в Демиркой четыре батальона румын с двумя батареями, а другие четыре батальона с двумя батареями привести в полную боевую готовность в Вербице; начальнику пятого участка генералу Каталею сосредоточить шесть батальонов с двумя батареями у моста на левом берегу реки Вид, вблизи деревни Трвина; одной из бригад 16-й дивизии с тремя батареями, стоявшей в резерве на Ловчинском шоссе, позади четвертого участка обложения, было приказано перейти на левый берег Вида и занять позиции вблизи де-

ревни Дольный Дубняк. Начальником отряда, составленного из двух бригад, которым предстояло занять позиции вблизи деревни Трнина и Горный Дубняк, был назначен генерал Скобелев, которому было дано строгое указание «тронуться на подкрепление генерал-лейтенанта Ганецкого только в случае перехода неприятеля главными силами в наступление по направлению к Видину или Софии».

Всю ночь работал телеграф. Всю ночь не спали в штабе отряда обложения. В результате всех этих распоряжений Тотлебена на решающем участке блокады было сосредоточено 59 батальонов, а все остальные войска были приведены в полную боевую готовность. 59 батальонов, считал Тотлебен, совершенно достаточно для того, чтобы на укрепленных позициях остановить наступление турецкой армии и разгромить ее. И как только турецкая армия увязнет в сражении на шестом участке, сразу же войска на других участках должны переходить в наступление, чтобы сжать в железных тисках всю турецкую армию. Такова была задача, поставленная перед войсками Тотлебеном.

Артиллерийские лошади тоже были наготове. Резервы подтянуты к боевым позициям. Ординарцы сновали с приказами на разные участки отряда обложения.

Казалось бы, все были готовы к отпору наступающей армии Османа-паша, видели, что в Плевне много огней, движущиеся колонны по левому флангу обложения, движущиеся обозы, стягивающиеся по направлению к Софийскому шоссе. И все-таки некоторые считали, что Осман-паша устраивает всего лишь демонстрацию.

Но об этих настроениях ничего не знал генерал Тотлебен, который рано утром предполагал выехать на левый берег Вида, чтобы на месте руководить сражением. Тотлебен был спокоен: он заранее разобрал всевозможные комбинации действий Османа и отрядов обложения, произвел репетицию на месте — маневры оказались в высшей степени своевременной мерой, теперь оставалось только завести отлаженный механизм, и он будет безотказно работать без всякой суеты и торопливости.

На шестом участке тоже понимали, что решающий момент наступал. Генерал Ганецкий приказал вести постоянное наблюдение за передвижениями противника.

Начальник штаба Гренадерского корпуса генерал Манькин-Невструев, получая от Тотлебена и его штаба те или иные сведения о противнике, немедленно извещал всех генералов и полковников вверенных ему частей о полученных им сведениях.

На холме у села Дольный Нетрополь был устроен наблюдательный пункт. Вечером 25 ноября наблюдатель в зрительную трубу увидел движение обозов из города, подсчитал их, оказалось, около трехсот.

На следующий день, 26 ноября, Ганецкий приказал с разрешения генерала Тотлебена, не ввязываясь в серьезный бой, обстрелять турецкий лагерь и обозы. Шесть батарей под прикрытием двух полков выдвинулись вперед за аванпостную линию и открыли огонь по долине, в которой, как уверяли наблюдатели из Дольного Нетрополя, сосредоточивались неприятельские силы. Стрельба продолжалась всего лишь полчаса: необходимо было определить расположение оборонительной линии противника и проверить данные наблюдателей. Все это время турки не отвечали, но стоило батареям начать отход, как турки открыли огонь из орудий по батареям, и из траншей началась учащенная ружейная стрельба. Несколько человек было ранено, несколько контужено, в том числе и генерал Ганецкий.

После этого по всей линии Западного отряда наступило полное спокойствие. 27 ноября огонь турок совсем замолк, но посланные охотники проверить готовность турок к бою при малейшем движении вперед к редутам вызывали оттуда оживленную стрельбу. Редуты по-прежнему жили обычной жизнью. Так что, подумали в штабе Гренадерского корпуса, все остается по-прежнему и не так уж близок день развязки. Не раз уже турки предпринимали атаки и не один раз откатывались назад, снова зарываясь в своих землянках и редутах. А показаниям перебежчиков давно уж перестали верить, их сведения зачастую оказывались ложными. И, наконец, блокадная линия вытягивалась на 70 верст в виде овального кольца. Кто может предвидеть, где Осман-паша примет атаку основными силами, а где устроит всего лишь демонстрацию, чтобы отвлечь внимание от настоящего пункта прорыва. Не раз бывало, что наступающий противник делал отвлекающий маневр в определенном пункте, туда оттягивались резервы, и только после этого начиналось действительное наступление, которое чаще всего

удавалось. Так что в штабе Ганецкого не торопились поверить слухам и донесениям о передвижениях противника в сторону Софийского шоссе, опасаясь, что противник затеял хитрую игру.

А между тем 27 ноября с обсервационного пункта доносили: «Около 10 часов утра можно было рассмотреть сильное движение пехоты и конных людей, повозок и вьючных лошадей по шоссе от города к предместному береговому укреплению. В 12 часов со второго Кришинского редута снялся лагерь и пехота численностью в один табор, спустились в овраг; на прежнем же месте оставлен караул в пять палаток». «Из города продолжают выезжать повозки; число их значительно возросло (около 1000 штук). Часть повозок вытянулась по шоссе к стороне р. Вид; впереди видны повозки с флагами красного полумесяца».

В штабе шестого участка началась горячая пора, особенно с восьми часов вечера 27 ноября, и не прекращалась всю ночь. Никто не спал. В пять часов утра все лошади были оседланы. Ожидали только сигнальной ракеты, чтобы скакать к месту действия... А сигнальной ракеты все не было и не было...

Русские сторожевые посты не могли видеть постройку мостов из-за возвышенности, которая скрывала от них оба берега, но движение турецких войск в сторону Вида было ими замечено, о чем неоднократно сообщалось по начальству. А подъехать к самому берегу реки не давали усиленные аванпостные цепи турок. Только с наступлением сумерек одному из разъездов удалось беспрепятственно проехать к самой реке. Послышался нарастающий шум, говор, крики... Начальник разъезда подполз по-пластунски к самому шоссевному мосту и воочию убедился, что здесь сосредоточились значительные силы противника и его обоз. Начальник разъезда отполз от берега, тут же вскочил на коня и помчался к командиру гусарского эскадрона майору Карееву, который, убедившись, в свою очередь, в скоплении противника, отправил записку об увиденном генералу Мантейфелю, командиру передовой охранительной линии шестого участка. Около двенадцати часов ночи генерал Мантейфель после получения записки майора Кареева сразу же поехал на аванпосты лично проверить этот тревожный сигнал. Ночь была непроглядной. Моросило. Но Мантейфель и Кареев, подъехав к правому берегу Вида, отчетливо

слышали доносившийся шум: турки действительно строили новый мост, а сквозь этот шум явственно можно было услышать характерный грохот артиллерии.

Мантейфель тут же дал указание майору Карееву сообщить командирам дежурных полков об увиденном и услышанном, а те, в свою очередь, в соответствии с существующим порядком должны были доложить начальникам Дольне-Дубнякского и Нетропольского отрядов. Кроме того, тут же написал записку своему непосредственному начальнику генерал-лейтенанту Свечину с предложением поставить до рассвета девятифунтовые батареи вместо стоявших на позициях четырехфунтовых и предупредить о приближении турок Таврический полк.

Получив эту записку, генерал Свечин ответил, что он и сам уже собирался выехать на позиции до рассвета.

Начальник Нетропольского отряда генерал Данилов, получив известие о движении в турецком лагере около двух часов ночи, дал телеграмму начальнику штаба корпуса генералу Манькину-Невструеву: «Полковник Водар (командир дежурного полка) доносит от Копаной Могилы, что слышен шум у моста и движение орудий из Плевны по шоссе к мосту».

В то же время Мантейфель, не уверенный в том, дошли или нет его сообщения о наступлении турок, послал записку в штаб Гренадерского корпуса: «Разъезды мои донесли мне, что около моста большое движение. Оно совпадает с телеграммой князя Имеретинского. Я принял все меры предосторожности, послал разъезды разведать и в случае появления турок встречу их по-русски. Все части о возможной встрече с неприятелем извещены».

После этого Мантейфель совершенно был уверен, что начальники отрядов сделают необходимые распоряжения и резервы своевременно будут выдвинуты к боевым позициям.

Не спал в эту ночь и генерал Ганецкий. В четыре часа он получил телеграмму от Скобелева, в которой говорилось, что турки оставили Кришинский редут и две его бригады движутся в направлении моста. Это сообщение было сразу же передано генералам Свечину и Данилову, чтобы они приняли соответствующие решения.

Не спали генералы Свечин и Данилов, но тот и другой все еще пребывали в нерешительности — верить им или не верить в наступление турок. И эти колебания

генералов, от которых зависела судьба так долго и крепотливо готовившегося отпора турецкой армии на укрепленных позициях, чуть было не сыграли роковую роль.

Около шести часов утра Мантейфель, подъехав к третьей батарее, которая расположилась вблизи Софийского шоссе, остановился в крайнем недоумении: на биваках Таврического и Самогитского полков стояла знойная тишина, ничуть не предвещавшая подготовку к сражению, а девятифунтовые батареи и не показывались.

В недоумении он подъехал к третьей батарее. Вскоре сюда же прибыл и генерал Свечин.

— Ваше превосходительство, — обратился Мантейфель к Свечину, — вы получили мое уведомление о готовящемся турецком наступлении?

— Не верится в это. Я уже давно на позициях, а ничего не видел и не слышал...

— Да ведь я сам был у моста и определенно слышал, что там происходит.

Мантейфель с удивлением посмотрел на начальника Дольне-Дубнякского отряда. А тот, перехватив взгляд, в раздражении произнес:

— Ну где турки? Я ничего не вижу... Кажется, ничего сегодня не будет.

— Ваше превосходительство, умоляю вас, распорядитесь послать девятифунтовые батареи и Таврический полк на укрепленные позиции, а то потом греха не оберешься... За туманом турок не скоро разглядишь, но они уже идут, а они умеют ходить быстро и стремительно.

И только тогда Свечин послал приказ о выступлении Таврического полка и батареи на укрепленные позиции.

Не спал и генерал Данилов, пребывая в нерешительности относительно намерений турок: наступление это или усиленная демонстрация. Даже тогда, когда утренний туман уже начал рассеиваться и гусарские аванпосты заметили, как турецкая армия, переправившись на левый берег, начала развертывание в боевые порядки, и доложили об этом майору Карееву, на русских позициях было тихо и спокойно.

— Что же все это значит? — воскликнул командир гусарского эскадрона. — Почему у нас такое спокойствие? Сейчас же последует решительная атака...

Майор Кареев вскочил на коня, стоявшего под седлом, и помчался на батарею. Командир Сибирского полка, оказавшийся на батарее, тоже недоумевал, что ника-

ких конкретных указаний не получал: сигнальной ракеты все еще не было.

Кареев подскакал к генералу Данилову, который был в это время в деревне Дольный Нетрополь, ставке отряда, сообщил о развертывании турецкой армии для наступления. Но начальник Нетропольского отряда только пожимал плечами:

— Я ничего об этом не знаю. Начальник передовых постов мне об этом не доносил, вы ошибаетесь...

Генерал все-таки приехал на батарею, но и здесь, сколько ни вглядывался, он так ничего и не увидел в густом утреннем тумане, принимавшем какие-то неясные и неопределенные очертания.

— Может, это не войска, а линия за ночь вырытых окопов? — обратился Данилов к артиллеристам, тоже смотревшим в сторону Плевны.

— Да, похоже... Это действительно линия окопов, — ответил кто-то.

— Да какие же это окопы? Я сам видел, как турки разворачиваются, готовясь к наступлению. Ручаюсь вам, ваше превосходительство. Упустим время дать сигнальную тревогу.

Но генерал Данилов так и не поверил ему.

Майор Кареев тогда решил всю ответственность взять на себя и от своего имени послал донесения генералам Ганецкому и Мантейфелю. А пока во все стороны разослал вестовых, приказав им бить тревогу во всех встречных по пути русских войсках, предупреждая о начавшемся наступлении турок.

Тем временем майор Кареев не переставал вглядываться в сторону Плевны. Наконец он заметил, как казавшаяся непрерывной линия предполагаемых окопов надломилась, в ней появились просветы.

— Посмотрите теперь, ваше превосходительство. Это положительно наступающие турецкие колонны...

Полковник Чайковский, начальник штаба отряда, только что приехавший на батарею, поддержал майора. Но генерал Данилов был непреклонен: он ничего страшного не видел, а поверить молодым офицерам было выше сил престарелого генерала.

Чайковский и Кареев предложили дать несколько пробных орудийных выстрелов. После третьей гранаты турки открыли орудийный огонь по русским позициям. Только после этого взмыла сигнальная ракета. Барабаны

забили тревогу. И почти одновременно сигнал тревоги дали и во второй Гренадерской дивизии.

А между тем турки вели наступление по всем правилам воинского искусства. Впереди двигалась сплошная цепь стрелков, за ней в разомкнутом строю вторая цепь, а за ними в несколько линий резервы. Артиллерия то и дело обгоняла свою передовую цепь и успевала по нескольку раз выстрелить, пока обходили ее цепи. Тогда солдаты открывали ружейный сплошной огонь, от которого уже в первые минуты наступления русские несли чувствительные потери. «Трудно себе представить, — вспоминал полковник Чайковский, — что за град пуль, свинца и гранат посыпался на нас. Наши открыли огонь, и сейчас же стало очевидно, как слабо занята позиция. Огонь наших берданок далеко не походил на ту дробь, которую выбивали турки из своих ружей Снайдера и Пибоди. Очевидно было, что сибирцы не в силах удержать за собою своих граншей».

Турки стремительным броском достигли центра занимаемых третьей Гренадерской дивизией позиций и смяли на этом участке семь рот Сибирского полка. Русские солдаты успели истратить свой малый запас патронов, а патронные ящики где-то застряли в грязи, и отыскать их в поднявшейся суматохе не было никакой возможности. Генерал Данилов пытался удержать своих солдат и ударить по русскому военному обычаю в штыки, но его попытки оказались безуспешными: 16 батальонов турок навалились на семь рот русских.

Через час после начала наступления турки овладели первой укрепленной линией и успешно продвигались ко второй. В это время со стороны Горного Нетрополя подошел 10-й гренадерский Малороссийский полк. Никто в полку не ожидал сегодня наступления турок, поэтому сигнальная ракета застала всех врасплох. Но малоросийцы в считанные минуты собрались и почти бегом батальонными колоннами устремились на позиции. Размокшая почва и тяжелое походное снаряжение быстро утомили солдат, но начальник дивизии, наконец-то осознавший всю опасность создавшегося положения, приказал перейти полку на беглый шаг. Неся большие потери, с криками «ура!» малоросийцы бросились на турок, но не смогли удержать огневого турецкого шквала и повернули назад.

Осман-паша, почувствовав, что противник оказался

вастигнутым врасплох, бросил в этом направлении до-полнительные силы, что привело к полному успеху: турки прорвали вторую линию укреплений и начали наступление на флангах: против Астраханского люнета и Копаной Могилы. Шесть батальонов русских, естественно, не могли устоять против двадцати четырех батальонов турок, а соседние полки, не получив своевременного приказа Ганецкого, не проявили инициативы и самостоятельности. «В этот период боя, — вспоминал генерал Куропаткин, — с наибольшей полнотой и рельефностью чем где-либо выказался наш основной недостаток: неумение помогать атакованной на решительном пункте части соседними частями. Ссылка на «не получал приказание» или «вел и сам бой», хотя бы противник оказался ничтожным, признавалась часто достаточным объяснением бездействия той или другой части». Почти целый час 1-я бригада 3-й Гренадерской дивизии отбивалась в одиночку от превосходящих сил турок. Целый час шла огневая борьба, и этого оказалось достаточно, чтобы подтянуть резервы.

Наступила критическая минута. Командир корпуса Ганецкий, оказавшийся в это время у Копаной Могилы, приказал ввести в бой общий резерв Дольне-Дубнякского отряда и направить удар во фланг противника. А к центру в начале десятого утра подоспела 2-я бригада 3-й Гренадерской дивизии, которая должна была давно быть здесь: и эту бригаду ракета застала врасплох, о прорыве никто не знал, а поэтому никаких подготовительных мероприятий не было проведено. Но, получив распоряжение, генерал Квитницкий сделал все, чтобы успеть на выручку боевой линии.

Выехавший им навстречу генерал Ганецкий приказал «еще более поспешить движением».

— Братцы, — крикнул генерал, — укрепления наши заняты турками, восемь наших орудий в руках неприятеля, умрите, но верните все назад. Помните, отечество не забудет вас...

Все быстрее и быстрее начинают двигаться роты, некоторые падают, тут же вскакивают и снова устремяются вперед.

— Теперь я в успехе не сомневаюсь, — говорит генерал Ганецкий.

Астраханский, Фанагорийский, Вологодский полки, общий резерв Дольне-Дубнякского отряда, с трех сторон

перешли в решительное наступление. Турки не смогли устоять против такого натиска и начали медленно отходить к первой укрепленной линии.

Осман-паша отдал приказ ввести свой общий резерв. Но приказ его повис в воздухе: вторая дивизия из-за многочисленного обоза застряла на переправе. Три батальона были введены в бой, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить русские войска.

К двенадцати часам русские отбили свои прежние позиции. Перед ними встал вопрос: что делать дальше? Генерал Ганецкий, опасаясь новой атаки турок, решил сначала ограничиться артиллерийским огнем по противнику. И приказал генералу Данилову прочно занять все укрепленные передовые линии и открыть огонь. Но тут начала свои действия 1-я бригада 2-й Гренадерской дивизии. Против ее укрепленных позиций турок не было, но повсюду шло сражение, начальник первой бригады, увидев, что турки отступают, решил на свой страх и риск бросить свои полки вперед и ударить турок с левого фланга. Подходили две бригады Скобелева, началось движение с севера в румынских частях. Так началось наконец-то общее наступление всех войск шестого участка. Генерал Ганецкий отказался от своего первоначального плана, решив предоставить действовать подчиненным ему войскам самостоятельно. И младшие начальники блестяще решили стоявшие перед ними стратегические и тактические задачи...

Под напором наступающих, действия которых поддерживал жесточайший артиллерийский огонь, турецкие войска были отброшены к реке, где началась невообразимая паника: с правого берега отступавшие, а с левого берега спешащие на помощь силы резерва стиснули с невероятной силой свой же обоз и многочисленный обоз беженцев из Плевны. Тут уже самые яростные поняли, что сражение проиграно. И в этот момент Осман-паша был ранен в ногу: это для турок было плохим предзнаменованием. Повсюду началась паника. Все перемешались между собой: солдаты, жители, артиллерийские орудия, повозки, вьючные животные.

Как ни старался Тотлебен отделаться от главнокомандующего и самому руководить сражением, ничего из этого не получилось.

— Поедем на Тученицкий редут, — сказал главнокомандующий Тотлебену и Имеретинскому, которым ни-

чего не оставалось, как согласиться с этим предложением.

И, только приехав на Тученицкий редут, убедились, что все еще державшийся туман закрывал всю местность и ничего не было видно. Решили ехать в Радищево и остановиться там на телеграфной станции, чтобы все время быть в курсе происходящих событий. По дороге, увидев, что сражение идет без его распоряжений, главнокомандующий ко всем встреченным подразделениям войск обращался с вопросом:

— Почему же вы туда не идете? Идите в тыл неприятелю, я приказываю.

А многих адъютантов и ординарцев разослал во все концы с приказами. И после одного из таких приказаний проходящей мимо роты горячий князь Имеретинский не выдержал:

— Ваше высочество, позвольте им подождать выполнять ваше приказание, ведь все распоряжения нами уже сделаны корпусным начальникам и все будет исполнено. Наши войска уже идут к Плевне... Посмотрите...

Вся большая кавалькада, сопровождавшая великого князя, только что поднялась на холм, откуда открывался вид на Плевну и ее окрестности. Вдали, за Видом, в районе Гренадерского корпуса клубился дым от оружейных выстрелов, слышалась пальба и грозные крики «ура!». От Зеленых гор спускались стройными колоннами части 16-й дивизии и IV корпуса. Можно было разглядеть и колонны румын, спускавшихся с Гривицких высот.

Главнокомандующий и Тотлебен сошли с коней, расположились на вершине этого холма и следили за действиями войск в бинокль. Стали прибывать с донесениями. Бой затихал. Гренадеры, стремительно подойдя к Виду, окружали турок, которые по-прежнему отстреливались. Но судьба боя была уже решена.

Начали поступать сведения, что Осман-паша со всей армией сдались на милость победителей. Но не было еще официального донесения от Ганецкого, хотя уже никто не сомневался в полной победе. Сняв шапки, все дружно перекрестились и громко крикнули «ура!». Впереди уже показались неподвижно стоявшие колонны турок. Подъехали, и оказалось, что турки, как только увидели, что передовые части складывают оружие, тоже аккуратно, не дожидаясь русского конвоя, составили ружья в козлы и спокойно сдались в плен. Главнокомандующий отрядил

к ним до подхода войск казачьего офицера и казака, чтобы был соблюден порядок. Переехали на ту сторону Вида, поднялись на берег и сразу же столкнулись со Скобелевым, который и доложил главнокомандующему, что Осман-паша действительно взят в плен, сдал оружие Ганецкому.

По дороге к Плевне повсюду валялись ружья то порознь, то целыми грудями. Пробираясь между этими трофеями, главнокомандующий и Тотлебен со своими сопровождавшими достигли наконец свободного участка дороги. В это время показалась коляска, запряженная парой прекрасных бледно-буланных лошадей, с красиво одетым кучером в чалме. Ясно было, что это плененный Осман. За ним верхом весь его штаб и многочисленная группа турецкого офицерского обоза, офицерские вьючные багажи, негры, феллахи, арнаулы, аскеры и всякая прислуга.

При виде подъезжавшего главнокомандующего коляска остановилась, Осман-паша, поддерживаемый с двух сторон, привстал, опираясь одной рукой на кузов. Главнокомандующий протянул руку своему противнику и выразил свое восхищение его мужеством и изобретательностью во время обороны Плевны. Осман-паша через своего доктора, знавшего французский, поблагодарил великого князя за внимание. Затем пожали руку талантливому полководцу князь румынский Карл, Непокойчицкий и другие генералы. При имени Тотлебена Осман-паша вздрогнул, быстро метнул в него взгляд и низко склонил голову, крепко отвечая на его пожатие: Осман-паша понимал, кто одолел его своей стойкостью, благоумием и искусством.

Коляска Османа-паши повернула в сторону Плевны, а генерал Тотлебен долго еще смотрел ей вслед. Какое счастье, что этот дурной сон кончился столь благополучно для России, думал старый генерал. Для России настает теперь благоприятный момент. Эта победа открывает для России благоприятные возможности, и воспользоваться ими совершенно необходимо...

Смеркалось. Тотлебен второй раз за этот день проезжал через покоренную Плевну. Жителей было мало. Вдоль телеграфной линии толпились безоружные турки, равнодушно поглядывавшие на проезжавших мимо них генералов и их ординарцев. Некоторые из женщин улыбались и кланялись. Тотлебен заметил, хоть и начало темнеть, что болгарская часть города хорошо сохранилась,

турецкая же сильно разрушена нашим огнем. Назначив коменданта и отрядив сотню казаков для поддержания порядка в городе, Тотлебен свернул на Ловчинское шоссе и вскоре добрался до своей Тученицы.

На следующий день начались торжества. Отслужили молебен в поле недалеко от Плевны, на турецких редутах. Александр II благодарил войска, вручал награды за мужество и самоотверженность офицерам и генералам. Тотлебену вручил Георгиевский крест II степени.

Через несколько дней, проведенных в обычных хлопотах и заботах: необходимо было составить отчеты, проследить за отправкой пленных, позаботиться об их довольствии, — Тотлебен получил приказ главнокомандующего немедленно отправиться в Восточную армию. Перед торжественным обедом у главнокомандующего Тотлебен зашел в кибитку к Осману. Он лежал на кровати. Рядом с ним находился его доктор. В кибитке было довольно тепло и комфортабельно. Осман не питал враждебных чувств к своему победителю. Через переводчика он высказал одобрение тому плану, который принял и осуществил Тотлебен. Такой план и настойчивая выдержка решили дело. Если бы русские штурмовали вновь, то были бы снова отбиты с большими потерями.

— Если не секрет, то куда вы сейчас поедете? Можете не отвечать, если мой вопрос нескромен, — сказал Осман.

— Командовать армией против Сулеймана-паши.

Осман ничего не сказал на это.

— В свою очередь, я спрошу вас... Почему вы не отступили, когда видели, что пришло сильное подкрепление и что гвардия находилась у Чирикова, то есть в то время, когда Софийское шоссе еще не было нами занято?

— Мы имели тогда много продовольствия и большие надежды на Шевкет-пашу, который сидел в Орхание с большим отрядом, но он не оправдал наших надежд. Если бы на его месте был бы человек посмелее... А главное, мне никогда бы не простили в Константинополе преждевременного отступления... Я был бы осужден...

Перед отъездом в Восточный отряд Тотлебен долго беседовал с корреспондентом одной из берлинских газет. Тотлебен принял его любезно: теперь можно было высказать давно продуманные мысли и сделать даже некоторые теоретические выводы из «плевненского сидения».

Тотлебен говорил спокойно, доброжелательно и осто-

рожно. Долгие годы военной службы выработали в нем эти качества.

— Когда я приехал сюда, меня постоянно мучила мысль, что Осман может прорваться раньше, чем наши укрепления будут готовы. Я всегда был противником теории, требующей для взятия укрепленных позиций штурма и громадных человеческих жертв. Не я победил Османа, а голод. Но он мог проявиться в своем действительно ужасном и решающем виде только тогда, когда Осман постепенными подступами был так тесно и плотно окружен, как это сделали в конце концов наши траншеи. Плевна показывает, что новейшая оборонительная война приняла совершенно другой характер и имеет бесчисленные преимущества перед наступательной... Брать подобные позиции при страшном действии новейшего огня невозможно или по крайней мере для этого не пришло еще время. От солдат и офицеров, даже самых храбрейших, должно требовать только возможного, но те требования, которые были предъявлены нашим солдатам и офицерам при штурме Плевны, переходили за границы возможности.

Тотлебен говорил не торопясь, внимательно следил за тем, чтобы корреспондент успел записать его мысли. Так было тихо и спокойно, что можно было подумать, что война кончилась. Только сложенные вещи по углам тесной комнатки свидетельствовали о том, что походная жизнь для генерала еще не завершена.

— Мои главные усилия, — тихо продолжал Тотлебен, — были направлены к тому, чтобы в случае вероятного прорыва Османа и в том направлении, которое он примет, было бы всегда возможно сосредоточить на угрожаемых пунктах необходимое количество войск. Вот посмотрите... — И Тотлебен показал на карту Плевны, где отчетливо проглядывали малейшие детали сложившейся военной обстановки: рельефные особенности, турецкие и русские позиции, батареи, траншеи, редуты...

— Думаете ли, что при особенно благоприятном стечении обстоятельств Осман мог бы спасти часть своей армии? — спросил корреспондент.

— Нет, — оживился Тотлебен. — Осман сделал вылазку с 25 тысячами человек, следовательно, со всеми своими главными силами и с 5—6 тысячами человек резерва. Если бы он произвел атаку с половинным числом людей, то могли бы сказать, что причиной поражения

послужили недостаточные силы. Осман знал это. Он предпринял блистательную, самоотверженную атаку со всеми своими силами и должен был понести поражение. По моему мнению, большою стратегической ошибкой со стороны Османа было то, что он не попытался пробиться раньше. А потом уже было поздно надеяться на успех. Мне всегда было непонятно, почему Осман не прорывался, как только взяты были позиции у Телиша. Еще шесть недель тому назад у него были шансы пробиться, если не со всею армией, то по крайней мере с частью ее. Время между тем ушло, и мы безостановочно пользовались им, чтобы все сильнее обложить его. Если позиции, подобные Плевенским, не могут быть освобождены помощью извне, то осажденный, как только убедится в невозможности помощи, должен пробиваться, иначе осаждающий постоянно будет закладывать подобные же непреодолимые укрепленные линии и все сильнее и сильнее забирать противника в свои сети. В конце концов, падение подобной позиции является делом времени и голода.

— Повсюду говорят, что исход войны решен падением Плевны, потому что лучшая оттоманская армия потеряна. Все верят в это, а я не совсем убежден в истинности этого.

— И не верьте этому, — сказал Тотлебен. — Нам не следует пренебрегать должною оценкой сил турок. Я, со своей стороны, убежден, что Турция еще в состоянии оказать нам продолжительное сопротивление. Наши мирные условия: автономия Болгарии, уступка части Армении и пр. — слишком тяжки, чтобы Турция могла принять их теперь же.

Тотлебен и не мог предполагать, что участь кампании уже решена: смелый и отважный переход русских войск через Балканы зимой 1877/78 года ошеломил турок, а взятие шипкинской армии в плен войсками Скобелева, Раецкого и Святополк-Мирского окончательно сломило сопротивление турецких войск. Для осуществления таких наступательных операций русской армии нужны были выдающиеся военные деятели. И под Плевной они показали себя блестящими продолжателями суворовских традиций.

Олег Михайлов
ГЕНЕРАЛ «ВПЕРЕД»

Часть первая

У стен Плевны

1

В Эски-Баркаче, жалком селении, покинутом жителями, разграбленном и сожженном бежавшими турками, генерал-адъютант Гурко встречал подходившие из России части гвардии. Цвет нашего воинства передавался под командование Гурко помимо всей кавалерии русской и румынской.

В ожидании сбора гвардии генерал проводил дни по одному и тому же образцу. Едва начинало светать, как из турецкой глиняной постройки на краю селения, чудом уцелевшей посреди развалин, раздавался глухой, но далеко слышный голос:

— Соболев! Седлать коня!

Любимый денщик тотчас выводил бойкую казачью лошадку. Появлялся Гурко, русский, с серыми глубокими глазами и густой раздвоенной бородой, не закрывавшей единственного серебряного «Георгия».

С восходом солнца генерал уже отправлялся на аванпосты в сопровождении дежурного ординарца, переводчика Хранова, Соболева и конвоя из десятка казаков.

Он выезжал далеко за цепь, взбирался на холм и с биноклем всматривался в турецкие позиции.

Плевна, загадочная Плевна, уже унесшая столько тысяч русских жизней, лежала в трех верстах. За рекой Вид, на возвышенностях, покрытых редким кустарником, едва выделялись полоски турецких редутов, и только в логовинах между холмов можно было заметить перемещающиеся темные пятна турецких войск. Там, в городе, пре-

вращенном в крепость, загался с сорокатысячной армией Осман-паша. Блокада была неполной: с юго-запада по Софийскому шоссе, укрепленному турками и зорко оберегаемому ими, подходили обозы с оружием, боеприпасами, продовольствием. Начиная от самой Плевны, вдоль дороги были сосредоточены вражеские фортеции на высотах близ селений Дольный Дубняк, Горный Дубняк, Телиш, Луковцы, а в промежутках между ними шоссе защищалось нарытыми ложементами, окопами для пехоты и засеками.

Генерал молчал. Молчали и сопровождавшие, не смея нарушить его размышлений. Наконец он отрывисто приказал ехать дальше и отправился по окрестным деревням, снова и снова расспрашивая с помощью Хранова болгар о расстояниях между населенными пунктами, о состоянии дорог в осеннюю распутицу, о подробностях расположения селений, занятых турками.

Затем Гурко объезжал войска, неожиданно появляясь в самых отдаленных аванпостах. Он не пропускал мимо себя ни одного солдата, чтобы не поздороваться с ним, — сурово бросал: «Здорово, улан!», «Здорово, гусар!», «Здорово, стрелки!» В короткий срок подтянул дисциплину, которая в Западном отряде, и прежде всего в кавалерии, оставляла желать лучшего. Особенно строго карал редкие случаи поборов продовольствия и фуража в болгарских домах.

Уже луна появлялась на небе и загорались костры на биваке, когда раздавались звуки копыт, и снова слышался глухой голос генерала:

— Соболев! Привячь коня! Нагловского ко мне!

Зажигался свет в единственном оконце: Гурко садился за карту со своим начальником штаба.

Щеголеватые адъютанты румынского князя Карла, прикомандированные к Гурко, не могли скрыть своего удивления и постоянно спрашивали:

— Когда генерал обедает? Ведь он не берет с собой никакой еды! Когда генерал спит? Он же просиживает с Нагловским до утра над картой?

Но более всего адъютантов князя Карла, избалованных комфортом, поражали спартанские привычки Гурко.

— Что за странность! — судачили они промежду собой. — Начальник всей русской гвардии, а не дозволяет себе иметь порядочного экипажа и обходится самой простой лошадью!

Позади Эски Баркач в лощинах стелется дым костров, свываясь в холодном октябрьском воздухе с паром кипящих котлов. Шум, говор, шутки, а кое-где песни. Расположились биваком и готовят себе обед только что пришедшие части гвардии. Великолепное войско! Рослые, здоровые солдаты в красивых опрятных мундирах. Во всех их действиях отчетливость: в стройности и порядке расположения бивака, в маршировке солдат, управляющихся на пост, даже в том, как строго и внимательно ведет себя гвардеец, стоя на часах.

Раньше всех, как обычно, отобедала 6-я батарея 2-й лейб-гвардии артиллерийской бригады. У этих счастливых единственная в бригаде паровая кухня, которая позволила им еще на марше сварить гречневую кашу с говядиной, а во втором котле вскипятить воды для заварки чая.

— И-и, нашли чему завидовать, ваше благородие! — перехватил голодный взгляд юного поручика разбитной повар, которого в Преображенском полку все до последнего солдата называли просто Иошкой. — Я с вечера всего наготовил. Не изволите ли кусочек ростбифа? Или курочку желаете?

— Сколько раз тебя, невежу, учить, — перебил его долговязый штабс-капитан, впрочем, скорее шутиливо, чем с военной строгостью, — поручик Кропоткин — князь, а князя полагается величать «ваше сиятельство»...

— Перестань, Рейтерн! Что ты, право, все подтруниваешь надо мною! С самой Румынии покоя не даешь! — вишневым румянцем покраснелся поручик. — Тащи нам, Иошка, все, что там у тебя есть. Да побыстрее. Одна нога здесь, другая там!

— Да чтобы соус был вкусен, — добавил Рейтерн. — Положи туда оливы, каперсы, то и другое...

— Слушаю, ваше благородие! — гаркнул Иошка и скорчил умильную рожу. — Только поднесли бы водочки горло промочить!

— Водки, братец, нет, — развел руками Рейтерн.

— Я сейчас прикажу денщику подать тебе коньяку или ракии, — торопливо сказал Кропоткин.

Иошка морщится, принимая стакан. Не нравятся ему чужие напитки. Он даже отплеивается, выпив ракии,

но хмель оказывает свое воздействие, и Иошка бежит за офицерским обедом прытко, весело.

А в расположении артиллеристов звучит звонкое «кукареку», сопровождаемое добрым смехом батарец:

— Чтой-то он не ко времени побудку устроил!

— Наш кочет поет когда хочет...

Огромный сытый петух с малиновым гребнем и металлическим отливом перьев сидит в плетеной корзинке, подвязанной к фургону. Это бригадный амулет, доставленный из самой России. Артиллеристы — привилегированная каста. Офицеры возят в экипажах личные вещи вплоть до железных кроватей, которые теперь очень кстати, так земля сыра и холодна.

Фейерверкер из вольноопределяющихся Слепнев, сутуловатый, с мальчишеским прыщавым лицом, кровати не имеет. Скорчившись на лафете девятифунтовой пушки, он глотает страницу за страницей новый роман Достоевского «Подросток». На него неодобрительно косится отменный строевик поручик Типольт, который презирает печатное слово и, переваривая просто обильный обед, только качает ногой в щегольском сапоге. Рыхлый, добродушный штабс-капитан Подгаецкий, морщась от напряжения, пишет на сырой бумаге письмо семье в далекую Тамбовскую губернию, наказывая ненаглядной жене поцеловать за него разом всех семерых сыновей. А бедовый поручик Полозов, черный и юркий, бежал весь лагерь в поисках знакомых и нашел-таки приятелей-офицеров в лейб-гвардии Гренадерском полку, откуда наплывает негромкое:

Не веселую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды...

Грудной голос запевалы хоть и грубоват, но берет за душу, за живое. И тенор Полозова присоединяется к нему:

Я спою вам о том, как от южных полей
Поднималось облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей,
Как пришли к нам и нас победили...

В каждом полку есть свои песенники, но в лейб-гвар-

дии Гренадерском они особенно дружны, точно и верно выводят каждый свой голос:

А и так победили, что долго потом
Не совались к нам с дерзким вопросом;
А и так победили, что с кислым лицом
И с разбитым отчалили носом.

Я спую, как росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали —
И как знали они, что идут умирать,
И как свято они умирали!..

И одиннадцать месяцев длилась резня,
И одиннадцать месяцев целых
Чудотворная крепость, Россию храня,
Хоронила сынов своих смелых...

Неправда, что солдат перед боем рассуждает о неприятеле, о возможной смерти, о геройском подвиге. Нет! Он больше всего занят земным, будничным делом, словно находится не у смертоносной Плевны, а в своей петербургской казарме позади Фонтанки в час отдыха. И рядом с песенниками с их грустной и гордой мелодией о Севастопольской обороне слышится прозаическое:

— Антон Матвейч! Одолжите бруска топор выточить...

— Антон Матвейч, нет ли бритовки?..

— Антон Матвейч, дозвоьте веревочку взять?

Все эти солдатские просьбы обращены к унтер-офицеру Бобину, старику с грубым и неприветливым лицом. И отвечает он каждому отрывисто и неприветливо:

— Ишь ты, разгильдяй! Неужто своего бруска нет? А ты и бритвой не запасся? Что у меня, склад?

Но, отчитав солдата, дает и бритву и веревку, топор приказывает принести к себе и точит сам, а просившего заставляет смотреть и учиться. Он, кажется, вообще не может сидеть сложа руки, непременно что-нибудь мастерит, для чего умудряется иметь при себе множество инструментов, вовсе не полагающегося солдату.

Охотнее всего занимается Бобин исправлением сапог и амуниции, часто починяя вещи, которые вовсе и не требовали ремонта. Но ему казалось, что нужно еще пристегнуть раза два, чтобы крепче держалось. За работу Бобин ничего не брал, а только ругал обратившегося с просьбой, называя его сорванцом и разгильдяем, и если последний молчал, то постепенно переходил на мягкий

тон и наконец, отдавая исправленную вещь, говорил почти ласково:

— Возьми, сынок, да смотри носи вперед бережно...

В роте Бобина уважали как службиста, но не любили за придирчивость и ворчливость. А новобранцу Козлову Бобин казался и вовсе грозным и страшным существом.

В каждой части, даже в гвардии, попадаются такие солдаты, слабые духом, которые не надеются на себя и ищут опоры у окружающих. Казарменная жизнь для Козлова была временной тяжелой повинностью, он беспрестанно тосковал по родине, по вземской деревне, по своей маменьке и по дочке соседа. Если кто-нибудь называл его фамилию, Козлов вздрагивал и втягивал голову в худенькие плечи. Ему казалось, что все над ним смеются и презирают. А когда унтер-офицер отчитывал его за плохо начищенные пуговицы или дурную смазку сружия, он только сжимался, бледнел и читал про себя «Отче наш...».

Теперь Бобин, не найдя у Козлова никаких упуцений ни в амуниции, ни в вооружении, все равно ворчал для порядка: на завтра командир Западного отряда генерал-адъютант Гурко делает смотр гвардии.

3

Если правда, что люди рождаются военными, то Иосиф Владимирович Гурко родился именно военным человеком.

Сын генерала, он закончил пажеский корпус и начал службу гвардейским кавалеристом, мечтая о боевом поприще. Судьба, однако, охраняла его от войн, хотя Гурко специально ушел из ротмистров гвардии в пехотные майоры, чтобы принять участие в Севастопольской кампании со словами: «Жить с кавалерией, а умирать с пехотой». Солдат и патриот, он был во всем прямодушен. Когда позднее ему, полковнику и флигель-адъютанту, жандармское Третье отделение предложило следить за неблагонадежными, он в знак протеста подал в отставку. Дело получило огласку, отставка не была принята, но при дворе недоброжелатели кололи Гурко фразой, которой откликнулся на его поступок Герцен в своем «Колоколе»: «Аксельбанты флигель-адъютанта Гурко — символ доблести и чести».

В военном искусстве Гурко исповедовал суворовский девиз: «ввяжемся, а там посмотрим». Его принципом бы-

ло: идти вперед, невзирая на численное превосходство врага, стремительно сблизиться с ним и сокрушить его пулей и штыком. Все вверяемые ему подразделения, начиная от эскадрона лейб-гвардии гусар и кончая Гренадерским полком, выказывали на маневрах отличную подготовку. Суворова как полководца Гурко боготворил, считал, что суворовские заветы преданы забвению, и горел желанием доказать их жизненность и силу.

Начало русско-турецкой войны застало его в звании генерал-лейтенанта и в должности командующего 2-й Гвардейской дивизией. В свои сорок девять лет Гурко был строен, как юноша, вынослив, неприхотлив по-суворовски в еде и быту. Первые же месяцы кампании были отмечены его блестящими победами. Назначенный начальником Передового (Южного) отряда, он 25 июня 1877 года стремительно овладел древней болгарской столицей Тырново и осуществил первый поход за Балканы. Захватив 1 июля стратегически важный Хаинкиойский перевал, он 5 июля занял Казанлык, а затем вышел к деревне Шипка, отсекая с тыла турок, сидевших на Шипкинском перевале. Опасаясь окружения, османский начальник Халюси-паша поспешил ретироваться.

Своими дерзкими и решительными действиями Гурко открыл путь русской армии за Балканы. Между тем в Забалканье была переброшена армия Сулеймана-паши, которая должна была двигаться на выручку Плевны. Невзирая на трехкратное превосходство сил, Гурко нанес ей ряд внушительных ударов, приостановив наступление турок. Самым удачным оказалось сражение у Дуранлы, где он наголову разбил одного из сподвижников Сулеймана — Реуфа-пашу. Но в тот же день, 19 июля, захлебнулась вторая атака Плевны. Передовой отряд отошел к Тырнову.

За одержанные победы Гурко получил крест «георгия» 3-й степени и звание генерал-адъютанта.

Неудача у стен Плевны сильно повлияла на характер дальнейшей ведения войны. Прибывший 16 сентября из России знаменитый по Севастопольской обороне генерал Э. И. Тотлебен настаивал на методическом осуществлении блокады, которая заставила бы турок капитулировать, крайне неохотно соглашался на какие бы то ни было наступательные операции. Гурко все же удалось убедить его в необходимости открытой силой овладеть укреплениями Горный Дубняк и Телиш, охранявшими подходы

к Плевне со стороны Софийского шоссе, и тем самым окончательно замкнуть кольцо осады.

Гурко отлично понимал, что его назначение командующим гвардией вызовет недовольство как в штабе главнокомандующего — великого князя Николая Николаевича, так и среди генералов, которые были старше его по выслуге. Один из них, Салтыков, открыто разглагольствовал в ставке, что если уж и признают за Гурко такие исключительные военные дарования, то следовало бы сперва произвести его в полные генералы, и что такие назначения не только оскорбительны, но и подрывают дисциплину. Зато командир 2-й Гвардейской дивизии добродушный граф Шувалов, который и в чине и по служебному положению был старше остальных генерал-адъютантов, заявил, что с радостью подчинится Гурко как энергичному и способному начальнику.

Перед смотром гвардейских частей 11 октября Гурко собрал генералов и некоторых старших офицеров.

Первым явился начальник штаба Нагловский, массивный, широкоплечий, с подкрученными вверх усами и черной жесткой бородой, который получил звание генерал-майора после первого Балканского похода. За ним генералы Раух, Дандевиль, Шувалов, командующий 2-й Гвардейской артиллерийской бригадой полковник Сиверс, командир лейб-гвардии Гренадерского полка Любовицкий, командир 1-й пехотной бригады 1-й Гвардейской дивизии принц Ольденбургский — молодой, бритый, белолицый, с усами а'la Бисмарк.

Зная крутой характер Гурко, входили и после приветствия тихо рассаживались. Только казачий генерал Краснов, маленький, смуглый, с профилем ястребка, в форменном чекмене с «георгием» IV степени, продолжал прерванный разговор с принцем Ольденбургским, нимало не смущаясь близостью грозного начальства.

— Мы тогда-то турку и выдали... Отрезали Реуфа от его норы да так долбанули, что мои казачки порубали не менее полутысячи. У меня в 26-м полку простой народ, землееды... — с характерным придыханием на «г» и не без хвастовства за своих «землееды» досказывал он. — Спросите, дикие люди? Герои! Все они могут! Отказу не будет никогда!

Гурко вместо замечания только спрятал в бороде улыбку. Он любил Данилу Васильевича, боевого казака, за его отчаянную храбрость и сметку. Не владея книжны-

ми сведениями о тонкостях военного искусства, Краснов был на войне дорожке и пригоднее ученого. Карту он понимал, но не любил, обходясь изучением обстановки на местности, то есть жил на войне как охотник на лове. Бинокль носил, но не пользовался: зрение у него и в шестьдесят лет было рысье.

Переждав, пока Краснов утомится, Гурко поднялся из-за стола и глухо начал:

— Господа! На мою долю выпала такая честь, о которой я никогда и не смел мечтать, — вести в бой гвардию, это отборное войско. Для военного человека не может быть большего счастья, как вести в бой войско с уверенностью в победе. А гвардия по своему составу и обучению — лучшее войско в мире. Помните, господа, вам придется вступить в бой, и на вас будет смотреть не только вся Россия, но и весь свет.

Он знал, что три неудачи под Плевной поколебали дух многих офицеров и солдат, что совершенно необходима убедительная победа, которую предстоит добыть именно его отряду, что гвардии, еще не участвовавшей в деле, придется очень солоно, и, наконец, то, что сами начальники-гвардейцы нуждаются в добром напутственном слове.

Зажав в кулаке русую с подседом бороду, Гурко замолчал, собираясь с мыслями.

— Бой при правильном обучении не представляет ничего особенного, — тихо, но твердо продолжал он. — Это то же учение с боевыми патронами, только оно требует еще большего спокойствия, еще большего порядка. Так влейте в солдата убежденность в том, что его священная обязанность — беречь в бою патрон, а сухарь на биваке, и помните, что вы ведете в бой русского солдата, который никогда от своего офицера не отставал.

Затем начальник штаба Нагловский с картой изложил подробности завтрашнего выступления.

Согласно диспозиции атака укреплений у Горного Дубняка 12 октября возлагалась на 2-ю Гвардейскую пехотную дивизию, Гвардейскую стрелковую бригаду и саперный батальон. Лейб-гвардии егеря должны были отвлечь внимание турок от Софии, атакуя Телиш. Остальные полки 1-й пехотной Гвардейской дивизии, маневрируя между Горным и Дольным Дубняком, служили заслоном со стороны Плевны.

Войска, назначенные для атаки, были разделены на

три колонны, которые должны были выступить в ночь с 11 на 12 октября с биваков близ Эски-Баркач тремя различными дорогами и, перейдя вброд реку Вид, выйти с трех сторон к Горному Дубняку для одновременного наступления. Левая колонна генерал-майора Розенбаха атаковала Горный Дубняк со стороны Телиша; правая под начальством генерал-майора Эллиса вела наступление вдоль шоссе со стороны Плевны; средняя, руководимая генерал-майором Зеделером, штурмовала Горный Дубняк в направлении, перпендикулярном Софийскому шоссе. Общей атаке должна была предшествовать артиллерийская бомбардировка двенадцати батарей.

— Для фуражировки батарей, — вставил Гурко, — полковнику Сиверсу немедленно послать шустрого офицера со всеми ездовыми по юго-западной дороге от Эски-Баркач. На восток ехать нечего, там все разорено...

Сиверс вышел и приказал отправляться за фуражом поручику Полозову.

...Гурко в суконной шапке и походной шинели медленно ехал вдоль строя, вглядываясь в солдат. Они стояли в лощине, вызывая восхищение гвардейской выправкой, молодцеватым видом, непоказной бодростью. Из-под лакированных черных козырьков на генерала серьезно смотрели серые, голубые, карие глаза. Он видел румяные лица, усатые и безусые, но с бритыми подбородками. Бороды были разрешены во всех войсках, кроме гвардии.

Внимание Гурко привлек унтер-офицер лейб-гвардии гренадер Бобин, окаменевший в стойке «смирно» на правом фланге своей роты.

«Я помню этого старика, — пронеслось у него в голове. — Но почему? Ах, это он подбежал на помощь, когда на злосчастных маневрах три года назад моя лошадь упала на лесной дороге и я сломал ключицу... Я не видел его с тех пор и не отблагодарил. Надо исправить оплошность...»

Гурко чуть тронул казачью лошадку в шенкеля, и та, почувствовав касание его сильных ног в серо-синих шароварах с красным лампасом и крагах, тотчас двинулась дальше вдоль фронта. Она сама нашла возвышенность перед центром построения и послушно остановилась по приказу седока.

— Помните, ребята! — так громко, что его было слышно на другом конце Эски-Баркач, обратился Гурко

к солдатам. — Вы русская гвардия, на вас смотрит весь мир! О вас, гвардейцы, заботятся больше, чем об остальной армии. У вас лучшие казармы, вы лучше одеты, накормлены, обучены. Вот минута доказать, что вы достойны этих забот...

В перерывах между словами наступала такая тишина, что явственно доносилось издали, из-за реки Вид, жалобное и тонкое ржание черкесского коня: там рыскали разъезды башибузуков.

— Спросите, каков в деле турок? — вновь неся над строем глухой мощный голос Гурко. — Слушайте, ребята. Турок стреляет издали и стреляет много. Это его дело. А вы стреляйте, как вас учили: умною пулею, редко, да метко. А когда дойдет до дела в штыки, — генерал еще более возвысил голос, — то продырявь его! Нашего «ура» враг не выносит. Ура, ребята!

После требуемой уставом паузы грянуло громовое и грозное «ура!», тяжело потекшее над осенней равниной к холмам Плевны. Кричали дружно все: и еще более заалевший на морозце поручик Кропоткин, и Рейтерн, у которого от древнего немецкого предка осталась только фамилия, и рыхлый штабс-капитан Подгаецкий, и фейерверкер Слепнев, и строевик Типольт, и напрягающий в крике лицо до синевы унтер-офицер Бобин, и даже повар Июшка.

Молчал, испуганно глядя на строгого генерала, рядовой Козлов, думая о том, как хорошо бы теперь захватить да покрепче, попасть в госпиталь и вернуться в родную деревню...

4

Собрав всех ездовых от находившихся в Эски-Баркач трех батарей и вооружив их револьверами, отобранными у трубачей и фейерверкеров, поручик Полозов без карты, без всяких определенных указаний ехал по неизвестной дороге, не зная даже, далеко ли до ближайшего населенного пункта и где придется ему набирать фураж.

Перейдя вброд какую-то речку, всадники оказались среди неубранного кукурузного поля. Полозов ехал с беспечностью мальчишки, участвующего в интересной игре, когда впереди замаячили кавалерийские значки, а там и всадники в красных шапках замелькали по всей видимой линии на быстрых аллюрах.

— Никак турок, ваше благородие! — испуганно крикнул веснушчатый ездовой, который так неловко держал револьвер, словно боялся, что он выстрелит.

Из кукурузы вынырнул на бойкой лошадке уланский вахмистр в красной шапке с наушниками и даже перекрестился от приятного разочарования:

— А мы вас за башибузуков приняли! Как вы сюда забрели? За нашими аванпостами уже турок!

— Куда нам ехать за фуражом, братец?

Вахмистр раздумывал недолго.

— Тут неподалеку болгарская деревушка. Около дороги на Софию. Да я вас могу проводить...

Деревушка — несколько полуразрушенных строений — была пуста. Между домами лежали трупы зарезанных болгар: старик с раскрытым в немом крике ртом, женщины, подростки.

— Еще посмотритесь, ваше благородие, — сказал бывалый вахмистр. — Турок этот зверствует часто, а уж башибузук, тот никого не щадит: ни старого, ни малого...

— Тут и ячменя и сена вдоволь, — доложил Полозову ездовой.

Приказав нагружать лошадей, поручик с вахмистром вошел на пригорок, откуда вся деревня была как на ладони. Вахмистр, маленький, кривоногий, показал на два холма вдалеке:

— Смотрите, ваше благородие, вон турок-то. Горный Дубняк. Холм, что пониже, по эту сторону дороги из Плевны на Софию, а тот, что подалее, по другую. Там их главные укрепления...

Поручик с любопытством принялся рассматривать позиции, которые на завтра предстояло штурмовать. Местность была холмистой, поросшей кустарником вперемежку с лесом, довольно густым. Зато обе возвышенности, где укрепились турки, оказались крутыми и голыми.

— Попробуй возьми их в лоб, — подумал вслух Полозов и, напрягая зрение, спросил: — А что там за домик беленький?

— Черт-те знает, — добродушно откликнулся вахмистр. — Склад или караулка...

Внезапно оба вздрогнули от выстрелов и обернулись в сторону деревушки.

По единственной улице с визгом неслась тощая свинья, а за ней, паля из револьвера в белый свет, бежал веснушчатый ездовой. Вахмистр мгновенно скинул с пле-

ча свою винтовку системы Крюка и, не целясь, пристрелил свинью.

Полозов не успел вмешаться в происходящее, когда вахмистр спокойно сказал:

— Катить отсюда надо, ваше благородие, да побыстрее. Турок, вишь, зашевелился...

И впрямь от холмов, от белеющего уже в наступающих сумерках домика, от едва видимых стогов и шалашей отделились конные фигурки в красных фесках.

Назад пришлось уходить пешком, держа нагруженных лошадей в поводу и поминутно оглядываясь.

— Держись, ребята, вон на тот костерок! Это наши аванпосты! — крикивал вахмистр, незаметно перенявший командование фуражирями.

Только к часу ночи Полозов, распрощавшись с отважным вахмистром, вывел ездовых к Эски-Баркач, где их ожидал в тревоге сам полковник Сиверс.

Никто в отряде Гурко не ложился, проведя ночь под открытым небом. Дул холодный и резкий ветер. Яркая луна причудливо освещала холмистую местность. В этот день было лишь две варки: вечерние мясные порции было приказано солдатам взять с собой и объявлено, что в течение пяти дней никакие обозы к отряду не придут, а потому не следует расходовать в день более одного фунта сухарей.

5

Едва первые полосы зари забелели на горизонте, по биваку разнесся громкий голос Гурко:

— Седлать коней! Через четверть часа наступление!

Еще была ночь, а Гурко уже ехал верхом по тропинке, которой накануне возвращался Полозов и где в кустах у шоссе была рассыпана цепь турецких аванпостов.

Позади медленно подвигались колонны пехоты, расходясь по двум направлениям: стрелковая бригада забирала вправо, в обход неприятельской позиции, а лейб-гвардии Московский и Гренадерский полки с саперами шли прямо на турецкие укрепления. Артиллерия взбиралась на возвышенности для занятия заранее намеченных позиций.

Гурко заметил, как глубоко влево ушла на рысях конница. По масти лошадей он сразу узнал эскадрон, которым командовал в молодости: серых коней имели только лейб-гусары. Они двигались на Телиш.

Вот впереди затрещали выстрелы: это турки открыли огонь по казачьему разъезду, посланному для порчи на шоссе телеграфной проволоки, соединявшей Горный Дубняк с Плевной. Но едва стала надвигаться пехота, как турецкая цепь быстро отступила на шоссе и оттуда к укреплениям. Со стороны Горного Дубняка донеслись заунывные звуки турецкого сигнала тревоги.

С неприятельской вышки заметили блестящую группу всадников — Гурко с его штабом, и турки пустили несколько гранат, пролетевших над головой генерала. Не обращая на них никакого внимания, Гурко поднялся на один из холмов у шоссе, где уже устраивалась 6-я батарея полковника Скворцова.

— Выдвиньте два орудия и пошлите им несколько гранат, — своим ровным глухим голосом, точно он приказывал подать стакан чаю, сказал Гурко поручику Типольту.

Над турецкими позициями лопнула картечная граната, и двести двадцать заключенных в ней пуль осыпали смертоносным дождем турок. Первые же выстрелы оказались чрезвычайно удачными: каждый снаряд рвался в середине турецкого расположения. Горный Дубняк ответил частым огнем пушек и дальнобойных ружей. Поручику Полозову пуля попала в пуговицу левого борта мундира, ударила затем в нательный крест, сплюснулась и, отскочив, разорвала мундир. Ружейный огонь турок оказывался эффективнее артиллерийского: благодаря неверному углу прицела многие гранаты не разрывались, уходя глубоко в землю. А иные гранаты были набиты вместо пороха кукурузой.

Постепенно в бой вступили все русские батареи, окружившие Горный Дубняк, — гранаты загромыхали, заглушая треск ружей.

С холма у шоссе Гурко открылась вся картина боя. С версту впереди, очерченная ясно, высоко поднималась круглая турецкая позиция, обнесенная рвом и валом. Она вся дымилась от ружейного и артиллерийского огня. К ней под выстрелами подходили, тоже стреляя, русские колонны. На правом фланге показалась кавалерия: это Кавказская бригада полковника Черевина наступала на турок с тыла. С левого фланга, от деревушки Чуриково, шли лейб-московцы и гренадеры, а с фронта Гвардейская стрелковая бригада. План обложения был исполнен как нельзя более удачно. Казалось, неприятелю не оставалось

другого выбора, как сдаться или умереть в собственных ложементх. Но что-то не правилось Гурко в этой картине, облитой ярким солнечным блеском.

— Нет, с ходу не возьмешь! Не возьмешь! — шептал он, не отнимая глаз от бинокля.

С левого фланга несколько рот Гренадерского и Московского полков пустились бегом на возвышенность и успели занять несколько ложементов. Турки быстро побежали к центру своих укреплений. Их красные фески усыпали скат холма. Затрещали берданки, и фески закувыркались. Но зато центральная позиция всецело оставалась в руках у неприятеля, и чем ближе подходили к ней наши колонны, тем все более учащался ружейный огонь. Позиция эта, обнесенная глубоким рвом и состоящая из идущих вверх ярусами окопов, походила на адскую машину, извергающую тучу пуль.

Пули давно уже летели и через курганчик, на котором рядом с 6-й батареей стоял Гурко со своим штабом. Батарея стреляла часто и метко, причем каждое орудие, подпрыгнув после выстрела, скатывалось с курганчика. Батарейцы хватались за колеса и с трудом втаскивали его снова вверх. Штабс-капитан Подгаецкий, сидя на лошади, торопил солдат:

— Голубчики! Родные! Тащите скорей! Минута дорога, минута дорога!..

Вдруг он ударил себя два раза ладонью правой руки по левой стороне груди, где в кармане лежало письмо жене, и кулем свалился с лошади, сраженный наповал.

Турецкие снаряды то и дело падали возле батареи, некоторые из них гулко и звонко разрывались. Гудели и звякали пули. Долгий томительный час прошел под огнем, а турецкий редут все продолжал трещать, как митральеза, поражая наступающих. Атака затягивалась и, очевидно, шла неуспешно.

Генерал Гурко командовал суровым голосом:

— Батарея, вперед! Подъехать к неприятелю на триста шагов и катать в него шрапнелями!

Повинуясь команде, все восемь орудий быстро взяли на передки, карьером вынеслись и остановились. Только одно орудие при перестраивании замешкалось. Подпоручик Типольт крикнул Слепневу:

— Фейерверкер! Покажите людям, как надо брать на задки!

И Слепнев, как на параде, шагом под дождем пуль

выписал на местности определенный уставом чертеж для означенного подъезда.

В эту минуту к Гурко на холм подскочил ординарец с донесением, что наступление на главный редут задерживается сильным огнем неприятеля, что несколько ложементов на левом склоне турецких позиций заняты Гренадерским и Московским полками, но что при этом генерал Зедлер, командир бригады, тяжело ранен пулей в живот. Он просил подкреплений у командира саперного батальона полковника Скалона, который едва успел развернуть солдат, как тоже был ранен в живот. Ранен и командир гренадерского полка Любовицкий. Получил смертельное ранение и командир Финляндского полка генерал-майор Лавров.

— Соболев, коня! — глухо приказал Гурко.

— Соболев убит, ваше превосходительство, — доложил второй денщик, Красухин.

Гурко молча принял от него коня и в сопровождении Нагловского отправился к войскам.

6

Лейб-гренадеры наступали с гребня лесистого холма и чем далее продвигались, тем реже становился лес, переходя в высокий кустарник, и тем сильнее жужжали турецкие пули. Одним из первых был ранен в ногу командир полка Любовицкий, который остался руководить атакой. Еще не было видно редутов неприятеля, но ежеминутно кто-нибудь выбывал из строя: кто с криком хватался за щеку, кто за ногу, кто молча валился на землю.

Передовой батальон вышел на опушку леса, в мелкий и редкий кустарник. Тут гренадеры увидели поднимающуюся отлогость неприятельского укрепления — малый редут. За ним возвышался другой — главный редут Горного Дубняка. Ни одного турка не было видно. Ряды насыпей сливались в одну черту белых дымков. Слышался оглушающий треск, и густой град свинца летел навстречу гренадерам. Медлить нельзя было ни секунды: необходимо было либо отходить под прикрытие, либо сейчас же идти на штурм.

— Бить атаку! — крикнул худой, с запавшими глазами полковник Любовицкий.

С обнаженной саблей, сильно хромая, он вышел впереди батальона и крикнул: «Ура!»

Гренадеры, развернувшись в линию, кинулись бегом вверх по склону неприятельского холма к малому редуту. Унтер-офицер Бобин бежал, зорко поглядывая, чтобы никто из подчиненных не отставал. Он был храбр, но храбр, так сказать, для порядка, и солдат, вылезший из своей части вперед, казался ему почти настолько же виноватым, как и отставший.

— Куда прешь? — крикнул он дюжему grenадеру, обогнавшему его. — Ишь, одурелый какой! Сам редут возьмешь? Нет, брат, полезем вместе...

Козлов, зажмурившись, взбирался по склону, держа в левой руке винтовку, а правой крепко уцепившись за полу шинели кричащего впереди «ура!» барабанщика Рындина.

Турки наверху засуетились, часть кинулась вниз по противоположной стороне холма к большому редуту. Офицер, смешно мотая кисточкой на феске, напрасно пытался остановить беглецов. Он выхватил кривую саблю и был застрелен в упор из пистолета ворвавшимся поручиком Мачевариановым, который тут же получил тяжелое ранение. Но ложемент уже кипел от солдат-grenадеров, взявших турка в штыки. Борьба продолжалась недолго: малый редут был в руках у русских.

Теперь grenадерам и лейб-москвцам противостоял грозный большой редут, осыпавший солдат пулями с расстояния в 80—100 сажень. Гвардейцы укрывались за насыпями, во рву, но все равно их потери росли. В этот момент, узнав о падении малого редута, Гурко отправил роту саперного батальона, чтобы сделать новые окопы и вырыть несколько ложементов для прикрытия солдат. Под сильнейшим огнем саперы быстро исполнили приказание командующего.

Однако всякая попытка пойти на главный редут с фронта кончалась мгновенной потерей целых рот. Уже был ранен в живот командир первого батальона подполковник Апселунд, когда Любовицкий, взяв с собой барабанщика Рындина и выйдя впереди малого редута, еще раз приказал бить атаку. Едва Рындин поднял барабанные палочки, как упал замертво. Любовицкий схватил барабан, но лишь коснулся его палочками, как был ранен в плечо навывлет. Тогда, отбросив барабан и зажимая рукой рану, он подошел ко рву и приказал лежащему за прикрытием барабанщику бить атаку, не покидая места.

Заслышав призывные звуки, grenадеры бросились из

рва, насыпей, ложементов малого редута вниз. Они достигли Софийского шоссе и самой подошвы большого редута, однако, встреченные шквальным огнем, снова отошли с огромными потерями. Любовицкий, изнемогая от ран, приказал нести себя на перевязочный пункт с тем, чтобы снова вернуться на поле сражения.

Он послал донесение генералу Гурко о положении дел: атака главного редута с фронта массою была невыполнима.

7

Гурко уже понимал это. Объехав позиции, он послал одного из ординарцев с приказанием командиру 1-й Гвардейской дивизии генералу Рауху немедленно выслать подкрепления. Раух скомандовал Измайловскому полку двинуться в дело.

Командующий встретил их на своем курганчике. Поротно шли измайловцы мимо него под градом пуль стройными, красивыми колоннами.

— Равнение направо! — приказал офицер, маршировавший впереди головной роты с саблей наголо. — В ногу!левой!левой!..

— Измайловцы! — закричал Гурко. — Помните ваших дедов! Помните героев Бородина! Они смотрят на вас теперь!..

Солдаты на ходу снимали шапки и крестились.

Затем Гурко отправился на левый фланг к командиру 2-й дивизии графу Шувалову, у которого переранило уже трех ординарцев и адъютанта. Они решили произвести последнюю атаку редута одновременно со всех сторон, начав ее в пять пополудни по сигналу, которым должны были служить три залпа нескольких батарей.

Было уже три часа дня. Ружейная пальба значительно стихла, но артиллерийский огонь русских батарей не прекращался. Он заставил совершенно замолчать турецкие орудия, как оказалось впоследствии, перебив всех артиллеристов.

Гурко вернулся на курган, где находился его наблюдательный пункт. В четыре часа батареи получили приказание отойти на прежние позиции для производства трех залпов. Гурко поминутно смотрел на часы, ожидая сигнала к атаке, когда в 6-й батарее раньше времени загремели выстрелы.

— Кто стрелял? — глухо бросил Гурко. — Виновника ко мне!

Но уже поднялась вся правая колонна, и долгое, то усиливающееся, то затихающее «ура!» донеслось от главного редута.

Ординарец привел бледного подпоручика Типольта. Гурко, потемнев глазами, накинулся на него:

— Извольте объяснить ваши действия, подпоручик!

— Нервы... Нервы, ваше превосходительство... — лепетал тот.

— Ах, нервы? — переспросил генерал. — Под суд! — и отвернулся, поднеся бинокль к глазам.

Выстрелы батарей и новое «ура!» возвестили об атаке остальных колонн. Однако поднявшийся турецкий огонь с прежней силой косил солдат: в лощину поползли раненые. Все неприятельские ложементы вокруг главного редута были заняты, а вершина трещала сотнями выстрелов, словно там находилась адская машина. Перешагнуть узкий и глубокий ров, высокий вал, за которым сгущались осажденные, было невозможно.

Уже совсем стемнело. Перестрелка то стихала, то усиливалась снова. Большая красная луна выплыла на горизонте, когда Гурко устало опустился на землю. Вокруг него прилегли генералы Нагловский и Бреверн, штабные офицеры. На турецком редуте горел большой пожар: пылали подожженные нашей артиллерией палатки и шалаши. Треск ружейной пальбы не умолкал ни на минуту. Все сошлись в мнении, что несвоевременность залпов привела к неуспеху. Десять часов кряду продолжался бой. Под Телишем егерский полк целый день геройски сдерживал турецкие войска, но они могли прорваться и подойти ночью. Наконец и Осман-паша мог сделать вылазку из Плевны.

Так или иначе, приходилось принимать быстрое решение. При свете фонарика Гурко и Нагловский составляли новую диспозицию. На курганчике все приготовились к тяжелой бессонной ночи.

Еще начальник штаба не закончил писать, как подкавказный всадник осадил перед Гурко коня. Это был его ординарец ротмистр Скалон.

— Редут в наших руках! — доложил он взволнованным голосом.

— Что такое? Как в наших руках? — изумился, поднимаясь с земли, Гурко.

— Сию минуту войска ворвались и заняли редут... Турки сдались...

— Ура! — вырвалось у генерала.

— Ура! — подхватили все на курганчике.

— Красухин, коня! — приказал Гурко. — А что же значат ружейные выстрелы на редуте, ротмистр?

— Это лопаются в огне турецкие патроны... Они лежат повсюду и кучами и в ящиках, — ответил Скалон.

Генерал дал своему коню шпоры и помчался к редуту. Свита во весь опор неслась за ним, перескакивая через ровики, через кучи мертвых тел.

Редут был озарен красным широким заревом, на фоне которого четко рисовались силуэты русских солдат. Собравшись группами, они подхватили «ура!» мчавшегося к ним генерала. Вверх полетели шапки, иные солдаты надевали шапки на штыки. Громовое, опяняющее «ура!» стояло в воздухе. Солдаты кинулись навстречу Гурко — словно живое море окружило генерала и его свиту.

— Молодцы, дети! Молодцы! — глухим суровым голосом повторял он, скрывая, что взволнован.

Яркое зарево пожара, в котором, как при сильной перестрелке, трещали лопавшиеся патроны, освещало происходящее. Пленные, положившие оружие на редуте, были уже выведены и стояли кучей. Их оказалось 2289: остальные полегли на месте во время сражения. К Гурко подвели турецкого генерала Ахмеда-Февзи-пашу, лицо которого было мрачным. Он низко поклонился и стал, опустив голову. Гурко протянул ему руку и по-французски сказал:

— Уважаю в вас храброго противника!..

Затем он обернулся к солдатам:

— Дети! В сегодняшней победе главная заслуга ваша! Вы были сами себе командирами!

8

В самом деле, оказавшись вблизи неприступного большого редута почти без офицеров и без всякой связи со штабом, солдаты сами открыли для себя совершенно новые формы боя.

Идти в атаку колоннами или цепью было безумием. Но поодиночке выскочить пулей из укрытия и перебежать поближе к турецкому редуту — на это находилось немало охотников.

Наконец, и унтер-офицер Бобин, когда, как ему показалось, огонь несколько ослабел, дернул за рукав Козлова:

— Бежим к шоссе!

— Что ты, дяденька Антон Матвееч! — в ужасе отвечал Козлов, втягивая голову в плечи. — Ведь убьют!

— Со мной не убьют, — уверенно сказал Бобин и тут же строго прикрикнул: — Да ты что, разгильдяй, не подчиняешься! Беги, а не то почешу прикладом!

Он выдернул Козлова из окопа, и тот, не помня себя, промчался несколько десятков шагов, ничего не видя, ничего не соображая, пока Бобин не скомандовал:

— Ложись за бровку!

Тут, у шоссе, в канавках, скопилось уже немало народу. Лежать приходилось воистину между жизнью и смертью: стоило поднять голову или даже высунуть руку, как турки направляли сюда залпы огня. Нашлось несколько молодых, которые и в этом положении решили покуражиться над грозным неприятелем. Заметив, что турки сторожат малейшее движение русских, они надевали на штыки шапки и с криком «ура!» высовывали их из канавок. Шквал огня проносился над ними, а солдаты отвечали взрывом дружного хохота, прибавляя:

— Вот надули турка-то! Дурак, братцы, турок!

— Хватит вам, сорванцы, изгаляться! — бранил их строгий Бобин.

Но «сорванцы» не обращали на него внимания. Не было уже «своих» и «чужих», начальствующих и подчиненных; уже вовсе перемешались солдаты Гренадерского, Московского, Измайловского и иных гвардейских полков.

Между тем в канавках становилось все более тесно, и вновь появившимся тут солдатам грозило стать легкой добычей для турецкой пули. А всего в полусотне шагов между шоссе и большим редутом стоял беленький домик — караулка, стог соломы и несколько турецких шалашей. Из канавок на шоссе солдаты начали в одиночку перебегать к этим укрытиям, из-за которых вели стрельбу по редуту.

Унтер-офицер Бобин, никогда не ходивший в атаку первым, но и никогда не отстававший, на этот раз оплошал. Он добрался до караулки, когда все мертвое пространство было заполнено людьми. Смекнув, что нет иного выхода, он бросился к самому редуту, таща несчастного

Козлова. Здесь они свалились в глубокий и узкий ров, окружавший редут. Отдышавшись, Бобин сделал открытие, что ров этот и есть самое безопасное место, защищенное от вражеских пуль, которые, жужжа, поражали все вокруг на протяжении трех верст. Турки, правда, пытались стрелять и в Бобина с Козловым, но им приходилось высовываться из-за насыпи, а это мгновенно вызывало отовсюду — с малого редута, с шоссе, из-за караулки — вихрь русского свинца.

Не показываясь, унтер-офицер стал громко кричать сотоварищам:

— Ребята! Бегите сюда, к нам! Тут тебя никакая пуля не берет!

На его зов один за другим начали появляться солдаты, постепенно заполняя ров. К этому времени русская артиллерия совершенно прекратила стрельбу, чтобы не поразить своих.

Сидя во рву, солдаты не теряли времени даром: штыками и тесаками они копали углубления в стене и делали ступеньки, ожидая атаки. На задней стороне редута, обращенной к Телишу и Софии, нашлось и уязвимое место. Здесь турки не успели вырыть ров, а ограничились тем, что выкопали два ложементы. Измайловцы и финляндцы затеяли тут рукопашную схватку с противником. Заслышав с южной стороны крики «ура!», изо рва полезли на насыпь гренадеры, лейб-московцы, и в редуте началась всеобщая нестройная свалка. Одни турки штыками встречали атакующих, другие, потеряв присутствие духа, выкинули белый флаг, в то время как третьи продолжали яростно стрелять.

Дело решил русский штык, заставивший остатки гарнизона просить пощады.

До утра солдаты бродили по полю боя и при свете догоравшего пожара отыскивали раненых. Все подходы к большому редуту были устланы русскими телами. Особенно страшно выглядели павшие от разрывной турецкой пули: рана имела вид широкой воронки. Козлов даже закрыл лицо руками, а Бобин совершенно хладнокровно посмотрел и сказал только:

— Гм! Ишь ты, ловко придумано!..

Очень суеверный, унтер-офицер считал, что на все своя судьба. И даже не сердился, видя турецкие зверства, а говорил: «Ему, верно, за тяжелые грехи выпали такие муки...»

Козлову сделалось плохо. Бледный, он держался за плечо Бобина, повторяя:

— Сколько, дяденька, полегло! Антон Матвейч! Сколько!

9

Русские потери 12 октября при Горном Дубняке оказались непомерно большими — 3533 человека. Да еще у егерей, лейб-гусар и драгун под Телишем убыло до тысячи солдат и офицеров. Одновременно стало известно, что на допросе Ахмет-Февзи-паша показал: «Если бы атака не была начата слишком рано, а вы продолжали бы стрелять из орудий еще час, я принужден был бы сдаться...» Действие русской артиллерии, как показал осмотр редута, было сокрушительным: повсюду валялись оторванные руки, ноги, головы; тысячи турок были ранены и убиты осколками. Да, артиллерийская подготовка должна была быть более длительной и массивной.

С овладением Горным Дубняком русские встали твердой ногой на Софийском шоссе. Однако необходимо было взять и другое укрепление — Телиш, лежащее в семи верстах к югу. Иначе гвардии приходилось обороняться на два фронта, ожидая нападения как со стороны Софии, так и Плевны.

Озабоченный необходимостью пасть русскую кровь, Гурко решил на сей раз предоставить главную роль гвардейской артиллерии и прибегнуть к атаке лишь как к последнему, крайнему средству. Это было тем более возможно, что после взятия Горного Дубняка не приходилось слишком спешить, и само наступление на Телиш было предпринято только для расширения и укрепления занятых позиций.

На подступах к Телишу расположились полукругом шесть пехих и три конных батареи, за которыми встали три гвардейские бригады.

В девять пополудни 16 октября Гурко выехал из Горного Дубняка в сопровождении штаба и конвоя к Телишу. У Дольного Дубняка, охранявшего подходы к Плевне, уже грохотали пушки и трещали ружейные выстрелы: там началась отвлекающая демонстрация.

Гурко ехал по шоссе, обгоняя батареи и войска, которые еще шли занимать боевые позиции. Он остановился со свитой на холме, вблизи одной из центральных батарей,

расположившись на складном стуле и беспрестанно принимая привозимые со всех концов донесения. Свита и ординарцы полулежали вокруг на траве, уже сухой и порывавшей от октябрьских холодов.

Ровно в одиннадцать утра на батарее левого фланга раздался первый выстрел, и первая граната, взвизгнув при вылете из дула, зарокотала в воздухе. Генерал снял шапку, и все окружающие вслед за ним перекрестились. За первым выстрелом прозвучал второй, третий, и вот уже все батареи, выстроенные полукругом, задымились.

Турки стали отвечать из редута, но через час их выстрелы стали становиться все реже, а русские орудия все усиливали и учащали огонь. Высоко над редутом ежесекундно появлялись маленькие облачка дыма, обозначающие лопнувшую над турками шрапнель.

Гурко отнял бинокль от глаз.

— Пристрелялись! — коротко сказал он об артиллеристах. — Молодцы!

— Не завидую я туркам, — прибавил Нагловский.

Но и у командующего, и у его начальника штаба тревожно сжимались сердца при мысли о том, что все равно придется завершать дело открытым и опять кровопролитным штурмом. Канонада не умолкала два с половиной часа. Два с половиной часа семьдесят два орудия били в упор по главному редуту, поражая его фронтальным и фланговым огнем.

Затем Гурко потребовал привести пятерых плененных у Горного Дубняка турецких офицеров и передал им письмо коменданту Телиша Измаилу-Хаки-паше, где говорилось: «Вы окружены со всех сторон русскими войсками. 100 орудий направлены на вас и уничтожат ваши окопы со всеми их гарнизонами. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю вам положить оружие». Отвести парламентариев он поручил одному из своих ординарцев, хорунжему Церетелеву.

Тотчас был отдан приказ трубить по всей линии отбой, и через несколько минут после оглушительного грохота водворилась странная, напряженная тишина. Турецкий редут вмиг усеяли тысячи красных шапок: из своих нор повылезли солдаты неприятеля, недоумевая, что это значит. Между тем Гурко и его свита провожали тревожными взглядами парламентариев, размахивавших белыми платками.

Пленные турки скрылись в редуте; Церетелев остался

на шоссе. Прошло несколько томительных минут. Гурко, поднявшись со складного стула, ходил по кургану.

— Смотрите! Турок машет белым флагом! — крикнул кто-то из свиты.

В тот же миг солдаты Московского и Гренадерского полков, дежавшие впереди своих батарей в ожидании той минуты, когда их двинут в атаку, в огонь и смерть, вскочили и, подбрасывая шапки, закричали «ура!». На батареях это «ура!» подхватила артиллерия, и «ура!» мощно неслось из конца в конец по всей нашей боевой линии.

«Неужели капитуляция? Неужели конец? Бескровная победа!» — волновался Гурко, внешне оставаясь спокойным.

Он потребовал коня и выехал на шоссе. Проезжая мимо батареи, генерал увидел, как наводчик-артиллерист обнимал, целовал и нежно гладил большое девятифунтовое орудие, приговаривая:

— Родная ты моя! Матушка! Гляди-ка, что наделала, — показала себя!..

Парламентер оказался турецким полковником, говорившим по-французски.

— Я требую, — властно обратился к нему Гурко. — Я требую, чтобы ваши солдаты сложили оружие у выхода из редута и, безоружные, шли на нашу цепь. Даю вам на размышление полчаса. Иначе снова открываю огонь и буду атаковать вас всеми наличными силами...

Полковник переменялся в лице и, не ответив ни слова, отправился передавать предъявленные требования Измаилу-Хаки-паше.

Гурко еще не верилось в возможность такой удачи — завладеть Телишем без пролития крови. «Не ловушка ли это? — размышлял он. — Быть может, турки только пользуются передышкой? Возможно, они уже бегут из своих укреплений по шоссе в Софию?»

Подскакал ловкий казак — папаха с красным верхом, темно-зеленый чекмень, рыжая борода — от генерала Краснова.

— Турецкая кавалерия уходит на Софию!

— Послать им в обход уланский полк! — приказал Гурко.

Но впереди, на шоссе, уже показались первые густые колонны сдавшихся турок: они складывали оружие по обеим сторонам и выстраивались побатальонно. Медленно потянулись мимо генерала пленные: сначала турецкие

гвардейцы — низам в синих куртках и щеголеватых фесках, за ними редиф в рыжих куртках, затем ополченцы — мустхафиз. Лица проходивших были всех оттенков — от светлого до угольно-черного. Вышли трое англичан с белыми повязками и красными полумесяцами на рукавах.

— Мы доктора, находились при больных и раненых, — сказал один из них Церетелеву.

Хорунжий закатал рукав с пятнами крови и показал на рваную, сочащуюся царапину от осколка:

— Перевяжите... Вот вы...

Но самозванный доктор в медицине ничего не смыслил.

— Забрать военнопленными, — глухо сказал Гурко.

Наконец выехал из редута на хорошем арабском коне сам Измаил-Хаки-паша. Насколько комендант Горного Дубняка Ахмет-Февзи своим поведением и видом вызывал уважение, настолько был неприятен этот маленький круглый человечек, который вертелся во все стороны, расточая приторные улыбки, но заботился всего более о сохранности своего вывозимого имущества.

— Ни дать ни взять комический старичок из оперетки Оффенбаха, а не начальник четырехтысячного гарнизона, — сказал Нагловский.

Гурко сухо поклонился паше, который, видимо, был счастлив своей судьбой, и распорядился отвести его в Горный Дубняк. Затем командующий поехал в редут и отдал приказание немедленно положить раненых неприятельских солдат на носилки и доставить их на ближайший перевязочный пункт.

— Тяжелые какие, — ворчал Бобин.

— Благодарю бога, что не своих приходится таскать! — бросил ему Церетелев, которому наш врач перевязывал рану.

К Гурко подскакал ротмистр Скалон:

— Сюда направляется его высочество главнокомандующий!

10

Великий князь Николай Николаевич Старший, сорокашестилетний генерал-кавалерист, был человеком отважным, ненавидел интриги и отличался порывистостью и нетерпеливостью характера. Сидение под Плевной доставляло ему мучения почти физические. Он готов был поддерживать любые наступательные предложения и всегда брал сторону Гурко и Скобелева. С прибывшим под Плевну

Тотлебеню у него сразу установились натянутые отношения: методическая осада крепости была ему никак не по душе, а кроме того, раздражала двусмысленность положения. Главнокомандующий не должен был вменяться в распоряжения Тотлебена. При всех видимых достоинствах великий князь никогда не обладал талантом военачальника, был капризен, самоуверен и не признавал за собой ошибок.

Он был рад успеху Гурко, видя в нем подтверждение своей мысли не сидеть на месте, а атаковать турок, и, подъезжая к покоренному Телишу, весело шутил со своим начальником штаба — толстым и лысым стариком Непочицким. Длинное, с небольшой редкой бородкой лицо великого князя сияло приятной важностью. Он был в парадном мундире с «георгием» 4-й степени, полученным за участие в Инкерманском сражении под Севастополем.

Гурко уже ехал к нему навстречу с обнаженной саблей, в сопровождении свиты. Отдав по уставу рапорт, доложил:

— Телиш пал! Наши потери: в нехоте один убитый и шестнадцать нижних чинов раненых. Мои уланы изрубили сто пятьдесят конных башибузуков, пытавшихся уйти. Наших убито и ранено до пятидесяти...

— Поздравляю! Поздравляю, мой друг! — великий князь обнял генерала и прослезился.

Оба медленно ехали полем, покрытым еще не убранными телами гренадер, павших в неудачной атаке Телиша 12 октября. Нагловский нагнал всадников и, повернувшись к великому князю всем своим массивным телом, сказал, еле сдерживая возмущение:

— Ваше высочество! Турки зверски обошлись с нашими ранеными. Они отрезали им носы и уши, вырезали на спинах ремни, отрубали руки и ноги... А мы... — Голос его прервался. — Мы оказываем помощь их раненым раньше, чем своим. Мы сажаем с собой за стол пленных офицеров и генералов. Ваше высочество! Необходимо проучить врага!

Великий князь прикрыл тяжелыми веками маленькие глазки и некоторое время молчал. Потом, не поворачивая головы, медленно ответил:

— Все это так, Дмитрий Станиславович. Все это так! Это ужасно и требует возмездия. Но что скажет «Таймс»? Вы не задумывались над этим?

«Что скажет «Таймс»?» У Нагловского задрожали ску-

лы, а Гурко насунился, искоса поглядывая на великого князя. В ставке болтаются английские авантюристы и шпионы под видом корреспондентов и выдают наши секреты врагу. У турок полно английских инструкторов вроде сегодняшних лжеврачей. Его бы власть, он поступил бы точно так же, как советует начальник штаба. Расстрелял бы тех турецких военачальников, по попустительству или по явному указанию которых в страшных мучениях скончались русские герои. А Измаил-Хаки-паша небось удостоился чести обедать за столом его высочества... Он посмотрел на Нагловского: тот отводил глаза, теребя жесткую черную бороду.

Незаметно выехали за Телиш, к нашим аванпостам на Софийское шоссе. Позади Николая Николаевича двигался эскадрон лейб-казаков с развевающимся белым значком главнокомандующего. Великий князь остановился у батареи, которая прикрывала войска с юга, от атаки со стороны Радомирцев и Луковиц.

— Далеко турок, братец? — обратился он к батарейцу.

— Не более версты, ваше высочество! — бойко отозвался веселый и подвижный поручик Полозов. — Мы засекли их батарею. Будьте осторожны, ваше высочество!

— Почему же они не стреляют в нас? — искренне огорчился Николай Николаевич таким невниманием неприятеля. — А ну, поручик, расшевели их, — и выехал впереди батареи.

Орудия мгновенно открыли огонь. Великий князь нергепеливо теребил темляк пашки. Но прошло десять минут, пятнадцать, ответа не было.

Главнокомандующий с досадой махнул рукой и поехал дальше вдоль передовых цепей русских войск. За ним потянулась свита и лейб-казаки. Наперерез подскакал маленький, с профилем ястребка генерал Краснов.

— Ваше высочество! Вы в пределах турецкого ружейного огня! В любую минуту турок может долбануть! — с азартом прокричал он.

— Ах, — с досадой ответил Николай Николаевич. — Турки в меня не стреляют, — и продолжал ехать дальше.

Когда кавалькада возвращалась к Телишу, появился адъютант великого князя, расспрашивающий уже несколько часов всех встречаемых, где может быть главнокомандующий. Он сообщил, что турки, потрясенные потерей Горного Дубняка и Телиша, очищают Дольный Дубняк, последний форпост к югу от Плевны.

Часть вторая

Перевал

1

Они встретились на Волинской горе в редуте командира лейб-волинцев Мирковича, два самых знаменитых генерала — Гурко и Скобелев, в сопровождении ординарцев, начальников частей и штабистов.

Накануне Скобелев известил Гурко о том, что, по достоверным сведениям, турки ночью намерены сделать усиленную вылазку из Плевны. Гурко тотчас отправил ординарцев к Горному Дубняку и Телишу, чтобы задержать движение выступивших уже в поход гвардейских частей. Холодной лунной ночью он услышал треск ружейной пальбы и глухие удары орудий. Гурко вызвал Нагловского, опасаясь, что Осман-паша решился на прорыв из Плевны на юг по Софийскому шоссе. Но затем перестрелка стала стихать и к пяти часам умолкла вовсе.

— Ерунда! Демонстрация! — рубил слова тридцатипятилетний Скобелев 2-й (его отец, генерал, также участвовал в кампании и носил имя Скобелева 1-го).

На его подвижном, украшенном усами с подусниками лице мальчишески сверкали синие упрямые глаза.

— Вон они, турки, извольте полюбоваться, из воинов превратились в землекопов. Забыли про винтовку и не расстаются теперь с лопатой.

В самом деле, турецкие укрепления, расположенные от редута Мирковича всего на расстоянии каких-нибудь 800—1000 сажен, были усеяны рывшими, копавшими, укреплявшими насыпь солдатами. За ложементами спокойно разъезжал на белой лошади турецкий офицер. Гурко только усмехнулся в бороду и обратился к батарейному командиру:

— Дать залп из двух орудий!

Разговор генералов продолжался как ни в чем не бывало.

Турки после выстрела мгновенно скрылись за насыпью, но через минуту снова появились с лопатами. Число любопытных даже возросло, и опять загарцевал офицер на белой лошади.

— А ну катани по ним шрапнелью! — уже не шутя приказал Гурко артиллерийскому офицеру и снова загово-

рил со Скобелевым о предстоящем походе, который не даст Мехмету-паше собраться с силами, отсидевшись за Балканским хребтом.

После второго залпа турки попрятались вовсе, зато на их стороне показался белый дымок.

— Ложись! — раздался крик дежурного фейерверкера, и все, кто был на редуте: генералы, штабные офицеры, ординарцы, денщики, — кинулись на землю.

Гурко и Скобелев даже не переменили позы, рассуждая о продолжении кампании.

Турецкая граната с воем, шипом и свистом влетела в редут и зарылась. Офицер-артиллерист бросился к месту упавшего снаряда, вытащил ее, еще горячую от полета, неразорвавшуюся гранату, и положил перед генералами.

Через минуту раздался новый крик «ложись!», и новая граната, просвистев в воздухе, зарылась рядом с первой.

Гурко и Скобелев поднялись на насыпь. Ни тот, ни другой не хотели выказать осторожность, которую можно было бы истолковать как робость.

Между тем в свите все были в крайнем волнении, так как знали, что турки обыкновенно отвечают одним выстрелом более, чем пущено в них. Надо было ожидать третьей гранаты, которая при новом крике «ложись!» не замедлила удариться в землю шагах в пяти от генералов.

По счастью, и этот снаряд не лопнул, иначе Гурко и Скобелева не было бы в живых. При полете этой третьей гранаты оба генерала были бледны, но ни в чем не изменили себе, продолжая мирно беседовать.

— Ну что ж, желаю удачи, — с легкой завистью сказал Скобелев на прощание, пожимая руку Гурко. — Вам идти вперед, а нам сидеть тут, под Плевной...

2

Да, все было позади. Долгие споры, доводы, доказательства. Преиприательства с заместителем начальника штаба главнокомандующего, недоброжелательным к нему генералом Левицким. Возражения осторожному Тотлебену. Предложенный Гурко план начать немедленное наступление на Софию, не дожидаясь, пока падет Плевна, был наконец утвержден государем императором. Железная воля и энергия Гурко сломали все препоны, хотя в последний момент ему было рекомендовано далеко не зарываться и

до капитуляции Плевны по возможности только занять горные проходы Орхание.

Гурко намеревался с двумя гвардейскими пехотными дивизиями, Гвардейской стрелковой бригадой, 2-й Гвардейской кавалерийской дивизией (всего 30 тысяч штыков, 5 тысяч сабель при 120 пехотных и 54 конных орудиях) перейти Балканы и разгромить формируемую армию Мехмета-Али. Он доказывал, что зимовка русских в Придунайской Болгарии даст туркам огромные преимущества и позволит собраться с силами.

Посланный по Софийскому шоссе авангард — кавалерийский отряд генерал-майора Леонова — 28 октября с ходу овладел городом Врацы. 3 ноября от Дольного Дубняка, где находился Гурко, потянулись из-под Плевны основные силы.

Накануне унтер-офицер Бобин тщательно проверил, все ли в порядке у солдат его роты перед длинным и тяжелым походом. Он осмотрел каждый ранец, каждый котелок, следя за наличием того, что должно быть.

В ранце:

1. Сухарей в особом мешочке — 2 фунта.
2. Рубах — 2.
3. Холщовые (исподние) брюки — 1.
4. Полотенце — 1.
5. Портянок — 2 пары.
6. Легкие панталоны или суконные шаровары — 1.
7. Наушники — 1.
8. Суконные варежки — 1 пара.
9. Подошв в гвардии — 1 пара или подметок — 2 пары.
10. Щеток (платяная, сапожная и для пуговиц с дощечкой) — 3.
11. Мыла — 1 кусок.
12. Деревянное масло в 1 пузырьке.
13. Сало.
14. Башлык под крышею ранца — 1.

В котелке:

1. Сухарей — 1 фунт.

В двойном мешке, носимом вне ранца:

1. Сухарей — 3 фунта.
2. Соли — $\frac{1}{8}$ фунта.
3. Принадлежности к ружью: промывальник, пшпилька, отвертка, несколько заостренных палочек и перышек, тряпка, суконка и пакля.
4. Мелочи: складной ножик, ножницы, игольник, шило,

наперсток, бритва, воск, нитки и головная гребенка (все эти вещи в особом мешочке).

Вместо положенной по уставу водоносной фляги гвардейцы еще в Петербурге получили бутылки из-под лимонада, обшитые сукном. Учитывая, что придется воевать зимой, были заказаны подрядчиками фуфайки для солдат.

— Портянку, портянку наворачивай правильно! — ворчал Бобин, следя за молодыми солдатами. — Складку оставишь и в долгом походе сотрешь родительские подошвы!..

У полуразрушенных домиков Дольного Дубняка стояли высоко нагруженные фуры, и около них суетилась прислуга, стараясь засунуть лишний узелок или ящичек. Йошка ухитрился водрузить сверху повозки целую баранью тушу и теперь бегал возле штабс-капитана Рейтерна в ожидании глотка хотя бы ракии, к которой, впрочем, вполне привык и уже находил не хуже родной сивушки.

Поротно преображенцы, измайловцы, гренадеры, егеря двигались на юг по шоссе. Дымил знаменитая на весь отряд паровая кухня батарейцев. Местность, вначале ровная, становилась все более волнистой и пересеченной. Возвышенности постепенно делались круче, с острыми гребнями наверху, лощины суживались, и в их глубине по каменистому ложу быстро бежали ручейки и реки. А вдаль сквозь сизый туман стали проступать темные массы гор. В Радомирцах гвардия оказалась уже у подошвы Балкан.

В этом селении солдаты расположились в чистеньких домиках помаков на сквозном ветру: окна здесь были разбиты, а дверей не имелось. Помаками называли болгар, принявших мусульманство.

Противник отступал так поспешно, что даже не успел уничтожить запасы сена, ячменя и овса. Шефкет-паша торопился укрепить свои позиции в горах близ Орхание и в Этрополе.

Дорога от Радомирцев до Яблоницы была еще более извилистой, то круто поднимающейся в гору, то огибающей ее. Слева и справа уже поднимались отроги Балкан. Позади гренадер, у преображенцев, затрещали барабаны, возвещая, что солдат нагоняет командующий, а затем слышался характерный глухой голос Гурко:

— Здорово, преображенцы! Здорово, артиллерия!

— Посторонись! — кричит ротный гренадерам.

— Шгык прими, ротозей! — вторит ему унтер-офицер.
— Раздайтесь, эй! — слышится голос ординарца.

Мимо колонны, обгоняя ее, скачет генерал Гурко на своей казачьей лошадке в сопровождении Нагловского, адъютантов, корреспондентов русских и английских газет и бородатого художника Верещагина, зорко оглядывающего живописную картину.

— Смирно! — командует полковник.

— Здорово, гренадеры! — приветствует солдат Гурко. — Как, дадим турку прикурить, чтобы небу жарко стало?

И грозное «ура!» оглашает предгорья Балкан, уходит вслед за усакавшим генералом и его свитой. Гвардейцы идут весело, спорю, хотя позади уже немалый путь. Бобин смотрит за порядком, что-то по обыкновению ворча себе под нос. Вдруг унтер-офицер заметил, что Козлов вышел из фронта и со словами «Ой, не могу!» уселся, разуваясь, на краю дороги.

— Эй, малый, подымайся! — сердито закричал Бобин, подходя к отставшему.

Но Козлов ничего не ответил и даже не пошевелился.

— Слышь, Козлов, не тебе, что ли, говорю! — повторил унтер-офицер еще более строго.

Солдат молчал.

— Не дури! Ей-богу, ремнем вытяну!

— Ой, ноженьки мои, ноженьки... — простонал Козлов и взглянул на Бобина исподлобья.

— Эге-ге, малыш, да ведь у тебя того... — переменял тон унтер-офицер, увидев окровавленные ступни Козлова.

— Еще вчера стер, дяденька, Антон Матвееч... Моченьки моей нет...

Бобин покачал головой и, вынужденный из-за паузы две овчинки, начал оборачивать ими ступни Козлову, приговаривая:

— Ты не сердись, я ведь так, для порядку обругал тебя... Ну что, легче теперь? Встань-ка, пройдишь.

— Ничего... Теперь не режет, — отвечал Козлов, нагнав с Бобиным роту.

С этого случая унтер-офицер почувствовал приязнь к Козлову. Жалко ли ему сделалось молодого солдата или просто то была потребность пожилого одинокого человека ошекать и заботиться о ком-то, только многие стали замечать, что Бобин не на шутку привязался к Козлову и взял его к себе в палатку.

В Яблоницах отряд простоял несколько дней.

Гурко в сопровождении переводчика Хранова, Николаева и ординарцев каждое утро выезжал к казачьим аванпостам, расположенным верстах в десяти от Яблониц вдоль ручья, пересекающего Софийское шоссе перед селением Усыковица.

Пять маленьких невзрачных лошадок стояли кружком около вороха сена. В стороне горел небольшой костер, на котором казаки варили суп из капусты с сухарями. Ружья были составлены в козлах. Неприятеля, по словам казаков, было не видать вовсе — он не показывался из своих нор.

Гурко, не отнимая бинокля, вглядывался в грозные кручи. Безмолвной стеной вставали темные массы гор. Главным союзником неприятеля была сама природа, дикий характер горного хребта. Впереди, на узле двух дорог к Софии — через Этрополь и Орхание, — лежало село Правец, над которым на девяти вершинах мощного кряжа находились турецкие укрепления.

Командующий не знал толком ничего — ни о составе противостоящего ему на перевалах турецкого отряда, ни о силе, собираемой за Балканами, армии Мехмета-паши. По данным, полученным из Петербурга, Мехмет был по происхождению немец, девятилетним мальчиком попавший в Турцию, любил пожуировать и баловался стихами в подражание Генриху Гейне. Каков же Мехмет полководец, должно было показать ближайшее будущее.

Допрошенные начальником разведки, полковником Сердюком, пленные показали, что одно имя Гурко наводит на турок страх, что они называют его «Гяурко-паша» и твердят с ужасом: «Гяурко-хитрец... Ожидаешь его отсюда, а он обойдет тебя сзади...»

Именно о том, как бы обойти турок и ударить им в спину, размышлял теперь генерал, разглядывая кручи. Недавно болгарский проводник показал, что выйти в тыл туркам можно слева по ущелью Черного Лома, где тропа проходима для артиллерии. Гурко отправил хорунжего, князя Церетелева, с полусотней осетин произвести разведку дороги. Им было приказано избегать любых стычек и не обнаруживать своего присутствия.

— В ружье! — крикнул казак, вскакивая из-за котелка. — Ваше превосходительство, башибузуки!

Гурко направил бинокль влево, в сторону лощины, и увидел выезжавшего Церетелева со своей полусотней.

— Отставить! Свои, — спокойно сказал он, поджидая разведчиков.

Церетелев, горбоносый, с жесткими черными курчавыми волосами, выбивающимися из-под папахи, рассказывал:

— Прошли верст тридцать в обход по плохой дороге и уперлись в перевал, где даже никакой тропы не оказалось... Испробовали все подъемы — без толку... Путь недоступен не только для артиллерии, но и для кавалерии... Обойти турок может лишь небольшая колонна пехоты...

— Значит, придется атаковать Правец с фронта и правого фланга, — медленно сказал Гурко. — Придется...

Вечером Гурко приехал к лейб-москвцам, которые справляли в деревне Усыковица свой полковой праздник. Он напомнил о храбрости, проявленной ими у Горного Дубняка, и закончил свою речь словами:

— Я убежден, что выковырнете оттуда, — генерал указал на вздымавшиеся горы, — штыком с той же настойчивостью и тем же мужеством, как вы уже доказали не раз на деле...

4

Лейб-гвардии Московскому полку предстояло следовать по шоссе от Усыковицы прямо на Правец. Однако весь кряж, где засели турки, являл собой покатую кручу, атаковать которую снизу не представлялось возможным. Подошва горы состояла из каменных глыб, влезть на которые можно было разве что цепляясь за кусты. Сидящий наверху в ложементе турецкий солдат со скорострельным ружьем мог спокойно защищаться против десятых атакующих.

Единственный способ овладеть неприятельскими позициями, как понимал Гурко, заключался в том, чтобы громить его ложементы артиллерией с соседних кряжей, а пехоте обойти с фланга, перерезав справа всякое сообщение турок с главной базой Орхание. Последняя задача возлагалась на отряд генерала Рауха, который должен был незаметно пробраться горными тропами к селению Лукавице и появиться с другой стороны кряжа, где подъемы на гору не так трудны и даже существует дорога, проложенная турками от Орхание к вершине.

Два полка гвардейской кавалерии у самого Орхание

начнут отвлекать неприятеля, в то время как Раух поведет семеновцев в атаку на гору. Едва он займет ее вершину, как будут вызваны охотники из Измайловского полка, чтобы ночью доползти до вражеских ложементов и штыками очистить от турок склоны горы. Одновременно на нашем левом фланге преобразенцы и гренадеры под командованием генерала Дандевилля начнут наступление в сторону Этрополя.

Такова была в общих чертах диспозиция, объявленная генералом Гурко 9 ноября.

Самая трудная задача выпадала на долю Рауха, который выступил из Яблониц в два пополудни 9 ноября, предполагая к полудню другого дня выйти во фланг и в тыл туркам. Ему предстояло, по словам болгар, пройти всего сорок верст горного пути.

10 ноября по Софийскому шоссе на Правец двинулся Московский полк. Завидя его колонны, турки отошли по горам к своей основной позиции. Лейб-москвцы остановились и до вечера втаскивали на высоты горные орудия, огонь которых принудил неприятеля очистить все окрестные склоны и спрятаться в редутах и ложементах главного кряжа.

Шло время, а Раух все не появлялся. Ночь с 10 на 11 ноября ушла на то, чтобы поднять на ближайшие к неприятельскому кряжу вершины девятифунтовые пушки, что потребовало огромного труда. Отсутствие дорог, лесистые крутизны и камни делали невозможным использование лошадей, и артиллерия втаскивалась на руках. Солдаты выбивались из сил, однако к рассвету 11 ноября шестнадцать пушек глядели на неприятеля с различных вершин. К десяти утра, когда рассеялся холодный туман, горы огласились звуками орудийных залпов, которые утраивало и учетверяло эхо.

Канонада, не умолкавшая ни на минуту, продолжалась целый день. Батареи посылали залпы из шрапнелей в турецкие ложементы и на вершины неприятельского кряжа.

Гурко в волнении следил за ходом сражения, размышляя: «Где Раух? Что с ним? Скоро ли он появится в тылу у турок?» Он все время направлял бинокль к подковообразной вершине турецкого кряжа и разочарованно опускал его.

В шестом часу вечера, когда первые полосы тумана протянулись между хребтами, на вершине раздалась наконец сильная ружейная стрельба. Гурко жадно принял к

биноклю. Вот появились двое стрелков, дали по выстрелу в ложемент турок, расположенный на другом конце подковы, и быстро скрылись. Затем возникли сразу фигур десять и после залпа снова исчезли. Турки в ответ открыли частую стрельбу. Но на вершину ворвалась уже целая толпа и с криком «ура!» бросилась на ложементы. Турки брызнули к соседней конусообразной вершине, усеяв ее сотнями красных точек. Семеновцы, стреляя, бежали за ними. До наступления темноты русские заняли три высоты из девяти на неприятельской горе.

Путь оказался таким трудным, что Рауху пришлось затратить на сорок верст вместо двадцати часов, предусмотренных диспозицией, двое с лишним суток.

Спустившиеся облака и туман вскоре заволокли гору непроглядной волной, укрыв турок, расстреливаемых с соседних вершин нашей артиллерией. Остались видны лишь остроконечные пики, и на них над облаками два часа продолжалась ружейная перестрелка. Часам к восьми стало совсем тихо, взошла луна и осветила целое море облаков. Здесь и там торчали черными остриями наиболее высокие вершины.

На пике, занятом семеновцами, засветились костры.

— Наши-то, — с гордостью переговаривались батарейцы, находившиеся рядом со ставкой, — наши-то ишь ведь куда забрались! Выше облака ходячего!..

Ночью, около двух часов, крики «ура!» подняли на ноги Гурко и его штаб.

Две сотни охотников Измайловского полка в волнах ночного тумана поползли вверх по неприступным кручам к окопам, в которых засели турки. Ползли они в такой тишине, что неприятельский часовой за десять шагов не слышал их приближения. Но тут прихваченная с собой на счастье собака стянула с морды платок и залаяла на часового. Тот вскрикнул и бросился к своим, всполошив весь лагерь. Турки как ошалелые кинулись бежать в разные стороны, натываясь на русские штыки.

С батареи, где расположилась ставка Гурко, были слышны доносившиеся крики: «алла! алла!», и снова «ура!», и чьи-то стоны. Проснувшиеся артиллеристы вторили «ура!» измайловцам.

— Забирают турка... Шабаш ему пришел... — сказал в темноте кто-то из батарейцев.

За оба дня битвы, решившей исход дела у Правца, русские потеряли всего 70 человек. На другой день, 12 по-

ября, генерал-майор Дандевиль прислал Гурко донесение: турки бежали из Этрополя и город занят лейб-гвардии Преображенским полком.

5

На Этрополь вела хорошая прямая дорога ущельем Малого Искера. Тут, на горах, острыми гребнями сбегаящих к Искеру, турки возвели редуты и ложементы, держа ущелье под перекрестным ружейным и артиллерийским огнем. Сам Этрополь был защищен батареями, стоящими на высокой горе Святой Троицы позади города.

При невозможности атаки с фронта генерал Дандевиль предпринял двойное обходное движение: три батальона преображенцев карабкались по окрестным горам, заходя вправо от ущелья; Великолуцкий полк с гренадерами двинулся тропой влево, на деревню Лупен и далее, в тыл Этрополю; а один Преображенский батальон вступил в само ущелье Малого Искера, обстреливая снизу из девятифунтовых орудий неприятельские редуты.

Правый отряд едва полз по лесным и скалистым тропинкам, таща за собой горные орудия. Весь день 10 ноября ушел на то, чтобы выйти в тыл редуту, обстреливавшему Малый Искер и расположенному на вершине крутой и обрывистой горы, поднимавшейся так высоко, что больно было откидывать голову. Ее конусообразный пик заканчивался сине-белым заснеженным острием.

— Ну точь-в-точь голова сахара, — изумился молодой преобразенец.

— Сахар-то сахар, да не будет ли слишком горек... — пробормотал седоусый солдат, вглядываясь из-под ладошки на вершину.

— Гляди, дяденька! Над горой два орла летают! — воскликнул юноша.

— Точно! — отозвался старый солдат. — Значит, это не сахарная голова, а орлиное гнездо!

Слушавший их штабс-капитан Рейтерн, лошадь которого осторожно ступала среди камней, решил вмешаться в разговор:

— Орлы — это добрый знак! К победе! Вышвырнем турка!

Когда к вечеру отряд наконец обошел гору, были вызваны охотники, чтобы под покровом темноты и облаков

завладеть орлиным гнездом. Вести солдат вызвались штабс-капитан Рейтерн и поручик князь Кропоткин.

На вершине конуса, где стоял редут, дул такой резкий ледяной ветер, что турки ночью оставляли здесь одного человека, а сами спали на склоне горы, обращенной к Малому Искеру. С противоположной стороны они не ждали нападения. Между тем именно оттуда поползли охотники-преображенцы.

Цепляясь за камни и кусты, сто двадцать солдат карабкались к редуту и только сажен за пятьдесят были замечены часовым, поднявшим громкий крик.

Разбуженные турецкие солдаты бросились бегом от своих костров к редуту, но преображенцы тоже не дремали. Напрягая все силы, лезли они вверх, чтобы успеть раньше неприятеля. Десятка полтора преображенцев во главе с Рейтерном и Кропоткиным успели ворваться в редут раньше турок и открыть по ним огонь. Турки повернули назад, соскакивая с крутых камней, срываясь в темноте с обрывов и испуская крики:

— Алла! Алла!..

Преображенцы вбегали в редут и от усталости валились на землю.

— Горнист! Сигнал! — задыхаясь, приказал Рейтерн.

Но горнист тщетно подносил к губам желтый медный сигнальный рожок, чтобы сообщить о занятии редута. Не владея дыханием, горнист издавал лишь бессмысленные звуки.

Занятие орлиного гнезда позволило батальону преображенцев продвинуться вперед долиной Малого Искера и открыть огонь из орудий по горной позиции турок, господствующей над дорогой в Этрополь.

Утром 12 ноября было получено известие о завладении русскими Правцом. Следовательно, пути отступления турок из Этрополя вправо были отрезаны. Внимание Дандевилля сосредоточилось теперь на левом фланге, где Великолудцкий и лейб-гвардии Гренадерский полки под командованием героя Горного Дубняка Любовицкого козыми тропами обходили вершину Святой Троицы.

Позади этой возвышенности Любовицкий обнаружил дикий кряж, который по своей неприступности даже не был занят турками. Туда необходимо было втащить четырехфунтовые орудия, чтобы обстреливать гору Святой Троицы и равнину Этрополя. Однако ни дорог, ни сколько-

нибудь сносных тропинок для подъема не оказалось, а лошади не могли идти по обрывистым крутизнам.

На выручку явился начальник болгарской четы Георгий Антонов, который привел несколько десятков крестьян с волами. Четыре орудия были сняты с лафетов, положены на двухколесные арбы и двинуты вверх. Вскоре, однако, и волы оказались бессильны преодолеть отвесную кручу. Гвардейцы вместе с болгарами втаскивали пушки на руках.

12 ноября орудия открыли огонь по вершине Святой Троицы, а батальоны двинулись в обход горы. Ужас охватил турок. Они зажгли свой лагерь и бросились бежать через перевал Шандорник к Араб-Конаку.

С падением Этрополя русские войска почти вплотную приблизились к перевалам через Балканы: Врачешскому за Орхание, Шандорнику за Этрополем и Златицкому, наименее укрепленному, где была лишь выючная тропа, непроходимая для артиллерии.

6

13 ноября Гурко торжественно въезжал в Этрополь.

Он был встречен болгарской делегацией с хоругвями, крестом и хлебом-солью. Поздоровавшись с ними, генерал направился в небольшую чистенькую церковь святого Михаила, чтобы отслужить благодарственный молебен за дарование победы над врагом. На улицах Этрополя толпы горожан восторженно приветствовали своих освободителей. Жители несли солдатам последнее, что осталось после турецких грабежей: вареную кукурузу, хлеб, молоко, вяленое мясо.

Переводчик Хранов и бежавший от турок болгарский доктор Цареградский зачитывали прокламацию, с которой Гурко обратился к жителям Этрополя и окрестных селений:

«Болгары! Нам предстоит сделать последний напор на турок и перейти Балканы, где они держаться не могут. Вы должны помочь нам везти орудия, нести тяжести, заряды, сухари через горы. Заплачено будет всем, но главная ваша награда будет избавление от турок навсегда. Вам теперь трудно, но русским труднее; они терпят для вашей пользы, а вы для своей. Пройдет тяжелое время, и будете благодарить бога...»

В церкви Гурко приложился к образам и спросил, где же священник, но священника не было.

— Едва русские стали приближаться к Балканам, — переводил Хранов торопливую речь болгар, которые и улыбались и плакали, — как губернатор Этрополя Нааиф-эффенди призвал зажиточных жителей и стал уговаривать их бежать вместе с турками. Когда же те наотрез отказались, он приказал схватить пятнадцать самых видных горожан, девушек и женщин из богатых семейств, а также всех священников. Губернатор говорил: «Посмотрим, как вы теперь не пойдете с нами... А не пойдете, так я прикажу переколоть по дороге всех заложников...»

Бежавший из Орхание купец добавил, что там особенно бесчинствовали башибузуки: грабили дома, резали женщин и детей, подожгли болгарские кварталы. Шефкет-паша присутствовал при этих бесчинствах и поощрял их.

Жители Этрополя стояли понурив головы. Их горе глубоко трогало офицеров свиты Гурко. Отважные войны, не кланявшиеся турецким ядрам и пулям, створачивались и смахивали слезу. Командующий тоже был сильно взволнован услышанным и, стараясь не показать этого, глухо сказал:

— Русский народ избавил вас от притеснителей веры и врагов! Так молитесь богу о даровании побед русскому оружию! Сейчас наш священник отслужит здесь божественную литургию...

На другое утро Гурко продиктовал текст телеграммы великому князю — главнокомандующему Николаю Николаевичу:

«Турки, очищая деревни и города перед наступлением моих войск, убивают жителей, более зажиточных увозят с собой, грабят, сжигают и разоряют занимаемые нами районы. Над нашими ранеными, случайно попадающими в их руки, продолжают неистовствовать. Прошу разрешения объявить и приводить в исполнение репрессивные меры. Думаю, что террор надо уничтожить террором же».

7

Лейб-гвардии гренадеры под командованием полковника Любовицкого, выступив из Этрополя в три пополудни 17 ноября, до утра шли узким ущельем, извивающимся между лесистыми шапками горных вершин.

Тропинка, плотно прижимаясь к скалистым высотам,

нависала над ревущим ручьем, мчавшимся по неровному ложу. Тонкий слой снега, серевшего в ночи, уже лежал на склонах вершин. Тропа была до того узка, что местами оказывалось невозможно пройти двоим. Офицеры вели своих лошадей в поводу. Бобин замыкал шествие роты, подгоняя отстающих и постоянно высматривая, где Козлов, держится ли.

С тех пор как унтер-офицер сошелся с Козловым, все стали замечать в нем перемену. Он сделался мягче и веселее и даже иногда шутил, чего прежде никогда с ним не бывало. Переменился и Козлов, стал несколько увереннее и спокойней, хоть и по-прежнему мечтал заболеть и вернуться домой.

Заметив, что гренадеры валятся с ног от усталости и желая прибодрить их в долгом ночном переходе, Любовицкий скомандовал:

— А ну, орлы, песню!

Не сразу, но запевала отозвался:

Ой во поле-поле стояла ракета,
А под этой ракетой гусарик убитый...

Среди подхвативших песню Бобин узнал и тоненький голосок Козлова:

Он убит, принакрыт черною китайкой...
Приходила к нему пава-жена молодая,
Китаечку открывала, в лицо признавала...
Ты встань-восстань, мой милый гусарик убитый!
Твой конь вороной по лужкам гуляет,
Тебя молода жена домой ожидает...

За поворотом тропинка наконец расширилась. Тут, на площадке, турки выстроили из камня блокгауз с узкими амбразурами вместо окошек. Накануне он был захвачен сотней Великолуцкого полка.

У блокгауза жались в кучу лошади, в сторонке казаки пытались без малейшего успеха развести на жидкой грязи костерок. Резкий, пронизывающий ветер несся с Златицкого перевала, удерживаемого неприятелем, и загонял солдат внутрь блокгауза. Там, наполняя помещение дымом и смрадом, горел огонь.

Офицер Великолуцкого полка, сидя на барабане между солдатами, рассказывал о вчерашнем деле полковнику Любовицкому, который пил чай, усиленно щурясь от дыма.

— Верстах в шести от Этрополя встретили конных башибузуков... Едут такие довольные собой, болтают нога-

ми и голосят во все горло. «Алла иль ля ля!» Куда, думают, забраться сюда русским, когда здесь на каждом шагу сам черт себе ногу переломит. Как я услышал их голоса, скамандовал солдатам прилечь. «Улучши минуту и ну, ребята, — говорю, — залпом!» Шарахнули по ним — они с коней долой да, словно зайцы, как пустятся бежать за кусты да каменья. А мы пошли дальше, смотрим — эта караулка и в ней человек двадцать турок... Дали они несколько выстрелов и побежали по тропинке на перевал. Мы за ними. А там нас таким огнем шуганули, что поневоле пришлось возвращаться в караулку. Оставили только охотников для перестрелки...

Любовицкий дал гренадерам недолгий отдых и приказал тремя колоннами пробираться к перевалу: две обходили турецкое укрепление, а средняя направилась по тропинке прямо. Сам он против обыкновения остался внизу: в походе разболелись старые раны. Прошел час, другой, и слышались первые выстрелы, стукавшие слева на одной из лесистых шапок. Где именно, он не мог определить, так как эхо гор приближало звуки и обманывало слух. Перестрелка мало-помалу разгорелась до сильной трескотни. Вот прешуршала рядом с блокгаузом в деревьях пуля, другая ударилась у ручья о камень: турецкие пули хватают далеко.

Полковник ожидал вестей. Вскоре зачернела фигурка гренадера. Унтер-офицер Бобин доложил:

— Как завидел турок наших на флангах, тут он как бешеный заметался по реду-то и побежал, побежал.

Раненых, по словам Бобина, не было, так как наступавшие гренадеры на каждом шагу отыскивали отличные прикрития от пуль за камнями, постепенно приравливаясь к горной войне.

Любовицкий немедля двинулся верхом на перевал, до которого было версты две, и через полчаса пути выехал из лесу на узкую площадку, совсем обледенелую, на которой дул сильный ветер, кружа в воздухе порошинки снега. Это была самая высокая точка Златицких Балкан. Внизу густой туман лежал над ущельем и долиной. Сзади быстро неслось плотное облако. Вот оно налетело на перевал, окутало Любовицкого и его гренадер холодным паром, до того густым, что нельзя было разглядеть фигуры в двух шагах. Затем оно пронеслось далее, открыв солдат, которые, завернувшись в шинели и башлыки, теснились у костров, плававших на дне отбитых ложементов. Одни лежа-

ли, безучастно глядя на огонь, другие молча кипятили в манерках воду, бросая в нее сухари, а третьи, сгрудившись вокруг Козлова, подтрунивали над ним, пользуясь тем, что рядом не было Бобина.

— Что, страшно тебе было, Козлов? — спрашивал, подмигивая солдатам, бывалый гренадер.

— И-и... — простодушно отвечал тот. — Беда как страшно... Да ведь все идут... Куда мне деваться?..

Между тем казаки донесли Любовицкому, что отступивший неприятель занял выход из ущелья по ту сторону перевала и поставил там орудия, что спуститься в долину можно только с бою. Кроме того, в селениях, лежащих в долине, а также в самой Златице сосредоточено более шести таборов пехоты при шести орудиях. С наличными силами нечего было и думать о дальнейшем продвижении.

Любовицкий решил окопаться на перевале в ожидании приказаний Гурко и занять пехотной цепью окрестные вершины, чтобы наблюдать за долиной Златицы и одновременно предупредить возможное обходное движение турок. Он оставался на перевале до глубокой ночи, отдавая приказания, и сам ходил с солдатами на ближайшие высоты, преодолевая боль от двух незакрывшихся ран.

Борьба за балканские перевалы вступила в свою решающую фазу.

8

Завладев Правецом, Этрополем, Златицким перевалом и Орхание, Гурко встретился с сильно укрепленными позициями неприятеля. Оставалось до подхода подкреплений занять господствующие высоты и разместить на них артиллерию. Против перевала на горе Шандорник закрепились отряды Рауха и Дандевиля, Шувалов обосновался перед перевалом Араб-Конак.

Гурко объезжал позиции своих войск, торопя с установкой орудий.

Дорога из Этрополя раздваивалась и шла вправо к генералу Дандевилю и влево к Рауху. Первый отряд находился в восьми верстах тяжелого пути в гору. Это была настоящая лесная трущоба, в которой нога то ступала на острый камень, то уходила в грязь по самое колено.

Гурко еще издали слышал громкие крики и попукания, усиленные эхом гор: вверх по круче поднимали два

девятифунтовых орудия. Шесть пар волов в ярмах, запряженных попарно гуськом, едва переступали ногами. От передней пары был протянут канат, за который уцепились солдаты вперемежку с болгарами. Канат оказался короток. Тогда, держась за его конец, два болгарина подали руки финляндцам, которые в свой черед протянули руки вперед и составили живую цепь человек в тридцать. Самого орудия уже не было видно вовсе: оно исчезло за кучей облепивших его людей. Человек по шесть ухватился за колеса, надавливая на спицы.

— Эй, дубинушку! — кричал солдат. — Ходчей пойдет! Затягивай!

Эй, дубинушка, ухнем! —

начинает молодой усталый голос, и остальные подхватывают, наваливаясь на орудие:

Эй, зеленая, сама пойдет!..

— Ну, ну, матушка! — кричат задние.

Гурко молча слезает с коня и сам подставляет плечо под задок орудия. Холодный ветер ходит по лесу и шумит между вершинами обледенелых деревьев, несется с горных гребней, бросая в лицо то мелкими брызгами дождя, то порошинками снега. Борода у Гурко намочена и обледенела.

Видя любимого командира, солдаты выбиваются из сил, но орудие едва продвигается вверх.

Вместо одного дня, который предполагал затратить Гурко на подъем орудий в горы, потребовалось трое суток непрерывной изнурительной работы.

Ободрав солдат, командующий отправляется дальше, в расположение отряда Дандевилья. Лошадь уходит ногами в жидкую грязь, скользя и поминутно спотыкаясь. Вереницей тянутся солдаты, с трудом передвигая ногами в клейкой массе. Шинель, лицо — все забрызгано грязью.

Путь до того труден, что на сильном коне приходится добираться более трех часов. Чем выше в гору, тем реже лес, который мало-помалу уступает место громадным камням, покрытым мхом. На вершине густое облако закрыло контуры двух восьмипушечных батарей. Они молчаливо глядят в туманное пространство.

На опушке леса перед своей палаткой командующего встречает генерал Дандевиль, сорокалетний, с нежным румянцем во всю щеку.

Туман начинает рассеиваться, и оба генерала отправляются на батарею. Гурко приказывает открыть огонь, и с вершины к туркам несутся шестнадцать гранат. Командующий ежеминутно переходит с места на место, чтобы лучше видеть действие снарядов. Но, кроме белых дымок над лысиной Шандорника и над профилем редута, ничего нельзя разглядеть. Турки тотчас же отвечают залпами, и вот уже в лесу поднимается грохот, свист и вой, удешащаемый эхом.

— Своя? — спрашивает поручик Полозов у фэйерверкера Слепнева и сам отвечает: — Чужая!

— К семеновцам пошла! — уточняет фэйерверкер полет гранаты.

— Опять без супа оставит! — улыбается неунывающий Полозов.

— Можете себе представить, Иосиф Владимирович, — решает оторвать Гурко от наблюдений Дандевилья, — вчера турецкая граната влетела семеновцам на кухню и прямо в котел с супом!

— Метко стреляют! — не то с похвалой, не то с осуждением отзывается Гурко и снова прикикает к биноклю. — Видимость, однако, никудышная!..

— А вчера было так ясно, — говорит Дандевиль, — что различались даже верхушки минаретов Софии!

— София... — думает вслух Гурко. — Так близко и так далеко!..

Прослышав о приезде командующего, на батарею поднимается генерал Краснов, назначенный начальником кавалерийской бригады. При виде его взгляд у Гурко светлеет.

— Помнишь, Данила Васильевич, как у перевала под Уфланли ты угостил меня супом из слив. Веселое было время!

— Оно и нынче не так уж плохо, — откликается Краснов своим характерным казачьим говорком и предлагает: — Прошу ко мне в палатку отобедать. Слив нет, зато сливовица найдется!..

Гурко благодарит своего боевого товарища, умалчивая о том, что предложенное меню его не очень устраивает. Любимое кушанье генерала в походе, хоть это и плохо вяжется с суровым характером командующего, — манная каша на молоке с сахаром. Да где же взять на эдакой шишке корову!..

Денщик уже расставляет на коврике тарелки, рюмки,

миску с зажаренным мясом, именуемым «беф а-ля Крас-нофф», бутылку ракии.

— Вот изволите видеть этого казачишку, — подмиги-вает Краснов в сторону денщика. — Хвастает, что Шан-дорник может взять!

— Точно так! Взять можно, ваше превосходитель-ство! — вытягивается чубастый казачина.

— Ну да как же можно, расскажи! — поощряет его улыбкой Гурко.

— Рассказать доподлинно не могу, а ежели бы, то есть, нашим станичникам изволили бы приказать: «Возь-мите, мол, братцы, самый этот Шандорник», — и точно бы взяли!

— Да как бы взяли-то? — донимает его Данила Ва-сильевич. — На коне с пикой, что ли?

— Зачем на коне с пикой, — обижается казак. — Уж не могу знать, как бы взяли. Собрались бы, это, посудили бы, высмотрели бы, а потом бы подползли, да и ворвались в крепость...

— А как бы вас там рожном приняли?

— Зачем рожном! — уже сердится денщик. — Мы бы не полезли на рожон, а полезли бы, кабы рожна не ждали. Вон они ночью, сказывают, сплошь спят. Всех бы и передупили, а не то бы связали и к начальнику бы пред-ставили, — просто и спокойно доказывает он, словно рас-сказывает о том, как он назавтра заседлает своего маш-така, сядет и поедет.

— Что ж, в самом деле, Данила Васильевич, может, и впрямь взяли бы редут? — улыбается в бороду Гурко. — Выискались бы молодцы, разноухали бы все да и забрали Шандорник...

— Да где ж! Так, зря болтают! Необразованные земле-еды! — с притворной насмешкой отвечает Краснов. — Не ихнего ума это дело!

Он достает из секретных запасов бутылку красного вина, так как водки не пьет, и приглашает отведать свое фирменное блюдо. Готовится оно так: в котелок кладется рубленый лук, крошеное мясо, и все кипятится в говяжь-ем жире. Непременная особенность его та, что «мясо по-красновски» полагалось есть на морозе.

После стакана вина Краснов возвращается к прежней теме и с жаром продолжает:

— Как казачкам Шандорник взять! Вон псковцы и те не взяли!

Он намекает на неудачное дело 17 ноября, когда три роты псковцев подползли к редуту в тумане. Им показало-сь, будто турки отступают, они бросились в атаку, но были отбиты и сброшены.

— Не вовремя полезли, — вступает в разговор молчав-ший до этого Дандевилль. — Вот их и опрокинули...

— Ну вот то-то же! — с неопределенной усмешкой заключает свою речь Краснов. — Казачки-то, они не та-кие. Они на всякую выдумку мастера. И, само собой, бес-шабашные!

9

Суровая зима завернула и на Балканские горы, засы-пав их глубоким снегом. Борьба русского солдата с приро-дой приняла еще более драматический характер: на высоте нескольких тысяч футов, вырубив себе траншейки в мерз-лой земле, он стоит лицом к лицу с зимою, словно непре-станно находится в открытом бою. В особенности тяжело положение на Златицком перевале, где место на вершине ничуть не защищено от ветра. Там зачастую день и ночь гуляет снежная буря и так засыпает построенные на ско-рую руку землянки, что по утрам людей приходится отка-пывать из-под сугробов. Турки зорко стерегут малейшее движение русских на перевале и едва замечают огонь или дымок, тотчас направляют туда с окрестных высот свои ружейные выстрелы. Поэтому в траншеях на аванпостах о костре не может быть и речи. Приходится неподвижно лежать на снегу целую ночь. Ветер и вьюгу сменяет от-тепель, и солдатская шинель намокает, а к вечеру вновь мороз опускается градусов до двадцати, и мокрая шинель сидит на солдате колом, не согревая его.

Солдат-гвардеец идет по лагерю. На ногах мешковатые бахилы из воловьей кожи мехом внутрь. Эта неуклюжая обувь надета на расползающиеся сапоги, так что солдат ступает, с трудом вытаскивая ноги из снега. На плечи на-кинута полотно палатки. В это полотно солдат закутался весь, прижав концы его вместе с ружьем к груди. Видне-ются только глаза, кончик носа да торчащий на ветру ост-роконечный кусок башлыка. Полотно насквозь пропита-лось мокрым снегом и сидит на солдате наподобие ризы.

Узнали бы вы в нем сейчас того молодцеватого генера-ла, который приветствовал Гурко на смотре в Эски-Бар-кач? Нужда заставила гвардейца походить на пугало.

Мудрено не наvertеть на себя все, что только было под рукой, если выписанные жуликами-подрядчиками фуфайки от влаги погнили и распозлись, а подошвы у сапог отвалились.

Гренадер подходит ближе и оказывается унтер-офицером Бобиным, который готовится к суточному дежурству на Златицком перевале. Вокруг в мрачном настроении расположились солдаты и артиллеристы. Знаменитая паровая кухня 6-й батареи давно не дымит. Давно уже Йошка не кормит офицеров-преображенцев ростбифами да курочками, и лакомка Рейтерн, тихо матерясь, мочит в снегу пресную гурецкую галету. Амулет артиллеристов — петух, облезлый, худой, злобно глядит из клетки, словно провидит свое печальное будущее. И час его бьет скоро. Вернувшись с дежурства, Полозов чувствует в палатке батарейцев давно забытый, нежно щекочущий небо аромат. Он принохивается: так и есть — пахнет куриным бульоном — и отчаянно вопит:

— Ироды! Да вы никак бригадного петуха съели!..

В пехоте и сухарей не всегда вдоволь. Солдаты исхудали, ослабли. Бобин еще держится молодцом и, не покладая рук все свободное время сапожничает. Козлов старается услужить и помочь ему. Унтер-офицеру нравится, что Козлов подражает ему в трудолюбии, но отечески останавливает его:

— И чего суешься? Занеможешь, тогда что я буду с тобой делать! Ишь ведь худой какой! А тоже лезешь работать... Отдыхал бы лучше...

Назначенные на перевал солдаты выстроились у караулки. С горы спускается ночная смена.

— Что, холодно было? — спрашивает Бобин у гренадера, глаза которого, воспаленные от дыма, слезятся, и он поминутно вытирает их грязной обмороженной пятерней.

— Ад, дяденька! Хоть бы поскорее куда-нибудь поехали! Куда легче было под Горным Дубняком!..

Бобин с командой ушел; Козлов слонялся между палатками, предаваясь мечтам о родине, о конце войны, о доме: «Кабы отсюда по болезни да прямо домой... Нет, нехорошо, надо дотянуть до конца... За это никто не похвалит...»

Наступил темный вечер. Козлов вернулся к себе в палатку и заметил висевшую там сухарную сумку Бобина.

«Вот те раз! — ахнул он. — Как же это Антон Матвейч сухари забыл? Вот ведь грех какой!»

Козлов хорошо знал, что Бобин будет голодать целые сутки, но ни за что не попросит у товарища сухарика. «Надо, надо снести сумку на аванпосты!» — решил он.

Наступила ночь, темная и туманная. Страшновато было Козлову идти одному да еще по горам — того и гляди попадешься турку. Но он все-таки решился и пошел.

Сперва шел по протоптанной дорожке, а потом она исчезла под снегом, и Козлов начал кружить. Снег по самое колено да деревья с нависшими ветвями, с которых обламывалась и падала гололедица, — вот все, что видел он вокруг себя. Сначала было страшно, и Козлов несколько раз возвращался, чтобы найти след, но его не было. И постепенно усталость превозмогла страх. Козлов сел отдохнуть под большим деревом, прислонившись к нему спиной. Его вспотевшее тело чувствовало приятную прохладу. «Не пора ли вставать?..» — думал солдат, однако сладкая лень удерживала его, и ему все казалось, что он на привале и что Бобин непременно прикажет подняться и идти.

Козлов прикрыл веки и увидел мать, стоящую перед избой: «Так и есть! Это моя родина, моя деревня...» А напротив изба соседа, откуда выбегает милая его сердцу девушка. «Господи! — подумал, засыпая, солдат. — За что такое счастье!..»

На другой день, возвращаясь с аванпостов, рота наткнулась на Козлова. Сидел он, прислонясь к дереву, весь облепленный снегом, голова была опущена на поджатые к самой груди колени, фуражка съехала на лоб.

Бобин растолкал любопытных, взял мертвого на руки и понес на бивак. Всю дорогу он молчал, а придя, положил Козлова в палатку на то самое место, где он всегда спал, и начал суетиться у костра.

Любопытные снова стали собираться возле палатки.

— И как это, братцы, угораздило? — переговаривались они.

— Негожий был... Все только хныкал...

— Ну ты рад и мертвого вылаять!.. Что теперь с него взыщешь?

— А все же, братцы, жалко... Тоже ведь человек... Опять же дома родные, мать...

— Нехристи! Хоть бы за дровами кто-нибудь сходил... Бога вы не боитесь! — сказал унтер-офицер собравшимся.

Ему хотелось, чтобы все было сделано как положено. Отогрев мертвого товарища у костра, он расправил ему руки и ноги, а затем, когда начальство разрешило похоро-

нить Козлова, срубил сухое дерево, вытесал досок и сколотил гроб. Уложив товарища, Бобин поместил туда все его вещи, не исключая сухарей, кисета и трубки, подсыпал даже своего табачку, потому что в кисете почти ничего не оставалось. На могиле поставил крест и сам сделал надпись: «Рядовой Осип Козлов. Замера 27 ноября». Затем, когда все было кончено, Бобин сложил инструмент и, пользуясь свободным временем, заплакал.

Остался он в палатке один. Просыпаясь по утрам, Бобин звал иногда по привычке товарища и хватался рукой за стоявшую около манерку:

— Что, малыш, чайку согреем?

Но, увидав, что хворостинки, служившие прежде постелью Козлову, покрылись инеем, опускал голову и погружался в тяжелые размышления.

Что суждено было Козлову замерзнуть в горах, в этом Бобин не сомневался. Но он был зол на судьбу за то, что она выбрала его самого невольной причиной смерти Козлова.

«Это уж судьба меня наказала, — подумал Бобин. — И как же я сухари-то забыл! Вот беда какая произошла от этого. Никогда со мной такого беспорядка не случалось!»

Козлов был одной из многочисленных жертв холодной зимы, сотнями косившей русских солдат на Балканах.

10

Гурко телеграфировал великому князю — главнокомандующему Николаю Николаевичу:

«Снегу выпало очень много: на горах более аршина, в Орханийской долине пол-аршина. Сегодня третий день стоят морозы. Санитарное состояние с каждым днем ухудшается. В Псковском полку за два дня выбыло 340 человек. Средним числом заболевает около 50. Произвожу по возможности чаще смену. Неприятель стоит и ничего не предпринимает, весьма сильно укрепившись на своей позиции. Подкрепления к туркам прибывают мало-помалу. Теперь у Араб-Конака, кажется, около 40 батальонов, у Лютикова и Златицы около 10 в каждом пункте, всего же около 60 батальонов...

Более всего боюсь туманов и нехватки продовольствия. Дальнейшего запаса нет и не предвидится. Те-

перь уменьшил выдачу сухарей до 1 фунта; дней через 10 не будет хлеба. Главное, прошу спирту, чаю, сахару. Необходимо открыть в Яблоницах 1 или 2 полевых госпиталей...»

Гурко целые дни ходил угрюмый и еще более молчаливый, чем обычно. Он жестоко страдал, чувствуя, что уже не война с турками, которых он не привык страшиться, но сама природа явила трудности превыше сил человеческих. А тут еще тревожные вести с других участков фронта.

В турецкой армии произошла важная перемена: Мехмет-Али, оказавшийся вялым и безынициативным военачальником, был отозван и на его место назначен Сулейман-паша, проявивший немало упорства и дерзости в августовских боях у Шипки. Он теперь резко усилил давление на левый фланг русских войск — на Рущукскую группировку наследника цесаревича Александра. Отряд князя Святополка-Мирского, теснимый неприятелем, отступил с позиций у деревни Марени и отбивался под Еленюю, окруженный с трех сторон. В то же время Сулейман атаковал позиции цесаревича у Осман-Базара. Необходимо подкрепления, но их не было: Плевна, словно Молох, пожирала все резервы.

«Сулейман пытается прорваться к Тырнову, чтобы выйти в тыл шипкинской позиции, которая после этого сама собой падет...» — размышлял Гурко, вместе с Нагловским просматривая телеграммы о положении на других участках.

Он готовился к трудному разговору с подчиненными ему генералами.

Всему есть свой предел — настал предел терпению командиров. Видя мучения солдат, огромные жертвы и переживая лишения наравне с рядовыми, гвардейские генералы тоже роптали. Готовые к открытой войне, к героической смерти или победе, они не выдержали долгого сидения в холоде, голоде, снегу. Лучшее всех держался самый старший — генерал-адъютант Шувалов: жил, как и солдаты, в простой холодной палатке, захваченной у турок. Когда же Гурко, навещая командира 2-й гвардейской дивизии, говорил ему шутя, что велит отдать в царском приказе распоряжение о постройке Шувалову теплого барака и силой водворит туда хозяина, тот так же шутливо отвечал: «Не иначе, Иосиф Владимирович, вы хотите подорвать этим мой авторитет среди солдат...»

И, спартаец по своей натуре, Гурко уезжал с легким сердцем, спокойный за подчиненного ему командира.

Главная ставка размещалась в Орхание, в полуразрушенном доме, где вместо стекол кое-как была подклеена бумага, а печи заменял огонь, поддерживаемый в мангале. Гурко и его начальник штаба сидели в шинелях, перебрасываясь однозначными фразами: они привыкли понимать друг друга с полуслова.

Но вот комната начала наполняться военным народом. Генералы входили, приветствовали командира и, не раздеваясь, усаживались, тихо перешептываясь друг с другом. До Гурко донеслись слова исхудавшего, изжелта-серого лицом Рауха, обращенные к принцу Ольденбургскому:

— Три дня, ваше высочество, не умывался, не раздевался... А тут еще пальцы на ногах поморозил. Как в теплую комнату войду, словно зубной болью обдает...

Гурко поднялся, и под пристальным взглядом его глубоких серых глаз шепот стих.

«Большинство из них не может простить мне быстрого возвышения. Не может забыть, что еще полгода назад я был только начальником дивизии. А теперь из недавних товарищей стал командиром, который никому ничего не спускает. Жалуются в ставку, что я резок и крут...» — подумал он и после долгой паузы в мертвой тишине глухо и медленно заговорил:

— До сведения моего дошло, господа, что некоторые из вас позволяют себе осуждать меня и мои распоряжения, не стесняясь присутствием подчиненных и даже при нижних чинах... Я собрал вас для того, чтобы напомнить вам, что поставлен начальником над вами волею государя императора и только ему, отечеству и истории обязан отчетом в моих действиях. От вас я требую беспрекословного повиновения и сумею заставить всех и каждого в точности исполнять, а не критиковать мои распоряжения. Прошу вас всех это накрепко запомнить. А теперь официальный разговор кончен, и я предоставляю каждому из вас свободно высказать, кто и чем недоволен. Если я в чем-нибудь ошибся, готов поправиться...

В пустом проеме двери появился состоявший при штабе хорунжий князь Церетелев, делая знаки начальнику штаба; Нагловский на цыпочках вышел. Гурко снова оглядел генералов. Дандевиль, у которого румянец приобрел нездоровую, лихорадочную окраску, отвел глаза. Раух ответил хмурым взглядом запавших глаз. Только

Краснов улыбнулся, блеснув молодыми зубами в густой сивой бороде.

Обращаясь к Шувалову как к старшему в чине, Гурко спросил:

— Ваше сиятельство, что вы имеете сказать?

Начальник 2-й гвардейской дивизии, большелобый, седобородый, с редкими, серыми от седины волосами, тотчас поднялся и просто ответил:

— Ничего! Я никаких неудовольствий не имею.

— А вы? — сказал Гурко генералу Рауху.

— Ничего, ваше превосходительство, — пробормотал тот. — Я только говорил, что трудно...

— Трудно? — перебил его Гурко. — Что ж, если большим людям трудно, я уберу их в резерв, а вперед пойду с маленькими! Запомните это, и хорошенько! — Он с неудовольствием заметил стоящего в дверях Нагловского. — Что, Дмитрий Станиславович?

— Ваше превосходительство! — торжественно обратился тот к Гурко. — Из ставки получена телеграмма: Плевна пала!

11

13 декабря в девять пополудни генерал-адъютант Гурко вышел из своего маленького домика в Орхание и, перекрестившись, сел на коня.

Ординарцы и конвой, выстроившиеся полукругом у домика командующего, двинулись за ним. Утро было туманное, шоссе обледенело за ночь. Всадники то и дело обгоняли спешившихся, тянувших своих коней в поводу кавалеристов и стоящие без движения фургоны, которые не могли сдвинуть выбившиеся из сил лошади.

Гурко ехал впереди, молчаливый и задумчивый. Он еще и еще раз мысленно возвращался к подробностям предстоящего перехода через Балканы, взвешивал в уме каждую подробность, каждую деталь готовящихся военных операций.

С падением 28 ноября Плевны высвобождались сковавшие его русские силы. На усиление отряда Гурко была назначена 3-я гвардейская дивизия Каталя и весь 9-й армейский корпус генерал-лейтенанта Кридинера. Но только к 12 декабря смогли подтянуться к Орхание эти давно ожидаемые подкрепления с артиллерией и обозами.

Во время долгого стояния в горах Гурко и Нагловский с помощью неутомимого хорунжего Церетелева собрали сведения обо всех путях через Балканы. Было решено обойти неприятельские укрепления, спуститься в долину и выйти в тыл линии Шандорник — Араб-Конак, отрезая засевших там турок от Софии и Филиппополя. Однако отыскать сколько-нибудь сносную дорогу через горы оказалось до крайности трудно: все проходимые пути находились в руках у неприятеля, а свободными оставались немногие горные тропинки, недоступные для артиллерии и столь крепко защищенные самою природой, что даже турки не сочли нужным охранять их. Между тем решение задачи как раз и заключалось в том, чтобы пробраться через хребет целой армией, пехотой и артиллерией, появиться в долине Софии неожиданными гостями и ударить туркам в тыл.

Гурко предписал рано утром 13 декабря начать движение войскам, соблюдая следующий порядок:

Авангарду под начальством генерала Рауха выступить из Врачеша и следовать на перевал по старой Софийской дороге, превратившейся в пешеходную тропу, в обход противника, спуститься к селению Чурьяк и выйти в долину Софии к Елешнице.

Колонне генерал-лейтенанта Каталей двигаться по той же дороге за авангардом.

Правой колонне, руководимой генерал-лейтенантом Вельяминовым, из Врачеша идти на гору Умургаш, а оттуда спускаться в направлении деревни Желяева.

Отдельной Этропольской колонне генерал-майора Дандевиля выступить через Баба-гору к деревне Буново.

Отрядам Шувалова у Араб-Конака, принца Ольденбургского против горы Шандорник, генерал-майора Брока на Златицком перевале оставаться на занимаемых ими позициях и сильными демонстрациями отвлекать внимание неприятеля, в то время как движение Этропольской колонны создаст видимость, что именно там будут направлены главные силы.

Между тем основные войска двинуты на нашем правом фланге. Сам Гурко следует за авангардом Рауха впереди колонны Каталей.

«Что ж! — думает командующий. — От судьбы своей никуда не уйдешь. С нашей стороны сделано все возможное для успеха. В остальном да поможет нам бог!..»

День наступил ясный, солнечный и не холодный, и это

Гурко считал хорошим предзнаменованием: все выигранные им в Болгарии битвы сопровождались солнечным блеском и теплой погодой. Так было в первом Забалканском походе, под Горным Дубняком, Телишом и, наконец, у Праща и Этрополя. Однако уже три часа пополудни, а половина авангардной колонны еще не втянулась в гору.

Пройдя ущельем около шести верст, командующий со свитой остановился против неширокой дорожки, отделяющейся от шоссе и круто загибающейся в гору. Вся видимая по горе эта тропинка, а также шоссе у подошвы были запружены солдатами, орудиями, зарядными ящиками. Едва Гурко сошел с коня, как был окружен начальниками частей, жаловавшимися на трудности крутого подъема по обледелой тропе.

— Лошади бессильны, — оправдывался полковник Сиверс. — Дорожка до того скользкая, что и пешему взбираться мучительно, а каково артиллерии? У меня в бригаде полтора десятка лошадей поломали ноги...

— Начнется крутой подъем, — глухо ответил Гурко, — лошадей долой! На людях везите!

— Невозможно, ваше превосходительство...

— Как невозможно? На лошадях невозможно — люди, если нужно, на стену влезут!..

Дорожка, по которой медленно тянулись орудия, лепилась над обрывом. За ним высилась куполообразная гора, сплошь поросшая лесом и запиравшая горизонт. Чистейшим пухом кругом лежал снег. Гурко то и дело посылал к Рауху ординарцев с записками: «До какого пункта дошли орудия?», «Спят у вас, что ли, люди?»

Наконец он не выдержал и поехал по тропинке, подбадривая солдат, помогая им, целыми часами следя за движением одной пушки.

Лошади давно уже были выпряжены из орудий и зарядных ящиков, и солдаты впряглись в них сами, перекинув гужи и веревки через плечи. Каждую пушку тянуло по двести солдат. Крики и понукания неслись от подъема до далекой и еще не видной высоты. Тяжело согнувшись, по шесть человек в ряд, солдаты тянули на себе железное чудовище, скользя, падая, поднимаясь и вновь напрягаясь всем телом.

— Ге-ей! У-у-у! Вали, вали! Ура-а-а! — раздавалось на горе.

Генерал Раух перебежал от одной кучки солдат к другой, кричал:

— Вперед! Четвертое орудие — марш!

— Дорога заграждена! — раздавалось в ответ.

— Тяни до упора! Вперед! — приказывал генерал, пробираясь сторонкой по глубокому снегу.

Солдаты Козловского полка остановились с орудием, ожидая, пока двинется дальше зарядный ящик, преградивший впереди путь.

— Молодая, — говорит новобранец, поглаживая ствол, — со мной вместе на службу поступала.

— Так ты ее крепче держи, — советует старослужащий. — Еще сорвется в пропасть.

Как на грех, камешек, подложенный под колесо, скользит, и вся машина подается назад. Часть козловцев отскакивает в стороны, остальные наваливаются на задок и успевают удержать орудие на краю пропасти.

— Ребята, эй! — кричит старослужащий. — У кого нога чешется, подставь!

Стало быстро темнеть, окружающие горы потонули во мраке. Чем выше ползли солдаты, тем тяжелее им было.

— И кто понастроил эндаткие горы! — вздыхает молодой солдатик.

— А все турок проклятый! — отвечает старослужащий. — Без его так и шли по суше без всякой помехи ат до самой Софии.

— Кабы на гору, дяденька, взобраться, все легче... — мечтает солдатик.

— Вот я шесть лет служил на Кавказских горах, — отзывается «дяденька». — Там скалы почище энтих гор, а дороги не в пример легче...

Еще через час солдаты один за другим начали падать в снег. Целые партии козловцев, не выпуская гужей и веревок, лежали на тропинке и спали. Поднимавшийся на перевал Гурко сумрачно оглядывал их.

Около полуночи он остановился у казачьего поста, расположенного в лесу у перевала. Тут горел яркий костер. Неподалеку стоял шалаш, наскоро сооруженный из прутьев и покрытый сеном. Гурко слез с лошади, бросив ординарцам:

— Ночь проведем здесь...

Нагловский примостился рядом с командующим. Гурко поминутно посылал ординарцев за десять, пятнадцать верст по горам: то в колонну Вельяминова, то на позиции Шувалова, то к Рауху.

— Авангард ползет черепашим шагом... Еще ни одно орудие не втащено на перевал... — глухо сказал он начальнику штаба. — Турки могут пронюхать о нашем обходном движении. Тогда они укрепятся в проходах, и все будет проиграно!

От Вельяминова пришло невеселое донесение, что путь на Умургаш тяжел до крайности, почти невозможен для артиллерии, хотя сам он готов втаскивать орудия даже и на египетскую пирамиду.

Через несколько часов бодрствования сдал и железный организм командующего: у костра, закутавшись в рыжий войлок, Гурко задремал. Нагловский не смыкал глаз. Он принимал донесения и сам отдавал распоряжения.

Костер догорал, пламя угасло, оставив лишь рдяные угли. Белая яркая луна высоко взошла на небе. Становилось все морознее. Какой-то солдатик, увидя с дороги костер, завернул к нему, тихонько переступая через спящие фигуры, и присел у ног Гурко. Он достал манерку, нагреб в нее снегу и стал растапливать снег, кроша сухари. Один из ординарцев спросил его:

— Дядя, а ты из Плевны будешь?

— С-под Плевны, — отвечал солдат неохотно.

— А где же ты уселся? — полюбопытствовал ординарец.

— Сухари варю.

— Ведь ты, дядя, у генерала в ногах сидишь.

Солдат обернулся, молча поглядел на рыжий войлок и остался на месте, мешая кусочком палки воду с сухарями.

— Генералу холодно, — снова заговорил ординарец. — Ты бы пошел дровец в огонь подложил — генерала бы согрел...

Солдат так же молча встал, исчез в темноте и через несколько минут появился с охапкой прутьев. Костер затрещал, вспыхнуло снова пламя, и густой дым поднялся в холодном воздухе. К солдату обратился Нагловский:

— Тяжело было тащить орудие?

— Тяжело, ваше благородие, — ответил тот, не подозревая, что говорит с генералом.

— Теперь вам чуть-чуть осталось до перевала. Приналягте, голубчики, немножко...

— До-отащим, ваше благородие! Не сумлевайтесь! — уверенно и спокойно ответил солдат.

А в версте от них дежурный по батальону поручик князь Кропоткин обходил преображенцев, которые наутро должны были сменить Козловский полк.

Он остановился у края ущелья, вглядываясь в молчащую черную пустоту, и задумался. Вспомнил невесту в Петербурге, бледную девушку, учившуюся на Бестужевских курсах, ее тонкую, с близкими ниточками вен кожу, от которой горьковато пахло увядающим нарциссом.

«Останусь жив, обвенчаюсь тотчас же по приезде... — решил он и загадал: — Если до конца дежурства не будет ни одного выстрела, останусь жив...»

Неподалеку тлели огоньки трубок: в низинке расположились биваком солдаты, коротая время разговорами.

— А что, ребята, я вам скажу, — послышался голос. — Ведь братушки-то здешние куда против нас лучше живут... Земля сама все родит, да по два раза... А уж сколько тут свиней, птицы, овец! Вот у нас бы в Расее так...

— Зато турок лютует пуще нашего ундера, — насмешливо ответил ему другой солдат.

— Лютует, чисто зверь... — согласился третий голос, в котором поручик узнал Иошку. Кулинарными упражнениями повару было теперь заниматься невозможно, и он ушел в роту. — А вот на ундера вы напрасно. Вы, братцы, и не знаете, как лютовали в армии раньше, а я знаю. Вот тогда начальство мучило нас, ровно турок. Я ведь двадцать лет как служу, и первый десяток лет ходил в солдатах...

Кропоткин понял, что Иошка уже пропустил пару стаканчиков и теперь находится в благодушном настроении.

— Раньше, братцы, так лютовали, что сам черт не вынес... Знаете сказку про черта?

— Нет, Иошка, расскажи! — с разных сторон посыпались просьбы.

Поломавшись для порядка, Иошка начал:

— Извольте. Было это, братцы мои, не то чтобы давно, да и не то чтобы недавно, а так себе — средние. Аккурат перед отменой крепостного права. Жил-был это один солдатик в полку, вот хоть бы как ты теперь. Молодой еще, не старый... Сгрустнулось очень ему, домой захотелось... И подумал себе он тут: «Ах, кабы хоть черту-

дьяволу душу свою прозакладывать! Пусть бы он за меня службу нес, а меня бы домой снес». Глядь, он, черт, тут как тут! «Изволь, — говорит, — пошто не удоблетворить...»

— Ишь ты! — восхитился первый солдат. — Бога не убоился!

На него шикнули, и Иошка продолжал, вдохновенный общим вниманием:

— Ну-с, так вот и закабалился черт в службу солдатскую на двадцать пять лет. Снял с себя солдатик амуницию и ружье поставил, и тут его чертовым духом подняло и понесло вплоть до Тапбовской губернии, до села родимого, до избенки его горемычной. Зажил себе солдатик во свое удовольствие, а черт, значит, службу за него справляет...

Кропоткин придвинулся поближе к солдатам, стараясь не смутить их, не обнаружить своего присутствия. Сказка увлекла и его.

— Перерядился дьявол во солдатскую шинель, — журчал голос Иошки, — не хочет только португею крестнакрест надевать — вестимое дело, боится креста-то. Взял да и надел через левое плечо и тесак и сумку и словно ни в чем не бывало похаживает себе с ружьем на часах. Приходит смена. Ефрейтор глядь: «Чтой-то у тебя, брат, тесак по-каковски надет?» — «Да што, братцы, правое плечо сомлело — болит...» — «Вот те: на плечо! Надевай!» — «Как хошь, не надену!» Доложили после смеху ундеру старшему. Ундер черту зуботычину: надевай, значит. «Не надену — плечо болит». Он ему другую. «Нет, што хошь, не надену!» Ротному докладывают. Ротный ему на другой день всполосовал спину: «Надевай!» — «Нет, что хошь, не надену!» Полковому доносят. Полковой ту же самую расправу над ним сочинил, а черт все-таки не надевает... Что тут делать? Шефу докладывать приходится. А черта между тем по спине полосут: «Надевай, значит!» — «Нет, не надену!» Наконец в лазарет слег да через три дня и помер... «Нет, — говорит, — немоготу...»

Иошка закончил сказку, но все молчали. «Они восприняли ее, — подумал Кропоткин, — и не сказкой во все, а тяжелой бивальщиной». И теперь офицеры и унтеры, случалось, раздавали зуботычины, хотя прежнего мучительства не было.

— Да, — нарушил молчание голос, очевидно, бывало-

го солдата. — Битье ни в чем не поможет. Медведя и то палкой не научишь...

Тут неподалеку сухо и громко треснул выстрел. Кропоткин вздрогнул и пошел на него. Он наткнулся в темноте на штабс-капитана Рейтерна.

— Что, турки? Обнаружили нас? — тревожно спросил поручик.

— Да нет! — ответил Рейтерн. — Нелепая случайность. У артиллеристов офицер чистил перед костром револьвер и забыл в барабане патрон. Представляешь, залепил себе прямо в лоб. Какой-то Полозов.

13

Гурко проснулся раньше, чем показалась заря на небе, потребовал сейчас же лошадь и поехал на вчерашнюю тропинку следить за подъемом орудий. В этот день дело пошло гораздо успешнее. Козловский полк, утомленный форсированным маршем из-под Плевны в Орхание, был заменен лейб-гвардии Преображенским. Десятифунтовые орудия скоро полезли в гору на руках солдат под «Дубинушку» и нецензурную песню про некую бесшабашную Ненилу, со свистом, гиканьем и прибаутками. К тому же гвардии, вооруженной легкими берданками, было проще — отвернул штык и закинул берданку за спину. Уже восемь орудий были втащены на перевал, остальные подтягивались. В гору поднималась вся авангардная колонна.

Гурко к вечеру вернулся на казачий пост, где он провел предыдущую ночь, усталый и измученный. Целый день он не сходил с лошади, целый день ничего не ел.

— Дело благодаря бога, кажется, продвигается! — громко сказал он, растянувшись у костра и закрыл глаза.

Лицо его было бледным и истомленным. Но спал он недолго: через полчаса поднялся и приказал Красухину седлать свежую лошадь, чтобы ехать в отряд Шувалова, отвлекавший внимание турок у Шандорника.

— Как только стемнеет, начать спуск с горы! — распорядился Гурко и добавил, обращаясь к командиру преображенцев флигель-адъютанту Оболенскому: — Вас не манит туда, полковник? — и указал на синевшую за последним гребнем гор широкую даль.

Первым ввечеру спустились казаки. А за ними офицеры, взяв своих коней в поводья, повели преображен-

цев вниз по скользкой тропе. Было совершенно темно, вьюга била в лицо мелким снегом, но гвардейцы шли весело. Внизу уже горели мелкие огоньки селения Чурьяк, лежавшего в низине, которая соединялась с долиной Софии.

Русские были уже за Балканами.

14

Болгарские проводники со страхом восприняли намерение русских идти на Баба-гору с заходом в тыл турецкому правому флангу. Они утверждали, что влезть на Баба-гору невозможно, что в эту зиму снега выпало слишком много. В ответ начальник авангарда генерал Краснов и усом не вел:

— Пустяки, братушки... Эка невидаль — снег...

Доктор Цареградский развил кипучую деятельность и собрал в помощь русским около восьмисот болгар. Лесная дорога, врытая в крутые скаты, была совершенно забита снегом, который болгары отваливали огромными сугробами. Вскоре они нагнали орудия авангарда и начали расчищать путь далее к перевалу. Четырехфунтовые пушки снимались ими с лафетов, к ним привязывался длинный канат и поперек его толстые палки. Человек по пятьдесят болгар тащили каждое орудие, оглашая горы песней: «Ой, ви, болгаре-юнаце, ви во Балканы родени...»

Краснов уже находился в густом лесу под самую макушкой лысой Баба-горы и отсюда обозревал вершины Балкан.

Вправо от него виднелся главный турецкий редут Шандорника. За ним, еще правее позиции графа Шувалова: Павловская гора, Московская, Финляндская, получившие имена по названиям штурмовавших их полков. Внизу и левее в тонком синем тумане расстилалась Софийская долина, ближайшая цель всех трудов и помыслов, а на окатах к ней холмы, увенчанные высокими турецкими редутами, из которых по временам вырывались клубы дыма. Краснов без бинокля видел, какая суега кипит в ближайшем из них — редуте Гюльдииз-Табия, заправлявшем путь на Буново. Турки непрерывно сновали к лесу, где виднелись землянки обширного лагеря, и обратно к укреплениям. Под укрытым уступом Баба-горы темнели дома большого селения Мпрково.

К вечеру 14 декабря на перевал к Краснову поднялся начальник всего Этропольского отряда Дандевилль. Он стеснялся приказывать шестидесятилетнему воину, закаленному в боях, и придавал своим распоряжениям характер просьб и советов. Было решено назавтра завершить расчистку дороги, выставить против буновских укреплений два орудия и начать обстреливать турок.

— Хоть с одной пехотой, а упадем неприятелю как снег на голову... — прощаясь с Красновым, сказал Дандевилль.

Но утром 15 декабря все пришлось делать сызнова: снег за ночь завалил расчищенную было дорогу. Дандевилль, мрачный, с лихорадочным румянцем, появился в турецкой палатке Краснова. У входа горел яркий костер, над которым кипел медный чайник. Рядом урчала в котелке казачья похлебка.

Краснов в меховом тулупчике и теплых сапогах невозмутимо восседал на сене, покрытом ковриком.

— Не проедем мы с орудиями, Данила Васильевич! — высказал свое огорчение начальник отряда.

— Проедем, — преспокойно ответил тот. — Не угодно ли чайку?

— Да ведь надо с орудиями торопить!

— Успеем. Пусть болгары покуда подходы расчистят. А оружия готовы... А что вы получили нового от Иосифа Владимировича?

— Да все откладывается переход через перевал... — с досадой сказал Дандевилль. — Может, нам пока рекогносцировку провести на Мирково? Не послать ли туда драгун?

— А кто ж их знает... Давайте пошлем...

— А вы как думаете? — не унимался Дандевилль.

— Ничего я о них не думаю, — неохотно отозвался Краснов. — Как прикажете. Эй, урядник! Беги в драгуны, чтоб седлать да на перевал.

Наконец доложили, что орудия продолжают свой путь вверх, на Баба-гору.

Генералы отправились следить за подъемом. Краснов, как всегда, с любовью и заботой оглядел своего дончика. Видя, что все в порядке, он медленно подошел, лениво взял поводья с гривой и занес ногу, но только она коснулась стремени, легко, как юноша, взлетел в седло, потом по казачьей привычке привстал на стременах, под-

хватив под себя пальто, и весело крутанул коня на месте.

Когда орудия втащили на перевал, оказалось, что выстрелами они не достают до неприятельских ложементов. Лишь отдельные гранаты, лопаясь, заставляли часть турок разбежаться. Однако множество людей продолжало усиленно рыть, копать, укрепляться.

— Да ведь это они болгар нагнали, — сказал Краснов, рассмотрев что-то своими рысьими глазами.

Мимо генералов гуськом стали спускаться посланные на рекогносцировку в Мирково драгуны. Но едва они показали на обращенном к неприятелю скате, как с турецкой стороны понеслись дымки и пули зацелкали с частотой барабанной дроби. Драгуны остановились, а там и повернули назад.

— Ну эдак они до Миркова не доедут, — ворчливо проговорил Краснов.

— Однако драгунам ведь трудно, Данила Васильевич, — вступился за них Дандевилль. — Их как тетеревов перестреляли бы. А к туркам лезть вон как круто по снегу-то...

— Ничего, — погладил свою сивую бороду Краснов. — Я завтра своих пошлю. А драгуны стороной, ложиной могли бы идти. Ведь вон Мирково — видно! А у турок-то, примечай, кавалерии нету...

Дорогой на биваке он пошептался со своими казаками.

— Попов где? А Моргунов? А этот, что, помнишь, под Журавлями-то вызвался, как его? Да кавалер же он! — слышалось из окруживших генерала казаков.

На другой день авангард отряда уже стоял на перевале, чтобы после ночевки спуститься к Бунову и атаковать турок. Дело близилось к развязке. Вечером ушли в разведку и красновские казачки.

Однако ночью произошло нечто такое, чего не могли припомнить даже болгарские старики: началась вьюга, которая, с каждым часом все усиливаясь, перешла в ураган. Огромные массы снега обрушились на русский лагерь и на Баба-гору, с которой прервалась всякая связь. Дандевилль отправился в палатку Краснова, с трудом разгребая сугробы.

Старик лежал, но свеча у его изголовья горела.

— Что такое стряслось? — спросил он, садясь на сене.

— Дело плохо, Данила Васильевич, — присел рядом Дандевилль. — Вьюга немислимая. Я послал вернуть войска с перевала, но добраться до него невозможно. Очень боюсь и за ваших-то. Ведь они ушли еще дальше, на Мирково!

— Так что? — удивился Краснов с каким-то пренебрежением.

— Да ведь пропадут в такую бешеную метель! Ведь они пешком ушли!

— Помилуйте, не пропадут. Землееды! Что им вьюга...

— Ну а как мы завтра справимся?

— Так что ж с вьюгой делать-то? — спокойно возразил казак. — Я уж вон по палатке вижу. О, как навалило, — похлопал он по нависшему полотну. — Против бога не пойдешь!..

Буря бушевала, отрывая полу палатки и врываясь в нее. Никто из командиров не спал. В восемь утра 17 декабря Дандевилль выбрался наружу. Ветер врывался со стороны ущелья страшными порывами, крутя тучи снега. Вершины громадных деревьев мотались во все стороны и гнулись как тростник. Попытки проехать на перевал ни к чему не приводили: в двух десятках шагов нельзя было ничего увидеть. Стали стрелять из револьверов, но звук выстрела, встречая снежный вихрь, тут же угасал.

— Едет, едет кто-то! — закричал Краснов, вглядываясь в белую круговерть.

Всадник на лошади по брюхо в снегу медленно сползал с перевала. Весь белый, он остановился перед генералами. Лошадь, опустив голову и растопырив ноги, тяжело дышала. Солдат разжал кулак со смятой запиской.

«Во вверенном мне полку, — читал Дандевилль донесение командира псковцев, — больных 520 человек, из них 170 с обмороженными пальцами на руках и на ногах. По случаю сильной бури костров развести невозможно...»

В записке ни слова об оставлении позиции, о невозможности держаться на месте.

— Молодец, брат, спасибо! — сказал Дандевилль. — Отчего же раньше не дали знать, что у вас делается?

— Да ночью совсем нельзя было... Уж пытались... — спокойно ответил солдат.

Дандевилль отдал приказ о возвращении отряда с перевала. Два десятка казаков, словно в атаку, ринулись в снежную стихию. Цареградский что-то прокричал бол-

гарам, и те как шальные взялись за лопаты. Был уже полдень, но снег так густо крутился над головами, что лучи солнца не могли пробиться. Казаки доставили новую записку командира псковцев:

«Во вверенном мне полку в каждой роте остается не более 20 человек. Все обмороженные отправлены. Костры невозможны. Если до вечера полк не будет отведен с позиций, то не останется людей...»

Вскоре больные и обмороженные стали прибывать на бивак. Некоторых казаки везли на лошадях, иных вели за руки, другие держались за хвосты и гривы. Не имея сил нести ружья, больные ставили их по дороге в снег для указания пути. По этим вехам и протаптывалась дорога сновавшими вверх и вниз казачками. Стоны раздирали душу. Высокий седой болгарин, работавший всем в пример целый день и давно обморозившийся, стоял перед доктором в палатке и молча протягивал ободранные по локоть, почти без кожи сильные атлетические руки. Принесли десять солдат замерзших, без признаков жизни. Снег все валил и валил, хотя метель, по видимости, начала стихать.

Дандевилль ехал на своем рыжем коне, мучаясь тем, что приходится отступать к Этрополю, что болгары оказались правы, говоря о страшных метелях на Баба-горе, что на перевале брошены орудия. Отряд перемещался к Златицкому перевалу, чтобы вместе с находившимися там войсками ударить по туркам.

Едва Дандевилль устроился в Этрополе, как адъютант доложил, что его ожидает какой-то казак. «Неужели один из красновских молодцов?» — изумился начальник отряда и велел немедленно впустить.

Молодцеватый, небольшого роста георгиевский кавалер, в новенькой шинели, сапогах, напомаженных деревянным маслом и щегольски причесанный, шагнул в дверь, потом влево и встал у притолки:

— Вахмистр 6-й сотни 26-го Донского полка Попов! — доложил он.

— Здорово, Попов! Рассказывай, как ты съездил в Мирково, — поднялся ему навстречу генерал.

— Здравия желаю! Как это мы с товарищами лошадей вернули, а сами пошли пешки...

— Да зачем же пешком?

— Лошадей жалко стало, ваше превосходительство! Как вьюга началась, с ними совсем тягота одна была.

Мы коней-то вернули и уж недалече от Миркова встретили еще засветло болгарина с баранами. До пятисот голов было. Гнал он это эт турков, говорил, отбирают. «Ты, мол, к нам гони, — я ему говорю, — у нас за деньги». — «И то, — говорит, — погоню...»

— А ты по-болгарски знаешь?

— Могу понимать, ваше превосходительство! Оно близко как по-церковному говорят. Как мы это с болгаринком поговорили, он нас и повел в Мирково, чтобы все узнать. Он нас ночью вывел к самой деревне, да на лбище такое. Близко вот как, да страсть круто. И дороги никакой нет...

— Как же вы спустились?

— Да на ж..., ваше превосходительство.

— Ну а в деревне что вы делали, — едва удерживаясь от смеха, спросил Дандевиль, любуясь казаком.

— В деревне все уже спать. Наш болгарин бросил нас под забором, да и пошел искать своего земляка, и с ним опять прибеж. Докладывал нам тот болгарин, что, мол, турки вчера привезли еще два орудия, горные, значить, в Буново, слышь, посылать хотят, а что пехоты там до тысячи да башибузуков ста два.

— А назад как же вы?

— Назад уж по дороге, ваше превосходительство. Так на тропочку малую из деревни вывели. Только этот наш пастух погнал баранов верхом, дюже снегу было по логам-то. И заплутался он, потому вьюга сильная была. К утру привел он все же к нашим, на Златицкий перевал, там отогрелись. А сегодня с баранами сюда пришли, потому, сказывали, ваше превосходительство приказали эту позицию бросить. Только виноваты, ваше превосходительство, баранов дюже растеряли, больше сот трех не будет...

— Молодчина ты, Попов! Спасибо тебе! Поблагодари от меня товарищей. Список их есть у меня. Все они целы?

— Рады стараться, ваше превосходительство! — гаркнул вахмистр. — Двое, вон, себе по глупости пальцы ознобили, да и рожу так, пустяки!

— Отчего ж по глупости? — снова изумился Дандевиль.

— Потому у нас одежда хорошая была, ваше превосходительство, и теплая. Зачем они ознобились?

Как только вахмистр вышел, к Дандевилью явился, не скрывая своей хитровой улыбки, Краснов.

— Едем на Златицкий перевал, — встретил его Дандевиль, повеселевший после разговора с казачком.

— Отлично! — воскликнул старик, махнув кверху фуражкой. — Вот это дело! Сегодня, верно, еще не выедем?

— Нет, надо подготовиться. Распоряжусь и, наверное, завтра...

— Вот и чудесно! — улыбнулся Краснов. — Уж вы мне позвольте тогда с казачками на Бабью гору съездить. Очень она мне понравилась. Да и что там с орудиями, надо узнать...

Дандевиль молча обнял старого казака и расцеловал его.

15

Лейб-гвардии Преображенскому полку, как первому полку гвардии, выпала честь прокладывать путь в Балканах остальным войскам. Они разрабатывали дорогу на Чурьяк, первыми спустились в Чурьяк и заняли выход в долину Софии.

К 18 декабря у Чурьяка собрались главные силы Гурко — вся колонна Рауха и колонны Каталя и Вельяминова. Переход через Балканы в суровую зиму был блистательно завершен. Теперь Гурко мог закончить свой стратегический план — по долине Софии зайти в тыл неприступных турецких позиций у Араб-Конака и Шандорника.

Турки спешно укрепляли тылы своих горных крепостей, избрав для этого возвышенности у селения Ташкисен. Гурко развернул войска, разделив их на несколько колонн. Генералу Вельяминову было поручено сторожить неприятеля со стороны Софии, Раух атаковал Ташкисенские высоты с фронта, а генерал Курлов обходил их с левого фланга. В то же время колонны графа Шувалова и полковника Васмунда должны были появиться в горах против правого фланга турок.

В девять утра 19 декабря раздались у Ташкисена первые пушечные выстрелы. Гурко с высокого холма близ села Даушкиной оглядывал поле битвы и мог убедиться, что его план наступления выполняется отменно.

Справа расстилалось ровное снежное поле Софийской долины, за которой в тумане смутно различались цепи Малого Балкана. Слева ниспадали в долину склоны Большого Балкана, а прямо напротив торчала возвышенность у Ташкисена, увенчанная по гребню двумя редутами и рядами ложементов. Лейб-гвардии Преображенский полк уже взбирался под выстрелами к неприятельским позициям. По долине двигались массами новые войска, выходявшие со стороны Чурьяка, а слева спускались с гор колонны Шувалова и Васмунда.

Видя, как их обтекают со всех сторон русские, турки не выдержали и, едва преображенцы ворвались в редуты, бежали к Араб-Конаку, а оттуда на Златицу. Однако там их встретили спустившиеся с перевала гренадеры Любвицкого, казаки и драгуны Краснова и вся колонна Дандевиля. Со своей стороны, Гурко поручил преследовать неприятеля 3-й пехотной гвардейской дивизии генерала Каталя.

План обходного движения через Балканы и обложения турок на линии Араб-Конак — Шандорник был окончательно исполнен.

В Ташкисене Гурко получил извещение, что у Софии происходит горячее дело: неприятель большими силами атаковал колонну Вельяминова. Однако два часа спустя прискакали новые вестовые с донесением, что атака везде отбита, и привезли с собой турецкое знамя, которое тотчас было выставлено на крыльце командующего.

Весть о нападении турок на заслон Вельяминова побудила Гурко ускорить наступление на Софию. В ночь с 20 на 21 декабря он приказал авангарду Рауха выступить из Ташкисена, а в полдень выехал сам.

Сделав около двадцати верст, Гурко услышал невдалеке стук ружейных выстрелов, раздавшихся на самом шоссе. Генерал дал шпоры лошади, и свита поскакала за ним по скользкому шоссе. Не доезжая с версту до места сражения, Гурко поднялся на курганчик, чтобы лучше следить за его ходом. Впереди лежала река Искер, по ту сторону которой ярко пылала деревня Враждебна, подожженная турками. Засевшие у моста несколько рот турецкой пехоты обстреливали аванпостную цепь преображенцев. От Софии двигалась масса неприятельской пехоты на подкрепление туркам.

Гурко приказал преображенцам взять влево, перейти Искер по льду и ударить противнику во фланг, в то вре-

мя как гвардейская стрелковая бригада наступала с фронта. Затем он распорядился выставить к курганчику орудия и бросать гранаты в подхитивших от Софии турок.

Пушки вынеслись на полных рысях, и тотчас же загудели в воздухе гранаты. Первые же выстрелы заставили турецкую пехоту остановиться, а затем повернуть назад.

Преображенцы шли через Искер побатальонно, маршируя как на параде. Солнце опускалось уже к закату на цепи Витоша, окрасив их в густые синие тона. Противоположные цепи Большого Балкана светились нежно-розовым светом и казались прозрачными. Бледно-розово отливала и вся снежная долина Софии. В пылавшем селении Враждебна густой дым поднимался шестью громадными столбами, сквозь которые просвечивало красное пламя.

— Смотри! Как красиво! — воскликнул поручик Кропоткин, маршируя рядом с Рейтерном. — Это же не бой, это опера!

Он повернул к штабс-капитану свое молодое улыбающееся лицо и, не меняя выражения, стал медленно оседать на лед.

— Кропоткин! Голубчик! Что с тобой? Ты ранен? — закричал Рейтерн, подхватывая его под мышки.

— Нет, — явственно ответил поручик, продолжая улыбаться. — Я не ранен. Я убит.

Улыбка уже застывала на его лице, которое делалось иным, фаянсовым, белело уже нездешней белизной.

Преображенцы обошли маршем горящую деревню Враждебна и были остановлены приказом Гурко. Он хотел подождать, пока вернутся основные силы из Араб-Конака и Ташкисена.

Получив донесение, что сербские войска, пользуясь непрерывными победами русских, сами продвинулись вперед, заняли город Пирот и приближаются к Софии, Гурко предложил союзникам закрепить общее братство совместным наступлением на Софию 24 декабря, накануне праздника рождества Христова.

По диспозиции 24 декабря колонна Вельяминова должна была обойти Софию с правого фланга, а Раух

вести атаку с фронта. Войска стояли наготове, когда 23 декабря около одиннадцати утра от Рауха прискакал вестовой с донесением, что София оставлена турками, брошившими все свои лагеря и огромные склады. Причина их бегства была та же самая, что и поспешное отступление из-под Араб-Конака: искусный и быстрый маневр обходного движения через Балканы.

Гурко в минуту уже сидел на коне и мчался в галоп по шоссе к городу. Густыми колоннами шли войска, и солдатская песня гремела повсюду густо, с удалским напевом: «Ах, вы сени, мои сени...» — раздавалось в одном месте. «Где мы с вечера резвились...» — хором вывели солдаты впереди.

— Здорово, стрелки! Здорово, измайловцы! — прерывал на секунду песню мчавшийся мимо колонн Гурко. — Спасибо вам за службу!

«В хороводах веселились...» — звучало сейчас же за проскакавшим генералом.

Минареты Софии уже высились совсем рядом, широко по долине разворачивались кварталы. У ворот города густо толпился народ. Духовенство с хоругвями и образами ожидало Гурко. Болгары кричали, пели, хлопали в ладоши.

Гурко в сопровождении свиты двинулся к церкви святого Стефана. Из окон домов женщины, девушки и дети сыпали на голову командующего веточки мирта.

После торжественного богослужения, совершенного болгарскими священниками, Гурко вновь отправился к войскам.

В полевой госпиталь несли несколько солдат, раненых в мелких стычках с засевшими в турецких кварталах башибузуками. Один из них привлек внимание генерала. Опрокинутая голова с закрытыми глазами, смертельная бледность лица и скорченное в судороге тело — все говорило о сильных страданиях. Вокруг шли солдаты, провозжа своего унтера.

— Антон Матвееч, больно тебе, родимый?

— Да положите же его ловчее...

Гурко слез с коня и подошел к носилкам, узнав старого гренадера: «Я так и не отблагодарил его...»

— Куда ранен? — спросил командующий у носильщиков.

Один из них поднял борт шинели: бок мундира был разодран, рубаха и тряпка, послужившая первой перевяз-

кою, набухли кровью; с носилок тоже капала кровь. Пуля попала в нижние левые ребра.

— Солдат! — глухо и властно позвал Гурко.

Бобин застонал и открыл глаза, остановив взгляд на генерале.

— Ты узнаешь меня? Помнишь маневры... под Петербургом...

Унтер-офицер силился что-то сказать, но только бесвязные хрипы вырывались у него из горла. Наконец он совладал на мгновение с собой:

— Козлов, ваше превосход... Козлов...

— Это он своего дружка поминает, — хмуро пояснил командующему один из гренадер. — Замерз дружок-то его на перевале.

— Ты видишь меня, солдат? — снова спросил Гурко.

Бобин молчал.

— Нас он не видит, — продолжал носильщик. — Небось, Козлов его уже там встречает... Вот он с ним и разговаривает...

Да, переход через Балканы был завершен, а смерть продолжала косить людей. В случайной стычке с башибузуками был убит командир 3-й гвардейской дивизии добрый старик Каталей и тяжело ранен в позвоночник генерал Философов. Погиб и командир лейб-гвардии Волынского полка генерал Миркович, на редуте у которого под Плевной Гурко со Скобелевым соревновались в отваге.

«И сколько еще погибнет...» — пронеслось в голове командующего.

17

Совершив небывалый в истории подвиг — переход зимой через Балканы, — русские фактически выиграли всю кампанию и приблизили болгарам день обретения ими национальной независимости. Передовой Западный отряд и его командующий внесли в дело победы над османами огромный вклад. Но как своенравна и капризна для русского полководца была фортуна, зависевшая от настроений двора! Над этим горько пронизировал еще учитель Гурко — великий Суворов, говоривавший, что у богини удачи висящие спереди волосы и голый затылок...

Гурко не знал того, что императором Александром II уже принято решение о передаче командования его отрядом наследнику-цесаревичу, а его самого хотят сде-

лать лишь начальником кавалерии этого отряда. Не знал он и того, что решение это будет отменено лишь благодаря случайности: новый командующий Александр Александрович непременно желал видеть своим начальником штаба генерала Обручева, в то время как великий князь — главнокомандующий Николай Николаевич не мог простить Обручеву того, что тот отказался участвовать в подавлении польского восстания 1863 года. Когда кандидатура Обручева была решительно отклонена, наследник, обидевшись, сам отказался от назначения.

Но если бы даже Гурко знал все это, он все равно с той же последовательностью и настойчивостью выполнил до конца свой воинский долг, так как постоянно ощущал главную свою ответственность — перед своими солдатами, перед армией, наконец, перед самой Россией.

В судьбе самого Гурко русско-турецкая война 1877—1878 годов была единственным ослепительным взлетом. Награжденный за свои подвиги «георгием» II степени и званием генерала от кавалерии, он вел затем спокойную и размеренную жизнь, занимая крупные административные военные посты (с 1880 года петербургский генерал-губернатор, с 1882-го — одесский), выйдя в отставку в чине генерал-фельдмаршала. Он скончался 15 января 1901 года...

...Войска Гурко готовились к выступлению. Из Софии им предстояло, находясь на правом фланге русской армии, совершить победное шествие через Татар-Пасарджин, Филиппополь, Родопские горы вплоть до берегов Эгейского моря, тесня и преследуя деморализованных турок Сулеймана-паши.

25 декабря 1877 года Гурко продиктовал приказ отряду, поздравляя его с одержанной двойной победой — над врагом и природой:

«Занятием Софии окончился этот блестящий период настоящей кампании — переход через Балканы, в котором не знаешь, чему удивляться: храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем или же стойкости и терпению в перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами и глубокими снегами. Пройдут года, и потомки наши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: «Здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей».

Дмитрий Жуков

«НА ШИПКЕ ВСЕ СПОКОЙНО!»

1. Предчувствие

Верещагин вернулся из Парижа через двадцать дней, но не задержался в шумной и людной Главной квартире, взбудораженной прибытием в армию царя, а сразу же переехал из Плоешти в Журжево, где стоял старый Скобелев со своей дивизией. Уже наутро от начальника дивизии прибежал казак.

— Ваше благородие, турки из пушек стреляют. Их превосходительство генерал Скобелев просят — пожалуйста на берег.

Дмитрий Иванович Скобелев, красивый старик с большими голубыми глазами и рыжей окладистой бородой, сидел со своим штабом под плетнем и смотрел на реку. Солнце уже съело утреннюю дымку, и раскинувшийся на том берегу Дуная городок Рушук с его фортами, минаретами и большим военным лагерем был виден как на ладони. Форты плевались клубками дыма, потом доносился треск пушечных выстрелов и слышался вой снарядов, разрывавшихся то в воде, то далеко на берегу, там, где начинались городские дома.

— Василий Васильевич! — закричал Скобелев. — Полюбуйтесь! Турки пронюхали, верно, что мы готовим переправу.

Перед городом, между берегом и островком, стояли на приколе старинные купеческие суда, какие-то допотопные барки.

— Туда метят, — добавил генерал. — Думают, мы на этих ковчегах переправляться будем.

Художник Верещагин, приложив ладонь козырьком к высокому и гладкому лбу и прикрыв ею от солнца узко-

ваты, глубоко сидящие глаза, смотрел, как сыплют из домов жители с прихваченным впопыхах скарбом. Статный, высокий, он не производил впечатления человека мирной профессии, случайно затесавшегося в толпу офицеров. Орлиный нос, усы, густая борода, плотно облегающий фигуру сюртук с Георгиевским крестом в петлице, пашка на тонком ремне, револьвер — вид был весьма воинственный.

...Снаряды рвались уже возле барок, но именно там, на палубе одной из них, оказался художник, наблюдавший как замороженный за кутерьмой в домах и за падением снарядов в воду. Турки пристрелялись, и гранаты уже ударили в самый песок берега. На что похожи взрывы? То ли на букеты, то ли на кочаны цветной капусты... Взрываясь в воде, снаряды вздымали высокие фонтаны. Один снаряд угодил в нос барки, на палубе которой стоял Верещагин. Другой пробил борт и взорвался в трюме, встряхнув судно так, что художник еле устоял на ногах.

Было жутковато. Над турецким фортом появился очередной клубок дыма, и Верещагин подумал:

«Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, сметет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек».

Видение собственной смерти пронизало всю плоть его дрожью ужаса, вещего ужаса, ибо через четверть с лишним века суждено будет художнику умереть именно той смертью, какую нарисовало ему воображение, но он поборол страх... Он всегда умел подавлять страх. Чтобы уметь бороться со страхом, надо родиться мужественным человеком и упорно воспитывать себя.

2. Воспитание мужества

Прошли почти тридцать пять лет с того дня, когда череповецкий помещик Василий Васильевич Верещагин записал в своей «памятной книжке»: «1842 года, 14 октября, в семь часов вечера родился сын Василий». На стене висел портрет деда новорожденного, тоже Василия. Длинные напудренные волосы, зеленый с красными отворотами павловский мундир. Род Верещагиных терялся в веках, но знатностью и богатством не отличался. Все это был средний служилый люд, да и сам Василий Васильевич дослужился в сенате лишь до чина коллежского ассессора, вышел в отставку, поправил дела женитьбой на богатой невесте Анне Николаевне Жеребцовой и три трех-

летия подряд избирался предводителем дворянства в Череповецком уезде Новгородской губернии.

Имея характер спокойный, рассудительный, флегматичный даже, но упорный, он уживался со своей красивой узкоглазой женой, внучкой не то татарки, не то турчанки, нервной, раздражительной, вспыльчивой. Он не мешал ей зачитываться французскими романами, а когда пошли дети, предпочитал сам их воспитывать, боясь, что Анна Николаевна, безудержная на ласку и на гнев, испортит их. Детей была дюжина, а остались в живых семеро. Василий родился вторым, Сергей — третьим. Самого младшего звали Александром.

Ребенком Вася Верещагин был болезненным, но резвым. От отца ему досталось упорство, от матери впечатлительность, самолюбие и вспыльчивость. Но лучшее из качеств человеческих — совесть — привила ему няня Анна Ларионовна. Он любил ее больше всех на свете, больше отца, матери и братьев, а она покрывала его проказы, выгораживала перед родителями, выхаживала любимца.

Часто потом в дальних краях являлся перед его мысленным взором родительский дом с мезонином в полуверсте от реки Шексны, службы вокруг, поля, сосновый бор в отдалении, прогулки с няней за грибами, катанье с гор зимой... Не катаясь ли с гор, сломал он себе руку и, когда деревенская костоправка занималась ею, не вскрикнул ни разу, боясь потревожить болевшую мать... Шесть лет ему было. Он с восторгом всматривался в образа во время церковных служб, перед любой литографией или картиной млея и терялся. То ли в шесть, то ли в семь лет срисовал он с платка своей няни картинку — тройку лошадей преследуют волки. И волки, и стреляющие в них седоки, и деревья, покрытые снегом, получились у него так хорошо, что няня, отец, мать и многие приезжие дивились и хвалили маленького художника, но никому и в голову не пришло, что это может оказаться его призванием, что не худо бы дать ему художественное образование. Ему, сыну столбовых дворян, записанных в 6-ю родословную книгу, сделаться художником? Что за срам!

Семи лет Васю Верещагина отдали в Царскосельский малолетний кадетский корпус. Плакал он, расставаясь с няней, с родителями, переходя на попечение дядек и классных дам. Вставать по барабану, молиться по сигналу, есть по команде, ни шагу не делать без строя, полу-

чать розги в наказание за проступки — это не отцовский дом, где тоже водились розги и для крепостных, и для детей, но не такие обидные. У гордого мальчика хватило способностей, чтобы стать лучшим по успехам, избегать наказаний, быть первым по чину в своем классе. Он овладел французским и английским языками, но математика давалась туго. Она и подвела его через три года, когда подошла пора переходить в Морской корпус, и Вася Верещагин оказался лишь в подготовительном классе.

Ему казалось, что товарищи смеются над ним, и он работал, не признавая усталости, вставал в три-четыре утра, занимался до двенадцати ночи, чтобы стать первым во всем. Упорство его вызывало удивление и одобрение старших.

В десятилетнем возрасте он как-то гостил в Петергофе у генерала Лихардова, своего дальнего родственника. Тот решил пошутить над Васей и сказал, что, хотя он молодец, одного молодецкого поступка ему не сделать.

— Сделаю!

— Нет, не сделаешь!

— Сделаю! — настаивал мальчик.

— Ну тогда стань на колени, заложи руки за спину и бросься лицом вниз...

Необдуманная шутка стоила генералу тяжелого перелома руки. Он надеялся на благоразумие кадета, а тот и в самом деле стал на колени, заложил руки за спину, и... генерал успел перехватить рукой стремительно падающего мальчика у самого пола.

Еще в малолетнем корпусе Верещагин увлекался книгами по русской и военной истории, боготворил героев Полтавского и Бородинского сражений. Морской корпус, основанный в 1701 году Петром I и воспитавший в своих стенах флотоводцев Ушакова, Крузенштерна, Сенявина, Корнилова, Невельского, Нахимова, свято хранил военные трофеи и реликвии русского флота и заносил имена питомцев, отдавших свою жизнь за родину, на мраморные доски.

Имя же Василия Верещагина часто записывалось на красную доску, потому что он из месяца в месяц получал по всем предметам высший балл — 12. «Долг» и «честь» не были для него просто словами. Как и большинство русских офицеров-патриотов, выходящих из стен корпусов, он считал эти понятия необходимым условием существования. Начальство отметило его характер

и склонности присвоением воинского звания унтер-офицера. Он плывал на пароходе «Камчатка», фрегатах «Светлана» и «Генерал-адмирал» за границу, побывал в Копенгагене, Бресте, Бордо и Лондоне, где в музее восковых фигур удивлялся малому росту императрицы Екатерины II, изображавшейся на портретах всегда стройной и высокой. Это удивление потом переросло у него в негодование на историков, живописцев и писателей, извращавших истину из лести...

После плавания на «Генерал-адмирале» его признали «весьма способным к морской службе» и назначили фельдфебелем гардемаринской выпускной роты, сделав самым старшим и уважаемым кадетом Морского корпуса. А он, получив в полное свое распоряжение большую и светлую комнату и некоторый досуг, развесил на стенах гипсы и с увлечением занялся рисованием.

Он и прежде брал уроки у художников, но теперь появилась возможность ходить в Рисовальную школу петербургского Общества поощрения художников. Ее смотритель Ф. Гернер, оценивая первый же его рисунок, сказал:

— Помяните мое слово — вы будете великим артистом.

Ради школы Василий Верещагин отказался от кругосветного плавания. По его примеру братья — кадеты Сергей и Михаил — тоже стали ходить в Рисовальную школу.

Ему было семнадцать лет, когда в корпусе состоялись выпускные экзамены, которые принимала представительная комиссия во главе со знаменитым адмиралом Федором Петровичем Литке. Самый молодой на своем курсе, Верещагин набрал высшую сумму баллов — 210. У второго ученика набралось всего 196.

Но, к ужасу наставников Верещагина, тотчас после производства он подал в отставку. Морское ведомство не хотело расставаться с лучшим из выпускников корпуса. Отец пригрозил лишить его всякой денежной помощи, пророчил голодное, нищенское существование. Мать плакала...

— Брось, Вася, — уговаривала Анна Николаевна, — не оставляй прекрасно начатой службы, чтобы стать рисовальщиком... Ведь рисование не введет тебя в гостиные, а службой ты откроешь себе доступ повсюду.

Но Верещагин был непреклонен. Он настоял на своем,

и 11 апреля 1860 года его произвели «в прапорщики ластовых экипажей с увольнением от службы за болезнь, согласно его просьбы».

И он тотчас поступил в Академию художеств.

В нем не было страха перед жизнью. Почувствовав свое призвание, он не хотел терять ни года, ни месяца, ни дня. Если человек смалодушествует раз, то будет и другой. Он испугается потерять благополучие, а проживет жизнь впустую, потому что редко кому удается потом преодолеть инерцию движения в сторону и навсегда стать упущенное. Блаженны ходящие трудными, но прямыми путями. Они успевают сделать многое...

Но постоянная борьба с устоявшимися мнениями, стремление к самоутверждению отнюдь не способствуют формированию характера благостного. Нетерпимость к фальши, нежелание подлаживаться к кому бы то ни было, горячность, приводившая порой к взрывам, неистовствам даже, делали Верещагина человеком далеко не легким в общении, и у не знавших того, что знал о себе он сам, раздражительность его нередко вызывала враждебные чувства. Однако в его поступках, во всей линии жизни была своя внутренняя логика — подчеркиваемая независимость, кажущаяся противоречивость побуждений и сама вспыльчивость обнаруживали в конце концов напряженную работу ума и поиски справедливости, глубочайшее уважение к людям и вечным ценностям, упорство в постижении секретов мастерства и в умении доводить до конца всякое задуманное дело, что вкупе с талантом и считается гениальностью.

Тонкий и бледный юноша жил на небольшую стипендию и поражал всех в академии иступленной любовью к искусству и умением раздвигать представление о пределах человеческой выносливости. Но сама академия, выучивая своих питомцев, делая из них настоящих мастеров, сеяла семена бунта. Она не осмеливалась преступить черту классицизма. Увлеченная красотой пропорций и навязывавшая ученикам консервативные каноны, она не слышала зова жизни и новых идей, западавших в пытливые умы. И художник Лев Жемчужников, с которым Верещагин познакомился через своего профессора Александра Бейдемана, призывал: «Начните же с живой любви к народу, да не словами, а всем, что в вас живет; плачьте и смейтесь, смейтесь над его судьбой, как Федотов смеялся над своей; но, чтобы так живо любить на-

род, надо его изучать, узнать; тогда только произведения ваши будут верны и прекрасны».

Бейдеман был другом Федотова и сторонником народности и национальной определенности в искусстве. Ядовитые замечания профессора о классических пристрастиях его коллег и призыв следовать натуре привели к тому, что Верещагин стал много рисовать на улицах и площадях.

Во Франции, куда Верещагин вместе с Бейдеманом выезжал в начале 1861 года расписывать фронтоны русской церкви в Париже, к молодому художнику, рисовавшему в свободное время с натуры, приглядывался известный художник Эжен Девериа.

— Копируйте, — наставлял он, — копируйте великих мастеров. Работайте с натуры только тогда лишь, когда сами станете мастером!

— Нет, не буду копировать! — возражал Верещагин.

— Вы вспомните меня, но будет поздно, — говорил француз.

Верещагин было послушал его и поработал в академических традициях. К концу первого года учения он представил эскиз «Избиение женихов Пенелопы возвратившимся Улиссом» и получил за него серебряную медаль, чем подорвал недоверие к его силам даже у матери. Но, сделав по тому же эскизу рисунок сепией на большом картоне, он тотчас после экзамена изрезал и сжег картон, сказав изумленным товарищам и профессорам, что академический псевдоклассицизм в его глазах «опошлел» и что он не намерен больше «возвращаться к этой чепухе».

Он посещал публичные лекции историка Костомарова, зачитывался Пушкиным, Гоголем, Толстым и Тургеневым. Время подчиняло себе живопись, становившуюся похожей на литературу. И он уехал на Кавказ учиться жизни, бросив, по сути дела, академию. Но был ли это бунт или просто поиски своего пути? Он был благодарен академии за учебу, но восставал против ее претензий на роль исповедальницы сердец и помыслов молодых художников.

— Поставила на ноги, талантливому помогла, дома ли или для поездки за границу, и баста, более не мешайся, — говорил он.

Он ушел из академии за несколько месяцев до знаменитого «бунта» дипломатов, которые во главе с Крам-

ским отказались писать выпускные работы на заданные сюжеты, демонстративно порвали с оплотом классицизма и образovali Артель художников. Верещагин демонстраций не устраивал. Он просто сделал то, что считал нужным, так как «довольно много читал и слышал, голова развилась и глупость условных форм и рамок стала ясна».

В 1863 году Верещагин уехал работать на Кавказ.

Трое друзей-художников — Лев Жемчужников, Александр Бейдеман и Лев Лагорио — опекали молодого Верещагина. Они не были избранниками славы, и совсем бы забылись их имена, если бы не близость их к замечательному явлению русского юмора, если бы не нарисовали они в молодости втроем портрет Козьмы Пруткова, размноженный ныне в десятках миллионов оттисков. Странна судьба художников — творчество их забылось, а живет их шутка, и живет еще память о прикосновениях их к жизни тех, кто пережил свое время.

Верещагина увлекли рассказы Бейдемана, не раз бывавшего на Кавказе, и Лагорио, прикомандированного к свите наместника Кавказа.

Кавказу и дороге к нему самой судьбой было предназначено оплодотворять всех гениев российской литературы XIX века. Верещагин увидел то, о чем читал, но калейдоскоп впечатлений заслонял словесность, хотя талант художника был сродни ей.

Верещагин разъезжал по всему Кавказу. Но писать маслом еще только учился, и свалившаяся на него тысяча рублей дядюшкиного наследства привела его в Париж, в тамошнюю академию, в мастерскую французского исторического живописца Жана-Леона Жерома.

Париж, Париж... Эта Мекка художников еще в первый приезд поразила его разнообразием талантов, которые работали здесь, встречались, спорили и развлекались... Но соблазны прекрасного города прошли мимо Верещагина, работавшего по шестнадцать часов в сутки. И он научился работать маслом. Богема, учившаяся у Жерома, пыталась прохаживаться на его счет и даже унижить, но он быстро поставил юных французов на место. Когда они окружили новичка в мастерской и стали требовать, чтобы он сбегал и принес на два су черного мыла, Верещагин отказался наотрез.

— Господа! Это животное, этот прохвост русский не хочет идти за мылом...

Они угрожающе наседали на него, а он молча отступил в угол, чтобы никто не мог зайти со спины или сбоку, и опустил руку в карман, где у него лежал револьвер. Сделал он это спокойно, но именно спокойствие его, внимательный взгляд вдруг напугали задорных юнцов, смелых в споре и готовых на расправу, оттого что их много...

И снова ему не сидится на месте. Он вырвался из Парижа, точно из темницы, поехал в Закавказье и принялся рисовать на свободе «с каким-то остервенением»... Французские живописцы Бида и Жером неплохо знали Восток и могли оценить рисунки, сделанные Верещагиным в Шуше в середине мая 1865 года, во время праздника Мохаррема. Наверно, он пожалел, что не мог передать в красках картину, которую увидел, въезжая в Шушу поздно вечером. Зарево сотен нефтяных факелов, рев толпы, окружавшей бесновавшихся людей, треск барабанов, стон зурн и звон медных тарелок.

— Шах-сей! Вах-сей!

Толпа кричала. Некоторые в иступлении наносили себе удары плетью, били себя кинжалами плашмя, иногда разрывая кожу и заливаясь потоками крови. Самоистязание входило в обряд оплакивания имама Хуссейна, убитого своими коварными врагами. На десятый день праздника кончался пост, во время которого мусульмане ничего не ели с рассвета до сумерек, зато объедались ночью. Верещагин запечатлел религиозную процессию, состоявшуюся в этот день, фанатиков, рассекающих лбы обнаженными клинками, струйки крови, стекающие на белые балахоны, людей, увешанных оружием...

Тысячи и тысячи рисунков, скопилось у художника после путешествия по Кавказу. Но кто их увидел? Он решил издавать ежемесечный художественно-литературный журнал и даже получил разрешение, но денег на это предприятие не хватило. Отец сменил гнев на милость, но соглашался оплачивать лишь учение в Париже.

Французские художники восторгались:

— Никто не рисует так, как вы!

Лето Верещагин проводил у родителей на Шексне. По берегу реки то и дело проходили ватаги бурлаков. Десятки их, упершись в лямки и свесив руки плетью, двигались медленно, мерно и одновременно переставляли но-

ги, переваливались с боку на бок все вместе, в такт, то и дело выкрикивая хором:

— По-де-ернем! По-де-ернем!

Верещагин рассказывал, как приводил в родительский дом бурлаков. Они по очереди впрягались в лямку, привязанную к вбитому в стену гвоздю, и он писал с них маслом этюды для большой картины.

Дав натурщику гривенник на выпивку, он спрашивал:

— Что нового в кабаке?

— Да что, Василь Василыч, нового? Говорят, ты фармазон, в бога не веруешь, родителей мало почитаешь. Говорят: разве ты, дурак, не видишь, что ён под тебя подводит. Кабы он тебя раз списал, а то он тебя который раз пишет! Уж это, брат, даром!

— Ну а ты что же им на это говоришь?

— Да что говорить-то? Говорю: уж мне, господа, недолго на свете-то жить, подделывайся под меня али нет, с меня взять нечего!..

Верещагин набросал уже эскиз большой картины, да нечем стало жить — опять рассорился с родителями, время уходило на добывание денег. Это было уже снова в Париже, в последний год пребывания в тамошней академии. Оттуда он и уехал в Туркестан, где его захлестнули новые впечатления. А «Бурлаков» написал Репин. Получились они у него более красивыми, чем задумывал Верещагин, который хвалил репинскую картину, но считал, что она все-таки не передает сущности бурлачества.

— Где впечатление той *двухсотенной* толпы, безнадежно качающейся из стороны в сторону без порывов, без *усилий*, в полном сознании, что тут *ничего не подлаешь*? — спрашивал Верещагин.

Еще летом 1867 года Бейдеман сказал Верещагину в Петербурге, что командующий войсками Туркестанского военного округа генерал Кауфман хочет пригласить в Среднюю Азию молодого русского художника. Верещагин пошел на прием к генералу. Тот поглядел на рисунки, подержал в руке серебряную медаль и согласился взять с собой «прапорщика» Верещагина, но художник настоял, чтобы его не заставляли носить формы и не присваивали ему новых чинов.

Кавказ, а теперь Туркестан... Что за странная тяга к Востоку? Друзья недоумевали. Да и сам он пытался разобраться в причинах, толкавших его на утомительные и

опасные поездки. Страстная любовь к Востоку? Нет ее. Лучше жить в России, но в поездках удивляешься, приходишь, что ли, сам в себя. И учиться вольготнее, чем на парижских мансардах и в комнатах Среднего проспекта Васильевского острова. И еще его тянуло на войну, хотелось увидеть *настоящую* войну. Впрочем, война представлялась чем-то вроде парада с музыкой и развевающимися султанами, со знаменами и грохотом пушек, с галопирующими всадниками. Убитые, конечно, есть, но совсем немного, «для обстановки»...

Путь на войну был длинный. На лошадях и верблюдах. Через Оренбург, форт Перовский, Джулек, Чимкент... Восточная действительность плотно обступила художника. Экзотика. Узкие кривые улицы без единого окна, со стоками нечистот посередине. Базары с их непролазной грязью и одетым в пестрые лохмотья людом. И неожиданно величественные мечети, построенные этими же людьми. В Ташкенте Верещагин осматривал караван-сарай, еще недавно бывшие невольничьими рынками, говорил с теми, кого покупали и продавали здесь.

Столько странного было кругом... Люди живут в глинобитных лачугах, заливаемых дождем, спят на полу в грудах грязных тряпок, мрут от голода. В притонах опиумокурильщики, кутая иссохшие тела в рваные халаты, сидят неподвижно, все во власти навеянных дурманом грез. Мужчины сидят без дела, а женщины работают без устали. Их кормят отбросами. Продают девятилетних девочек и мальчиков, щупают детей пухлые похотливые пальцы... Вон за девушкой гонятся несколько всадников. Догнали, скрутили, заткнули рот, надели на шею аркан и поволокли.

— Да что же это делается! — закричал художник. — Зачем мучите женщину?

— Это жена нашего друга. Она убежала из дому, а он заплатил за нее триста коканов, — говорят Верещагину.

Он выхватил револьвер, велел развязать женщину. Но он ничего не добился этим, а жизнь его висела на волоске...

Бухарский эмир начал газават — «священную войну». Верещагин поспешил к Самарканду, под которым разыгралось сражение и еще валялись неубранные трупы.

С холма Чапан-Ата открылся вид на утонувший в зелени Самарканд. Громадные мечети времен Тимура Хромого возносились к небу. Жители города не впустили вой-

ска эмира и сдались на милость русских. Освобождено десять тысяч эмирских рабов...

Как только генерал Кауфман с войсками ушел из города искать встречи с эмиром, муллы натравили фанатиков на русских. К городу стекались со всех сторон вооруженные всадники. Более пятидесяти тысяч их осадили крепость, в которой заперлись семьсот русских солдат.

Верещагин пил чай, когда послышалась перестрелка и страшный протяжный вой:

— Уррр! Уррр!

Художник понял, что начался штурм крепости, схватил свой револьвер и побежал к Бухарским воротам. Малочисленные защитники крепости, перебегая в дыму, отвечали со стен редкими выстрелами. Верещагин подобрал ружье возле убитого и с этой минуты все дни обороны не выпускал его из рук. Пуля ударила в бок его соседу. Тот уронил ружье, схватился за грудь и побежал по площадке стены круговую, крича:

— Ой, братцы, убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!

— Что ты кричишь, сердечный, ты ляг, — сказал ему другой солдат. Раненый описал еще один круг, упал и умер. Верещагин подобрал его патроны.

— Всем нам тут помирать, — говорили солдаты. — О господи, наказал за грехи! Спасибо Кауфману, крепости не устроил, ушел, нас бросил...

— Стыдно унывать! — сказал им художник. — Мы отстоимся... Неужели дадимся живые?

Трудно защищать стены в три версты в окружности. Обвалившиеся местами, они были ненадежны. Верещагин всегда появлялся в тех местах, где кипели схватки, метко стрелял и как-то не удержался от крепкого словца. Солдаты тотчас остановили его:

— Нехорошо теперь браниться, не такое время.

Они называли Верещагина «ваше степенство», а за глаза «Выручагиным». Когда же услышали, что оставленный в крепости полковник Назаров назвал его Василием Васильевичем, то все тоже стали звать его «Василь Василычем».

Назарову доложили, что осаждающие готовятся ворваться в крепость через один из проломов, и они с Верещагиным бросились туда. За стеной слышались крики. Солдаты врывались у стены.

— Пойдем на стену, встретим их там, — прошептал художник Назарову.

— Тсс! — ответил тот. — Пусть войдут.

Лишь только осаждающие показались на гребне, солдаты грянули «ура!», открыли пальбу и отбили приступ.

Однажды неприятель затих, и надо было узнать, что он готовит. Офицеры посылали на стену солдат, но те отнекивались, не хотели идти на верную смерть.

— Пойдите, я учился гимнастике, — сказал Верещагин и полез на стену.

— Что вы, Василий Васильевич, перестаньте, не делайте этого! — закричал полковник Назаров.

Верещагин был уже под самым гребнем.

«Как же я, однако, перегнусь туда, ведь убьют», — думал он. И выпрямился во весь рост.

За стеной он увидел множество народа, а в стороне кучку начальников в больших чалмах. Едва художник успел спрятаться, как десятки пуль впились в то место, где он только что стоял, только пыль пошла.

Солдаты закидали осаждавших гранатами, и штурм был сорван.

Верещагина поражало великодушие солдат. Когда один из них хотел вторым выстрелом прикончить раненого неприятеля, то другие не дали ему этого сделать.

— Не тронь, не замай, Серега.

— Да ведь уйдет.

— А пускай уйдет, он уж не воин!

И это несмотря на жестокость, с которой осаждающие добывали всякого раненого русского.

Многие из впечатлений штурма самаркандской твердыни стали потом темами жестоких и правдивых картин Верещагина. Однако правду сочли тенденциозностью...

Во время штурма у него пулей снесло шапку с головы, другая пуля перебила ствол ружья на уровне груди. И все же художник в тот же день снял под огнем красное знамя с какими-то письменами, привязанное атаковавшими у ворот. Полковник Назаров отдал этот трофей солдатам на портянки, чем огорчил Верещагина. Но еще больше его огорчили слова одного офицера:

— Вам первый крест, Василий Васильевич,

Художник возмутился. Разве ради награды рисковал он жизнью?

Генерал Кауфман с войсками подошел на выручку осажденным через несколько дней. Увидев часов в одиннадцать вечера 7 июня 1868 года взвизнувшую вдалеке ракету, все заликовали. Осада была снята. На другой день никто из офицеров уже и не вспоминал, как вслед за солдатами ругал Кауфмана за неосмотрительность, едва не кончившуюся гибелью гарнизона. Вспомнил об этом один Верещагин...

Кауфман вышел на площадь в окружении штабных и поздравил всех героев шестидневной осады, больных, раненых, утомленных. От собственной речи его прошибла слеза... Когда пришло время раздавать награды, к Кауфману подступил Верещагин и, по словам самого генерала, «огорошил» его.

— Ваше превосходительство! — сказал художник. — Когда наступила на нас беда в Самарканде, то все мы говорили: «Вот лысый черт ушел, а нас оставил тут погибать...»

В свите Кауфмана стали что-то возмущенно кричать. Лысина генерала побагровела. В голове мелькнуло: «Военное время, прапорщик запаса, нарушение дисциплины, военный суд, расстрел...» Генерал-губернатор был облечен в Туркестане властью императорской... Перед ним стоял человек в сером пиджаке. «Типичный шестидесятник, — подумал генерал. — Рисуется своей угрированной неблагоприятностью. А художник талантливый и... храбрец».

Генерал оставил дело без последствий, а солдатская дума, георгиевские кавалеры, бывшие в бою вместе с Верещагиным, назвали его, по обычаю, вместе с другими как достойного награды — Георгиевского креста.

Верещагин считал, что чины и ордена художнику ни к чему, и он отказывался от любых других званий и наград. В 1874 году он прислал редактору газеты «Голос» письмо из Бомбея:

«М. Г.! Прошу дать место в вашей уважаемой газете двум строкам моего за сим следующего заявления:

Известия о том, что императорская Академия художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания.

В. Верещагин».

Все были ошеломлены этим отказом. Звание профессора считалось высшим отличием художника. Оскорбленными почувствовали себя многие художники, облеченные званиями. И лишь Крамской написал Третьякову:

«Ведь что, в сущности, сделал Верещагин, отказавшись от профессора? Только то, что мы все знаем, думаем и даже, может быть, желаем; но у нас не хватает смелости, характера, а иногда и честности поступить так же».

А Георгиевский крест Верещагин носил. И подчеркивал, что это единственная награда, присуждаемая не начальством, а кавалерами ордена голосованием.

С этим крестом он появился на туркестанской выставке в Петербурге, которая принесла ему всеобщее признание. Но тогда, в 1869 году, он раздарил свои картины, уклонился от встречи с царем, несмотря на уговоры Кауфмана.

— Лично мои ты правила знаешь, — скажет художник позже своему брату Александру, — я не люблю ходить по важным господам.

И он помчался снова в Туркестан набираться впечатлений и рисовать, рисовать, рисовать... И снова он ввязывался в схватки. Ходил в набег с русским отрядом, сражался, спас командира отряда, по счастливой случайности избежал смерти...

Что же влекло его в дальние странствия? Что заставляло ввязываться в опасные передраги? Страсть к приключениям? О нет. Он вспыльчив, он горд, но в здравом смысле ему не откажешь. Он своими глазами должен был увидеть все, что предстояло ему написать. Он хотел быть документально точным в своих картинах. Если надвигалась опасность, он не мог стоять в стороне, и всякий раз тоже брался за оружие, становился в солдатский строй. Оттого-то так и захватывали зрителей его картины. В них была правда. Чувствовалось, что за каждой из них в тысячи раз больше переживаний, чем отразилось их на полотне. А что касается обвинений в сатиричности полотен, которые начали предъявлять ему власти предрешения, то Верещагин лишь повторял слова Ивана Сергеевича Тургенева: «Правда злее самой злой сатиры».

Большую часть картин по туркестанским впечатлениям он написал в Мюнхене. Там и работать было удобно, а главное, привлекли его прелести пятнадцатилетней Элизабет Марии Фишер-Рид, которая стала его гражданской женой, переименовавшись в Елизавету Кондратьевну.

Три года он никуда не ходил, разве что в музеи и на выставки. Знакомых в Мюнхене у него почти не было. А по истечении трехгодичного отпуска, который предоставило ему военное ведомство, назначив содержание три тысячи рублей в год, он привез в Петербург несколько десятков картин.

За год до того была у него первая персональная выставка в Лондоне. Все в ней было сенсационно — от надписи в каталоге «Эти картины не продаются» до невероятного наплыва публики и отзывов английских газет: «Мы отроду не видели более живого изображения мира, почти вовсе неведомого...» В России за успехами Верещагина следил Стасов. Он писал об английской выставке, выпросил у вдовы Бейдемана портрет Верещагина, и в марте 1874 года художник посетил критика в Публичной библиотеке, где тот заведывал художественным отделом.

7 марта открылась выставка Верещагина в Петербурге. Ее посетили тысячи людей, и с каждым днем все большие толпы теснились у дверей. На зрителей пахнуло жаром раскаленных степей Туркестана, они увидели жителей этого края и их быт. И главное — война, жестокая и страшная война обрушилась на них во всей своей неприглядной красе. Как непохоже это было на все виденные прежде картины батальных живописцев, на стройные ряды воинов в элегантных мундирах, осененные белыми клубами пушечных выстрелов...

Впечатления самаркандской осады теснились на стенах. «Пусть войдут!» Слова полковника Назарова стали названием картины. «Вошли!» Трупы, кровь, солдатские типы... Еще долго будут удивляться, как густо населил свои картины художник, не повторив ни одного лица, ни одной позы... «Забывший» — в горной долине среди высушенных солнцем колючек лежит, раскинув руки, русский солдат. На прикладе его ружья и на груди сидят вороны, слетаются к трупу другие хищники. А на раме картины Верещагин написал эпитафию, слова народной песни:

Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене;
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать мать сыра земля...

И тут же «Смертельно раненный», что бежал тогда по площадке стены вкруговую. И «Парламентеры», предла-

гающие сдать окруженному русскому отряду. «Убирайся к черту!» — кричит им офицер.

А вот целая серия под названием «Варвары». Картины «Высматривают», «Нападают врасплох», «Окружили, преследуют...», «Представляют трофеи» — бухарский эмир переворачивает носком сапога отрубленную голову, «Торжествуют», «У гробницы святого — благодарят всевышнего». И на раме картины строки из Корана:

Хвала тебе, Богу войн!
Нет Бога, кроме Бога!

И «Апофеоз войны» — громадная груда черепов. «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим» — таков эпитафия к этой завершающей серию картине. Верещагин проклинал фанатизм и изуверство среднеазиатского рабовладельческого Востока, но в его картинах было прозрение грядущего варварства «цивилизованных» наций...

Любовь Верещагина к русскому солдату зрители заметили сразу. Крамской тогда же написал отсутствовавшему Решину: «Верещагин — явление, высоко поднимающее дух русского человека». А Гаршин в стихотворении «На первой выставке картин Верещагина» восклицал:

Плачь и молись, отчизна-мать!
Молись! Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей,
Вспомнутся чрез много лет,
В день грозных бед...

Мусоргский написал музыку к балладе Голенищева-Кутузова «Забывший». Газеты сравнивали Верещагина с Львом Толстым. Такого успеха еще не имел ни один художник.

Но вскоре начались неприятности. Выставку посетил Александр II. Выставка царю понравилась, он выразил лишь неудовольствие картиной «Забывший». Уже на другой день генерал Кауфман обежал залы выставки, разыскал художника и начал его отчитывать:

— Это неправда! Вы опозорили туркестанские войска! Скажите, вы лично видели когда-нибудь солдата брошенного, не похороненного в степи?

— Нет, не видел, — признался художник.

— Выходит, вы клеветник! Вы бесчестите славу русского оружия!

Верещагин не продавал своих картин до сих пор, ожидая, что все их купит русское правительство, а он на полученные деньги совершит еще несколько путешествий и устроит художественно-ремесленную школу. Но теперь уже никто не говорил о покупке картин казной. Высокопоставленные деятели на все голоса ругали Верещагина. Разъяренный художник в порыве гнева сжег «Забытого» и еще две картины.

— Я дал плюху этим господам, — сказал он.

Верещагин несколько дней после сожжения картин не мог прийти в себя и в марте же, не дожидаясь окончания выставки и переговоров о покупке картин Третьяковым, уехал вместе с Елизаветой Кондратьевной в Индию.

Он исколесил Индию, рисуя и собирая костюмы, украшения, амулеты — материал для будущей работы. Вскоре он уже путешествовал во главе целого каравана кули, которые несли подарки, закупленные еще в Петербурге, и приобретенные в Индии коллекции. Вместе с женой художник задумал совершить восхождение на Джонгри, одну из гималайских вершин. Носильщики отстали в пути. Глубокий снег, лед, стужа. Верещагин и Елизавета Кондратьевна падали, подымались и вновь брели, пока не достигли вершины. Небо там было поразительное — красное сильнее всякого чистого кобальта, почти ультрамарин с небольшой дозой кармина. И розовато-белый снег на темном фоне. Замерзая, художник не переставал работать. Через два дня подошли носильщики. Не раз он бывал и потом на краю гибели. Его донимали дурные вести из России, где его картинами распорядились не так, как он хотел. В Индии его принимали за «русского шпиона». Но он упорно писал этюды, которые, по сути дела, были прекрасными законченными картинами. Художник пересылал их на хранение Стасову в Петербург.

Два года провел Верещагин в Индии. Оттуда он поехал в Париж, на окраине которого, в Мэзон-Лаффитте, строилась его мастерская. Он попросил Стасова прислать ему в Париж индийские этюды. Критик написал художнику: «Вчера утром, во время укладки... я снова пересмотрел все этюды, один за другим, на прощанье и, кажется, поцеловал бы их каждый: столько тут положено таланта, правды, мастерства».

Похвалы похвалами, а дела шли худо. Подрядчики,

строившие мастерскую, обманывали художника, заставляли за все переплачивать вдвое. Деньги из России (туркестанская коллекция была продана Третьякову за девяносто две тысячи рублей) не шли. Верещагин был на грани краха. Он стал еще более раздражительным и неуравновешенным, почти не спал, даже чтение писем вызывало у него продолжительные головные боли. Лишь Стасов сносил, как он выражался, натуру Верещагина с ее дикостью и необузданностью, свирепостью и младенческой чистотой взглядов, прямою и порывами, смелыми выдумками и жаждой знаний.

Верещагин принадлежал к тому типу талантливых людей, которые с самого начала неколебимо верят в свое предназначение, проявляя нетерпимость ко всякому прекословию и даже сомнению. Они искренне считают, что каждый, оказывающий им услуги, должен проникаться сознанием служения большому делу. Оттого-то он заваливал Стасова мелкими поручениями, но стоило тому усомниться в намерении Верещагина писать громадные полотна, для чего и строилась большая мастерская, и сказать, что большое содержание не связано с размерами полотна, как художник прямо и резко объявил это посягательством на свободу творчества и поставил в один ряд критика и публику. «Пусть Ваша излюбленная, за свои деньги хающая публика судит мои работы, когда они готовы; но чтоб я пустил всякое неумытое рыло рыться в моих проектах и затеях? Дозволил бы на французский манер фабриканту, отдыхающему от стука и пыли своей фабрики, и бакалейщику — от вони запертой в праздник лавочки, давать мне советы, что, в каком размере делать? Никогда! Пусть эта толпа, желающая воспроизведения своих идей и вкусов, представителем которой Вы являетесь (к моему удивлению и ужасу), пусть она обращается к тем фешенебельным мебельщикам, о которых я говорил... и имя которым легион, прямее сказать — 99% существующих художников».

К началу 1877 года мастерская в Мэзон-Лаффитте была готова. Зимнее ее помещение имело в длину 25 метров, а летнее, открытое, легко вращалось по рельсам вокруг своей оси с тем, чтобы всегда иметь нужное освещение. Свет и воздух в картинах — вот что было главным для Верещагина.

В работе над гигантскими полотнами и застала его весть о русско-турецкой войне.

3. Скобелевы

Уже год Верещагин следил за событиями на Балканском полуострове. Сербия вела освободительную борьбу, стремясь сбросить пятисотлетнее турецкое иго. Вся Россия бурлила — создавала славянские комитеты, собирала пожертвования в помощь сербам. Верещагин посылал деньги и сам собирался поехать на Балканы. Осенью 1876 года в России началась мобилизация. Верещагин тотчас стал просить о причислении его к штабу русских войск. Просьба его была уважена.

В апреле 1877 года Россия объявила Турции войну, и художник немедленно выехал в действующую армию. В главном штабе, находившемся в Кишиневе, его причислили к составу адъютантов главнокомандующего — великого князя Николая Николаевича, но при этом он оставался вольным, штатским человеком, что было весьма удобно для него.

Вскоре Стасов получил от Верещагина телеграмму: «Я иду с передовым отрядом, дивизионом казаков генерала Скобелева, и надеюсь, что раньше меня никто не встретится с башибузками».

Стасов осуждал художника за то, что тот рискует жизнью, однако телеграмму его опубликовал в «Новом времени», присовокупив:

«Этот факт, мне кажется, будет интересен многим из нас. Верещагин — первый пример русского художника, покидающего покойную и безопасную мастерскую для того, чтобы пойти под сабли и пули и там, на месте, в самых передовых отрядах, вглядываться в черты великой современной эпопеи — освобождения народов из-под векового азиатского ига.

Зато у одних подобных художников, у тех, для кого художество нераздельно с жизнью, у них только и бывают те создания, что захватывают и наполняют душу.

В этом талант Верещагина родствен таланту первого современного нашего писателя, графа Льва Толстого. Кто знает, быть может, из-под кисти Верещагина выйдут теперь такие же потрясающие и глубоко художественные картины, какие у того из-под пера вылились однажды рассказы о сражающемся Севастополе. В отношении жизненной правды склад обоих художников — одинаковый».

Еще в Париже художник решил, что пойдет с кавказ-

ской казачьей дивизией, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Скобелев. И тотчас послал телеграмму брату Александру, молодому офицеру, советуя тому определиться в ту же дивизию. На Балканах к ним присоединился и третий брат, художник Сергей Верещагин.

В Кишиневе в Главной квартире Василия Васильевича представили целому сонму генералов. Среди них был и высокий худошавый блондин, свитский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев.

— Я знал в Туркестане одного Скобелева, — сказал Верещагин.

— Это я и есть!

— Вы! Может ли быть? Так вы изменились! Мы ведь старые знакомые.

За семь лет, что они не виделись, Скобелев возмужал, у него появилась генеральская осанка и важность в речи. Впрочем, важность с него тотчас слетела. Он быстро говорил, картавя, произнося «г» вместо «р» и «л», нервно потирая руки и рассматривая свои блестящие длинные ногти на худых пальцах, трогая пуговицы на куртке Василия Васильевича.

«Сколько ему сейчас? — подумал Верещагин. — Да, ведь на год моложе меня... Значит, тридцать три».

Он вспомнил, как семь лет назад в единственном ресторане Ташкента познакомился со Скобелевым, совсем еще молодым гусарским штаб-ротмистром.

Офицер был симпатичен художнику, который подружился со Скобелевым, хотя тот только что стал обладателем сквернейшей репутации из-за чистейшего недоразумения. Его оболгали, а генерал Кауфман, не разобравшись, в присутствии других офицеров жестоко расправился над Скобелевым:

— Вы наврали, вы нагнали, вы осрамили себя!

Два офицера вызвали Скобелева на дуэль. Верещагин жил в гостинице и видел все приготовления.

— Да перестаньте вы конспирировать, пощадите малое, — говорил он злословившим офицерам.

Хотя Скобелев с достоинством дрался на дуэли, положение его было невыносимым — хоть уезжай из Туркестана.

— Да плюньте вы, все перемелется, — утешал художник.

Теперь перед Верещагиным стоял молодой генерал, на-

гражденный двумя Георгиевскими крестами. Это он, переодевшись в туркменское платье и чудом избежав смерти, сделал глазомерную съемку пути, по которому потом прошли русские войска. Генерал Кауфман рассказал Верещагину, что, поздравляя Скобелева с крестом, он прибавил:

— Вы исправили в моих глазах ваши прежние ошибки, но уважения моего еще не заслужили.

Но и Кауфману пришлось признать заслуги Скобелева, водившего солдат в походы через пустыни. Тот отдавал коня под больных, нес ружья отстававших, пил свою порцию воды последним — истомившиеся солдаты все примечали... Он первым пролез в брешь, пробитую пушками, при взятии Хивы. Поехав отдыхать после этого похода на Ривьеру, Скобелев оказался в Испании, где шла война карлистов против правительства.

— Мне надо было видеть и знать, что такое народная война и как ею руководить при случае, — объяснял Скобелев.

Во время сражений он сидел на камне под пулями и делал заметки. Однажды он даже остановил бежавших с поля трусов и повел их в бой.

Верещагин, считавший поездку Скобелева в Испанию «дурачеством», признавал, однако, не одну лишь его дерзость и молодечество, но и воинский талант.

Потом снова были лихие операции в Средней Азии, после одной из которых недоверчивый Кауфман снял с себя Георгиевский крест и надел его на грудь Скобелеву, а в Петербург доложил: «Дело сделано чисто!» Кончил войну в Туркестане Скобелев генерал-майором и начальником Ферганской области, которую бросил тотчас, как наметилась война с турками, и примчался в Кашинев.

Но здесь над его Георгиевскими крестами посмеивались, говорили, что их еще нужно заслужить. Кабинетные генералы вроде начальника штаба Непокойчицкого считали, что ему нельзя доверить и роты солдат. Скобелев признавался Верещагину, что согласен на любую черную работу.

— Лучшие из генералов удивляются, чего я лезу. Дай другим получить то, что следует! А про то, что душа болит, что русское дело губится, никто и не думает. Скверно. Неспособный, беспорядочный мы народ. До всего доходим ценою ошибок, разочарований, а как пройдет не-

сколько лет, старые уроки забыты. Для нас история не дает примеров и указаний. Мы ничему не хотим научиться, все забываем...

— Ничего, все образуется, подождите немного, Михаил Дмитриевич, — утешал генерала художник.

— Буду ждать, Василий Васильевич. Я ждать умею и свое возьму, — сказал Скобелев.

В день объявления войны Скобелев с отрядом казаков стремительным броском занял Барбошский мост через реку Серет, чтобы не дать туркам взорвать его. Он старался быть полезным, но в результате его назначили начальником штаба дивизии, которой командовал его отец, Дмитрий Иванович Скобелев. И это после того, как он воевал в бои едва ли не армию!..

Так художник и генерал оказались в одной дивизии, состоявшей из полка донских казаков, полка кубанских и еще полка осетин и ингушей. Вскоре они перезнакомились со всеми командирами и многими рядовыми. Еще в Галаце, где Верещагин увидел Скобелева-отца на смотру, Дмитрий Иванович поразил его своей фигурой: красивый, с большими голубыми глазами, окладистой рыжей бородой, старик сидел на маленьком казацком коне как влитой.

Верещагин ехал со Скобелевым через Бухарест до Фраешти. Жили дружно, весело. По очереди сочиняли стихи «к обеду». Верещагин тоже написал вирши:

Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.
Старый Скобелев с полками,
Со донскими казаками
В Турцию идет,
В Турцию идет...

Полки шли с большими предосторожностями.

За столом обычно старый Скобелев подтрунивал над подвигами сына. В шутливых перебранках Верещагин становился на сторону молодого Скобелева, отчего старик надувался. К художнику все в дивизии относились очень уважительно, казацкие командиры почитали за честь называть его своим другом. Молодой Скобелев всем надоедал своими рассказами и великим множеством планов ведения будущей кампании. «Шальной!» — говорили офицеры.

Верещагин посоветовал ему быть сдержанным. Молодость, фигура, Георгиевские кресты — все это хорошо, а вот надоедать людям пока не стоит.

— Спасибо! — горячо сказал Михаил Дмитриевич. — Это совет истинного друга.

В Бухаресте художник с генералом купили себе хороших лошадей, ездили по городу, но Верещагин, как он выражался, «немного совестился его товарищества». Встречным барыням, особенно хорошеньким, молодой Скобелев показывал язык. В генеральских кутежах художник принимать участие остерегался. Скобелев то и дело посылал к отцу за деньгами, но скупой старик больше четырех золотых не давал.

— Ведь я лакеям на водку больше даю! — с сердцем говорил Михаил Дмитриевич и делал долги.

Старика как-то вызвали по начальству, и молодой Скобелев стал временно командовать отрядом. Куда и слетела вся его несерьезность! Он тотчас позаботился о лучшей пище для людей, навел всюду порядок. «Вот бы нам какого командира надо», — заговорили казаки.

Во Фраешти серебристой, сверкающей на солнце полосой впереди показался Дунай. Здесь художник вынужден был оставить отряд. В пути свалилась под откос вьючная лошадь, и полотна, краски, мольберт оказались основательно помятыми. Пришлось ехать в Плоешти и отпрашиваться у главнокомандующего в Париж. Великий князь Николай Николаевич отпустил художника, посоветовав лишь быть осторожным в разговорах с французами.

Верещагин вернулся через двадцать дней, застал дивизию в Журжеве и на другой же день оказался на барках под обстрелом турецкой артиллерии.

4. Перед делом

— Где это вы были? — возбужденно говорили Верещагину офицеры. — Как же вы не видели такого интересного дарового представления?

— Я его видел лучше, чем вы, потому что все время был на судах, — отвечал художник.

— Не может быть! — сказал старый Скобелев. — Впрочем, пойдемте туда и посмотрим аварии.

Осматривая обломки, все бранили Верещагина, называли его поведение «бесполезным браверством», но никому и в голову не приходило, что ради таких вот наблюдений

он и приехал на место военных действий. Жаль только, думал он, что нет с ним ящика с красками... Впредь он уже не забывал своих рабочих принадлежностей, брал их с собою всюду, писал казацкие пикеты на Дунае, сцены солдатской жизни. Но вскоре он попал в такую боевую педерягу, что было ему не до кисти и красок...

Русские войска готовились к форсированию Дуная. Ширина реки достигала 700 метров, а на том берегу стояли десятки тысяч турецких солдат. Но уже готовы были понтоны и плоты, уже инструктировал десантный отряд генерал-майор Драгомиров. Мешала речная флотилия турок — мониторы, канонерские лодки и вооруженные пароходы. Против них ставили мины под прикрытием быстрходных катеров. Одним из них — миноноской «Шутка» — командовал лейтенант Николай Ларионович Скрыдлов.

Верещагин встретился с лейтенантом на Главной квартире еще до поездки в Париж. Коренастый, поросший дремучей бородой Скрыдлов от удивления выронил из глаза монокль и бросился в объятия художнику. Боже, сколько они не виделись! Скрыдлов учился вместе с Верещагиным в Морском корпусе, но на два года младше по классу. Они вместе плавали на фрегате «Светлана», и Верещагин как фельдфебель гардемариной роты не раз, бывало, распекал Скрыдлова за разговоры в строю и всякие проказы, от которых тот не мог удержаться по живости характера.

Скрыдлов звал Верещагина в Малы-Дижос, где располагался Дунайский отряд гвардейского флотского экипажа.

— Василий Васильевич, я буду на своей «Шутке» атаковать турецкий монитор. Пойдем под турку вместе!

Художник обрадовался случаю увидеть взрыв и по возвращении в Журжево тотчас поехал в гости к морякам. Те жили в отдалении от всех со своим большим складом динамита и пироксилина. Верещагин остался у моряков, спал вместе со Скрыдловым и его помощником на крыльце дома, защищаясь пологими от лютовавших майских комаров. В соседнем доме стоял начальник всего минного отряда капитан первого ранга Новиков. Верещагин уже познакомился с ним на обеде у главнокомандующего, который спросил Новикова, за что тот получил своего «гергия».

— Пороховой погреб взорвал в Севастопольскую кам-

панию, — ответил грузный капитан таким густым и оглушающим басом, что всех за столом покачнуло. Теперь этот бас гремел, сыпались приказания, где и как ставить мины, которые Новиков называл «бомбами».

Каждую ночь Верещагин выезжал вместе со Скрыдловым ставить вехи на Дунае, чтобы обозначить будущие пути миноносков. Они подплывали на лодке к самому турецкому берегу. Ездили они также с секретным поручением ко всем частям, стоявшим у Дуная. В Парапане они встретились с генералом Драгомировым, энергично готовившим переправу. Генерал говорил о будущей переправе умно, логично, не раскрывая, однако, ее места.

— Я потребую от офицеров, чтобы последний солдат знал, куда и зачем мы идем, — сказал генерал. — На том берегу у нас не будет ни флангов, ни тыла. Пусть действуют самостоятельно. Фронт там, откуда неприятель...

«Шутка», выкрашенная под цвет воды, делала прикидочные выходы, пробовала машину. Да и то в дурную погоду, чтобы турки не обнаружили, что у русских есть паровые миноноски. В тумане проглядывались уютившие Дунай турецкие мониторы и пароходы. Искушение напасть на один из них было велико. Но обещание, данное Скрыдловым художнику, отодвигалось.

— Дело не в том, — оправдывался моряк, — чтобы уничтожить у турок один лишний монитор, а чтобы заложить мины и дать возможность навести мост для переправы армии. Тут уж неблагоприятно, пожалуй, преступно рисковать одной из лучших миноносок, которых у нас мало. Как ты думаешь?

— И то дело, — разочарованно отвечал художник.

Так продолжалось до тех пор, пока Скрыдлов не сообщил по секрету, что видел у Новикова бумагу из Главной квартиры, в которой великий князь Николай Николаевич требовал срочной установки мин. Самому Скрыдлову приказали атаковать вражеские корабли, если будут мешать. Верещагин бросился к Новикову.

— Модест Петрович, разрешите пойти на «Шутке».

— Нельзя, — пробасил капитан. — Смотрите с берега.

— Ну, Модест Петрович...

Новиков сдался. Приятели занялись приготовлениями к походу «под турку». Скрыдлов велел сварить несколько куриц и достал припрятанную бутылку хереса, а художник складывал бумагу и краски в небольшой ящик, чистил ножиком палитру. За этим занятием и застал его младший

брат, Александр Верещагин, прибывший наконец в действующую армию.

Александр закончил военное училище, прослужил восемь месяцев в полку и вышел в отставку. Он жил с родителями в Петербурге, когда пришла телеграмма от старшего брата: «Если хочешь участвовать в войне, определийся в кавказскую дивизию генерала Скобелева (отца), он согласен тебя принять». Громкое имя брата открыло перед ним двери военного ведомства, и вот уже молодой сотник, обряженный в черкеску с серебряными газырями, в громадную папаху и довольный своим видом, спешит к Дунаю. Он удивляется, с каким почтением говорят генералы и офицеры о его брате. Всякий из них, отправляя Александра, добавляет:

— Кланяйтесь Василию Васильевичу.

Александр не видел брата года три. Василий Васильевич, на его взгляд, заметно «постарел», залысины стали заметнее, борода подлиннее, глаза глубже ушли в свои орбиты.

— А, здравствуй! — закричал художник, обнимая брата. — Ну-ка покажись! Ай, какая смешная папаха! Засмеют казаки...

Молодой сотник, гордый своей экипировкой, сник. Но его тут же обрядили как положено.

— Пожалуйста, смотри за собой хорошенько, —ставлял брата Василий Васильевич, — казаки народ тонкий, сразу заметят, если что неладно. Не панибратствуй, не сходишь сразу на «ты», держись самостоятельно, а главное, не обижай своих казаков.

Александр начинал понимать, чем заслужил всеобщее уважение его брат. В тот же день на обеде у Якова Петровича Цветкова, хитрого и вместе с тем простодушного казачьего офицера, много воевавшего на Кавказе и выслужившегося из рядовых, Василий Васильевич похваливал борщ и курицу, за что хозяин отблагодарил их, собрав казаков пятнадцать из своей сотни, которые «заспывали» старые казацкие песни. Яков Петрович дирижировал хором, а потом схватил со стены свою походную скрипку и стал пиликать не в лад, то и дело вытирая рукавом черкески вспотевшее лицо и гордо поглядывая на слушателей.

— Ай да Яков Петрович, молодец! — кричал старший Верещагин, хлопая в ладоши. Он дорожил товариществом симпатичных ему людей. И не обижал их высокомерием.

— Мэнэ ж никто не учив, сам дошов, — сказал довольный Цветков, вешая скрипку на гвоздик.

Только к вечеру художник сказал брату, что уходит в дело на «Шутке». Уже темнело. Катера, готовые к постановке минных заграждений, стояли в небольшой бухте. Матросы обкладывали их железные крыши мешками с песком.

Неожиданно прискакал молодой Скобелев и, отведя в сторону Новикова, стал с жаром проситься на одну из миноносок. Новиков наотрез отказался взять генерала с собой.

Художник Верещагин вспоминал впоследствии:

«Священник Минского полка, молодой, весьма развитый человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую предо мною: направо — последние лучи закатившегося солнца, и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары; на берегу — матросы полукругом, а в середине — офицеры, все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.

Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в моей памяти, сцены просто поразительной».

На прощание Василий Васильевич Верещагин крепко обнялся с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым.

— Вы идете, — сказал молодой генерал. — Этаким счастливец! Как я вам завидую!

«Не терпится тебе показать себя», — подумал с одобрением художник.

— Смотрите же, не проспите, мы завтра рано против вас будем, — сказал на прощание лейтенант Скрыдлов младшему Верещагину.

На другое утро юный сотник вглядывался в противоположный берег Дуная, казавшийся из-за ослепительно сверкающей на солнце воды сплошной темной полосой. Донесся пушечный выстрел и показался то ли турецкий пароход, то ли монитор. Маленькие миноноски сливались с водой и были не видны. Три часа продолжалась стрельба, пока турецкий пароход не скрылся. Александр так и не разобрался, что же происходило. Лишь к вечеру к нему в комнату торопливо вошел Левис-офф-Менар, обрусевший швед, командир Владикавказского

полка, в котором начал службу младший Верещагин, и отрывисто сказал:

— Ступайте наверх, там брата вашего привезли...

5. «Шутка»

Пары поспели, и «Шутка» двигалась все быстрее и быстрее. Кругом было темно. Художник Верещагин едва различал по сторонам неподвижные черные массы. Это были миноноски отряда.

— Мы с тобой фарватер изучили, — сказал Скрыдлов, — а они все на мели.

С миноносок их окликали, и «Шутка» стаскивала застрявшие суда. Уже начало светать, уже пора было выйти в русло Дуная и ставить мины, а «Шутка» все не уходила вперед, стояла за густыми деревьями островка, чтобы дать время подтянуться остальным. Только флотилия показала из-за островка, как на недалеком уже турецком берегу зашевелились, вокруг судов забулькали пули.

Вперед вышла флагманская миноноска. На корме ее стоял Новиков, облокотясь на железную крышу. Тучная фигура его в черной шинели представляла прекрасную мишень, но он и не думал прятаться от пуль, барабанивших по железу. Флотилия ставила мины...

Со стороны Рушукка пришел вооруженный турецкий пароход и стал обстреливать флотилию. Скрыдлов, весело морща короткий нос, поглядывал на него.

— Николай Ларионович, что же ты его не атакуешь? — спросил художник.

— Выстрелы его не вредят, пусть поближе подойдет.

Пароход вскоре ушел, а к «Шутке» на всех парах подлетела миноноска Новикова.

— Николай Ларионович, почему вы не атаковали монитор? — загремел командирский бас.

— Это не монитор, Модест Петрович, а пароход, — ответил Скрыдлов. — Я думал, вы приказали атаковать в том случае, когда он подойдет близко...

— Я приказал вам атаковать его во всяком случае. Извольте атаковать!

Новиков отвалил к флотилии, а Верещагин похлопал по плечу Скрыдлова.

— Ну, брат Николай Ларионович, смотри теперь в оба. Если будет какая неудача в закладке мин, сделают из тебя козла отпущения...

— Ладно, — сказал Скрыдлов. — Я буду спереди, у штурвала, наблюдать за носовой миной, а ты, Василий Васильевич, сиди на корме. Как крикну «Рви!», так и бросай кормовую мину.

Он приказал всей команде помыться, загнав в воду и художника, велел надеть пробковые пояса. Потом командир с художником съели курицу, глотнули хереса, и Скрыдлов улегся вздремнуть.

Нервы у Верещагина были не столь крепкие, он стоял на корме, облокотясь на железный навес, закрывавший машину, смотрел на Руцук, на далекие горы за ним, на тонкий длинный шест на носу «Шутки» с привязанной к нему миной, которую требовалось взорвать электрическим током, когда шест упрется в борт вражеского судна. Тут, пожалуйста, и от самой «Шутки» ничего не останется...

— Идет, — тихо, почти шепотом сказал один из матросов.

Между турецким берегом и высокими деревьями острова показался дымок. Скрыдлов вскочил.

— Отчаливай, живо!.. Вперед, полный ход!

Пароход стремительно приближался. По сравнению с «Шуткой» это была громадина. Но и на пароходе, и на берегу поняли, что маленькая скорлупка с дымящей трубой несет смерть. С берега и парохода по «Шутке» лихорадочно стреляли. Миноноска вздрагивала всякий раз, когда ее охаживали куском металла.

«Ну, брат, попался, — сказал себе Верещагин, — живым не выйдешь».

Он снял сапоги и крикнул Скрыдлову, чтобы тот сделал то же самое. Командир приказал разуться всем матросам. Верещагин оглянулся, ожидая увидеть другую миноноску, которой приказали поддержать атаку. Ее не было.

Уже пробило снарядом железную крышу. Над ватерлинией, под тем самым местом, где стоял Верещагин, тоже была пробоина. Сидевший у штурвала Скрыдлов передернулся — в него ударила пуля, потом другая.

Высокий борт парохода навис над «Шуткой». Любопытство взяло верх, и Верещагин поднял голову. Турки оцепенели, ожидая взрыва. Рулевой «Шутки» было струсил и переложил руль направо. Раненый Скрыдлов схватил его за плечо.

— Лево руля, сукин сын, трам-тарарам, убью!

«Шутка» уткнулась шестом с миной в борт парохода, но взрыва не последовало.

— Рви! — подал команду Скрыдлов. Взрыва не было снова.

«Шутку» уже относил от парохода. В ее пробоины вливалась вода. Ожидая, что судно вот-вот уйдет под воду, Верещагин поставил ногу на борт, и вдруг раздался сильный треск... В бедро, словно обухом, что-то ударило. Художник перевернулся и упал. Поднявшись на ноги, он почувствовал какую-то неловкость в правой ноге и стал ощупывать бедро. Штаны были разорваны в двух местах, и палец свободно вошел в мясо...

От турецкой крепости к тонувшей миноноске на всех парах шел монитор, вызванный, очевидно, пароходом.

— Николай Ларионович, — закричал художник, перекрывая треск выстрелов, — видишь монитор?

— Вижу. Атакуй его своей миной; приготовь ее и бросай, когда подойдет.

Монитор уже дважды выстрелил по «Шутке». Верещагин обрезал веревку мины и велел было матросу сбросить ее, как миноноска вдруг свернула в открывшийся слева мелководный рукав реки, куда войти монитор не мог.

Скрыдлов велел подвести под киль парусину, чтобы задержать течь, и все стали считать раны. Верещагин смотрел на лившуюся из бедра кровь и думал: «Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде казалось, что это сложнее. Хорошо, что кость не задело, тогда бы верная смерть».

— Ваше благородие, — доложил Скрыдлову минер, — все проводники пулями перебиты.

Так вот отчего не взорвалась мина. Скрыдлов был в отчаянии.

— Сколько трудов, приготовлений — все прахом!..

— Перестань, — рассердился Верещагин, — что за отчаяние такое. Это неудача, а не неумение...

В сборном пункте на берегу, за островом, их уже ждали.

— Взорвали?

— Нет, — ответил Скрыдлов. Все неодобрительно молчали, пока Новиков не поблагодарил моряков и художника за неравный бой.

Скрыдлова понесли на носилках, сделанных из весел, а Верещагин сгоряча пошел сам, но уже через версту ослабел и повис на плечах матросов. По дороге их встретили молодой генерал Скобелев и полковник Струков. Михаил Дмитриевич расцеловал Верещагина и только повторял:

— Какие молодцы, какие молодцы!

Огибая залив, моряки понесли раненых в деревню Парпан и не видели, как на противоположном берегу развернулась конная турецкая батарея, чтобы обстрелять их. Наблюдавший за турками в бинокль Скобелев сказал Струкову:

— Александр Петрович, беги, плыви, извести Новикова о том, что по ним сейчас начнут бить, пусть немедленно уходят с миноносками!

Полковник Струков бросился напрямик к морякам по воде. Проваливаясь, плывя, захлебываясь, он успел добежать и предупредить Новикова. Моряки снялись и ушли. Верещагина и Скрыдлова предложили перенести в один из домов в глубине деревни. Скрыдлов согласился, а Верещагин уперся и рассмешил всех.

— Не надо, — сказал он. — В крестьянском домишке будут, наверное, блохи, а тут их нет.

6. На грани смерти

Верещагин со Скрыдловым были первыми ранеными в русско-турецкую войну семьдесят седьмого года. Все проявляли к ним особенное внимание и, как один, советовали перевезти их в госпиталь при Главной квартире, но Верещагин отказывался ехать. «Быстро подлечусь и опять буду на ногах, — думал он. — Буду ехать потихоньку за авангардом армии. Для того я бросил в Париже начатые полотна, чтобы провалиться в госпитале и не увидеть войны?»

Он с удовольствием воспринял решение георгиевской думы, присудившей кресты Скрыдлову и Струкову. В журавевском госпитале Скрыдлову вырезали пулю из икры, и тот даже не охнул. У Верещагина только промывали его сквозную рану и при каждой перевязке вытаскивали из нее пинцетом кусочки сукна и белья. Местный лекарь, «не то румын, не то австрийский еврей», сделал художнику подкожное впрыскивание морфина, и он не чувствовал боли. Ухаживали за ранеными плохо, однажды они несколько часов не могли никого докричаться, хотя у Скрыдлова голос был как труба. И встать оба не могли.

— Давай бить стекла в окнах, — предложил отчаянный лейтенант.

Раны воспалились и гноились. Пришлось все-таки со-

гласиться на переезд в бухарестский госпиталь «Бранковано».

Вскоре в госпиталь приехал сам император Александр II с большой свитой, в которой были румынский принц Карл и знаменитый врач Боткин. Царь положил Георгиевский крест Скрыдлову на грудь.

— Я принес тебе крест, который ты так славно заслужил, — сказал Александр II, говоривший «ты» только родственникам, друзьям и георгиевским кавалерам.

— А у тебя уже есть, тебе не пужно! — добавил царь, обращаясь к Верещагину.

— Есть, ваше величество, благодарю вас, — сказал художник.

— Скрыдлов-то смотрит бодрее тебя, — сказал Александр, стараясь быть приветливым.

Скрыдлов и в самом деле стал быстро поправляться, а у Верещагина начались невыносимые боли, от которых не помогал даже морфин. Разыгралась тропическая лихорадка, полученная в странствиях по Востоку. Художника перевели в отдельную палату. При нем неотлучно была сестра милосердия Александра Аполлоновна Чернявская, отгонявшая веткой мух от его лица, менявшая раз десять за ночь намокавшее от пота белье. В забытых перед ним открывались какие-то громадные пространства подземных пещер, освещенных ярко-красным огнем; в кипящей от жары бесконечности мимо него проносились миллионы человеческих существ на метлах и палках и дико хохотали в лицо...

Очнувшись как-то, он продиктовал сестре завещание. Картины просил продать, а деньги употребить на создание народного художественного училища. И еще надо бы обещать Елизавету Кондратьевну... Но как? Законной наследницей сделать он ее не может, потому что они не обвенчаны и милые родственники обдерут ее до юбок. Если он останется жив, непременно обвенчается, хотя между ними уже нет прежней близости.

Окно было открыто, лицо обвевал ветерок. У него вдруг появилось ощущение, что он снова в детской, и это няня Анна Ларионовна сидит поодаль, а там, за тремя дверями, сидят в гостиной мать и отец...

Как не хочется умирать! Зачем только он вздумал посмотреть, как будут взрывать монитор? И взрыва не увидел, и получил такую нахлопку, что теперь не увидит ни будущих работ, ни старых. И о том, что еще не законче-

но, не отделано, будут судить вкривь и вкось. И уже судят, хотя бы тот же Стасов... Хорошо бы сейчас очутиться в своей чудесной мастерской. Сидел бы работал. Что же его оттуда гнало?

А гнало то, что захотел он увидеть большую войну и представить ее потом на полотне не такой, какой она по традиции представляется, а такой, какая она есть в действительности. И попался! Что делать, приходится умирать, но ведь мог и проскочить благополучно, и написать все, что увидел бы! А может, и проскочит? Какое это будет счастье!

Все друзья осуждают его, считают блажью, дурью желание выполнить цель, которой он задался, — дать обществу картины настоящей войны, не глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. Нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать холод, голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины его будут «не то».

Опытные врачи советовали разрезать и прочистить рану, но лечащий врач Кремниц (из чувства противоречия, наверно) не делал этого и еще укорял Верещагина, что тот не хочет выздоравливать, не хочет помочь ему, врачу...

И Верещагин, сильный человек, вдруг разрыдался.

— Доктор, доктор, что вы говорите! Я энергичен, деятелен, стал бы я из упрямства задерживать свое выздоровление! Просто слышу, что силы покидают меня... Спасите меня, доктор, решитесь на что-нибудь!

Выделения из раны уже имели подозрительный цвет. Явно начиналась гангрена. Врач наконец решился сделать операцию и вырезать разложившуюся плоть. Когда усиленный хлороформом художник очнулся, к губам его поднесли бокал шампанского. От вина ли, от улыбок ли окружающих или от того, что в организме его произошел перелом, Верещагин почувствовал легкость в теле. Вскоре появился аппетит, и дело пошло на поправку.

Едва ли не каждый день художника навещали в госпитале знакомые, приезжавшие по делам в Бухарест и с театра военных действий, и из Петербурга. Он уставал от этих визитов, зато был в курсе всех событий.

Он уже знал, что Михаил Дмитриевич Скобелев предложил отцу переправить дивизию через Дунай вплавь и сам, чтобы доказать такую возможность, переплыл реку на ко-

не. 15 июня Драгомиров начал переправу на плавучих средствах под прикрытием расставленных Новиковым мин.

Захватив плацдарм, наши войска соорудили мосты. На правый берег перешла значительная армия. Болгары радостно приветствовали братьев-славян. Шесть болгарских дружин влились в передовой отряд генерала Гурко, который наступал на Тырново, стремясь захватить Шипкинский перевал и перебросить часть войск за Балканский хребет, чтобы поднять восстание болгар. Молодой Скобелев, откомандированный в Габровский отряд, во главе его авангарда поднялся на Шипкинский перевал, куда пришел и генерал Гурко. Так встретились два генерала, которым суждено было прославиться в этой войне.

После взятия города Старая Загора турки перешли в отчаянное контрнаступление. Несмотря на героическую оборону русских и болгар, Старую Загору пришлось отдать.

Западный отряд русских войск после овладения Никополем попытался взять Плевну, Михаил Дмитриевич Скобелев уже командовал отрядом. В обоих неудачных штурмах Плевны он прорывался до самых ее окраин, но его отряд был невелик, проявленную им инициативу не поддерживали.

Дурные вести доходили до Верещагина, когда он был еще в плохом состоянии. В те тяжелые дни приехал к нему из Вологды другой его младший брат, Сергей Васильевич Верещагин. Василий Васильевич был очень слаб.

— Подойди поближе, наклонись ко мне, — сказал он брату. — Что тебя привело сюда?

— Не могу ли я быть чем-нибудь полезен тебе?

— Ничем, любезный друг. Если ты приехал только для этого, поезжай назад. Но если ты не прочь посмотреть на войну, съезди на Главную квартиру и оттуда к действующим войскам. Послушай, как свистят пули. Когда вдоволь наслушаешься, езжай обратно.

Художник с усилием нацарапал рекомендации, велел своему ординарцу-казаку отдать юноше свое походное снаряжение и лошадей.

Сергей был на Шипке, когда ее заняли в первый раз. Находясь при Скобелеве, где был и Александр Верещагин, Сергей бесстрашно выполнял все поручения генерала.

— Какой-то он странный, ваш брат, — передавали в госпитале Василию Васильевичу люди, не спешившие

подвергать себя опасности. — Ходит в атаку с плетью в руках!

В боях он был пять раз ранен, но в госпиталь не ушел. Под ним убили восемь лошадей.

Во время второго штурма Плевны, как рассказали Верещагину, генерал Скобелев с батальоном пехоты и горстью казаков дошел до самого города, нагнал страху на турок и тем самым спас от преследования и уничтожения разбитые и отходящие войска князя Шаховского. Скобелев подзвал во время боя Сергея Верещагина и сказал:

— Уберите всех раненых. Я не отступлю, пока не получу от вас известия, что все подобраны.

В том же бою под Скобелевым убили лошадь. Художник Сергей Верещагин подскочил к нему и соскочил с седла.

— Не угодно ли вашему превосходительству взять мою?

— Не нужна мне ваша дрянная гнедая стерва! Не хочу, нет ли белой?

Белой не оказалось, и гнедая вынесла его из огня не хуже белой. У Скобелева был свой предрассудок — белая одежда и белая лошадь, говорил он, сохраняют ему жизнь. На самом деле ему хотелось, чтобы каждый солдат узнавал его и вдохновлялся примером генерала, не клаившегося пулям. Оттого он и получил позже от турок прозвище «Ак-паша» — «белый генерал».

При взятии Ловчи высоко взлетела звезда Скобелева. Чтобы не губить зря солдат, генерал провел усиленную артиллерийскую подготовку.

— Развернуть знамена! Музыка вперед! — командовал генерал, появлявшийся на белом коне в самых опасных местах. Его начальник генерал Имеретинский отправил главнокомандующему телеграмму, в которой впервые была употреблена фраза, часто повторявшаяся впоследствии: «Героем дня — Скобелев».

Верещагина навещали в госпитале журналисты и государственные деятели. Много горького услышал он и о командовании армией, начальнике штаба Непокойчицком, про которого говорили, что он «купно с еврейским товариществом морит армию голодом». Непокойчицкий ходил в друзьях у одного из руководителей компании Грегор-Горвиц-Юган и заключил с ними договор на поставку продуктов, но те считали это лишь хорошей сделкой, не

брезговали никакими махинациями, снабжали армию гнильем и нажили миллионы.

Нередко приезжал канцлер князь Горчаков, человек, осведомленный едва ли не лучше всех. Неоднократно спрашивались о здоровье Верещагина румынский король (тогда еще князь) и его супруга.

Госпиталь навещал великий Пирогов, престарелый уже, но не раз выручавший профессоров и ординаторов своими советами. Профессор Богдановский настаивал на том, чтобы Верещагин отказался от уколов морфина, так как это мешало его выздоровлению. Несмотря на жесточайшие приступы лихорадки, художник чудовищным усилием воли прекратил приемы наркотика. Рана обильно кровоточила. Появились пролежни. Верещагин, несмотря на отговоры, заставил себя встать и к концу июля уже делал первые шаги по палате. Начав ходить, он приглядывался к работе сестер милосердия и восторгался ими. «Даже там, где доктор не наклонялся над раной и не осматривал без крепкой сигары во рту — до такой степени бывал силен запах — сестрица, как нагнется над гнойным поражением, так и не разогнется, пока всего не промочет, не прочистит, не перевяжет», — записал Верещагин.

Еще не поправившись, с еще кровоточащей раной, Верещагин решил выписаться и выехать в действующую армию. Не помогли никакие уговоры...

7. Перед Плевной

Верещагин торопился к Плевне. Милая сестра Чернявская («мама», как он ее называл) решила поехать в передовую госпиталь, и такая попутчица в его состоянии была очень кстати. До Журжева ехали поездом, а оттуда берегом Дуная на фэзтоне, влекомом тройкой лошадей. После двух с половиной месяцев пребывания в госпитальной духоте речные дали, чистый воздух вызвали необыкновенный подъем духа, ощущение полноты жизни.

Понтонный мост через Дунай был цел и невредим, хотя возле Рушчука по-прежнему стояли турецкие мониторы и пароходы — миноноски Новикова напугали их раз и навсегда, и они боялись высунуть нос за пределы круга, защищаемого крепостной артиллерией. В Систове художник расстался с Чернявской. Он сделал несколько эскизов и выехал под Плевну, так как, по слухам, там готовилось что-то интересное.

Местность под Плевной поразила его своей неживописностью, безотрадностью даже. Какие-то холмы на горизонте, среди них грязный восточный городишко. Видны были широкие короткие черточки далеких редутов. Наши войска залегли на равнине. Слышалась пальба, над землей стлался дым. Никакой красочности, никакой крепости с башнями, воротами и рвами, которую штурмовали бы славные воины.

На одном из холмов расположились царь и главнокомандующий со своими свитами. Главнокомандующий заметил Верещагина и бросился обнимать его.

— Как! Вы! Молодчина, молодчина вы эдакий! Как ваше здоровье? Что рана? Видели ли вы государя? Пойдем к нему!

Он потащил художника на холм, с которого Александр II, сидя на складном стуле, наблюдал в бинокль бомбардировку Плевны.

— Здравствуй, Верещагин, — сказал он с любезной улыбкой. — Как твое здоровье?

— Мое здоровье недурно, ваше величество.

— Ты поправился?

— Поправился, ваше величество.

— Совсем поправился?

— Совсем поправился.

Спрашивать царю больше было нечего. У художника эти равнодушные знаки внимания вызывали лишь неловкость и досаду. Царь силился придумать еще вопрос, но тут художник совершил бестактность (с точки зрения придворного этикета). Стоя с непокрытой головой под моросившим дождем, он почувствовал назревавший насморк и, подавив желание чихнуть, надел фуражку. Не спросив дозволения! Царь тотчас отвернулся и поднес к глазам бинокль.

Наступила минутная неловкость. Царская свита не знала, как себя вести по отношению к художнику. Выручил князь Суворов, схвативший Верещагина за руку и потащивший в толпу:

— Земляк, земляк! Ведь я Суворов! Ваш, повгородский...

Тогда и другие — румынский князь, генералы начали жать ему руку и справляться о здоровье.

Верещагин услышал, как Суворов стал говорить царю о Сергее Верещагине:

— Он тоже художник, ваше величество. Состоит во-

лонтером-ординарцем при молодом Скобелеве. У него пять ран, под ним убито восемь лошадей! Наградите его, ваше величество!

— Пусть представят к солдатскому Георгиевскому кресту, — сказал царь.

Обстрел Плевны продолжался. Плевна, Плевна! Слава русского солдата и позор командования русской армии! И это после успехов, после переправы через Дунай, взятия Никополя и набега Гурко за Балканы... Ведь брал же Плевну русский отряд. Легко взяли, легко отдали город, а турки стали укреплять его, возводить редут за редутом, и вот теперь уже позади два неудачных штурма, громадные потери. Через несколько дней, 30 августа, будет третий штурм, приуроченный ко дню тезоименитства Александра II. И останется в народе песня об этом дне:

Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату...

Это по поводу Плевны Верещагин сделал запись: «Как мало, как поверхностно мы изучаем историю, и как зато мало, как поверхностно она учит нас!»

Страшная была паника после того, как турки отбили второй штурм. До самой переправы через Дунай бежали некоторые. Поток бегущих было увлечено и начальство. И лишь Скобелев, по примеру Суворова, встречая толпы озверевших от страха беглецов, кричал им:

— Так, братцы, так, хорошо! Заманивайте их! Ну, теперь довольно! Стой! С богом вперед!

Теперь Плевна обложена с трех сторон русскими и румынскими войсками. На блокаду не хватает сил. Верещагин спросил одного из штабных генералов:

— Неужели опять будут штурмовать?

И получил ответ:

— Что смотреть на этот глиняный горшок — надобно разбивать его!

«Старая история, — подумал художник, — шапками закидаем».

Он думал о братьях, состоявших по его рекомендации ординарцами при Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. Александр эгоистичен и трусоват, служил в драгунах и не ужился, стал управлять доставшимся ему большим имением и доуправлялся до продажи его. Зато Сергей не срамит имя Верещагиных... Художник решил съездить на левый фланг, чтобы повидать братьев и Скобелева. По дороге за-

глянул на одну из батарей. Экипаж привлек внимание турок, решивших, что приехало какое-то начальство. Начался обстрел...

Недовольный этим, командир батареи стал стращать художника:

— Вот тут, где вы сидите, вчера двоих убило, а троих ранило...

Но Верещагин спокойно зарисовывал расстилавшуюся перед ним местность, редут, окутанный дымом...

— Ну и обстрелянный же вы, — с уважением сказал командир батареи.

Не добравшись до левого фланга засветло, художник поворотил назад. Накануне штурма к нему приехал «на минутку» Александр Верещагин. Художник, живший в одной хате с полковником Струковым, с ним и с братом отправился обедать к главнокомандующему.

— Верещагины, — сказал за обедом великий князь, — государь приказал послать от своего имени вашему штатскому брату Георгиевский крест.

После обеда, вернувшись к себе, художник сказал Струкову:

— Да ведь грязь-то какая — по колени! Неужели по такой грязи можно идти на штурм?

— Так и пойдут, — ответил тот.

— Да с чем же, с какими силами?

— Пятьдесят пять тысяч наших и тридцать тысяч русских, так решил его высочество. Приказ отдан, отмены не будет.

— Знаешь что? — сказал брату Александр Верещагин. — Мне что-то не хочется быть завтра в деле, у меня есть предчувствие, что меня убьют.

— Вадор, не убьют, не беспокойся, — насмешливо сказал художник. — Много, если ранят, так это ничего, вылечим. И не забудь же, передай брату о награждении. Да смотри будь молодцом. Прощай!

Верещагин больше беспокоился о судьбе Сергея, зная безоглядность его.

8. Под Плевной

Если бы не рана, разве проторчал бы он весь этот день на холме в мучительном неведении, наблюдая издали проклятое сражение?

Во время завтрака Верещагин сидел рядом с великим

князем Николаем Николаевичем, который суетливо теребил свои жидкие бакенбарды, а потом, зажав голову ладонями, стал нервно повторять:

— Как наши пойдут, как пойдут сегодня!..

Полководец он был никакой. Штурм назначили на три часа дня, а диспозицию еще не разослали. Моросил дождь. Глинистая почва так облепляла сапоги, что ходить было трудно, не то что бежать в атаку. Генералы помалкивали. Что скажешь, если государю обещано взятие Плевны в день его именин!

На холме собралась царь со свитой, главнокомандующий. Верещагин познакомился с князем Баттенбергом, красивым молодым человеком, будущим государем Болгарии. К художнику подошел граф Муравьев, министр иностранных дел, тоже будущий...

— Позвольте мне как русскому осведомиться о вашем дорогом для всех нас здоровье?

О здоровье же спрашивал и доктор Боткин. Он увел Верещагина в кусты, чтобы осмотреть рану.

— Однако разворотило-таки вам! — сказал он. — Как вы думаете, возьмем Плевну?

— Сомнительно...

— Позор! — понизив голос, продолжал Боткин. — Ничему не научились... Терпеть поражения с такими солдатами! Остается надеяться на русского человека, на его мощь, на его звезду в будущем. Может быть, он сумеет выбраться из беды, несмотря на этих стратегов и интендантов. Стоит поближе приглядеться к русскому солдату, к его уму, находчивости и одновременно покорности, и начинаешь со злобой относиться к тем, кто не умеет руководить им...

Темные облака и дым над полем битвы — вот и все, что было видно с холма. Царь и его свита стояли на коленях. Священник служил молебен по случаю именин царя, прося высшие силы «сохранить воинство его». Вдруг раздался сильный ружейный треск и с позиции донеслось громкое «ура!». Что же это? Штурм назначен на три часа дня... С войсками нет никакой связи. Что же там происходит?

На холме поставили стол со стульями для царя, его брата и генерал-адъютантов и подали завтрак с шампанским. Александр II поднял бокал:

— За здоровье тех, которые там дерутся, — ура!

— Ура-а!

Начался штурм. Выстрелы слились в непрерывный рев. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, Верещагин вместе с князем Карлом румынским и старым Скобелевым, прихрамывая, спустился вниз и встал в кустах, где изредка шлепались гранаты с Гривицкого редута.

Гранаты косили шеренги солдат, медленно продвигавшихся по скользкой и вязкой почве. Солдат, приблизившихся к редутам, расстреливали оттуда картечью. Войска стали отходить.

— Отбиты! — сказал румынский князь, не спускавший глаз с правого фланга, где сражались его полки. Он был смертельно бледен и пошатывался. — Коня, скорей коня!

Князь ускакал, а Верещагин спросил оставшегося румынского полковника:

— Что это он так перебудоражился?

— Очень просто, — сказал с неожиданной откровенностью румын. — Прекрасно знает, что не усидит на троне, если его разобьют.

— Миша, как там Миша? — беспокоился о сыне старший Скобелев.

Художник вернулся на холм, где царь по-прежнему сидел на стуле и тщетно пытался разглядеть, что же делается на поле битвы. За ним толпой стояли осанистые генералы. Не скакали ординарцы, не отдавались приказы... Кучка людей в богатых мундирах и при саблях на холме и густые клубы дыма в долине. «Армией никто не руководит!» — пришло вдруг в голову художнику. Эта картина врезалась в его память, и потом он написал ее, дав пищу для сотен толкований. «Под Плевной».

В шесть часов вечера из сплошного дыма показался всадник в широкополой шляпе. Это был американский агент капитан Грин, единственный вестник с поля битвы. Он сказал, что штурм отбит повсюду. На лицах царя, главнокомандующего, свиты был ужас. Никто и не подумал узнать, что же на самом деле происходило у плевенской твердыни. Никто ничего не предпринял...

Лишь поздно ночью штаб узнал о действительном положении дел, да и то со слов случайно приехавшего офицера. Американец соврал. На Гривицком редуте развеялись русские и румынские знамена. На левом фланге отряд молодого Скобелева захватил и удерживал несколько редутов, названных потом «Скобелевскими». Они висели над самой Плевной, путь в город был открыт...

Все повеселели. До утра офицеры сидели у костра, шутили. Художник радовался, хохотал так, как не хохотал всю свою жизнь. И, как оказалось по старой примете, не к добру.

Утром с левого фланга, от Скобелева, прибыл с донесением офицер. Увидев Верещагина, он подошел к нему.

— Я должен сообщить вам, Василий Васильевич, что один брат ваш убит, а другой ранен.

Художник понял сразу: Сергей убит, Александр ранен.

9. После атаки

Потом говорили, что всю неделю после злополучного дня художник Верещагин казался окружающим полупомешанным. Он настойчиво искал тело брата. Взгляд его был отрешен. Он напряженно думал. Думал о героизме и страданиях одних и глупости, тщеславии и подлости других.

Теперь можно восстановить события этого дня.

Сотник Александр Верещагин, расставшись со старшим братом, вернулся на левый фланг. Скобелев, наверно, уже был на позиции. Александр ехал по раскисшей дороге. По небу медленно ползли низкие свинцовые тучи. Сотник ежился. «Неужели, — думал он, — я самый трусливый, самый малодушный? Отчего я не на позиции, словно беглец какой! Что подумает обо мне Скобелев?»

Завидев высокую фигуру Скобелева, ходившего взад и вперед по дороге и потиравшего по обыкновению руки, Александр тихонько сполз с лошади, и, точно школьник, который опоздал в класс, постарался как можно незаметнее смешаться с толпой офицеров.

Приближалось время атаки. Скобелев велел подать коня, офицеры бросились к своим лошадям. В это время подъехал Сергей Верещагин в короткой черной куртке на маленькой турецкой лошадке.

— Сережа, — крикнул ему Александр, — Василий Васильевич просил тебе передать, чтобы ты возвратил ему вещи, повозку, краски, а то ему работать нельзя.

— Не время, братец мой, теперь об этом разговаривать! — возразил Сергей Верещагин и, перекинувшись еще несколькими словами с братом, хлестнул лошадь плетью под брюхо и карьером понесся на позицию.

Больше они не увиделись.

Художник Верещагин потом допытывался у брата

Александра, почему тот хотя бы не сказал Сергею о награде, о «георгии». Зависть, обыкновенная зависть трусоватого человека. Зависть к родному брату.

«Он отложил это на после, а после оказалось поздно, — записал художник, — братишка был убит наповал. Разбери, кто может, все изгибы человеческого сердца!»

Михаил Дмитриевич Скобелев ехал впереди, изредка обращаясь с вопросами к своему начальнику штаба Куропаткину. Они объезжали полки, напряженно ожидавшие сигнала к атаке. Турки изо всех сил палили по всадникам, но Скобелев по-прежнему ехал медленно. Пули свистели, и Александр Верещагин старался все забирать левее, прячась от пуль за Куропаткина и Скобелева. Но это не помогло, раздался щелчок, и на сапоге у щиколотки оказалась кровь. Александр вскрикнул. Боли он не чувствовал, но ему казалось, что его убили.

— Стой! Стой! Кто-нибудь, помогите!

Скобелев обернулся, мельком взглянул на Александра и, поняв, что рана несерьезная, поехал дальше.

В три часа Скобелев двинул в атаку Владимирский и Суздальский полки, но они не дошли до гребня Зеленых гор, где были редуты. Вслед пошел, развернув знамена, под музыку Ревельский полк. Следом двинулся в бой третий и последний эшелон — Либавский полк. У генерала оставался один резерв — он сам. Пришпорив коня, Скобелев поскакал вперед, скатился с лошады в ров, высвободился из-под нее и одним из первых ворвался в редут Каванлык. Через полтора часа пал и редут Иса-ага. Турецкая армия была рассечена надвое. Плевна висела на волоске. Но тщетны были просьбы о подкреплении. Турки начали бешено контратаковать. Тогда-то и погиб Сергей Верещагин.

«Почему же Скобелева не поддержали? — писал Василий Васильевич Верещагин. — Во-первых, — говорю это сознательно, — потому что он был слишком молод и своими талантами, свою безоглядную храбростью многим намозолил глаза... Во-вторых, потому что на Главной квартире понятия не имели об успехах штурма 30 августа. Виноват, конечно, штаб, но, с другой стороны, виноваты и начальники частей: я свидетель того, что и главнокомандующий и государь были плохо извещаемы об успехах и не-успехах дня...»

Силы Скобелева таяли. Он потерял едва ли не половину людей. Художник Верещагин подоспел, когда уже герой-

ски погиб майор Горталов, отстаивая редут Каванлык, когда уже, подобрав раненых, скобелевские части отошли. Среди раненых Сергея не было. Его тело осталось там...

Скобелев рыдал как ребенок.

— До третьей Плевны я был молод, теперь я старик! — сказал он.

Верещагин все еще на что-то надеялся, искал брата, спрашивал всех встречаемых, особенно у врачей.

— Верещагин, Верещагин, гм, — говорили ему. — Фамилия-то известная! Кажется, убит, а, впрочем, право, не знаю...

А раненых тащили и тащили на носилках, тысячи раненых...

По воспоминаниям Верещагина, война была безобразна. Где они, красавцы, лежащие картинно, возведя очи к небу и зажав руками рану? Это не люди лежат, это комочки грязно-зеленоватого цвета, скорчившиеся, прикрытые дырявыми, вонючими шинелишками. А из-под шинели глядят воспаленные глаза, и «помертвевшие губы шепчут слова прощания с батюшкой, матушкой, Грушкой или Анюткой». Художник заметил — как ни тяжка рана, как ни упал дух, все-таки последняя мысль солдата вертится около родного гнезда...

Он ходил из палатки в палатку на перевязочных пунктах, видел кучи отрезанных рук и ног, раненых и простуженных, заедаемых блохами и вшами, видел кучи мяса и гноя, наростившие на местах, где были раны. Он присутствовал при операциях профессора Склифосовского, резавшего живое тело без хлороформа, который весь вышел. Видел сестер, залитых кровью и падавших от изнеможения...

Писатель Василий Иванович Немирович-Данченко 6 сентября записал в своем дневнике: «Я встретился с известным художником Василием Васильевичем Верещагиным. Он был сильно потрясен смертью своего брата Сергея.

— Мучит меня одно... Может быть, братишка теперь лежит раненый, может быть, он и не умер вовсе... — терзался Верещагин, раненный сам...

— Да ведь говорят, что по тому месту, где упал ваш брат, турки прошли, а уж они в живых не оставят.

— Мне вон рассказывали, некоторые в бинокль видели, как оттуда раненые руки подымают, ползают там... А подойти нельзя. Пухнет он, поди, теперь, если умер.

И Василий Васильевич вздрагивал, представляя себе эту картину.

Сам наш знаменитый художник почти уже здоров. Он было попробовал поехать верхом — да рана дала себя знать, опять началось нагноение. Бездействие мучит его до крайности. «Стыдно на людей смотреть — ничего не делаю». Третий брат его — казак владикавказского полка, тоже ранен в ногу и лежит в бракованском госпитале в Бухаресте».

И еще мучило Верещагина то, что он и в самом деле просил Сергея вернуть повозку и краски. Надо было работать, рисовать, писать. И все же он казнил себя...

Казнил он и тем, что нечаянно предсказал рану Александру. Рана была легкая, пуля засела в мясе возле пятки, ее легко извлекли.

— Останусь калекой, — говорил Александр.

— Ничего, мы еще потанцуем, — утешал его художник. Наложив в свою коляску подушек, он усадил в нее брата и отправил в Бухарест.

На другой день главнокомандующий держал военный совет — не снять ли осаду Плевны. После совета молодой Скобелев подошел к Верещагину. На совете Михаила Дмитриевича произвели в генерал-лейтенанты и дали 16-ю дивизию. Скобелев со слезами на глазах вспоминал о Сергее Верещагине.

— Он очень, очень был полезен мне, — повторял Скобелев.

Художник интересовался решениями военного совета. Генерал был недоволен.

— Представьте себе, Василий Васильевич, человека, — говорил он, нервно дергая Верещагина за пуговицы своими худыми пальцами, — несведущего в искусстве, но накладывающего на холст разные краски: красную, синюю, белую, зеленую, накладывающего долго, старательно, но из этого накладывания ничего не выходит. Так и тут...

Скобелеву не по душе было осторожное решение прекратить активную деятельность против Плевны. Из Петербурга вызывались гвардия и знаменитый военный инженер Тотлебен. Скобелев понимал, что общая численность русских и их союзников меньше численности турок. Но в нем говорило раздражение из-за упущенной победы. И вообще он отпросился в Бухарест, собираясь крепко кутнуть, разрядиться...

У Верещагина нервы тоже были натянуты туго. К то-

му же рана опять воспалилась, но два дня отдыха поправили дело. Получив свои художественные принадлежности, он лихорадочно работал. Он был достаточно опытным человеком, чтобы знать, почему во время военных действий не заболевают люди, существующие в самых жутких условиях. И почему их начинала косить смерть, как только кончалась война и казалось, что все позади... Он работал, работал, работал.

10. На Шипке

Шипкинский перевал в свое время взяли легко, но отстоять его оказалось совсем непросто. Армия Сулейман-паши непрерывно атаковала позиции генерала Радецкого, под началом которого были и русские и болгары. Укрепления на перевале простреливались со всех сторон. Один офицер германского генерального штаба сказал, что такую позицию мог выбрать лишь умалишенный и что ей не продержаться и трех дней. А она держалась месяц за месяцем. Сулейман-паша назвал Шипку «сердцем Балкан» и «ключом к Болгарии» и был прав. Но поделаться ничего не мог. Русские батареи на горе Святого Николая и других возвышенностях держали турок под перекрестным огнем. Те гибли тысячами и снова шли... В минуты передышек жители болгарских деревень доставляли своим воду, пищу, выносили раненых. Шесть тысяч ведер чистой и холодной воды привозили они на своих осликах каждый день по дороге, осыпаемой пулями, и еще останавливались по пути, курили, смеялись...

Направляясь на Шипку через Тырново и Габрово, Верещагин приглядывался к болгарам. Перед самым Тырново он поднялся в пещерный монастырь, откуда был виден город, долина с рекой за ним. Это место удивительно красивое. Старцы рассказывали ему о подвигах, но не духовных, а иных, кровавую летопись открытой и подпольной борьбы с турками, в которой и они принимали участие. И тем более им было интересно наблюдать и слышать из своего горного гнезда народный восторг встречи русских войск, военную музыку, крики, объятия...

Вскоре Верещагин писал Стасову: «Трудно Вам передать все ужасы, которых мы тут насмотрелись... По дороге зарезанные дети и женщины... масса бродящего и подохнувшего скота, разбросанных и разбитых телег, хлеба, платья и прочее. Отовсюду бегут болгары с просьбой за-

щиты... У меня целовали руки с крестным знамением, как у Иверской... Духовенство с крестами и хоругвями... депутации, народы разных стран и физиономий — все это гудело, орало. Женщины и старики крестились и плакали с самыми искренними приветствиями и пожеланиями».

Тырнов ему очень понравился. «Благорастворение воздухов и обилие плодов земных» не могли испортить даже сточные канавы, проходящие прямо по улицам. Художник остановился в одном болгарском доме, где хозяйка просила его побольше говорить с другими по-русски. Звуки родственного языка приводили их в восторг.

С первых же дней в Болгарии солдатам и офицерам бросилось в глаза, что, несмотря на стеснение их политической свободы, болгары живут несравненно зажиточнее русских. Да, турки режут их, с церковей сняты колокола, но большая часть домов куда лучше тех, в которых живет три четверти России. В домах порядок, закрома набиты добром. Иные говорили: «Кроем чужую крышу, когда своя хата течет...» Но Верещагин не поддерживал подобных разговоров, хотя проблемы взаимоотношений русских и болгар оценивал весьма трезво...

Город Габрово, стоящий на реке, в ущелье, с красиво выстроенными домами, обвитыми виноградом и зеленью, по выражению художника, «так и просился на картинку». Несмотря на близость Шипки, массу раненых и беженцев, в городе кипела жизнь, велась бойкая торговля.

По прославленному Шипкинскому шоссе Верещагин добрался до землянки генерала Радецкого и застал его за излюбленным занятием... за картами. Генерал сидел в глубоко нахлобученной фуражке и гнул углы. Физиономия у него была добродушная.

— Винтите? — спросил он художника простуженным басом.

— Нет, ваше превосходительство.

— Располагайтесь.

Наутро Верещагин выглянул из землянки и ахнул. Над расположением русских нависла Лысая гора, откуда туркам все было видно как на ладони. Хромая, с палочкой, со складным стулом и ящиком красок в руках, художник отправился на позиции. Впрочем, как говорил потом военный инженер и композитор Цезарь Кюи: «У нас не было ни тыла, ни флангов, почти не было и фронта». Верещагин же вспоминал, что путь его постоянно устилался пулями, «как розами». Чувство было пренеприятное —

возьмешь вправо, и пули летят правее; повернешь налево, и пули летят туда. «Пели» эти комочки свинца по-разному, каждый на свой лад. Верещагин примечал, как ударяются пули: о камень — стучат, в песке — шуршат, а в тело входит с едва заметным звуком «тсс». Только когда ударит в тебя самого, ничего не слышишь.

Он не забывал раненого брата и написал ему в госпиталь: «...Все время стреляют и пулями, и гранатами, и бомбами, похуже Плевны — просто рисовать нельзя. Сел, например, в одном из маленьких домиков, находящихся на позиции, чтобы нарисовать Долину Тунджи, или Роз, как получил одну за другой две гранаты в крышу. И меня и краски мои засыпало землей и черепицей; даже дорога обстреливается, и проезжать по ней опасно. Рана моя совсем зажила, хотя кожа еще нежная. Но я уже всегда езжу верхом и недавно с Шипки проехал 120 верст. Скажи это докторам и кланяйся им всем... Никогда не забуду внимания, которым я был там окружен, несмотря на то, что страшная моя азиатская лихорадка делала меня очень беспокойным и задала им немало работы».

Услышав о деле под Горным Дубняком, художник выехал туда на второй же день. Об этом он и писал брату. По дороге было время поразмыслить о том, что он увидел и услышал на Шипке.

Местные жители предупреждали, что на Шипкинском перевале зимовать нельзя, рассказывали о страшных осенних и зимних бурях. Художника беспокоило то, что солдаты легко одеты. Затребованных полушубков и валенок интендантство присылать и не думает. Все передоверено нечистоплотным людям. Генерал Радецкий, разумеется, хладнокровен под пулями, но в иное время ни о чем, кроме карт, не думает. В землянки и траншеи к солдатам он так ни разу и не заглянул. Беспечность генерала будет причиной больших бед...

Сбылись худшие опасения художника. Вскоре после его отъезда начались холода. Одежда солдат на ветру промерзала до тела, образуя сплошную ледяную кору. В землянки набивалось много солдат, стены и потолок «отходили», и уже через два часа оказывалось, что люди лежат в воде. Промокшие, они потом выходили на мороз... В мороз ружья Бердана не стреляли. Начальник, прибывшей на подмогу 24-й дивизии, самодур Гершельман требовал, чтобы солдаты вели себя «щегольски» и

надевали башлыки только на часах. «Бывали случаи, — писал Н. Бороздин, — разводящий унтер-офицер идет по постам со сменой. Часовой стоит у бруствера, по положению, с ружьем на плече. Смена подходит к нему вплотную, он не шевелится. Унтер-офицер окликает его: «Часовой! Ты спишь?» В ответ гробовое молчание. «Эй! Проснись!» Унтер-офицер толкает часового, и на ледяной пол падает труп с характерным хрустом замороженного мяса. Однажды оказалось, что всю западную позицию охраняли... трупы».

Погибла едва ли не вся дивизия.

А генерал Радецкий неизменно докладывал: «На Шипке все спокойно!»

11. С Гурко

Когда Верещагин приехал под Плевну, Горный Дубняк был уже взят. Прибывшая из Петербурга гвардия поступила под начало генерала Гурко. Ему было приказано отрезать турок, засевших в Плевне, от их тылов. На шоссе в Софию и были укрепленные пункты турок — Горный Дубняк, Дольный Дубняк и Телиш. Гвардейцы шли на штурм сомкнутым строем и гибли тысячами. Тогда они сами рассредоточились, стали наступать цепями, перебегать и переползать опасные места. Так возникла новая тактика.

Художника представили генералу и перезнакомили с офицерами, составлявшими штаб. Они сгруппировались в нечто вроде «клуба», который называли почему-то «английским», столовались вместе, на паях. Верещагин подружился с ними и вошел в «клуб».

Увидев тысячи трупов перед редутом, художник выразил удивление, отчего перед штурмом мало применялась артиллерия. Гурко ответил заносчиво:

— Ничего, впоследствии разберутся в деле под Горным Дубняком. Оно войдет в историю военного искусства.

— А мне кажется, что не стоило класть четыре тысячи человек из-за небольшого редута. Результата можно было достигнуть действием одной артиллерии.

И генерал и художник были по-своему правы. Впрочем, несогласие их не омрачилось неприязнью. При взятии Телиша была применена «артиллерийская атака», деморализовавшая турок. После шести часов стрельбы в

редут был послан князь Цертелев, близкий друг недавно умершего поэта Алексея Константиновича Толстого. Он вез записку:

«70 орудий направлено на вас. Если вы не сдадитесь немедленно — все будете перебиты».

Подружившийся с Верещагиным Цертелев признавался потом, что чувствовал себя так, будто клал голову в пасть льву. Но турецкий комендант не обладал львиным характером, он постарался уцелеть за эту записку и сдался.

Гурко, Верещагин и весь штаб стали свидетелями трогательной сцены. Солдатик-артиллерист гладил и целовал свое орудие, приговаривая:

— Спасибо тебе, голубушка, поработала ты на нас и заработала!

Привели телишского пашу, вертлявого человечка с елейными манерами, и спросили, где находятся русские раненые от дела третьего дня. Паша заезжил и все уходил от ответа...

Вскоре художник сделал страшное открытие. Как-то он съехал с шоссе на ровное место, покрытое высокой сухой травой, и увидел две фигуры. Это были священник и причетчик из солдат, совершавшие прямо в поле заупокойную службу. Художник спешился и подошел поближе. В траве лежали отрезанные головы русских солдат. Окончив службу, батюшка показал художнику на множество бугорков свежей земли, из которых торчали руки и ноги...

Вернувшись на Софийское шоссе, Верещагин встретил Струкова, ставшего уже генералом.

— Подумайте только, Александр Петрович, какую штуку сыграли турки с нашими егерями!

— Что такое?

— А вот поедем, увидите.

Уже на другой день в поле было откопано около полутора тысяч трупов. Все были когда-то крепкими и красивыми гвардейцами, а теперь лежали обобранные, голые и страшно изуродованные. Турки добивали раненых с чудовищной жестокостью... Художник поклялся, что напишет картину этой панихиды...

Оставив за спиной Плевну, армия Гурко двинулась к Балканам. Турки отходили, огрызаясь. Солдаты целыми ротами втаскивали на горы пушки. Гурко не знал снисхождения. «Втащить зубами!» — приказывал он.

И втаскивали. И громили турок. В одном месте генерал в присутствии Верещагина заметил воз, который волокли в гору десятки солдат.

— Чья повозка? — спросил Гурко.

— Полкового командира, ваше превосходительство.

— Позвать сюда полкового командира!

Явился полковник и поднес дрожащую руку к козырьку.

— Вы полковой командир?

— Точно так, ваше превосходительство!

— Вашу хурду-мурду тащит по грязи целая рота солдат — стыдитесь, полковник!!! В кручу спущу вашу повозку!..

Во время тяжелых боев у Шандорника художник часто выполнял обязанности генеральского ординарца, скакал с приказами, доставлял просьбы о подкреплении.

Гурко стоял на высоте и, если замечал, что какая-нибудь из частей дрогнула, кричал громовым голосом:

— Стыдитесь, срам!!!

Там-то Верещагин и увидел совершенно необычную картину. Надвинувшееся облако расступилось и обвило сражавшихся кольцом, которое в лучах восходящего солнца засияло всеми цветами радуги — от красного в свете до зеленоватого и синеватого в тени.

Все ахнули, а Гурко сказал художнику:

— Это уж по вашей части!

Верещагин достал краски и кисти и тотчас принялся за работу.

Он дошел с Гурко до Орхание, где услышал, что Плевна наконец пала.

12. Опять Плевна

Все-таки он не терял надежды разыскать тело Сергея. Комендантом в захваченной Плевне был Михаил Дмитриевич Скобелев. Генерал обрадовался художнику, предложил остановиться, жить и харчеваться у него. Скобелев и окружавшая его молодежь занимали большой дом.

— А теперь, Василий Васильевич, загляните в вертеп, увидите много старых знакомых.

— Какой вертеп?

— Это туда, по коридору...

В большом помещении, названном Скобелевым «вер-

тепом», действительно собрались многие старые знакомые художника. Веселая компания пела хором.

— Вниз по матушке по Волге... — степенным баском запевал начальник штаба полковник Куропаткин, щуплый и некрасивый, и помахивал руками, дирижируя. Скобелевский штаб отдыхал...

Верещагину рассказали, что Тотлебен сдерживал Скобелева при взятии Плевны, но в конце концов тот сам повел казаков на турецкие траншеи. Во время турецких контратак его дважды контузило. Многие считали, что Скобелев рискует жизнью без надобности. Он и в самом деле иной раз зря позировал под обстрелом (солдаты поговаривали, что его заколдовали в Хиве). Нежелательным посетителям передовых позиций он предлагал совместную прогулку под огнем и отбил у высоких визитеров привычку приезжать без дела.

На другой день Верещагин отправился к местам боев. Трупы русских были уже убраны, а турки еще валялись повсюду. У костров пытались согреться пленные. На левом фланге, где сражались скобелевцы, трупы русских еще не были убраны. Художник помнил, что брат был в черкеске и в ситцевой с крапинками рубашке. Он вглядывался в уже разложившиеся трупы и плакал. Чтобы отвлечься, он решил набросать картину побоища. Взаялся писать, потом разрыдался и бросил. За слезами не видел ничего.

Кто-то сказал ему, что Сергея будто бы похоронили, и даже показал могилку. Верещагин увеличил насыпь и посадил по углам могилы кусты.

По дорогам брели пленные турки. Они валялись, их давливали в снег, шли по ним...

Встречные солдаты теперь глядели на них с состраданием и говорили:

— Что, брат турка, плохо дело! Вот и знай, как воевать с нами, и другу и недругу закажи...

Плевна — «это логовище дикого зверя». Так сказал Верещагин, когда с Немировичем-Данченко и доктором Стуковенко обходил плевенские турецкие госпитали. Дома с турецкими ранеными по приказанию турецких же пашей наглухо заколачивались, и люди умирали взаперти от голода. Русские власти разыскивали эти дома и поручали оставшихся в живых заботам врачей.

Молодой Скобелев торопился привести Плевну в по-

рядок. Город собирался навестить Александр II перед своим отъездом в Россию. Царь никому не забыл сказать «милостивое» слово. Разговор его с художником не отличался от прежнего.

- Здравствуй, Верещагин! Ты поправился?
- Поправился, ваше величество.
- Ты совсем поправился?
- Совсем поправился, ваше величество.

Художник Верещагин переписывался с братом Александром, лежавшим в бухарестском госпитале, стыдил за капризы и советовал: «Скобелев зовет тебя к себе, и я думаю, что если он пойдет вперед, то тебе не следует уходить от него».

В Плевне художника застало еще одно письмо Александра. Тот хотел по выздоровлении улизнуть из действующей армии в Петербург и просил протекции. Художник тотчас написал ему:

«Я никак не советую тебе теперь проситься на какое-либо место в Петербурге, потому что ты еще не калека...»

От гнева у художника дрожали руки. И это Верещагин! Но он старался быть в письме сдержанным.

«Уходить с театра войны офицеру, легко раненному, не следует, и я теперь не возьму на себя кого-либо просить о твоём переводе, да и тебе не следует покушаться на это — не советую... Я советовал бы... тебе не говорить того... что ты «не пойдешь более под пули!». Поверь, что все... не одобряют таких выражений в устах юного офицера, казака, да еще Верещагина... Не невозможно, что в нынешнем году армия пойдет за Балканы, и тогда тебе... следует пойти туда же... Смотри же *не малодушничай*, помни, что время для России тяжелое, и не переходи добровольно с первого ряда в раек...»

Александр Верещагин, выписавшись из госпиталя, вернувшись в Плевну. Расспросив, где комендантский дом, он попал к самому обеду. За громадным столом на первом месте восседал старый Скобелев в своей спней гвардейской черкеске. По правую руку сидел молодой Скобелев. Среди генералов и офицеров Александр увидел и брата, Василия Верещагина, в драповом пиджаке, с «георгием» в петлице.

Михаил Дмитриевич был весел, он хохотал и разговаривал громче всех.

— А-а-а, Верещагин, здравствуйте, батенька! Как ваше здоровье?

Скобелев усадил молодого офицера возле себя и налил ему шампанского. Александр, обрадованный генеральской лаской, подумал, что все забыто... Но не тут-то было.

— А помнишь, Алексей Николаевич, — сказал Скобелев, обращаясь к Куропаткину, — как он защищал нас с тобой, когда его ранили?

Александр жалобно посмотрел на брата Василия, ища сочувствия. Но тот отвернулся.

Скобелев непрерывно мял своими тонкими худыми пальцами хлебный мякиш. Руки его ни на секунду не оставались в покое. Он дергал Александра за рукав черкески.

— Нет, вы представьте, как вы защищали, ну представьте...

И сам стал представлять, как трусил и прятался за него Александр, как визжал тот при ранении... И это при всех!

Наконец Скобелев кивнул отцу, давая знать, что пора вставать из-за стола. Старик тотчас улегся на диван. Молодой Скобелев никогда не ложился после обеда. Он скидывал мундир, надевал коротенькую кожаную куртку на красной фланелевой подкладке и читал или думал, быстро шагая по комнате взад и вперед. Скобелев очень много занимался. Его записки о положении солдат и офицеров, о причинах неудач и планы ведения войны были полны наблюдательности и метких замечаний, но весьма досаждали главнокомандующему и его штабу. Прекрасно владея французским, немецким и английским языками, Скобелев выписывал десятки иностранных журналов, превосходно знал военную литературу разных стран, ориентировался в политической обстановке. Он предлагал идти через Балканы и наступать к Адрианополю, считая, что в случае успеха война может быть закончена до весны.

И тем более странное впечатление производил Скобелев на Верещагина некоторыми своими легкомысленными поступками и склонностью к богемной жизни. Художник даже считал нужным опекать генерала, удерживать его...

Если Скобелев ехал в коляске и было свободное место, он непременно подвозил по дороге какого-нибудь солдата, расспрашивал его обо всем, прямо-таки очаровывал...

вал своей доступностью и простотой. Солдат рассказывал у себя в полку об этой встрече, и, если часть потом поступала под командование генерала, солдаты считали это удачей. Верещагин не мог понять, чего больше в поведении Скобелева — намеренности или полководческого инстинкта.

— Я почитаю за величайший талант того, кто возможно меньше жертвует людьми, — любил говорить Скобелев. И это не была просто фраза. Когда гибли люди, он не щадил и себя.

Бывало, он говорил своим офицерам:

— На массу дурно одетых, изнуренных дурною пищею солдат мало повлияет и ваша доблестная храбрость...

Горячую пищу у него возили на позиции при любом обстреле, и поэтому солдаты рассуждали: «Со Скобелевым драться можно — всегда сыт будешь». Раненых на поле битвы он никогда не оставлял. Под Ловчей, подавая пример, генерал ездил с казаками выручать раненых. И снова солдатский восторг: «Сам поехал; и лошадь под ним убили, а двоих вывез». Денщик у него креста получить не мог. «За чистку сапог?» — фыркнул генерал. Когда присылали *голосовые* кресты на роту, солдаты обычно присуждали их фельдфебелям и богатым вольноопределяющимся. Скобелев заставлял проводить голосование вторично, разъясняя солдатам, что присуждать ордена надо только самым храбрым. Если результаты голосования повторялись, Скобелев приказывал представлять отличившееся начальство к *именным* Георгиевским крестам. «Иначе простой армейской кирилке ничего не достанется».

Георгиевские кавалеры, бывало, менялись крестами, считаясь потом побратимами. Скобелев уговаривал Верещагина поменяться еще в Румынии, при первой встрече. И добился этого только в Плевне, два дня назад. Однако, узнав, что генерал хочет совершить еще один размен, художник решил вытребовать обратно дорогой ему крест. Что ему и удалось сделать после обеда.

Генерал все не отпуская Александра Верещагина.

— Ну что же вы, батенька, пойдете с нами вперед? — спросил он.

— Не знаю, ваше превосходительство, как моя нога позволит, — промямлил Александр. Василий Верещагин наконец пришел ему на выручку:

— У него еще рана не зажила. Ему трудно будет следовать за нами.

— Так пускай едет в моей коляске. Эх, батенька, да разве вам придется когда второй раз переходить с войсками Балканы? Я бы на вашем месте хоть ползком, да полз бы.

Шагавший из угла в угол Скобелев вдруг направился к отцу и стал его тормозить. Старый генерал отпихивал его ногами и гнусаво кричал:

— Миша, отста-аь! Миша, не шали!

13. Через Балканы

Готовясь к походу, Верещагин решил отправить в Россию готовые эскизы, наброски, этюды. Он положил этюды в сумку из непромокаемого полотна, обшитую для верности ремнями. Доставить сумку в Петербург и передать в верные руки должна была старая знакомая, сестра милосердия Чернявская, но она находилась в Систове, и вручить ей работы взялся доктор Стуковенко. Свои услуги предложил и командир гренадерского полка полковник Пуцнин.

— Я знаю, — сказал он, — как вам дороги эти этюды, Василий Васильевич, и сам понимаю цену их. Будьте уверены, что я в точности исполню ваше поручение.

Уже сговорившийся со Стуковенко художник отказался. Но случилось несчастье — Стуковенко заболел, и сумка потерялась. Верещагин напрасно выезжал в Систово. Скобелев снарядил на поиски этюдов несколько офицеров. Но работы Верещагина пропали бесследно. Их ищут и по сей день...

Две колонны, Скобелева и Святополк-Мирского, должны были перейти через Балканы, справа и слева от Шипкинского перевала. Декабрь сулил большие трудности. Скобелев распорядился, чтобы каждый солдат взял по полену сухих дров — разжигать костры из сырых веток. Он сам проверял, у всех ли солдат есть просаленные портянки и теплые набрюшники.

Скобелев написал приказ и зачитал его:

— Нам предстоит трудный подвиг, достойный испытанной славы русских знамен: сегодня мы начнем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь на виду неприятеля через глубокие снеговые сугробы...

Обращаясь к болгарским дружинам, выступавшим в авангарде, он добавил:

— Болгаре-дружинники!.. В сражениях в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей — русских солдат. Пусть будет так же и в предстоящих боях! Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер, жен... Словом, за все, что на земле есть ценного, святого... Вам бог велит быть героями!

Верещагин пагнал Скобелева в Топлише и сунулся было к генералу. Но тот спал богатырским сном. Художника удивляла способность нервного, всегда взвинченного генерала засыпать быстро и крепко именно накануне тяжелых испытаний. Утром Скобелев уже уехал вперед, и догонять его по глубокому снегу было трудно. Лошадь спотыкалась, проваливалась. Солдаты уступали дорогу и еще пошучивали:

— Штык подними, примп! Смотри, сейчас глаз воп верховому выколешь!

Художник догнал генерала у «Марковых столбов», где для Скобелева и Куропаткина разбили палатки. Верещагин согрелся чаем и тотчас сел писать этуод.

Наутро стали видны турецкие и русские позиции у Шипки. Глядя с вершины, Верещагин узнавал гору Святого Николая и Лысую гору, вспоминал мучительное сидение на перевале.

Вниз было страшно смотреть — спуск оказался невероятно крутым.

Верещагин сказал Куропаткину, что неплохо было бы занять два пика по обеим сторонам спуска.

— Что, что вы говорите, Василий Васильевич? — спросил ехавший впереди Скобелев. Он всегда чутко прислушивался к тому, что говорили вокруг него, и не брезговал дельными советами.

Верещагин сказал насчет высот.

— Да, Алексей Николаевич, это совершенно верно. Прикажите сейчас же занять их и окопаться.

— Слушаюсь, — недовольно откликнулся Куропаткин, косясь на штатского, рискующего подавать советы. Прекрасный исполнитель и храбрый человек, он оказался негодным главнокомандующим впоследствии, в 1904 году, во время русско-японской войны. Впрочем, и на днях он проявил недальновидность — высказался против

перехода через Балканы, как и Радецкий. Но Скобелев повторял:

— Перейдем! А не перейдем, так умрем со славою!

— Он только и знает, что умрем да умрем, — ворчал Куропаткин. — Умереть-то куда как нетрудно, надобно знать, стоит ли умирать...

Скобелев дал команду спускаться. Солдаты скатывались вниз, иные со смехом и шутками. Однако многие тяжело ушиблись. На лошади было спускаться еще труднее. Художник и не помнил, как он скатился вместе с лошастью с кручи. Поднявшись на ноги, он увидел вдали хижину, из окна которой когда-то пытался написать Долину Роз... Внизу, между деревьями Шипка и Шейново, виднелись укрепленные курганы, центр турецкой позиции.

Теперь уже турки были близко. Они осыпали русских пулями из своих дальнобойных ружей Пибоди, оставаясь в пределах недосягаемости. Художник сел писать, а генерал собрался на рекогносцировку. Стоявший рядом с Верещагиным Куропаткин вскрикнул и упал. Его тяжело ранило навывлет. Он все просил сказать, не смертельна ли рана.

Скобелев велел унести Куропаткина и отер слезы. На рекогносцировку он поехал вместе с Верещагиным.

Вскоре им пришлось спешиться. Художник шел слева от генерала и с тревогой прислушивался к назойливому свисту пуль.

«Вот сейчас тебя, брат, прихлопнет, откроют тебе секрет того, что ты хотел знать, — что такое война!» — думал художник.

Он наблюдал за Скобелевым, за лицом генерала, за руками. Бойтся ли тот хоть немного? Нет, лицо спокойно, руки в карманах. Походка с развальдой. Кажется даже, что он замедляет шаг.

Лишь оказавшись в безопасном месте, Скобелев сказал:

— Ну, Василий Васильевич, мы сегодня прошли сквозь строй!..

Это художник знал и сам, его интересовало, что испытывал Скобелев.

— Скажите мне откровенно, — сказал Верещагин, — неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?

— Вздор! — ответил генерал. — Меня считают храб-

рецом и думают, что я ничего не боюсь, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, когда начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится.. Когда под Плевной меня задела пуля и я упал, моя первая мысль была: «Ну, брат, твоя песенка спета!»

Художник был доволен. Уж больно терзала мысль, не трус ли он сам.

— Я взял себе за правило, — добавил генерал, — никогда не кланяться под огнем. Раз позволишь себе сделать это — зайдешь дальше, чем следует.. Кстати, Василий Васильевич, как вы думаете, ладно у меня идет? Нет ли беспорядка? Вы были у Гурко, скажите по правде, больше у него порядка, чем у меня?

— Порядка не больше, но он меньше вашего горячится.

— Да разве я горячусь?

— Есть немножко..

Верещагин подумал о том, как еще вчера недовольный генерал раздавал оплеухи, а потом пытался шутками задобрить пострадавших.

В этот день атака не состоялась. Не подспели пушки и кавалерия. Начальник бригады болгарского ополчения князь Вяземский доложил, что доставить орудия к вечеру невозможно. Скобелев и не настаивал. Верещагин сравнил про себя — Гурко приказал бы: «Втащить зубами!» Со стороны колонн Святополк-Мирского доносился шум боя.

Скобелев метался.

— Василий Васильевич, хорошо ли я сделал, что не штурмовал сегодня? Я знаю, скажут, что это я нарочно, будут упрекать.. Я подам в отставку!

— О какой отставке вы говорите! Вы сделали все, что могли. Отвлекли часть турецких сил.. Штурмовать с одним полком было немислимо.

14. Шипка — Шейново

С утра густой туман скрыл от турок подходившие русские колонны. Верещагин выполнял обязанности ординарца, передавал приказы выступать. Заговорила и артиллерия.

Турки защищались отчаянно и отбили первую атаку.

— Музыку сюда! — приказал Скобелев.

Теперь Долина Роз напоминала Верещагину парадный Царицын луг. Полки шли под звуки маршей. Заметив, что одно из знамен в чехле, Верещагин подскочил к командиру и приказал развернуть знамя.

— По чьему приказанию? — спросил командир.

— Генерала Скобелева.

Турки осыпали снарядами Скобелева и его штаб.

— Да разойдитесь вы! — кричал генерал. — Черт бы вас побрал! Перебьют вас всех, дураков!

Когда новый начальник штаба отъехал куда-то по делам, оформлять письменно приказы Скобелева пришлось художнику. Это оказалось чистым наказанием. Скобелев в энергичных выражениях приказывает начальнику кавалерии генералу Дохтурову действовать решительнее. А записку не подписывает.

— Это старый генерал, я не могу так писать ему.

Верещагин был рад, что подспел начальник штаба.

Вперед длинной полосой вырисовывалась дубовая роща, в которой была расположена деревня Шейново. Художник сделал набросок поля битвы..

Скобелев двинул на турок Казанский полк. В два часа противник выкинул на кургане белый флаг.

Верещагин поскакал вслед за Скобелевым. Всюду попадались толпы пленных, масса трупов, брошенное оружие. Под курганом у деревянного барака стоял хмурый седой турецкий генерал. Это был командующий шипкинской армией Вессель-паша, за ним толпилось до полусотни турецких генералов и офицеров.

Скобелев пытался позолотить пилюлю и заговорил о храбрости войск Вессель-паши. Но тот молчал и злобно смотрел на русского генерала, который наклонился к Верещагину и тихо сказал:

— Поезжайте скорей к генералу Тимоловскому и скажите, чтоб он, нимало не медля, отвел пленных от оружия. Я имею сведения, что Сулейман-паша идет сюда из Филипполя. При первом известии об этом турки схватятся за оружие.

Художник поскакал, передал приказ и вернулся.

Пригрозив не оставить камня на камне в Шипке, Скобелев вынудил Вессель-пашу послать туда своего начальника штаба с приказом сдаваться.

И вот уже за дубовой рощей фронтом к Шейнову, а левым флангом к горе Святого Николая стоят в строю русские войска. Скобелев дал шпоры коню и понесся так,

что Верещагин и остальные едва поспевали за ним. Генерал, высоко подняв над головой фуражку, звонко крикнул:

— Именем отечества, спасибо, братцы!

Шапки полетели вверх. «Ура!» — перекатывалось по строю.

Впоследствии Верещагин написал картину «Шипка — Шейново» — Скобелева, скачущего вдоль строя, и себя, едва поспевающего за генералом. Это единственный автопортрет художника.

Потом начались неприятности. Скобелеву завидовали. Молодого генерала обвинили в том, что он не поддержал атаки накануне. Уже было доложено по инстанции, что Скобелев, поздравляя солдат, нарушил формулу — сперва надо было поблагодарить их от имени государя и потом отечества.

Скобелев попросил Верещагина съездить в Главную квартиру и рассказать главнокомандующему, почему он не мог атаковать днем раньше.

— Вам поверят более чем кому-либо другому, — добавил генерал.

— Признаюсь, Михаил Дмитриевич, — сказал Верещагин, — такое поручение крайне мне неприятно. Великий князь может просто сказать мне, что это не мое дело...

— Нет, не скажет, поезжайте, сделайте это для меня!

Перед отъездом Верещагин предложил Вессель-паше отправить телеграмму из Главной квартиры в Константинополь и получил клочок бумаги, где было написано по-французски:

«После многих кровопролитных усилий спасти армию я и мои паши сдались с армией в плен. Вессель».

Набрав всяких поручений, Верещагин выехал вместе с Немировичем-Данченко через горы в Сельви. Дорогой художник развеселился. Денщик Скобелева сбыл писателю лошадь, которая брыкалась и не слушалась повода. Полное и обычно довольное лицо Немировича-Данченко исказилось от гнева. Он пускал в ход плетку, приговаривая:

— Постой, подлец, я тебя проучу...

Но конь только брыкался и кружил на месте. Художник, наверно, меньше бы подшучивал над писателем, если бы знал, что тот будет описывать недавнее сражение такими словами:

«28-го Скобелев повел войска на штурм... Несколько редутов взяли штыками. Бой был упорный и отчаянный. Кругом люди падали как мухи. С злобным шипением пули уходили в снег Казанлыкской долины, другие словно вихрь проносились мимо, и посреди этого ада В. В. Верещагин, сидя на своей складной табуретке, набрасывал в походный альбом общую картину атаки... Много истинного мужества и спокойствия нужно было для этого!..»

И еще он рассказывал о художнике:

«В(асилий) В(асильевич) до вечерней зари каждый день работал там, рисуя с природы картины, полные нечеловеческого ужаса. Я удивлялся тогда, до какой степени поднялись нервы у Верещагина... Он не только рисовал — он собирал и свозил с полей целые груды пропитанного кровью тряпья, обломки оружия, мундиры турецких солдат. До некоторых из этих предметов было противно дотронуться, но такой реалист, как Верещагин, собственноручно связывал их в узлы и таскал на себе».

Узнав в Габрове, что главнокомандующий едет туда, художник решил дожидаться его, переночевал у брата, жившего в городке после ранения, навестил Куропаткина.

Адъютант главнокомандующего Скалон (родственник и давний приятель художника) тотчас провел его к великому князю. Как он и думал, объяснения его были приняты холодно.

— Ваше высочество, Скобелева упрекают за то, что он не атаковал турок днем раньше, но это было материально невозможно. Отряд его еще не спустился, и напасть с ничтожными силами было крайне рискованно. Даже в счастливом случае большая часть неприятеля ушла бы, так как у нас не было кавалерии, чтобы перегородить неприятелю дорогу...

— Ну, разумеется, так, — сказал главнокомандующий, давая понять, что аудиенция окончена.

Верещагина ждали Скалон и старый Скобелев.

— Вы бы сказали его высочеству, сколько Мишей взято знамен, орудий, а то вы только говорили, что атаковали стройно, с музыкой... — упрекнул художника старик.

— Ну, рассказывал что знал. Об орудиях великий князь узнает и без меня.

Разговор со Скалоном был серьезнее. Тот сообщил художнику, что теперь, когда победа близка, когда тур-

ки были на грани разгрома, верхи решили заключить мир.

— Не может быть! — возмутился художник. — Это измена. Стоило ли столько крови проливать! Я сейчас скажу ему это.

— Скажите, — согласился Скалон. — Вы можете... Верецагин ворвался к главнокомандующему.

— Ваше высочество, я хочу сказать несколько слов!

— Пожалуйста!

— Правда ли, что ваше высочество хотите заключить мир?

— Не я, любезный друг, а Петербург хочет.

— Обойдите как-нибудь приказание.

— Нельзя. Коли прикажут, заключу мир.

— Да это невозможно, не надобно тогда было начинать войну, — горячился художник. — Оборвите телеграфные проволоки, поручите это мне, я все порву... Немыслимо заключать мир иначе, как в Константинополе или по меньшей мере в Адрианополе!

— Где уж нам до Адрианополя дойти! Сухарей и тех нет — интендантство не заготовило. Вы собираетесь обратно к вашему приятелю? Ну, скоро увидимся. Я еду в Шейново. Радецкий, Мирский и ваш Скобелев покажут мне своих молодых...

Великий князь встал. У него была представительная, высокая фигура. Верецагин откланялся.

Когда он вернулся, Скобелев уже знал о смотре, который собирался сделать главнокомандующий, и готовился к нему. Художник видел, что генерал совершенно растерялся перед этим испытанием, поскольку не знал тонкостей разводов и парадных учений, не знал, где стоять, как командовать... Учил его ординарец, некогда служивший в гвардии.

— Вы, ваше превосходительство, должны выехать и командовать...

— Что вы, Василий Васильевич, смеетесь, однако? — перебил его генерал.

— Да как же не смеяться: генерал, перед которым турецкая армия сложила оружие, как школьник заучивает разные слова, приемы, уловки...

Скобелев совсем оробел, когда показался главнокомандующий со свитой. Великий князь еще издали помахал фуражкой Радецкому и закричал:

— Федору Федоровичу, ура!!!

Он обнял и поцеловал Радецкого, повесив ему на шею большой крест и поздравив со званием генерала от инфантерии. Верецагину главнокомандующий весело крикнул:

— Базиль Базилич, здравствуйте!

А Скобелеву он едва кивнул головой. Генерал окончательно смешался и заледенел...

Совсем недавно в архиве Верецагина была найдена такая запись: «Солдаты, видимо, почувствовали невнимание, оказанное их любимому начальнику, они встретили великого князя с таким малым проявлением энтузиазма, кричали «ура» так неохотно, что их холодный прием должен был броситься в глаза; не знаю только, понял ли он, понял ли, что хоть не награда, а один сердечный поцелуй... герою — и солдатские шапки полетели бы вверх не по приказу, как это обыкновенно делается, а от восторга».

15. К берегам Босфора

Все утряслось как-то. Гурко разбил войска Сулеймана-паши под Филипполем, и путь на Константинополь был открыт. Скобелев бросил обозы и с одними выючными лошадьми начал свой стремительный бросок. Ну а сухарей хватало, несмотря на небрежение и воровство интендантов. На складе в Шейнове оказалось двенадцать тысяч пудов превосходных турецких белых сухарей и еще кое-что. Скобелев поприжал запасы, да Верецагин его выдал. Сообщил в Главную квартиру о сухарях. Главнокомандующий обрадовался. Художник потом утверждал, будто бы именно сухари повлияли на решение двигаться вперед. Впрочем, у Скобелева всегда был для солдат и припас и приварок. Недаром великий князь, увидев скобелевские части после Шейнова, воскликнул:

— Это что за краснорожие! Видимо, сытые совсем. Слава богу, хоть на мертвецов непохожи.

Выступая, Скобелев звал Верецагина с собой. Художник и рад был бы поехать, да казак при спуске с перевала разбил ящик с красками. Требовалось привести все в порядок.

На другое утро пришло известие, что начальник авангарда генерал Струков захватил подожженный турками мост через Марицу, потушил его и занял железнодорожную станцию Семенли. Начальник кавалерии Дохтуров, встретившийся утром Верещагину вместе со Скобелевым, сказал с завистью:

— Посмотрите, пожалуйста, на этого Струкова, куда только он не примажется... Ведь вот победу одержал.

Художник собирался было вступить за Струкова. Ему нравился спокойный худощавый генерал с громадными усами вразлет. Но Скобелев опередил Верещагина.

— Вы не правы, — возразил он. — Струков обладает высшим качеством начальника в военное время — способностью к ответственной инициативе.

Верещагин выехал к Струкову. Дорога была усеяна оставшими солдатами. Скобелев распорядился не гнать силой переутомившихся и верно рассчитал — дошли все, больных не было. При первой же встрече генерал сказал художнику:

— Знаете, Василий Васильевич, Сулейман-паша идет нам навстречу.

— Откуда вы знаете это?

— Я верные сведения получил, скоро пойдем в битву, не отставайте!

Скобелев за сутки прошел с пехотой восемьдесят верст. Он боялся, что Сулейман-паша, гонимый Турко, будет прорываться вдоль железной дороги в Адрианополь. Но паша с остатками войск бежал через Родопские горы. Скобелев был весел и устроил пир...

На другой день драгуны Струкова захватили город Германлы. Верещагин был с ними. На станции они увидели поезд, в котором сидели турецкие уполномоченные, томившиеся в страхе. Кругом кипел бой.

Струков и Верещагин вошли в вагон-зал. Их встретили турецкие министр иностранных дел Сервер и министр двора Намык. Первый с широким живым лицом, в европейском пальто и галошах, второй старый совсем, остроносый, в широкой турецкой одежде и с феской на голове. Струков представился как начальник авангардного отряда, а Верещагин как секретарь Струкова. Оба были в бурках и имели диковатый вид, хотя и говорили безукоризненно по-французски.

Струков дипломатично упомянул стойкость турок в сражениях, но министры перебили его, и Сервер спросил напрямик:

— Скажите мне откровенно, неужели Вессель не мог долее удержаться?

— Не мог, паша, уверяю вас, — сказал Верещагин и начертил на бумаге позиции турок и русских под Шейновом. Министры хмурились.

— Поезд, на котором мы приехали, вы, надеюсь, сейчас же отправите назад? Он стоит под парламентарским флагом.

— Я испрошу на этот счет приказания моего начальника, генерала Скобелева, — ответил Струков.

Турецкие министры отправились в карете к русскому главнокомандующему хлопотать о перемирии, а поезд Скобелев забрал себе.

Во время переговоров в Главной квартире турки напирала на то, что Адрианополь еще не взят и взять его будет нелегко. Ночью их разбудили.

— Что, что такое?

— Имеем честь поздравить со взятием Адрианополя!

Министры долго еще не могли прийти в себя.

А дело было так.

Верещагин шел в авангарде вместе со Струковым. Он дивился выносливости и подвижности этого генерала, такого худого, что непонятно было, в чем душа держалась. Вставал Струков рано, сам убирал свою постель, вина не пил, табаку не курил, не только за людьми, но и за лошадьми смотрел, как за детьми; по ночам вскакивал по нескольку раз, чтобы лично выслушать все донесения.

В авангарде было три полка. Командиры их да еще Верещагин со Струковым и составили военный совет, когда из уже близкого Адрианополя прибыли два посланца — болгарин и грек. От имени своих общин они приглашали русских занять город. Турки, мол, уже взорвали арсенал, население боится грабежей. Турецкие солдаты покинули форты и бродят по городу.

Струков спросил у совета, можно ли занять тремя полками громадный город, вторую столицу султана.

— У нас пехоты нет, — добавил он. — Численность

же турецких отрядов, расположенных в городе и вокруг города, во много раз превышает численность нашего передового отряда.

Верещагину как младшему чином предложили первому подать мнение.

— Наступать! — сказал он решительно.

— Хорошо вам советовать, не неся ответственности! — возразил один из полковников. — А если мы наткнемся на пехоту в городе? Необходимо подождать генерала Скобелева. Я подаю голос за ожидание подхода главного отряда!

Второй полковник поддержал Верещагина, а третий не сказал ни да, ни нет. Струков молчал, и совет разошелся.

На другое утро художник проснулся и увидел сидевшего у его постели Струкова. Тот, видимо, давно уже ждал пробуждения Верещагина.

— Я решился, — сказал генерал.

— Браво!

Посланцам было велено ехать в город. Пусть предупредят, что в знак покорности Адрианополя должны быть поднесены ключи от него.

— Да ключей нет у города, — ответили смущенные посланцы. — Где же их взять?

— Чтобы были, знать ничего не хочу! — ответил Струков.

Когда полки подошли к Адрианополю, навстречу им двинулась громадная толпа. С криками люди бросались на колени перед русскими солдатами, целовали землю, обнимали их, едва не стаскивая с седел.

И вдруг Верещагин всполошился.

— Александр Петрович, — сказал он, — нам неммыслимо входить в город.

— Отчего?

— Посмотрите на эти узкие улицы... Всякий трусливый крик, всякий выстрел произведет панику. Мы-то еще ничего, а орудия совсем застрянут, не поворотить ни одного.

— Так что же делать?

— Не входить в город. Остановиться где-нибудь здесь.

— Да где же встать?

Верещагин осмотрелся кругом.

— Вот налево гора, свернем туда.

Возвышенность оказалась идеальной боевой позицией. Город с нее был виден как на ладони. Залитые солнцем, ярко желтели его глинобитные дома, ослепительно сверкали белые стены дворцов, нацелились в небо стройные минареты многочисленных мечетей...

Прибыли духовенство всех вероисповеданий и городские власти. Струкову поднесли на блюде ключи (как выяснилось, их купили на базаре). То ли в шутку, то ли всерьез власти перестарались — к трем большим ключам добавили еще две связки маленьких. Самый большой ключ Верещагин взял себе — колоть орехи, два поменьше были отправлены главнокомандующему, а потом в Петербург.

Струков велел депутации создать совет из выборных (по два человека от каждой национальности) для управления городом и доставки продовольствия русским войскам. Он сказал, что за все будет заплачено русским командованием. Отпустив депутацию и посправив стряд в каре, Струков поблагодарил солдат и приказал разбить бивак на окраине Адрианополя.

Все свои занятия в те дни Верещагин считал «малохудожественными». А дел было много. Это он в сопровождении болгарина-переводчика разъезжал по главным улицам города и оповещал паникующих жителей, что русские никого не дадут в обиду. Это он переловил несколько пытавшихся мародерствовать драгун и заставил Струкова распорядиться, чтобы им всыпали горячих. Продовольствия из города не поступало. Командиры частей уже начали коситься на щепетильного художника, как вдруг принесли хлеб, суп, говядину, вино и даже табак на всех.

Верещагин вел дипломатические переговоры с консулами великих держав, ставил караулы к складам, чтоб не разграбили, осмотрел знаменитую мечеть султана Селима с ее четырьмя великолепными минаретами.

Раз только он пытался взяться за кисть, но ничего из этого не вышло... К Струкову привели двух отчаянных головорезов-башибузуков, и было доказано, что они без жалости уничтожали болгар и даже вырезали младенцев

из утроб матерей. Толпа болгарских женщин и детей бросала в них комьями грязи, а русский часовой старался этого не замечать. Волна ненависти к хищникам вдруг захлестнула Верещагина, и он предложил Струкову распорядиться, чтобы бандитов повесили.

— Что это вы, Василий Васильевич, сделали таким кровожадным? — спросил генерал. — Я не знал этого за вами.

— А что это вы, Александр Петрович, вдруг стали миндальничать с негодяями? Я бы им еще и написал на виселице... в назидание всем, кто надумает еще зверствовать!

— Нет, я не возьму этого на свою совесть. Пусть Скобелев решает.

Вечеру того же дня в роскошном поезде, отнятом у турецких министров, приехал Скобелев. Адрианополь встречал Ак-папу с превеликим энтузиазмом. Мужчины высыпали на улицы, а женщины высывались в окна. Среди гречанок оказалось столько красивых, что Верещагин, ехавший рядом со Скобелевым, то и дело командовал:

— Глаза направо! Глаза налево! Выше!

Оба они были ценителями женской красоты, и им обоим не исполнилось еще и по тридцати пяти...

Узнав о зверствах башибузуков, Скобелев по просьбе Верещагина велел предать их полемому суду. А Скобелев всегда отличался гуманным отношением к пленным. Он приказал под Шейновом приготовить в солдатских котлах двойной запас пищи. «Бей врага без милости, — сказал он солдатам, — покуда оружие в руках держите. Но как только сдался он, аману запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам не доешь — ему дай». И солдаты зазывали пленных к своим котлам. Признавал он, правда, что бывают случаи, когда в плен нельзя брать, когда силы малы и пленные могут быть опасны...

Скобелев рвался к Константинополю и был уже на самых его подступах, когда его остановило перемирие. Адрианополь стал тыловым городом, теперь там располагалась Главная квартира. В ней прижился казачий сотник Александр Верещагин. В начале февраля он получил письмо от брата-художника, ушедшего с войсками вперед. Василий Васильевич прослышал, что Александр заискивает перед штабными, «добровольно лезет в ливрею». Возмущение его поведением брата было так ве-

лико, что он пригрозил публичным разоблачением его недостойного поведения. Верещагин писал:

«...Пожалуйста, никому не льсти, как бы дешево тебе и как бы приятно это субъекту ни было. Не заискивай! У тебя есть это в характере уже, ты не прочь ластиться. Я уверен, что ты не прочь был бы получить какое-нибудь лакейское место при великом князе, например, где ты мог бы стоять у двери, докладывать и т. п. Самым серьезным образом не советую тебе мечтать об этом... Если же ты ударишься в искательство, то обругаюсь не только тебе в глаза, но и обругаю тебя перед теми, у кого станешь заискивать, — слышал?»

Художник становился все более желчен. Его раздражала неопределенность воззрений царя и его родственников, внешний либерализм сановников, сочетающийся со склонностью приобретать политические и иные капиталы, не брезгуя никакими средствами, а это, в свою очередь, разлагало офицерство, тоже стремившееся урвать по возможности... Империя катилась под уклон.

Брату он советовал перейти в строевую часть, но, зная порядки там, написал как-то:

«Смотри, Александр Васильевич, будь образцовый сотенный командир, не зажививая ни одной копейки у казаков, не смотри на то, что делают другие, *делай казакам ученье* и спрашивай с них, коли не будешь их обворовывать, они за выучку в претензии не будут; *не смущайся тем, что другие скажут*: лишь бы ты знал, что делаешь».

Лишь бы ты знал, что делаешь! Слова не просто вырвались. За ними была цепь мучительных размышлений. Во что бы то ни стало сохранить независимость и тот покой, который дается уверенностью в собственной праведности. Это нужно для исполнения того, что задумано. Пора было садиться за работу. От Сан-Стефано, где остановились русские войска, до Константинополя всего пятнадцать верст. Офицеры ездят в штатском осматривать древнюю столицу. Можно было бы махнуть через Константинополь в Париж, но надо еще собрать оставленное по пути оружие и другие материалы, нужные для работы над новыми картинами.

Скобелев в последнее время ходил пасмурный.

— Что вы думаете, — спросил он как-то, — кончились военные действия?

— Кончились, — ответил художник.

— Вы думаете, будет заключен мир?

— Думаю, что будет заключен мир, и немедленно же утекаю.

— Подождите, может быть, еще не заключат мира, пойдем на Константинополь.

— Нет! Заключат мир, а я уеду писать картины.

— Счастливцев вы! — со вздохом сказал Скобелев. — Я тут предложил, займу-ка я самовольно Константинополь. Пусть меня на другой день предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали. Не хотят... А мы не можем отступить. Это вопрос нашей народной чести. Следует занять Галлиполи, и ни одно английское судно не прорвется в Босфор...

16. Работа

Впечатления от войны, на которой он провел десять месяцев, еще не отстоялись. Надо было обдумать темы, представить себе направление всей серии картин. Все свежо в памяти, но мысль скользит по поверхности... Что-то вроде этого он написал Стасову тотчас по приезде в Париж: «Вот теперь комедия окончилась, публика аплодирует, актеры вызваны или будут вызваны, скоро будут потушены лампы и люстры, и декорации, такие красивые и такие натуральные, выкажут свою подделку и картон. Оказывается, что и мне приходилось смывать малю толику румян и белил с лица».

Чтобы не терять времени, Верещагин принялся заканчивать полотна своей индийской серии, брошенные в Мэзон-Лаффитте в апреле прошлого года. Надо торопиться, нужны деньги. Требуют денег подрядчики, не выплачено еще все за землю, на которой стоит мастерская. Дом не успели построить, а уже пресела крыша... И родителям надо посылать. Отец намеревается хлопотать у правительства пенсию за убитого Сергея. Щепетильный художник сразу усмотрел в этом корысть, а ему не хотелось, чтобы даже тень легла на имя Верещагиных. Но что толку в таких его заверениях: «Я прошу Вас, дорогой папа, верить, что я непременно буду помогать Вам и мамаше, как только продам кому-нибудь мои работы...» А торговать картинами не хочется. «Лавочка мне теперь, как всегда, была и будет противна».

Он почти не выходит из мастерской, ни с кем не ви-

дится, почти никого не принимает, разве что Тургенева, говорившего за глаза, что Верещагин «замечательный, крупный, сильный, хоть и несколько грубоватый талант».

Пришлось выехать в Лондон за индийскими костюмами, предметами быта. Принц Уэллский сделал ему выгодное предложение, но художник отказался от заказа, чтобы не стеснять себя. Так же складывались и отношения с Петербургом. Брату Александру он написал:

«Не будет ли возможности переслать золотую перевязь к сабле? Серебряную прислал недавно Струков, который, спасибо ему, все исполняет. Только недавно сделал он порядочную глупость: сказал наследнику, на вопрос его высочества, что я не откажусь исполнить те картины, которые его высочество пожелает поручить мне исполнить. Между тем мне и в голову никогда не приходило работать по заказу для кого бы то ни было, и я ему этого не говорил».

Работая над индийскими картинами, Верещагин не отступно думал о военных эпизодах, перебирал их в памяти. К концу года не выдержал и отправился в Болгарию, посетил окрестности Шипки. Рисовал, наблюдал, думал... Оказавшись проездом на Балканы в Петербурге, художник тотчас был приглашен наследником в Аничков дворец на переговоры по поводу покупки его картин. Он поехал и дожидался, пока ему не сказали, что его высочество сегодня занят, и назначили другой день. Он ушел взбешенный, дав себе слово не пляться больше по передним.

Брат передал, что его хочет видеть Скобелев.

Генерал тайно затворил дверь кабинета. Верещагин стал было рассказывать о несостоявшейся аудиенции:

— Найдутся желающие иметь мои работы и помимо таких важных и занятых особ, Михаил Дмитриевич...

— Ну погодите же! Дайте мне дружеский совет, Василий Васильевич. Болгарский князь предлагает мне пойти к нему военным министром. Я ему после войны, когда командовал там четвертым корпусом, обучил и оставил целую армию. Он дает слово, что, как только мы поставим солдат на ноги, затеет драку с турками, втянет Россию. Будет снова большая война... Принять или не принять?

Верещагин рассмеялся.

— Признайтесь, — сказал он, — что вы неравнодушны к белому перу, что болгарские генералы носят на шапках. Вам оно будет к лицу.

— Черт знает что вы говорите! Я у вас серьезно спрашиваю совета, а вы смеетесь. Ведь это не шутка!

— Знаю, что не шутка. Втянуть Россию в войну, да еще с такой безнравственной легкостью! Что Баттенберг это затевает, оно понятно. Он авантюрист, которому нечего терять. Но что вы, Скобелев, поддаетесь на эту интригу — это мне непонятно. Плюньте на это предложение, бросьте и думать о нем!

— Да что же делать, ведь я уже дал почти свое согласие!

— Откажитесь под каким бы то ни было предлогом... Скажите, что вас не отпускает начальство.

— Он обещал говорить об этом с государем...

— Ну вот и попросите, чтобы государь отказал ему.

Этот разговор со Скобелевым художник записал и опубликовал в воспоминаниях о генерале, присовокупив:

«Что мне случалось слышать от Скобелева в дружеских беседах, то теперь, конечно, не приходится рассказывать. Довольно заметить, что он был сторонником развития России и ее движения вперед, а не назад... повторяю, что распространяться об этом неудобно».

В Скобелеве художник нашел собеседника себе по настроению. Оба были нетерпимы к вельможным бездарностям, к безделью, прикрываемому фразой, к фальши, к своекорыстию, ко всему, что заставляло Россию топтаться на месте. И у обоих были заткнуты рты. Генерал говорил:

— Я не знаю, почему так бояться печати. За последнее время она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, злоупотребления были указаны ею именно... Почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думает о том, как бы ее ограничить? При известном положении общества печать — это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи уходит в нее.

Под «известным положением общества» подразумевались революционные настроения. И мысль эту он подчеркнул у славянофилов, ратовавших за «свободное слово». Генерал не проезжал Москвы, не побывав у Ивана

Сергеевича Аксакова, газета которого «Русь» всегда читалась Скобелевым и испещрялась пометками. Стихи Хомякова и Тютчева он знал на память и пересыпал ими свои разговоры о России. Из старых славянофилов в живых оставался лишь Иван Аксаков. Генерал любил его, но, как человек с практическим взглядом на вещи, отзывался о нем так:

— Он слишком идеалист. Вчера он это говорит мне: «Народ молчит и думает свою глубокую думу». А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и деваться ему некуда.

Мысли Березагина о войне во многом складывались под влиянием Скобелева. Немирович-Данченко называл генерала фанатиком военного дела, но приводил слова Скобелева, опровергающие это утверждение: «Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней, крайней необходимости... Черными пятнами лежат на королях и императорах войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов»...

В Сан-Стефано Скобелев потерял сон:

— Что будет, что будет с Россией, если она отдаст все... Зачем была тогда эта война и ее жертвы!

Берлинский конгресс, который почти свел на нет все сделанное, приводил его в бешенство. Позже Скобелев говорил:

— Я не люблю войны. Я слишком часто участвовал в ней. Никакая победа не вознаграждает за трату энергии, сил, богатств, за человеческие жертвы. Но есть одна война, которую я считаю священной...

Он стоял за освобождение и объединение славян.

— Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого. Одно только общее — войска, монета и таможенная система. В остальном живи как хочешь и управляйся внутри у себя как можешь... А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне. К тому же времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее...

Он предвидел, что извечная угроза немецкого нашествия минует не скоро. О Бисмарке он сказал: «Ненавижу этого трехволосого министра-руссофоба, но вместе с тем и глубоко уважаю его как гениального человека и истого патриота, который не задумается ни перед какими мерами, раз идет вопрос об интересах и благе его отечества...»

И обещал в будущей войне обойтись с немецкими войсками по-немецки.

Верещагин журил Скобелева за горячность в публичных выступлениях. Генерал, наверно, вспомнил это, когда однажды, много позже, на торжественном обеде велел наполнить свой бокал чистой водой, чтобы не кивал, будто он в подпитии, и сказал:

— Если русский человек случайно вспомнит, что он благодаря своей истории все-таки принадлежит к народу великому и сильному, если, боже сохрани, тот же русский человек случайно вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, тогда в среде известных доморощенных и заграничных иноплеменников подымутся вопли негодования... Почему нашим обществом и отдельными людьми овладевает какая-то страшная робость, когда мы коснемся вопроса, для русского сердца вполне законного, являющегося результатом всей нашей тысячелетней истории?

Скобелев утверждал, что «космополитический европеизм не есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. Силы не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть сила только в неразрывной связи с народом».

Побывав в Германии на маневрах, Скобелев приехал в Париж, где они вели с Верещагиным долгие душевные беседы. Это тогда генерал, получив приветственный адрес от сербских студентов, высказался весьма резко:

— Почему Россия не всегда стоит на высоте своих исторических обязанностей вообще и славянской роли в частности? Это потому, что как внутри, так и извне ее ей приходится вести борьбу с чужеземным влиянием. Мы не хозяева в своем доме. Да! Чужеземец у нас везде... Если, как надеюсь, нам удастся когда-нибудь от них избавиться, то не иначе как с мечом в руках...

Скобелева возненавидели за это не только в Германии, но и в России, где и царская семья, и большая часть ее окружения либо были иностранцами по крови, либо носили немецкие фамилии. Не случайно за свои радикальные политические взгляды и публичные выступления в защиту балканских народов против агрессивной политики Германии и Австро-Венгрии Скобелев был отозван императором Александром III из Парижа. Обстоятельства

странной смерти генерала, не достигшего сорокалетнего рубежа, до сих пор неясны.

Скобелев был талантливейшим военачальником, придерживавшимся прогрессивных взглядов в военном искусстве. Освободительная война создала ему большую популярность в России и Болгарии, где его именем названы улицы, площади и парки во многих городах.

Верещагин, узнав о смерти Скобелева, написал Третьякову: «Я телеграфировал Вам, просил подробностей о смерти Скобелева — не откажите. Поди, император сожалеет теперь, что шельмовал Скобелева».

Сожалений не было. Верещагин не догадывался еще, что чувством ответственности перед историей наделены очень и очень немногие из стоявших у власти в те времена.

Отношения Верещагина с царским двором после войны испортились безнадежно. Через восемь месяцев после того как художник напрасно прождал приема у наследника в Аничковом дворце, будущий Александр III приехал в Париж и изъявил желание посетить мастерскую Верещагина. Но художник сказал посланцу наследника:

— Пусть его высочество не изволит трудиться, ибо я не желаю показывать ему свои работы, как он не пожелал видеть мою картину.

Вернувшись из Болгарии, где поклонился могилам и набрасывал пейзажи для будущих картин, художник, руководствуясь правилом доводить до конца любую работу, дописывал индийские мечети и помпезные процессии слонов, однако мысли его возвращались к раненым, к их мукам, перед глазами стояло поле под Горным Дубняком, убитые и замученные егеря, едва присыпанные землей, торчащие из нее руки и ноги, отрезанные головы с кровавыми крестами на лбах... Щемило грудь, и Верещагин «всплакивал» едва ли не каждый день. А уж когда взялся за сами картины, то и вовсе приходилось проглатывать слезы и прятать заплаканные глаза от прислуги и рабочих, то и дело наведывавшихся в мастерскую со своими хлопотами и привыкших видеть хозяина всегда сдержанным и даже суровым.

Было задумано и написано тридцать полотен. Верещагин стремился к максимальной верности натуре и потому во второй раз съездил в Болгарию, побывав теперь уже под Плевной, о чем и написал Третьякову: «Не могу

выразить тяжесть впечатления, выносимого при объезде полей сражения в Болгарии, в особенности холмы, окружающие Плевну, дают воспоминаниями. Это сплошные массы крестов, памятников, еще крестов и крестов без конца. Везде валяются груды осколков, кости солдат, забытые при погребении. Только на одной горе нет ни костей человеческих, ни кусков чугуна, зато до сих пор валяются пробки и осколки бутылок шампанского, — без шуток. Вот факт, который должен остановить на себе, кажется, внимание художника, если он не мебельщик модный, а мало-мальски философ... Так я и собрал на память с «закусочной» горы несколько пробок и осколков бутылок шампанского, а с Гривицкого редута, рядом, забытые черепа и кости солдатика да заржавленные куски гранат».

Верецагин написал картину «Под Плевной». Слева затянутое дымом поле боя, справа царь и великий князь в креслах, а позади них свита. Никакого движения на картине. Смотрят. И бездействуют. Да, бездействие — это и есть главное впечатление, которое вынес художник от своего пребывания поблизости от тех, кто должен был руководить боем. Лев Жемчужников, его друг, писал потом, будто он изобразил рядом со свитскими пирамиду из шампанских бутылок, а потом покрасил. Неверно это. Он не карикатурист. Шампанское было до боя. И он не мог написать неправды. «Правда злее самой злой сатиры». Исправлял он картину? Да. Отрезал слева кусок, слишком удлинявший композицию.

И в картинах «Перед атакой», «Атака», «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной», «Транспорт раненых» он стремился к правде, мучился, переделывал вещи по несколько раз, каждый день собирался рвать холсты, а потом все-таки добивался целостности восприятия... И в других картинах, в «Победителях», где турки мародерствуют, добивают раненых, сдирают с них мундиры и напяливают на себя, в «Побежденных», а иначе в «Панихиде по убитым», он ничего не преувеличил. Разве что в триптихе «На Шипке все спокойно» он позволил себе намек на преступную беспечность Радецкого и других, и вместе с тем это гимн мужеству и самоотверженности русского солдата, погибающего, но не оставляющего своего поста... И не он ли воспел победу в картине «Шипка — Шейново»? Солдаты и Скобелев. Прежде всего солдаты...

Его картины называют батальными.

— Это картины русской жизни, русской истории! — говорил упрямо Верецагин.

А как он работал! Уверяют, что все дело в «быстроте», с которой он пишет свои картины. Мыслимое ли дело написать за два года столько полотен? Слухи расстраивали художника, и он потом ответил на них так:

«Не менее 12 часов работы в сутки, никогда никаких приемов или визитов буквально. «Непокладание кисти» — при таких условиях два года стояли, наверное, четырех лет обыкновенных, да и то еще сильных занятий. Воображаемая «быстрота» моя сводится на из ряда вон выходящую трудолюбивость, чистую боязнь терять время в праздности. Только желудок и кишки, причинявшие сильнейшую боль, когда я принимался заниматься сейчас после еды, заставляли меня отдыхать часа два в день; остальное время изо дня в день я работал и работал... Уставал я так, что не знал, буду ли в состоянии продолжить на другой день, и, конечно, опять принимался. И во время еды, и во время отдыха или поездок думал о картинах и об недостатках исполнения. Лихорадки, которым за это время я непрерывно подвергался, были, как я теперь убедился, часто изнурительного характера, хотя и имели свое начало в лихорадочном яде, захваченном на Востоке».

Болезненное состояние и неприятности навевали мрачные мысли. Верецагин ложился в постель с мыслью о близкой смерти, с нею вставал утром... И он торопился в мастерскую, чтобы успеть сделать хоть что-то, прежде чем умрет...

Но это неправда, что изнурительная работа сокращает жизнь. Безделье убивает быстрее.

17. За миг до гибели

31 марта 1904 года, через двадцать пять лет после завершения работы над картинами русско-турецкой войны, художник Верецагин чувствовал себя как нельзя лучше.

Он стоял на мостике броненосца «Петропавловск» рядом с адмиралом Макаровым. Дул порывистый холодный ветер, но адмирал не запахивал шинели, разгоряченный

и взволнованный. На горизонте маячил флот японского адмирала Того. Макаров энергично распоряжался. «Ходит по-скобелевски, что твой тигр или белый медведь...» — отметил про себя Верещагин. Художник набрасывал в альбом видневшиеся вдали японские корабли с такой точностью и быстротой, что вызвал у всех на мостике неподдельное изумление. Макаров то и дело оставался возле художника, заглядывал ему через плечо и одобрительно хмыкал.

Всего несколько дней назад они встретились на одной из улиц Порт-Артура.

— Приходите сегодня ко мне, — сказал Макаров, — потом поедем топить судно на рейде, — загораживать японцам ход.

С тех пор они не расставались. Им было о чем поговорить. Адмирал окончил морской корпус шестью годами позже, но в русско-турецкой войне участвовали оба. Макаров тогда с большим успехом, чем Верещагин, подбивал минами турецкие корабли. Верещагин недавно вернулся из Японии. Адмирал и художник делились впечатлениями об этой стране и ее фантастически быстро выросшей военной мощи. Художник Владимирова, присутствовавший при одной из их бесед, написал впоследствии о том, как Верещагин и Макаров «возмущались нравами, царившими при петербургском дворе, придворными интригами, грязной подоплекой ряда военно-государственных дел, поставивших Россию в тяжелое положение перед лицом внешнего врага».

И адмиралу и художнику пришлось немало перенести в их патриотическом старании о славе и силе России. Но все разваливалось из-за косности царствующего дома, окружившего себя интриганам, а то и просто врагами страны, действовавшими по принципу «чем хуже, тем лучше».

Верещагину эти разговоры с Макаровым напомнили мытарства с его картинами о русско-турецкой войне, которые ему так хотелось оставить в России и неразрозненными. Но правительство не покупало их. Он тогда бедствовал, задолжал всем, даже у братьев брал по мелочам. А ведь обещал помочь всем и в первую очередь родителям. Не дождался помощи отец, помер. Не помог ему сын, заслуживший уже мировую славу. Тогда художник написал брату Александру: «Биографии мои теперь

так и сыплются. То-то счастье, что называется, на брюхе шелк, а в брюхе щелк! Что-то недостает от того, что не могу поделиться успехом с милым розовым старичком, который ушел от нас. Что мама?.. Кабы дотянуть до времени, когда буду в состоянии предложить ей проехаться в теплый климат! *Надеюсь*, недолго до этого, но как бы не свернулась и она раньше этого; папа милый только выслушал обещание. Дырявые галоши его не идут у меня из ума — вот истинная нравственная казньюшка».

От него хотели, чтобы он лицемерил, вымарывали из его воспоминаний о войне все, что он писал о злоупотреблениях и несправедливостях, все его предложения, которые, по его мнению, способствовали укреплению боеспособности армии. Третьяков и то советовал ему переключиться на воспевание одних лишь подвигов и не увлекаться показом страданий... За границей успех его выставок был оглушительный — толпы выламывали двери, врываясь в залы. Ему давали любые деньги за картины, говорили, что это «эпоха», «новые горизонты», а он отказывался, готов был на что угодно, лишь бы они остались на родине. Но где там! Наследник, памятуя свой парижский афронт, сказал человеку, склонявшему его на покупку верещагинских картин:

— Читая этот каталог и тексты к картинам, я не могу скрыть, что мне противны его тенденциозности, оскорбляющие национальное самолюбие, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек!

А на выставку в восьмидесятом году пришло в Петербурге двести тысяч человек. Какие жаркие схватки вспыхивали в залах! Одни говорили, как наследник. Другие, вроде писателя Даниила Мордовцева, восклицали:

— Этот ужас, который я испытываю перед картинами, возвышает в моих глазах подвиг русского народа так, как не возвысили бы тысячи других батальных изображений его храбрости!

Радикалы гнули свою линию:

— Республику в Болгарии боялись установить, а посадили на престол Александра Баттенберга; но все же, хотя при нем, дали конституцию, а Россия, обагрившая кровью болгарские поля, продолжает оставаться рабской страной...

Революционеры использовали картины Верещагина для своей пропаганды.

Выставку пожелал увидеть царь. Великаны-гвардейцы перенесли на руках полотно в Зимний дворец. Сам художник показывать свои картины не пошел, а послал брата Александра, но того без церемоний удалили из белого Николаевского зала, и царь смотрел один. Александр II воздержался от каких-либо замечаний, но ему нашептывали, что будто бы в Париже картина «Под Плевной» имела табличку «Царские именины».

Верещагин был издерган до крайности. Разругался со Стасовым. Особенно после того как критик хотел свести художника со Львом Толстым, а тот внезапно уехал в Москву, и его напрасно ждали в Публичной библиотеке. Верещагин написал Толстому злое письмо. И Стасову написал: «Больше батальных картин писать не буду — баста! Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу; выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого...»

Он вроде бы окончательно бросил кисть и взялся за перо. И тут попадал в больные места. Писал о необходимости теплой одежды для солдат — вычеркивали. Написал, что ружья нужны хорошие, тоже не прошло. Писал хлестко: «Недаром солдаты наши под Плевной в отчаянии хватали за штык свои тяжелые, переделанные ружья с засорившимися, недействовавшими более замками и разбивали их об землю: коли, дескать, нет от тебя толку, так и не живи же ты на свете... Постыдились признаться в том, что знала и громко говорила вся армия, именно, что наши переделанные ружья никуда не годятся в сравнении с турецкими. Так армия и Балканы перешла с кренковскими дубинками, а десятки тысяч ружей Пибоди пролежали грудями под снегом». Последнее было камнем в огород Дмитрия Ивановича Скобелева, отвечавшего за трофей. Зато Михаила Дмитриевича Скобелева он ставил в пример всем при всяком удобном случае...

Картины он не писал, но выставки свои устраивал во всех европейских столицах. Клеветники говорили, что картины Верещагина годны для украшения султанского дворца, а в Вене турецкий консул демонстративно ушел с выставки, заявив, что художник возводит напраслину на турок и чрезмерно возвышает русских. В Берлине сухопарый фельдмаршал Мольтке, посмотрев выставку, запретил офицерам посещать ее. В Париже некий Цион, владелец выставочного зала, нахальный тип, вздумал наругать Верещагина. «Тогда я ударил его по роже 2 ра-

за шляпою, которую держал в руке; на вытянутый из кармана револьвер я вынул свой и направил ему в лоб, так что он опустил свое оружие...» — писал художник Стасову.

Но это были все мелкие неприятности на фоне гигантского успеха, многотысячных очередей на выставки, обвала газетных статей, согласно твердивших о Верещагине как о гениальном художнике. Торговцы картинами всей Европы осаждали его с самыми выгодными предложениями. Мечта Верещагина отдать все картины в одни руки не исполнилась. Часть их купил Третьяков (и недорого), часть Терещенко, а остальные ушли за границу. Большую часть полученных денег Верещагин раздал на художественные школы.

Истинный художник не может бросить своего дела. И рука снова потянулась к кисти. Поездить бы по России, «это более заняло бы голову, чем разные Индии; но ведь теперь это положительно немыслимо, затаскают по участкам и канцеляриям за разными дозволениями...». После балканской серии это действительно было немыслимо, и он поехал в Индию. Он писал изумительные этюды и портреты, но ему было скучно. Впрочем, один сюжет увлек его — «Подавление индийского восстания англичанами».

— Уж это проберет не одну только английскую шкуру, — сказал Верещагин, выписывая пушки и привязанных к их дулам индийских крестьян.

Английские газеты кричали о клевете, а на одной из выставок старенький сухонький отставной английский генерал, всмотревшись в картину, сказал горделиво, что это он первый придумал такой способ казни.

Художник рвался на родину. Франция ему надоела.

— Французы — великие поборники свободы, но с нею не очень церемонятся, — говаривал он.

Художник все чаще приезжал в Россию, писал Кремль, работал в старинных русских городах. Он восторгался памятниками старины и выступал публично в их защиту. Он писал портреты простых русских людей и выставлял их в Нью-Йорке. Тамошние газеты заявляли: «Верещагин производит великие творения свои не ради искусства, но ради человечества вообще и в особенности ради русской народности...» В Америке художника носили на руках, но это не помешало торговцам — «сутенерам искусства» — ободрать его как липку. Он убедился,

что гигантские цены, о которых сообщают в газетах, — фальшивки, нужная торговцам, чтобы потом выгоднее торговать произведениями искусства. Художник не пошел на сделку с бизнесменами, и они, сговорившись, сбили цены на аукционе, и более ста картин были куплены по низкой цене.

— Великий художник и совершенный младенец для жизни практической, — говаривал Стасов о Верещагине.

А деньги художнику были нужны. В жизни его произошла большая перемена. В Америке он нашел свое счастье...

С Елизаветой Кондратьевной он все-таки обвенчался, однако отношения их оставляли желать лучшего. В январе 1890 года он писал ей: «Доверие мое к тому, что ты можешь не поддаваться соблазну, утратилось и не воротится; держать тебя взаперти в деревне я не могу и не хочу, а следить, присматривать за тобой мне просто противно — ввиду этого жить с тобою вместе я не буду больше никогда...»

Художник не видел своей легкомысленной жены уже несколько лет. Он предлагал ей развод или свободу и просил лишь, чтобы она не наносила позора имени, которое носила.

Еще в Нью-Йорке условлено было, что он проедет с выставкой по всем крупным американским городам. И он решил — на русской выставке должна звучать русская музыка. И вот московская филармония получила письмо с просьбой прислать в Америку хорошую пианистку. Выбор пал на Лидию Васильевну Андреевскую. Вопреки воле родителей она двинулась в «безумное» путешествие за океан.

Ей было двадцать три года, Василию Васильевичу — сорок шесть. Тихая, задумчивая, прилежная, она понравилась Верещагину, но он не сразу разглядел ее неброскую красоту, тем более что Лидия Васильевна характер имела замкнутый. Когда его пленила женственность Лидии Васильевны? Тогда ли, когда он решил, что ей надо сидеть за роялем в русском народном костюме, и жемчуга нарядного кокошника заставили светиться бирюзой ее светлые глаза? Или во время долгих бесед, когда он изумился ее глубоким познаниям в живописи и литературе? Как бы то ни было, но Лидия Васильевна, Лида, стала необходима ему ежедневно, ежеминутно, а с рождением первого ребенка, девочки, появились заботы о собствен-

ном доме, который хотелось непременно построить в России. Дети должны расти на родине. Вот тут-то и понадобились ему деньги...

Покончено было со всеми ссорами и дразгами эпизодического совместного жития с Елизаветой Кондратьевной. Верещагин высылал ей тысячу рублей в год и обещал (и выполнил обещание) платить эти деньги пожизненно. Художник не сразу получил развод, но это было уже неважно. Его переполняла нежность к Лиде и детям, с которыми он перебрался жить под Москву, в Нижние Котлы, где вырос большой дом с просторной мастерской.

Характер у художника был тяжелый. Неприятности делали его раздражительным, он не выносил никакого прекословия к семье, кричал на Лиду, а потом мучился сам. Во время одной из разлук перед переездом в Россию он написал Лидии Васильевне:

«Правду тебе сказать, никогда еще неизвестность так не тяготила меня, как теперь. Что-то будет? Как-то я буду работать? А главное, самое главное — будем ли мы дружно жить?.. При малейшей ссоре, малейшей неприятности с тобою у меня все застилает в глазах, все делается немшло, начиная с тебя самой, работы делаются противны, просто хочется какую-нибудь пакость сделать, хоть бы это стоило боли страдания».

Но время сглаживало шероховатости семейной жизни. Верещагин стал мягче, спокойнее. Во время частых путешествий он тосковал по жене и детям, привязанность к которым в его возрасте становится особенной, и он писал письма нежные и тревожные.

Россия, ее природа и люди, полностью завладела помыслами художника. Он все время в пути... Нет числа пейзажам, портретам, статьям — этим его объяснениям в любви к родине. И он обратился к прошлому отечества, как бы предвидя грядущие испытания мужества и стойкости русского народа. Семнадцать лет он отдал серии картин о событиях 1812 года. И снова правительство не захотело их приобрести. Тот, у кого нет будущего, не проявляет интереса и к прошлому. В отчаянии Верещагин хотел «предать казни», сжечь всю серию картин. Русские эмигранты, издававшие в Лондоне газету, запряченную в России, писали, что картины о народной войне 1812 года заставляют биться русское сердце от восторга за Верещагина, что в них выражена справедливая

мораль: «Всякий захватчик, который думает о покорении России, осужден на гибель!»

Предчувствуя приближение новой войны, Верещагин в своих статьях все чаще вспоминал балканские события, предостерегал от беспечности. Он рассказал о Шипке и считал необходимым, «чтобы солдат наш, с одной стороны, возможно развился нравственно и физически, с другой — сбросил бы с себя немецкий облик... и, одетый в полушубок, с теплыми рукавицами и носками, наловчился бы во всех маневрах, изворотах и движениях зимой... Одна уверенность иностранцев в том, что войска наши, тепло одетые, обучены по-домашнему устраиваться в снегу, на больших морозах, отобьет охоту у ближних и дальних соседей постоянно собираться к нам в гости, страдать, что вот-вот придут. Милости просим — поиграем в снежки!»

Пацифизмом, который ему часто приписывали, от этих слов и не пахнет.

Правительство вынуждено было публиковать официальные опровержения, звучавшие смешно. В заявлении военного министерства говорилось:

«Вообще генерал Радецкий жил на Шипке в чрезвычайно тяжелых условиях и если играл в свободное время в карты (по очень маленькой ставке), то самая эта игра действовала успокоительно на окружающих...»

Возмутился даже бывший начальник скобелевского штаба генерал Куропаткин, написавший:

«Радецкий, чтобы не тревожить Россию, доносил, что «на Шипке все спокойно», и это в то время, когда вверенные его командованию войска самоотверженно умирали, засыпаемые снегом. Знаменитая картина В. В. Верещагина *верно* передает то, что в снежные бураны переживали наши герои офицеры и солдаты на шипкинских позициях».

Отправившись в 1903 году в Японию, художник видел не одни лишь экзотические картины быта и природы этой страны. Тотчас по возвращении он сказал при встрече с Репиным:

— Японцы давно превосходно подготовлены и непременно разобьют нас... У нас еще нет и мысли о должной подготовке к этой войне... Разобьют, голову дам на отсечение — разобьют!

Он написал несколько писем лично Николаю II, делаясь своими впечатлениями о японской военщине и пы-

таясь дать полезные советы. Ему не ответили. Японцы атаковали русскую эскадру в районе Порт-Артура без объявления войны в феврале 1904 года, но еще в январе, уже зная твердо, что это произойдет, художник написал Куропаткину:

«Пожалуйста, устройте мое пребывание при Главной квартире Вашей ли или другого генерала, если дело дойдет до драки. Напоминаю Вам, что Скобелев сделал бы это...»

Верещагин понимал, что Куропаткин — это не Скобелев. Сильные люди в ветшающей империи были не в почете. Если они и появлялись, то их ждало либо забвение, либо гибель... И все же художник соглашался стать ординарцем у любого генерала и выехал на Дальний Восток уже в феврале. Он хотел всюду поспеть, побывал в Мукдене и Ляояне, добрался до Порт-Артура...

И вот он стоит на мостике «Петропавловска» с альбомом в руке.

Утром, переходя с крейсера «Диана» на броненосец «Петропавловск», Степан Осипович Макаров сказал Верещагину:

— Василий Васильевич, вернитесь в порт. Будет бой, и бог знает, кто из нас уцелеет. Вы нужны России...

— Степан Осипович, я приехал в Порт-Артур не ради праздного любопытства, а именно для того, чтобы запечатлеть морское сражение, — почти раздраженно ответил художник.

Броненосцы «Петропавловск», «Полтава», «Победа», «Пересвет» и другие русские суда атаковали эскадру японских крейсеров, пока на горизонте не показались главные силы неприятельского флота.

Макаров называл художнику вражеские броненосцы, а тот быстро набрасывал их силуэты. Сил у японцев оказалось больше, чем в макаровской эскадре. Адмирал приказал ей отходить на внешний рейд, чтобы принять бой при поддержке береговой артиллерии. Верещагин пошел на корму броненосца...

Часы показывали 9 часов 34 минуты утра, когда палуба под художником всколыхнулась от взрыва. «Петропавловск» наткнулся на мины, поставленные японцами. Тотчас взорвались торпедный погреб и паровые котлы броненосца. Через полторы минуты он, зарывшись носом в воду, ушел в глубины Желтого моря.

Из семисот с лишним человек команды другие кораб-

ли подобрали лишь семь офицеров и пятьдесят два матроса. Минный офицер Иениш рассказал о последних секундах жизни художника Верещагина:

«Смотрю, на самом свесе стоит группа матросов и среди них в расстегнутом пальто Верещагин. Часть из них бросается в воду. За кормой зловеще шумит в воздухе винт. Несколько секунд — и взорвались котлы. Всю середину корабля вынесло со страшным шумом вверх. Правая 6-дюймовая башня отлетела в море. Громадная стрела на спардеке для подъема шлюпок, на которой только что остановился взгляд, исчезает из глаз, — я слышу над головой лишь басистый вой... Взрывом ее метнуло на корму, и место, где стояли еще люди и Верещагин, было пусто — их раздробило и смело...»

О чем он успел подумать за мгновение до гибели?

Наверно, как и любой русский воин, о жене, о детях, о родине. И еще о том, что совесть его чиста...

II

Антим Костов

(Болгария)

ВОЕВОДА — КАПИТАН ЦЕКО ПЕТКОВ

Война наконец объявлена.

В Плоешти 1877 года раздаются громкие команды, дробь барабанов, блещут медные трубы. Великий князь Николай Николаевич принимает парад. Возле него стоит седой воевода Цеко Петков-Долгошевски. Над дружинами болгарских ополченцев развевается Самарское знамя.

Вот старый дед Цеко вбивает золотой гвоздик в древно самарской святыни и взволнованно произносит:

— Да поможет бог пройти этому святому знамени из конца в конец несчастную землю болгарскую! Да осушит его шелк скорбные очи наших матерей, жен и дочерей! Да бежит в страхе все нечистое, злое перед ним, а за ним станут мир и благоденствие!

Седовласый воевода подводит к главнокомандующему передовой отряд специального назначения, состоящий из болгарских ополченцев.

Вслед за тяжелыми боями под Плевной начинается последний для старого заслуженного воина победоносный поход.

Шеститысячная армия генерала Павла Петровича Карцева пробивается через заснеженный и непроходимый

Гроянский перевал. У Курт хисара (Волчьей крепости) турецкие войска и орды башибузуков встречают освободителей ураганным огнем.

Полковник Греков и майор Духновский ведут свои полки в атаку. Страшен удар в штаны. Но турки, укрывшиеся за скалами и камнями, не отступают. Бой затягивается. И в тот момент, когда напряжение достигает наивысшего предела, позади турецких позиций на белом фоне горы неожиданно появляется крупная фигура деда Цеко. И громовое «ура!» несется с обеих сторон турецкой крепости. «Летучая» дружина воеводы врывается в самый тыл вражеского расположения. Враг ошеломлен, разбит, смят. Бой прекращается. Последний бой... Генерал Павел Карцев обнимает седовласого воина: «Белый орел! Настоящий болгарский атаман!»

На следующий день над вершинами Балкан — солнце, свет, простор. Вся Южная Болгария лежит как на ладони...

* * *

Долог был путь легендарного героя болгарского ополчения от Гайдупкой долины и Метковца до этих мест.

Какое тогда было лето? — 1827-е. Ему минуло всего двадцать лет, когда с «князем» * Иваном Кулиным и несколькими юнаками он перебил турецких стражников свирепого анадольца Арата Пехливана.

В 1835 году — как раз на праздник Вознесения (Спасов день) он развернул знамя мятежа в Манчово.

1841 год. С поникшей головой он стоит у пирамиды черепов: это уничтоженные завоевателями участники Нишского восстания. А в июле он получает печальную весть: отряд сербского капитана Татича, с которым воевода должен был идти на янычар от берега Дуная, разбит...

В 1856 году население его родных Долгошевцев избирает воеводу правителем, или «князем». Он защищает освящение новой болгарской церкви, сбросив греческого владыку Венедикта, потворствовавшего поработителям, в глубокий враг.

1 июня 1850 года вместе с князем Иваном Кулиным

* Кнез, княз — избравшийся населением одного или нескольких сел управник, или правитель (болг. ист.).

он поднимает более трех тысяч крестьян на восстание в Видине. Мятеж стремительно разрастается и охватывает четыре области между Искыром, Балканом и Дунаем. В одном из боев всего лишь с ножом в руке бросается воевода на турок в самую гущу великой Хасановой сечи. Потом, собрав оставшихся 700 человек, они с Иваном Кулиным ведут их на крепость Белоградчик. Сколько крови, сколько надежд и сколько страшных крушений!.. Освободить родину от ненавистных поработителей — вот главная цель жизни!

После поражения он, несмотря ни на что, продолжает сражаться в горах, лесах и долинах.

И вот сам визирь привозит весть о согласии на переговоры в Царьграде. Впервые султан снисходит до того, чтобы выслушать «неверных», своих рабов. Цеко Петков, Иван Кулин и Димитр Панов-Гинин из Лом-Паланки едут к султану и ведут переговоры, но не как рабы, а как полные достоинства свободные люди. Результат этого визита — грамота на владение землей и права для народа.

Как и следовало ожидать, грамота оказывается всего лишь бумагой, а права повисают на кисточках османских фесок. Тогда летом 1852 года вместе с Димитром Гининым Петков ведет мирную двухтысячную демонстрацию к резиденции видинского правителя, чтобы в дерзкой речи высказать все то, что накипело на душе у крестьян из-за участвовавших разбоев, незаконных поборов и произвола, чинимого местными властями...

Во время Крымской кампании под Севастополем воевода Петков получает свою двадцать вторую рану. Целых три года он борется рядом с русскими плечом к плечу, по-братски деля с ними победы и поражения, радости и горе. Болгарское войско, предводительствуемое им, обращает в бегство целую англо-французскую бригаду. Русский император Николай I награждает отважного воина серебряной саблей, адмирал Нахимов лично прикрепляет к его груди золотой Георгиевский крест.

Проходят годы... Все возможное и невозможное делает неутомимый воевода для того, чтобы поднять на восстание болгарский народ. Куда только не обращается он за помощью в течение последующих пяти лет — с 1857 по 1862 год: и в Одессу, и в Москву, и в Петербург, и в Бухарест, и в Браил, и в Белград.

В Сербии они с Иваном Кулиным собирают наконец

новые отряды, скупают оружие у сербских торговцев, перебрасывают ополченцев в Болгарию.

Студеной зимой 1862 года в качестве подвоеводы у Раковского с Первым белградским отрядом добровольцев он вступает в Калемегдан и вместе с Левским врзается в густые ряды турок, обороняющих эту недоступную прежде крепость.

Во время отчаянной ночной атаки 1876 года под Гредегиним они с Бено Первановым, обнажив сабли, бросаются против турецких орудий... Не залечив до конца раны на груди, со сломанной рукой и перебитыми ребрами, дед Цеко бежит из лазарета, чтобы не опоздать к сбору болгарского ополчения в Плоешти...

И вот через пятьдесят лет, после почти полувека непрестанных битв, более сотни больших сражений старый седовласый гайдук, «князь», нетитулованный дипломат и защитник родины, бунтарь, борец и народный воитель, уцелевший в боях каким-то неведомым чудом, отправляется в последний победный поход, чтобы собственными глазами увидеть, как воскресает освобожденная Болгария.

Нет с ним его побратимов: Манчо Пунина, Ивана Кулина, Стефана Караджата, Василя Левского, Георги Раковского, Бено Перванова, Димитра Перванова... И не видят они сейчас, что и помину не осталось в людях от прежнего рабского страха. Не видят, как поднимаются все, от мала до велика, чтобы помочь русским братушкам наголову разбить вековых османских поработителей!

Перевод с болгарского
Галины ГОРЕЛОВОЙ

Илья Мермерков

(Болгария)

ПОДПОЛКОВНИК КОНСТАНТИН КЕСЯКОВ

Он был самым старшим по званию среди болгар-офицеров — командир первой ополченческой дружины подполковник Константин Кесяков.

Кесяков родился в 1839 году в Пловдиве и принадлежал к старинному роду из города Копривщица. А первым наставником его в Пловдивском классном училище был один из талантливейших и патристически настроенных педагогов, прививавший своим ученикам идеи независимости, свободы. Не менее важен и другой факт из биографии Константина Кесякова. Его ближайшим другом и соучеником был выдающийся писатель, публицист и общественный деятель, основоположник критического реализма в болгарской литературе Любен Каравелов. До 1857 года Любен Каравелов и Константин Кесяков учились вместе в Копривщице и Пловдиве. А затем оба двадцать лет своей жизни в эмиграции посвятили осуществлению юношеских идеалов — борьбе за освобождение Болгарии. И оба поначалу решили стать военными, изучить военное дело, чтобы в дальнейшем с оружием в руках бороться за свободу своей родины.

От Пловдива через Царьград, Одессу и Петербург два перазлучных друга добрались до Москвы. И, как свидетельствует племянник Константина Кесякова Искро Кесяков: «Несколько лет друзья терпят вместе все лишения, делят поровну кусок хлеба, деньги, жилище. Не поступив в кадетское училище, без какого бы то ни было пособия, средств к существованию оба готовятся к приемным экзаменам на физико-математический факультет Московского университета».

Но выдержать экзамены удалось только одному из них — Константину Кесякову (Каравелов поступил вольнослушателем на филологический факультет Московского университета). После нескольких лет упорных занятий он закончил Московский университет, защитил диссертацию и получил научную степень магистра математических наук.

И все-таки он стал не ученым, а военным. Святой долг перед родиной заставил его вновь вспомнить свою юношескую мечту. И, уже закончив Московский университет, защитив ученую степень, Константин Кесяков поступает во 2-е Константиновское военное училище, которое закончил с отличием. А результат — назначение в знаменитый Преображенский полк.

Магистр и одновременно поручик Преображенского полка Константин Кесяков знакомится с прогрессивной русской интеллигенцией, сближается с болгарскими эмигрантами и становится членом Болгарской дружины в Москве, переименованной в 1867 году в Южнославянскую дружину.

Среди московских друзей Кесякова, помимо друга юности Любена Каравелова, ротмистр Н. Н. Раевский, который, кстати, тоже окончил физико-математический факультет Московского университета и принадлежал к прогрессивным кругам русского офицерства. Был он связан и с Московским славянским комитетом, председателем которого был Иван Сергеевич Аксаков. Славянский комитет возложил на Кесякова ряд задач, и в первую очередь связь с национальным освободительным движением южных славян. Именно Кесяков в 1867 году был направлен Славянским комитетом в Белград для организации и обучения 2-го Болгарского легиона. «В течение зимы 1868 года Болгарский легион посетили два русских офицера, — свидетельствует легионер Михаил Греков, — как можно было догадываться, они были направлены русским правительством для изучения дел и оказания помощи легионерам. По национальности эти офицеры были болгарами — поручик Кесяков и полковник Кишельский. И оба они показали себя высокообразованными, знающими военное дело...»

Вернувшись в Москву, Константин Кесяков полностью отдает себя деятельности Южнославянского общества, становится членом его руководящего комитета. Попав под благотворное влияние великих русских демократов и пи-

сателей Герцена, Белинского, Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Некрасова, Тургенева, Успенского и других, он изучает и распространяет их идеи в среде болгарской эмиграции. К тому времени Константин Кесяков был уже значительной фигурой, числился среди идейных лидеров. Не случайно газета «Голос» опубликовала 25 июня 1867 года следующее сообщение: «...По дошедшим в Россию достоверным сведениям Кесяков, Каравелов, Христович (Иван Христов-Ванката) и другие болгарские идейные вожди самим Мидхад-папой и Турцией оценены как реальная политическая сила, лишь ожидающая случая привести свои планы в исполнение».

И такой случай наступил — в июле 1875 года вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине. В 1876 году, едва лишь началась война между Сербией и Турцией, многие офицеры стали поступать добровольцами в русско-болгарскую бригаду. «Из России прибыли болгары, — вспоминал участник той войны Стефан Кисов, — и среди них в качестве представителей Славянского комитета генерал Кишельский, поручик Кесяков и Иван Иванов. Они просили содействия сербского правительства в организации особого болгарского отряда из 2500 человек, которому предстояло затем проникнуть на территорию Болгарии. А вооружался, снаряжался и обмундировывался отряд на средства, собранные Славянским комитетом».

Еще большую роль сыграл Константин Кесяков в организации болгарского ополчения, командиром которого он и стал в Освободительной войне. Именно он убедил Аксакова, чтобы все оказавшиеся в Сербии болгарские добровольцы были возвращены назад и влились в ряды будущего ополчения. Обезжая русские и румынские города, он давал ценные советы и распоряжался по набору, обучению и вооружению болгар. В то время Константин Кесяков был в чине капитана. А 16 ноября 1876 года генерал Столетов послал начальнику штаба действующей армии следующий рапорт: «Прошу ходатайства Вашего превосходительства об откомандировании в мое распоряжение подполковника Генерального штаба Ринкевича из Первого Туркестанского стрелкового батальона, майора Калитина и находящегося в гвардейской пехоте капитана Кесякова (родом болгарин) с производством его в подполковники».

18 апреля 1877 года подполковник Кесяков был назначен командиром Первой ополченческой дружины в

Плоешти. При вручении Самарского знамени представителями города Самары Кожевниковым и Алабиным он был переводчиком. 7 мая 1877 года подполковник Кесьяков вместе с С. Ивановым и В. Оджакковым поднесли благодарственный адрес самарцам от имени болгарского народа.

Подполковник Константин Кесьяков провел свою дружину от Плоешти через Дунай до Свиштова и Тырнова. Он первым преломил символический теплый болгарский хлеб с солью, преподнесенный освобожденными братьями-болгарами. Ополченцы вошли с триумфом как освободители в болгарские города и были встречены венками, цветами и теплыми отеческими объятиями. Включенное в состав Передового отряда под командованием генерала Гурко болгарское ополчение перевалило Балканы и направилось к Старой Загоре. Гурко обратился к ополченцам через Кесьякова со словами: «На вас наша надежда, герои! Оправдайте же наше доверие и исполните свой святой долг. Отомстите своим вековым врагам! Нашей общей кровью купим свободу для Болгарии!»

Вошедшие в состав старозагорского отряда четыре ополченческие дружины вместе с русскими воинами-бегатырями приняли удар далеко превосходящей численностью армии Сулеймана-паши. Первая ополченческая дружина заняла позицию напротив правого фланга противника и держала ключ обороны — горную теснину, через которую могла прорваться турецкая армия. После ожесточенного сражения 31 июля 1877 года дружина подполковника Калитина врезалась в турецкие цепи и прорвалась вперед. Но в результате Первая дружина, стоявшая на правом фланге, оказалась открытой. «Когда противник начал предпринимать стремительные атаки, подполковник Кесьяков, видя, что между Первой и Третьей дружинами осталось голое пространство, не занятое нами, отдал приказ капитану Колесникову, командиру первой роты, занять его, послать туда цепи солдат. С самого начала сражения дружина понесла большие потери от выстрелов невидимого врага, скрытого за густыми деревьями и кустарниками», — вспоминал ополченец, участник этого боя. И тогда подполковник Кесьяков повел дружину в бой с песней: «Вперед, вперед, на бой пойдём». Ополченцы закричали «ура!», рядом подхватили, и все бросились на турок, не обращая внимания на ружейные и орудийные залпы.

Через некоторое время, в Шипкинской эпопее, Пер-

вая ополченческая дружина проявила чудеса храбрости и самоотверженности. Оставшаяся вначале на центральной позиции в качестве резерва, она в решительный бой 23 августа была переведена на передний край и отбивала нестихающие турецкие атаки.

«Следующая атака Третьей дружины была поддержана Первой дружиной подполковника Кесьякова, — пишет полковник Депрерадович, — во главе которой, кроме самого Кесьякова, находился и командир бригады граф Толстой. Рассказывают, что Первая дружина бросилась в атаку так же стремительно, как и Третья». А после боя, по воспоминаниям другого очевидца, «всегда благодарный Кесьяков тяжело дышал от волнения».

За высокие командирские качества и проявленную личную храбрость во время Освободительной войны подполковник Константин Кесьяков был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом «Св. Владимира» 4-й степени с мечом и бантом. После чего был произведен в чин полковника.

Полковник Константин Кесьяков был одной из обаятельнейших личностей в болгарском ополчении. И память о нем осталась навечно среди благодарного болгарского народа.

Перевод с болгарского
Т. КАЖАЕВОЙ

Вячеслав Янчевский

ОПОЛЧЕНЦЫ

Еще задолго до начала освободительного похода русской армии передовые представители болгарского народа вступили на путь борьбы с ненавистными поработителями. В горах действовали отряды народных мстителей-гайдуков. То и дело вспыхивали восстания. Крупнейшим из них стало Апрельское восстание 1876 года, на знамени которого было начертано: «Свобода или смерть!»

Озверевшие янычары залили страну потоками крови. Сотни и тысячи революционно настроенных болгар вынуждены были покинуть родину. Они нашли убежище в Сербии, Румынии, братской России. Среди покинувших тогда Болгарию были такие героические борцы за ее свободу, как воеводы Панайот Хитов, Цека Петков, Тодор Велков и другие. Находясь за пределами своей родины, они не прекращали борьбы, не складывали оружия. Сражались на стороне сербов и черногорцев в сербско-турецкой войне. Активно помогали русскому командованию готовиться к освободительному походу в Болгарию. Трудно, например, переоценить ту роль, которую сыграли болгарские патриоты в обеспечении полевого штаба Дунайской русской армии точными данными о дислокации и передвижении турецких войск. И все это сделано было на основании данных, полученных от разведчиков-болгар.

Примечателен такой исторический факт. В 1879 году главнокомандующий турецкой армии Сулейман-паша предстал перед военным судом в Стамбуле. Ему вменялось в вину поражение турок в войне 1877—1878 годов. Вот тогда-то у Сулеймана-паши вырвалось признание: «В расположении противника было много средств развед-

ки. Прежде всего у него были болгары. Ни один болгарин не пожелал служить мне. Поэтому мне было невозможно получать разведывательные данные... На деле ни один турецкий военачальник в течение этого года не мог собирать разведывательные данные...»

Когда Россия объявила 12 апреля 1877 года войну Оттоманской империи, а затем перешла к решительным действиям, Болгарский революционный комитет обратился к своим соотечественникам: «Болгары! Братья! Вы знаете, царь объявил войну Порте. Она предпринята для великой цели... — для освобождения многострадального, пять столетий томящегося под невыносимым игом варварского владычества болгарского народа.

Болгары! Относительно приближающейся армии наших освободителей мы должны исполнить две обязанности: во-первых, вне поля битвы поддерживать ее всем, чем только нам возможно. И, во-вторых, на полях сражений биться с нашим вековым врагом бок о бок с русскими стойко, до последней капли крови.

Мы должны образовать легионы, в рядах которых должны находиться все болгары, способные носить оружие.

Наше имущество и наша кровь принадлежат справедливому делу, которое русская армия написала при переходе через Прут на своих знаменах, ибо оно есть дело политико-национального возрождения Болгарии...

Болгары! Покажите себя достойными жертвы, которую наши друзья готовятся за нас принести. Болгары! Стойте, как один человек, за поруганное отечество!»

Объявление войны Турции, манифест Центрального революционного комитета отозвались в сердцах свободолюбивых болгар.

Толпы эмигрантов осаждали русские консульства в Румынии и Сербии. Они требовали зачисления их в действующую армию. В сербском городе Кладно скопилось много болгарских четников. Их насчитывалось там до 600 человек. Во главе чет стояли Панайот Хитов, Филипп Тотю, Цеко Петков... Среди болгарских добровольцев было немало участников Апрельского восстания, тех, кто сражался с турками на сербской земле. Они-то и явились костяком ополчения, приказ о сформировании которого был отдан 17 апреля.

Первоначально пунктом его формирования был Кишинев. После вступления русской армии на территорию

союзной Румынии комплектование ополченческих дружин продолжалось в Плоешти.

Командиром болгарского ополчения был назначен генерал-майор Николай Григорьевич Столетов.

Уездный кишиневский исправник И. С. Иванов, деятельно помогавший Н. Г. Столетову в формировании ополчения, в своих заметках, опубликованных по окончании войны, вспоминал:

«31 марта в так называемом Армянском подворье в Кишиневе собралось 700 человек болгарских добровольцев. Из них генерал Столетов сформировал три батальона... 14 апреля через Яссы двинулись к Плоешти... За полтора месяца в Плоешти мною было принято 4300 молодых болгар и сформировано шесть первых болгарских дружин».

К Дунаю генерал Столетов двинулся уже с пятью тысячами ополченцев. Над Третьей дружиной развевалось знаменитое Самарское знамя. Четвертая дружина покинула Плоешти тоже с дарственным знаменем. Его вышпили и вручила своим соотечественникам, идущим освободить свою многострадальную родину, болгарская патриотка, уроженка Браилова Сгелияда Парашкевова.

Русское командование особо тщательно готовилось к форсированию Дуная. Почти за месяц до этого руководитель разведывательной службы Дунайской армии полковник Н. Д. Артамонов поручил Георгию Живкову, одному из своих многочисленных болгарских помощников, организовать переброску разведчиков на правый берег Дуная. Одновременно другие болгарские патриоты — свиштовский пекарь Величко и торговец Брычков — получили задание собрать свежие данные о дислокации турецких войск в Свиштове и Никополе. Выяснив все, что требовалось, Величко немедленно переправил с почтовым голубем полученные данные полковнику Артамонову. Спустя несколько дней другой почтовый голубь доставил полковнику сведения о турецких войсках, размещенных в Никополе.

Болгарские ополченцы приняли участие во всех решающих сражениях за освобождение своей родины.

Обращаясь к воинам болгарских дружин после битвы под Старой Загорой, генерал Гурко отмечал:

«...это было первое сражение, в котором вы вступили в борьбу с врагами, и в нем сразу показали себя такими героями, которыми вся русская армия может гордиться

и может сказать, что она не обманулась, посплав в ваши ряды своих самых лучших офицеров. Вы ядро будущей болгарской армии. Пройдут годы, и эта будущая болгарская армия скажет: «Мы — потомки славных защитников Старой Загоры!»

Подвиг дружинников вдохновил их соотечественников. Очевидцы рассказывали, что в Свиштов, где к тому времени формировалась уже Шестая дружина второй очереди, ежедневно к ее начальнику капитану Путяте стекалось до 70—80 молодых болгар. И стала обычной тогда такая картина: добровольцы сначала проходили по городу с дружинным знаменем и песнями, а потом уже приписывались к ополчению.

После жарких боев под Старой Загорой и Джурапли передовой отряд генерала Гурко вынужден был отойти 20 июля 1877 года к Хаинкиойскому и Шипкинскому проходам Балканского хребта. Ему преградила путь в глубь страны вся армия Сулеймана-паши. Вместе с подразделениями русских войск расположились в горных проходах и болгарские дружины. В этот период военных действий огромную помощь командованию оказали разведчики, жители окрестных сел и городов, прекрасно знавшие горные тропы и проходы Балкан. В памяти народной навсегда сохранилось имя болгарки Куны Ключуковой. В самые драматические месяцы войны эта отважная женщина действовала как курьер русской военной разведки. Под покровом ночи, пронизываемая до костей леденящими балканскими ветрами, баба Куна под носом у турецких патрулей пробиралась горными тропами в расположение русских войск и доставляла туда ценные сведения о численности неприятельских сил, о местах их размещения, о действиях партизанских отрядов в тылу врага. Сколько раз совершала она опасный путь с корзинкой за спиной, в которой, укутанная меховой шубейкой, находилась ее дочка, еще совсем грудной ребенок! В складках пеленок, в шапочке на головке дочери смелая женщина, искусный курьер приносила сведения, которые так нужны были русским братушкам.

Особо следует сказать о той выдающейся роли, которую сыграл в этот период войны воевода Панайот Хитов. Еще за день до объявления войны с Турцией один из руководителей разведывательной службы действующей армии полковник Г. И. Бобриков доложил начальнику полевого штаба армии А. А. Непокойчицкому о своей

встрече с Панайотом Хитовым. В беседе с полковником Хитов ознакомил его с расположением проходов в Балканах и сообщил сведения о состоянии дорог и мостов на пути возможного следования русских войск.

Хитов прекрасно понимал, как состояние дорог может повлиять на успех или неуспех операций. Вот почему, будучи воеводой, собирав ежедневно данные о турецких войсках, он самым старательным образом занимался ремонтом горных дорог. Потребность в этом значительно возросла, когда под нажимом армий Сулеймана-паши бойцы Передового отряда генерала Гурко вот-вот могли вернуться в Балканские проходы, основательно разбитые во время наступательных операций в направлении Софийской долины. Требовалось расширить дорогу и отремонтировать с тем, чтобы по ней могла пройти артиллерия.

Сохранилось несколько донесений П. Хитова полковнику Артамонову. Они довольно убедительно свидетельствуют о разносторонней и крайне важной деятельности старого воеводы в период ожесточенных военных операций. Так, 29 июня 1877 года Хитов отправляет письмо Н. Д. Артамонову о передвижениях турецких войск и об участии болгарского населения в ремонте дорог:

«1. Верные сведения из Карнобада.

Человек, приехавший оттуда, передал мне, что в Карнобаде нет турецкого войска, только беглецы из Доброты и Свиштовского уезда с возами проехали через Карнобад и направились к Росокастру. Человек из Карнобада прошел через Кая-Баш и Жеравну и прибыл через Балканы прямо в Кипилово. На пути своем он не заметил турецкого войска.

2. Сведения из Сливена.

Турецкое войско из Новой Загоры — 4 табора (батальона) отправились к Сливену. В воскресенье один из этих батальонов возвратился в Новую Загору; в воскресенье жители всех деревень вокруг Новой Загоры и жители самой Новой Загоры с семействами бежали. Башибузуки сожгли Новую Загору и село Кортен, а в понедельник сожгли села Гинжилин, Тумарчево... Башибузуки зарезали много болгар.

6 июля. Поправка дороги подвигалась трудно. Людей нет в селах; сколько их есть, они идут в поле собирать свой хлеб. Я не могу принудить их силой, потому что многие из них пошли с нашим войском. Как бы то ни было, но я вывожу женщин на работу по дороге».

«1877 г. Июля 9. Донесение Н. Д. Артамонову.

Письмо ваше от 6 получил в этот вечер, понял его содержание и спешу отвечать вам и передать столько сведений, сколько могли доставить.

1. В Ямболе войск нет.

2. В Сливене есть до 2-х тысяч войска с 4-мя орудиями. Это войско вернулось из Котела. В Балканах, около Дефир-калии, также нет войска. В этом городе турки собрались бежать, особенно те, которые проявили себя в резне в Бояжиккое (1876 г.), но другие турки их задержали, сказали им: стойте и отвечайте за все, что вы сделали.

3. В Новой Загоре теперь находится до 6 тысяч войска, если не больше. Многие жители здесь вырезаны турками, и город сгорел.

6. ...Все население в Тракии по реке Марице страдает от турок, которые отсылают свои вещи и возвращаются резать, грабить и уводить в рабство болгар. Сюда пришли беглецы от Бели-Тепе и его округа... Дорога через Хаим-Боаз нехороша. Мы стараемся исправить ее по возможности».

Патриотическая деятельность Панайота Хитова, его бескорыстная и самоотверженная помощь русскому войску не раз получали высокую оценку армейского командования. Об этом говорит, в частности, записка Н. Д. Артамонову командира отдельного 5-го саперного батальона полковника Свищевского от 13 июля 1877 года. В ней отмечается помощь П. Хитова русским саперам, которые отремонтировали дорогу из Тырнова на Хаинкиой.

«Дорогу исправили насколько возможно. Панайот Хитов прилагал старания к отысканию болгарских рабочих. Усердие и готовность П. Хитов настолько выказывал, что заслуживает полного одобрения и поощрения. Я был к нему внимателен и делал все, чтобы высказать ему расположение. Вы скажите вы ему благодарность и засвидетельствуйте перед начальством о его службе нам».

Выполняя задания русского командования в тылу врага, П. Хитов и другие болгарские патриоты постоянно сталкивались с теми бедами и страданиями, которые несли их соотечественникам турецкие оккупанты. Грабежи, насилия, уничтожение населенных пунктов, физическое истребление людей не могли не волновать Хитова и его единомышленников. И тогда он предлагает создавать во вражеском тылу и особенно в прифронтовой полосе цар-

тизанские четы из местных жителей, в обязанности которых, по его мнению, должны были входить не только разведывательные и диверсионные цели, но и охрана болгарского населения от распоясавшихся янычар и башибузуков. Так, в письме к Н. Д. Артамонову П. Хитов 18 июля 1877 года писал: «...Елена находится в крайне натянутом положении и имеет между жителями туркофилов. Многие просили меня испросить дозволение о составлении чет с их оружием, пока им дастся другое, лучшее. Потому предьявитель сего письма может вам рассказать лучше меня, подробнее. Жители города Елены просили меня направить их в штаб, для чего и даю им настоящее письмо, что бы явились к вам и вы обсудите настоящее дело сформирования чет». Другое письмо с аналогичной просьбой Хитов отправил полковнику Артамонову из деревни Жумакины. И там жители заявили воеводе о своем твердом желании встать под знамена повстанческих чет. Предложения П. Хитова были доложены главнокомандующему русской Дунайской армии. Судя по рапорту П. Д. Паренсова начальнику полевого штаба действующей армии А. А. Непокойчицкому, главнокомандующий разрешил П. Хитову формирование чет. Более того, в этом же рапорте сообщалось, что воевода «уже успел организовать несколько чет: 1. Чета из 44 человек под начальством Йордана Ненчева, расположенная от Черошовдяля до деревни Кринковцы. 2. Под начальством Дойго Койева — охраняет пространство от деревни Меряны до деревни Митковцы и состоит из 120 человек. 3. Из 100 человек под начальством другого Койева стережет тропинки от Митковцы до Бапратлиева». Одновременно в рапорте говорилось, что сам П. Хитов с 30 человеками деятельно занимается формированием новых чет. По существу, воевода Хитов стал ближайшим помощником полковника Н. Д. Артамонова по руководству боевой деятельностью партизанских чет. Летучие отряды народных мстителей, предводительствуемые П. Хитовым, Ф. Тотю, дядо Желю, И. Ненчевым, братьями Койевыми, Христо Николой, Сарадито и Христо Джулоем, стали грозой для османской армии, они надежно охраняли болгарское население от разбойничьих набегов турецких головорезов, наносили ощутимые удары неприятелю.

Четы повстанцев являлись постоянным и надежным резервом ополченческих дружин. Вот как описал приход такого партизанского пополнения один из офицеров

Третьей ополченческой дружины — С. И. Кисов: «Добровольцы, вооруженные ружьями разной системы, ятаганами и шашками, с патронташами через плечо и с болгарским трехцветным знаменем имели воинственный вид».

Невозможно, пожалуй, перечислить все, что сделали болгарские патриоты во имя достижения высоких целей освободительной войны.

История, например, сохранила несколько блистательных примеров деятельности болгар в контрразведке. В тот период, когда ставка русского главнокомандования находилась в Кишиневе, там развил кипучую деятельность турецкий разведчик Мехмед-ага. Болгарин Янко Костов помог обезвредить этого матерого агента. Причем он не только описал внешность резидента, но и представил русскому командованию неопровержимые данные о его деятельности. Другие болгары, сотрудники русской разведки, раскрыли большую группу турецких агентов (их было девять человек), которые пробрались в торговое предприятие «Грегор, Горвиц и Коган», занимавшееся поставками провианта и обмундирования русской армии. Или такой факт. Известно, что русское командование переправу армий через Дунай готовило в строжайшей тайне. Даже для высшего офицерского состава она оказалась неожиданностью. И вот в самый последний момент, когда в Зимнице тайно изготовились к операции подразделения дивизии генерала Драгомирова, контрразведчик-болгарин Никола Живков обезвредил четырех турецких агентов. Тайность готовившейся операции была сохранена.

Бессмертной славой покрыли себя участники августовских боев за Шипку. Вместе с солдатами Орловского, Брянского, Житомирского, Подольского и других русских полков ее заслуженно разделили ополченцы болгарских дружин. День и ночь отбивали защитники Шипки непрекращающиеся атаки неприятельских полчищ. Когда кончались снаряды и патроны, они шли врукопашную и отчаянным и стремительным штыковым ударом вновь и вновь отбрасывалиседающих турок. Бок о бок русские и болгары бились с врагами насмерть, являя примеры массового героизма и самопожертвования. «Раз, — свидетельствовал очевидец, — пятнадцать человек болгар опрокинули и погнали 180 турок под общее «ура!» и одобрительные восклицания Орловского полка, усеявшего карнизы горы». Другой раз дружинник Груднов с гранатой в руках кинулся в самую гущу нападающих.

Он метнул гранату в толпу. Взрыв уложил немало неприятельских солдат. Но один из осколков угодил храбруцу в щеку. Вырвав у зазевавшегося турка ружье, он начал крушить врагов штыком и прикладом. Могучее «ура!» раздалось рядом. Это подоспевшие орловцы и ополченцы ударили по атакующим. Турки с проклятиями и воем откатились назад.

Декабрь 1877 года. Русскими войсками взята София. Пришел конец знаменитому «шипкинскому сидению». Войска генерала Скобелева и Святополк-Мирского с боями замкнули кольцо у деревни Шипка. Сверху, с вершины Святого Николая обрушили свой удар на врагов и ее защитники. Армия Сулеймана-паши сложила оружие. В этой операции наряду с Севским, Орловским, Угличским, Казанским, Подольским, Житомирским полками особо отличилось и болгарское ополчение. Оно с честью оправдало те надежды, которые возлагались на него русским командованием. В своем приказе перед решающим боем за Шипку генерал М. Д. Скобелев 24 декабря 1877 года обращался к ополченцам: «Болгары-дружинники!.. Вы с первых дней формирования болгарского ополчения показали себя достойными участия русского народа. В сражениях в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей — русских солдат. Пусть будет так же и в предстоящих боях! Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер, жен. Словом, за все, что на земле есть ценного, святого!» И болгарские патриоты, те, что сражались в дружинах народного ополчения, те, что действовали во вражеском тылу в составе партизанских отрядов, те, что облегчали в меру своих сил русским солдатам тяготы беспримерного похода, сделали все для того, чтобы братушки как можно лучше и с меньшими потерями выполнили свою освободительную миссию.

Среди многочисленной плеяды героев болгарского ополчения особое место занимают так называемые ломские ополченцы.

Ломские ополченцы. Так их называли по имени родного города Лом-Паланки, расположенного на правом берегу Дуная. Славился Лом бойкой торговлей, крупной по тем временам пристанью. Через Лом проходили многие торговые пути. Он связывал западную Болгарию с Румынией, Грецией и Россией. Этим каналом активно поль-

зовались связанные Центрального революционного комитета, четники и те, кто спасался от преследователей — османских палачей. Лом, его окрестности всегда таили опасности для турецких властей и их приспешников — местных богачей-арабджиев. У жителей города и в его округе всегда находили прибежище люди из партизанских чет, активисты самых различных революционных организаций. Наиболее колоритной фигурой из деятелей национально-освободительного движения уроженцев Лом-Паланки являлся Цеко Петков. Тот самый воевода Петков, что в решающий момент боев за Троянский проход оказал вместе со своей четой решающую помощь войскам генерала Карцева. Соратник Георгия Раковского и Василя Левского, человек, который отдал борьбе против чужеземного ига свыше пятидесяти лет жизни, он принял самое активное участие в решающих сражениях за свободу своей родины.

Если Панайот Хитов действовал со своими четниками на левом фланге Дунайской освободительной армии (в районе Елены), то воевода Цеко Петков бился с янычарами на правом фланге, в районе Ловеча. Есть в архивах один любопытный документ — письмо М. А. Хитрово (занимавшегося организацией разведки на правом фланге Дунайской армии) начальнику полевого штаба армии А. А. Непокойчицкому. Письмо написано 17 октября 1877 года. Вот его содержание:

«Податель сего, воевода Цеко Петков, который формировал добровольцев в 1854 году, а также в прошлом году в Сербии, и который в последнее время находился при генерале Столетове, оказывая некоторые услуги в деле формирования болгарского ополчения. Ныне Цеко вызывается формировать четы для независимых действий, преимущественно в Врачанском окружении в тылу Плевны.

Я полагаю, что Цеко может быть полезен в этом отношении, так как он сам родом из Лом-Паланки, хорошо знает местность как по сю, так и по ту сторону Балкан и пользуется репутацией в среде христианского народонаселения. По соглашению с ним я уже распорядился перевозкой имеющихся у меня ружей и патронов из Тырново в Ловеч, откуда людям Цеко будет их удобно забирать. Таким образом, в Ловече они будут вооружаться по мере их формирования. Цеко Петковым уже сформирована чета в Троянском монастыре из болгар Врачанского округа. Чета действует вместе с отрядом генерала

Краснова. Он берется на первое время вооружить триста человек».

Под влиянием Цеко Петкова в национально-освободительную борьбу включились многие уроженцы Лома. Среди них прежде всего следует назвать Петра Берковского. Пятнадцати лет он покинул родной город и направился в Белград для учения в духовной семинарии. Там он встретился с людьми, знакомство с которыми коренным образом изменило его дальнейшую судьбу. Васил Левский, Георгий Раковский, Любен Каравелов и особенно его земляк Цеко Петков — вот кто стал властителем его дум, вот чьи идеи, идеи освобождения горячо любимой родины, стали смыслом его жизни.

Закончил юный Берковский образование в Праге. Вернулся в родной Лом, собирался стать учителем в местной гимназии, однако городские воротилы — арабаджи и не захотели иметь революционно настроенного учителя; пришлось учительствовать в Хаскове. Там он организует одну из первых в Болгарии читален, на открытии которой побывал его духовный наставник Левский. Молодой учитель с головой уходит в революционную работу. И вскоре избирается председателем Хасковского революционного комитета. Его деятельность становится известной турецким властям. Так в январе 1874 года Петр Берковский оказался узником Диарбекира — одной из самых страшных тюрем во время османского ига. Но молодой революционер не падает духом. В заключении он занимается переводами с французского. Образованность узника замечает главный инженер тюрьмы-крепости Мурад-бей. Он делает его своим помощником. Этим обстоятельством немедленно пользуется Берковский и бежит из заточения. При помощи русского консула он после долгих мытарств оказывается в Одессе. Как только было объявлено о формировании болгарского ополчения, молодой патриот является на сборный пункт. Его зачисляют в Шестую ополченческую дружину. Присваивают унтер-офицерское звание. А командир ополчения генерал Н. Г. Столетов берет его к себе ординарцем. В сражениях под Старой Загорой, в битве за Шипку он был рядом со своим любимым генералом. Очевидцы рассказывали, что не раз ординарец заслонял от верной гибели своего командира. А однажды, когда дрогнули ослабленные ранами, измученные жаждой защитники Орлиного гнезда, поднял их Берковский в атаку. Была эта атака страшной для



Командир передового кавалерийского отряда генерал И. В. Гурко.

Болгарские провозачье при авангарде отряда Гурко. Рисунок 1878 года Н. Н. Каразина.



ГУРКО И СКОБЕЛЕВЪ ПОДЪ ОГНЕМЪ.



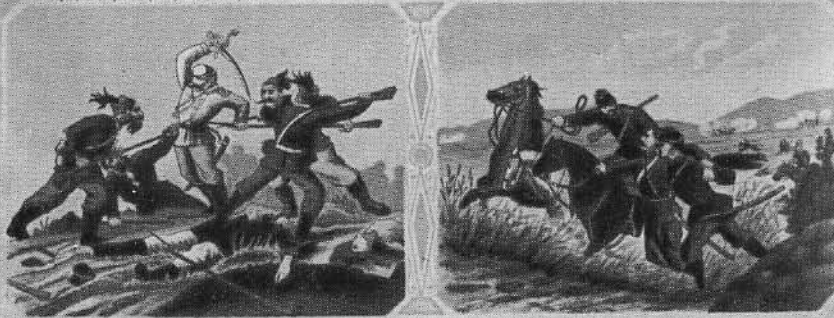
Смерть Гурко Гурко 6-го ноября подъ Карсью.

Падаетъ убитый 12-го Августа Гурко, вблизи Бухарина, при деревнѣ Пашаи.



Героическая смерть героя Гурко, вблизи Бухарина подъ Пашаи.

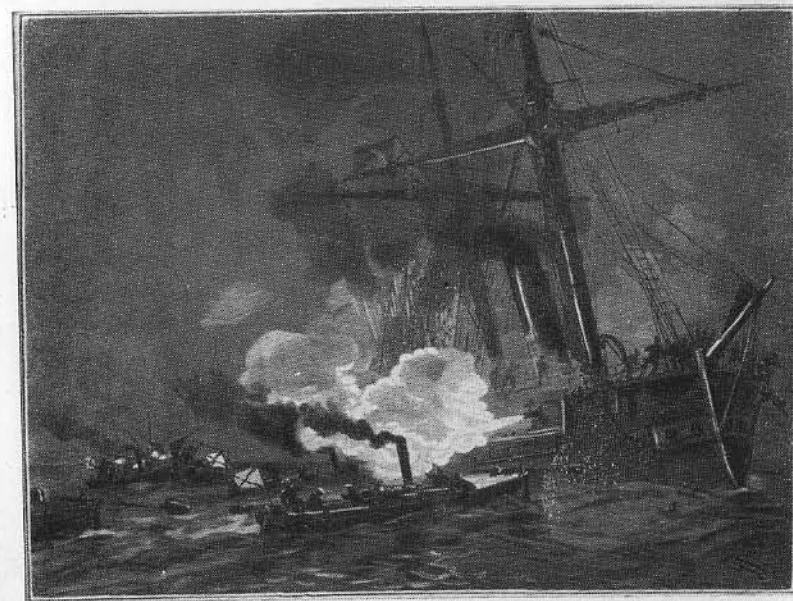
Падаетъ убитый 12-го Августа Гурко, вблизи Бухарина, при деревнѣ Пашаи.



Лубочная картина «Гурко и Скобелев под огнем».



Капитан II ранга С. О. Макаров, получивший боевое крещение в русско-турецкой войне.



Черное море. Атака катерами капитана Макарова турецкого броненосца. С наброска А. А. Болотова. 1878 год.

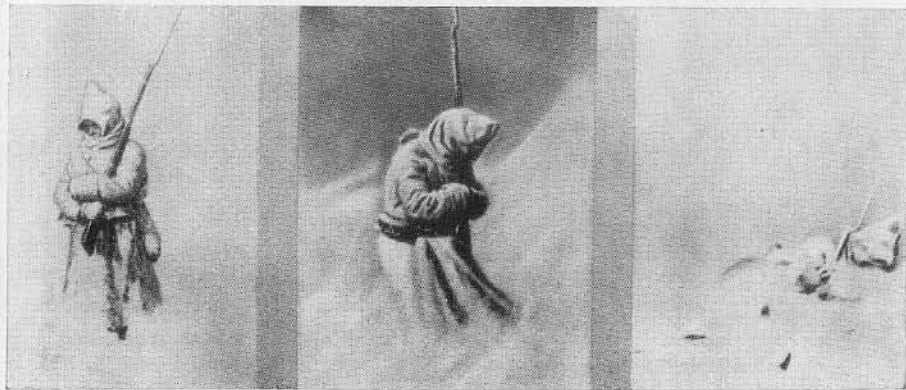


В. В. Верещагин. Фотография 1877—1878 годов.



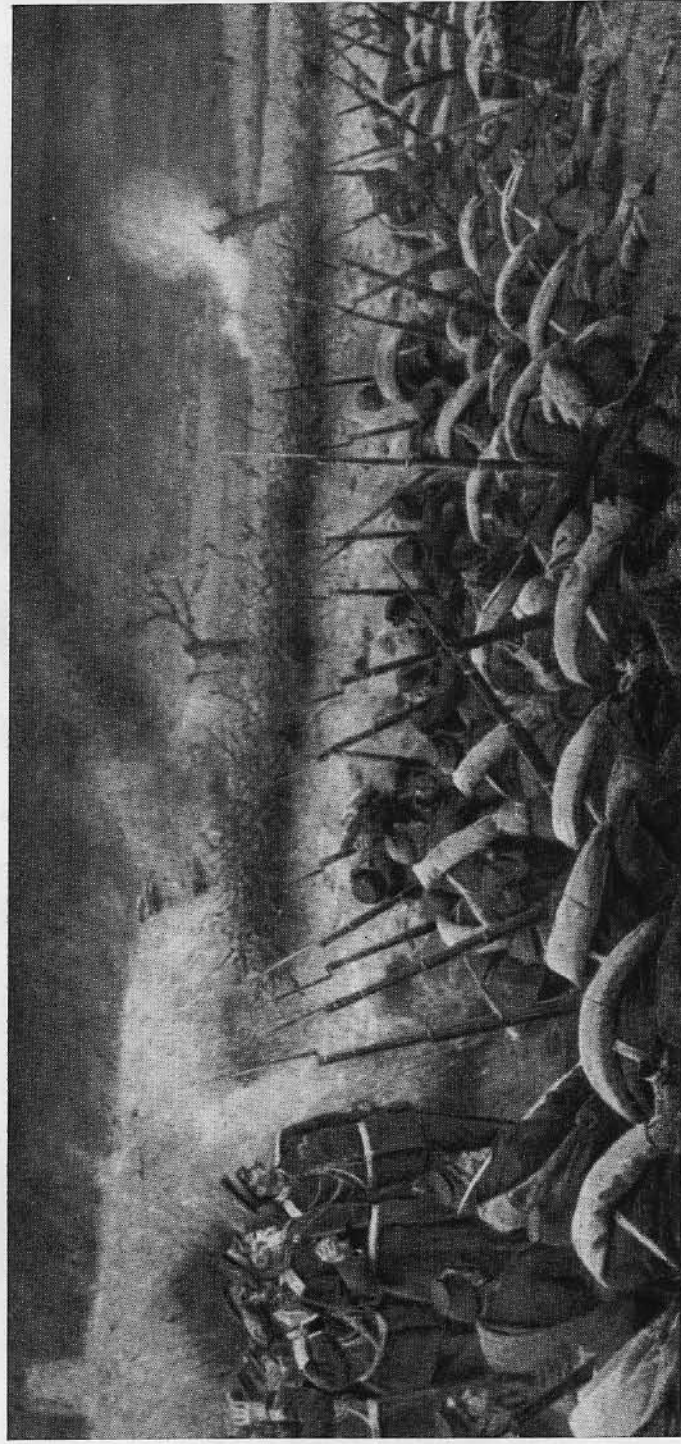
В. В. Верещагин. Победители. 1878—1879 годы.

В. В. Верещагин. «На Шипке все спокойно!». 1878—1879 годы.

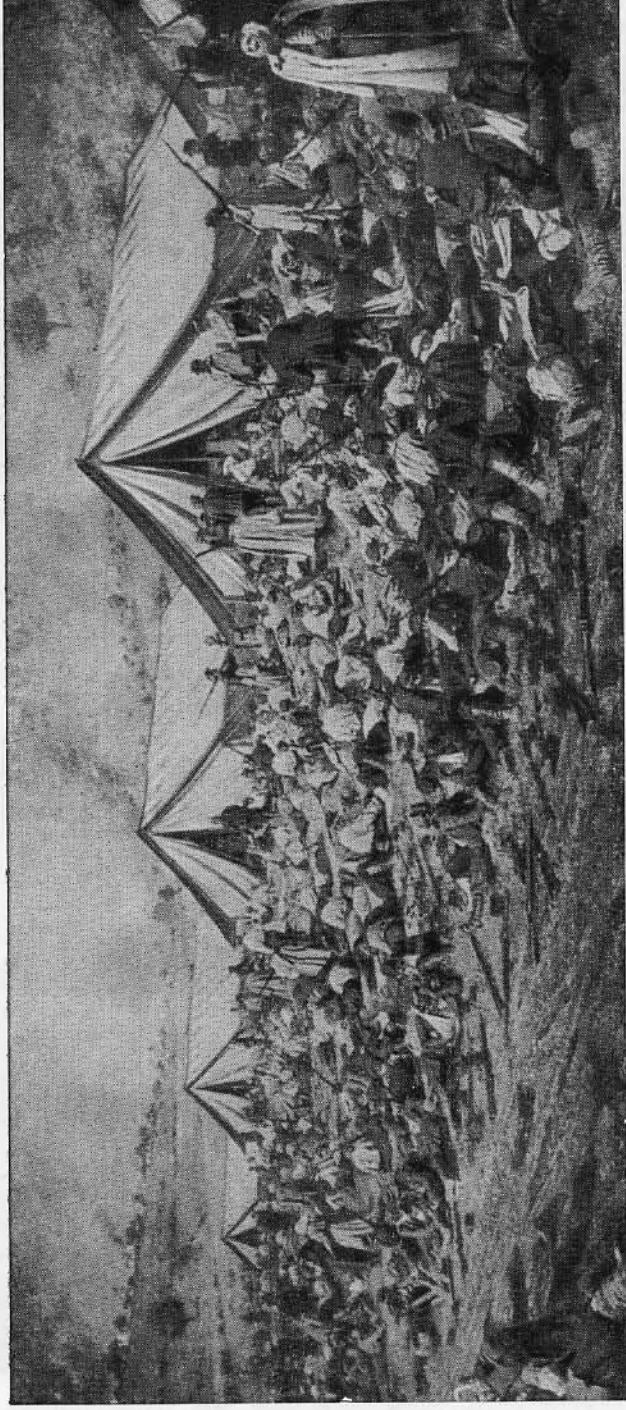


В. В. Верещагин. Два ястреба. (Башибузуки.) 1878—1879 годы.





В. В. Верещагин. Перед атакой под Плевной, 1881 год.

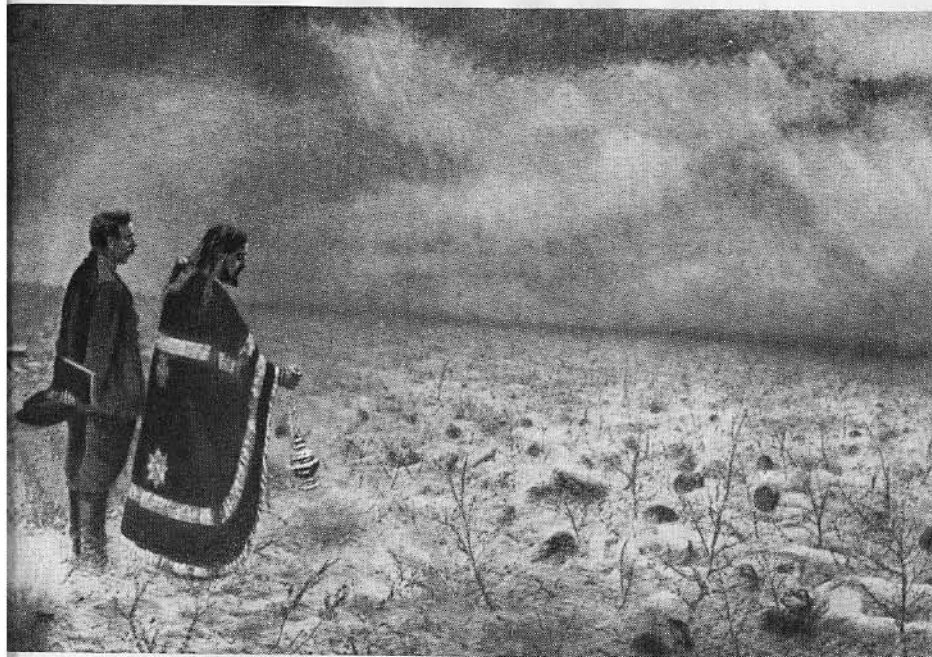


В. В. Верещагин. После атаки. (Перевязочный пункт под Плевной).
1881 год.



В. В. Верещагин.
Одна из последних
фотографий
художника.

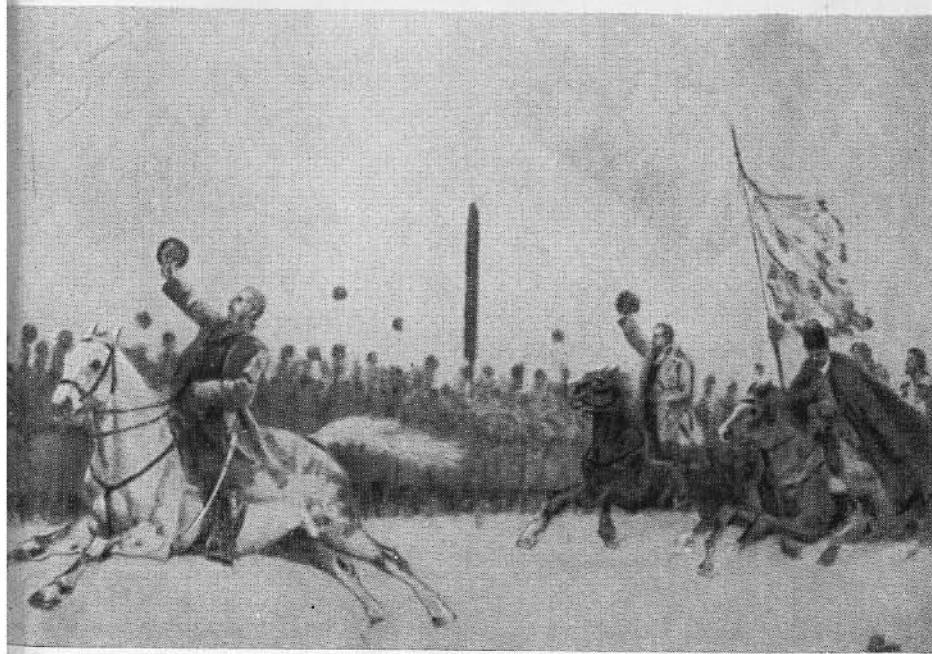
В. В. Верещагин.
Панихида. 1877—
1879 годы. ▶



В. В. Верещагин. ▶
Шипка — Шейно-
во, Скобелев под
Шипкой.
Фрагмент. 1878—
1879 годы.



В. В. Верещагин.
Пикет на Балканах.
Около 1878 года.





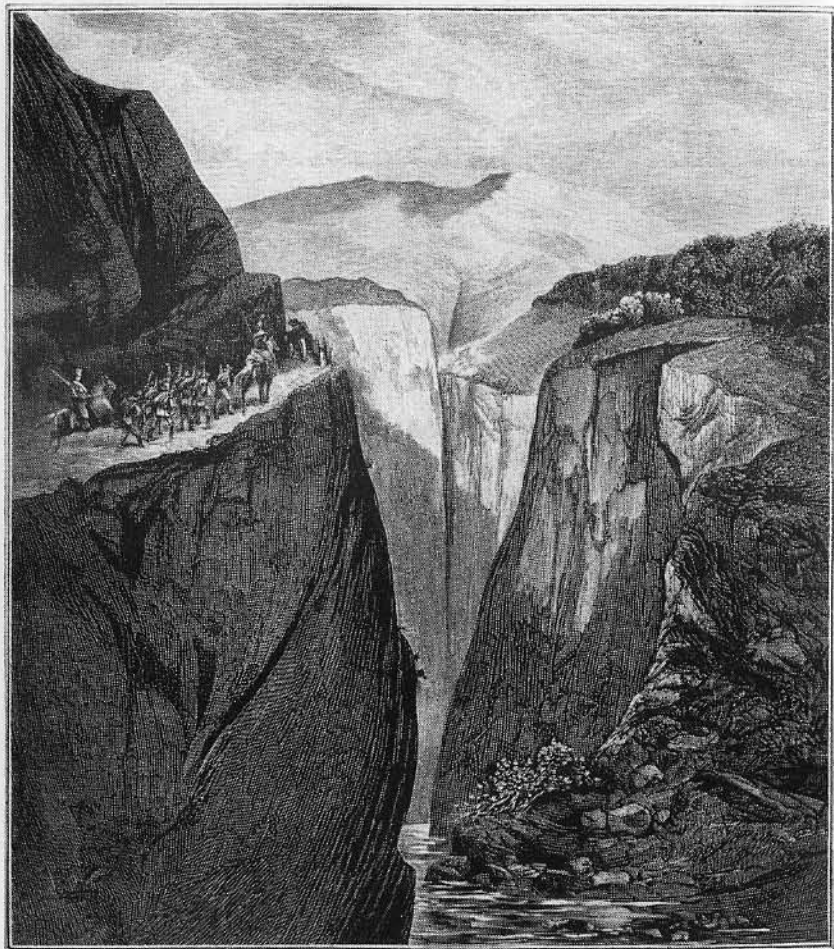
Письмо с далекой родины. Рисунок Н. Н. Каразина, 1878 год.



Юлия Вревская в одежде сестры милосердия.



Походный госпиталь в Зимнице. С наброска Н. Н. Каразина, 1878 год.



Хаинкойский перевал в Балканах. Гравюра 1878 года.

Военный министр генерал Д. А. Милютин.



Башибузуки в бою. Гравюра 1878 года.





Старший сын А. С. Пушкина
полковник
А. А. Пушкин.



Всеволод Гаршин после
возвращения с фронта.
Фото 1877 года.



Командир первой дружины болгарского ополчения
подполковник
Константин Кесьяков.



Памятник героям-гренадерам,
павшим под Плевной. Москва.



Шипка. Памятник героям Шипки.

врага. И поспешно оставил он только что отбитые у болгар ложементы. Когда ординарец занял свое место возле генерала, тот молча прикрепил к мундиру своего любимца Георгиевский крест.

Другой ломский ополченец, Тодор Младенов Овчаров, так же как и Берковский, почти подростком покинул родину. Рано связал свою жизнь с революционной эмиграцией. Его учителями в жизни и борьбе стали Христо Ботев, Христо Македонский, Панайот Хитов, конечно же, и Цеко Петков. Двадцатилетним юношей Младенов участвовал в сербско-турецкой войне 1876 года. Был ранен, после чего оказался в России. В составе Третьей дружины сражался под Старой Загорой. Был участником боя за Самарское знамя. В августе 1877 года стоял насмерть на Шипке. Довелось Младенову брать Шейново, освобождать Филипполь (ныне Пловдив). В освобожденном Пловдиве из рук генерала Столетова за проявленную храбрость в бою получил он высшую солдатскую награду — Георгиевский крест.

Сражался под Самарским знаменем еще один ополченец из Лома — Апостол Штерев Иванов. Вместе с Тодором Младеновым был он среди тех смельчаков, что первыми переправились через Дунай, первыми вошли в Свиштов, дрались как львы под Старой Загорой, на Шипке. Удивительно сложилась судьба еще у одного ломского ополченца — Бено Перванова Карабаджака. Это был настоящий революционер-интернационалист. Где только он не сражался за свободу и национальную независимость! В Италии он соратник легендарного Гарибальди. В России участвовал в обороне Севастополя, сражался против объединенных сил Англии, Турции, Австрии и Франции. За выдающиеся заслуги перед русским народом Бено Перванов был произведен в офицеры, награжден боевым орденом с вручением именного оружия. И вот начинается освободительный поход русской армии в Болгарию. Бено Перванов снова сражается с порабощателями. На этот раз на родной земле. В битве за Троянский проход он был одним из сподвижников Цеко Петкова.

И еще об одном замечательном болгарском патриоте, ополченце из Лома. Звали его Перван поп Нинов. В далеком 1837 году жители его родного села Долгошевцы (что неподалеку от Лома) прогнали греческого священника, ревностно служившего турецким властям. И настоятелем новой сельской церкви избрали Первана Ни-

нова. Нарекли его тогда миром попом Захарием. Но духовная карьера не волновала молодого патриота. Кругом лилась кровь, люди умирали от голода, страдали от грабежей, издевательств, от постоянных унижений. И поп Захарий меняет рясу на одяние четника. В 1850 году он поднял на восстание крестьян из Долгошевцев и ближайших сел, восстание было жестоко подавлено, и Перван Нинов через Румынию пробирается в Кишинев. Начинается Крымская война, и Нинов добровольно вступает в русскую армию. Храбрость, отвага, проявленные Перваном Ниновым в битве за Севастополь, отмечены высшими русскими орденами. Первану Нинову исполнилось 68 лет, когда он был зачислен в чине капитана в 35-й Подольский полк, а затем в Четвертую дружину болгарского ополчения. Капитан Нинов был среди тех, кто в августовские дни обороны Шипки поклялся: «Ляжем костыц, а не отдадим перевал!» Вместе со всеми он отбивал атакующих турок, пытавшихся во что бы то ни стало овладеть вершиной Святой Николай. На глазах Первана погиб в рукопашной его любимый сын — подпоручик Ангел Нинов. Еще месяц Перван Нинов был среди защитников Шипки. В конце сентября его старое, сжигаемое скорбью сердце не выдержало. Еще далеко было до победного часа. Его боевым товарищам предстояли нелегкие бои. Но Перван знал — придет, обязательно придет этот час. Последнее, что успел он сказать, было: «Детям, внукам расскажите, как добывали мы свободу нашей милой Болгарии!..»

Л. Назарова

ПОДВИГ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Доныне свято хранится в Народной Республике Болгарии все, что связано с русскими воинами, принимавшими участие в освободительной войне. В Плевне в Скобелевском парке находится филиал Военно-исторического музея — могила-склеп, где хранятся останки и личные вещи русских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение этого города. Здесь на стене — портрет женщины с красивым усталым лицом и большими печальными глазами, одетой в костюм сестры милосердия. Это портрет Юлии Петровны Вревской. Она умерла от сыпного тифа 24 января (5 февраля) 1878 года, самоотверженно ухаживая за ранеными и больными в одном из госпиталей Болгарии в городе Бела.

О ней и ее многочисленных подругах писал вскоре после окончания войны П. А. Рихтер, главноуполномоченный Общества попечения о раненых и больных: «Русская женщина в звании сестры милосердия приобрела... почетную славу в минувшую кампанию, стяжала... неотъемлемое, всенародно признанное право на всеобщую признательность и уважение, как лучший друг солдата посреди страданий и болезни».

Героическая жизнь русской патриотки вызывает восхищение. Поэтому так важно создать подлинно исторический, правдивый ее образ.

* * *

Дочь генерал-майора П. Е. Варпаховского, Юлия Петровна очень рано вышла замуж за известного на Кавказе генерал-лейтенанта, барона Ипполита Александровича

Вревского, который был намного старше ее (в то время, в 1857 году, ему было 44 года).

И. А. Вревский был человеком далеко не заурядным. Некогда товарищ Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, он только годом раньше великого русского поэта, в 1833 году, был выпущен из нее в лейб-гвардии Финляндский полк. Позднее И. А. Вревский окончил Академию Генерального штаба и с 1838 года связал свою судьбу с Кавказом. Он был близко знаком со многими из интереснейших людей того времени. Зимой 1840/41 года в Ставрополе на квартире у И. А. Вревского бывали М. Ю. Лермонтов, Р. И. Дорохов (впоследствии прототип Долохова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»), Л. С. Пушкин — брат великого русского поэта, декабрист М. А. Назимов, служивший солдатом в одном из действовавших на Кавказе полков. Позднее Вревский близко сошелся и с другими декабристами, в частности, с Н. И. Лорером, А. П. и П. П. Беляевыми; старший из братьев в своих мемуарах пишет, что Вревский был «одним из образованнейших и умнейших людей своего времени».

* * *

Как сложилась судьба Юлии Петровны Вревской после того, как она овдовела? Вместе с матерью и младшей сестрой она приехала в Петербург, где жили ее братья. Как вдова прославленного генерала, Ю. П. Вревская заняла видное место в петербургском обществе.

Близко и долгое время знавший Юлию Петровну писатель В. А. Соллогуб создал в своих мемуарах замечательный ее портрет. Но он писал не только (и не столько!) о внешней красоте Вревской. Соллогуб сумел показать чрезвычайно привлекательные внутренние, душевные качества Юлии Петровны.

«Еще в первые годы моего пребывания на Кавказе я имел случай познакомиться с женщиной, которой остался почитателем и другом в течение всей ее — уву! — короткой жизни. Баронесса Юлия Петровна Вревская (...) считалась почти в продолжение двадцати лет одной из первых петербургских красавиц (...). Я во всю свою жизнь не встречал такой пленительной женщины. Пленительной не только своей наружностью, но своею женственностью, грацией, бесконечной приветли-

востью и бесконечной добротой (...). Никогда эта женщина не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла злословить, а, напротив, всегда и в каждом старалась выдвинуть его хорошие стороны. Многие мужчины за ней ухаживали, много женщин ей завидовало, но молва никогда не дерзнула укорить ее в чем-нибудь (...). Всю жизнь свою она жертвовала собою для родных, для чужих, для всех...»

Бесконечно добрая и деятельная по натуре, Юлия Петровна действительно старалась чем возможно помочь всем тем, с кем она так или иначе встречалась или общалась длительное время. В частности, большой заботой и вниманием окружила она детей своего покойного мужа от его первого брака, считавшегося в условиях царской России того времени «незаконным». Юлия Петровна добилась (ценою длительных усилий), что сначала Николай и Павел, а затем и их сестра Мария, так называемые «воспитанники» И. А. Вревского, носившие фамилию Терских, получили имя и титул отца (это произошло в 1872 и в 1876 годах).

В это время она уже была знакома с И. С. Тургеневым. Знакомство произошло где-то в начале 1870-х годов и, вероятно, при содействии П. В. Шумахера, который признавался, что всем, что было в нем лучшего, он обязан нескольким женщинам, в том числе Ю. П. Вревской. В архиве этого поэта были обнаружены фотографические карточки Юлии Петровны, в том числе и в одежде сестры милосердия.

Известно, что Вревская по просьбе Шумахера передала Тургеневу для напечатания за границей сборник его стихотворений, запрещенных в России. При содействии Тургенева он был напечатан в Берлине в 1873 году под заглавием «Моим землякам. Сатирические шутки в стихах». Не случайно имя Вревской упоминается в письмах Тургенева к Шумахеру.

Узнав, что писатель летом 1874 года будет в Спасском-Лутовинове, Юлия Петровна приглашала соседа (у Тургенева было имение и в Топках Малоархангельского уезда, недалеко от Мишкова, принадлежавшего Вревским) приехать в гости. Но Тургенев заболел. Тогда Вревская, пренебрегая светскими условностями, решила сама приехать к нему. Ведь недаром в конце своих писем к Тургеневу она иногда ставила подпись: «Ваша орловская соседка Юлия Вревская». Несколько дней (с 19 по

26 июня) Вревская провела под кровлей обширного и гостеприимного дома писателя в Спасском-Лутовинове.

Посещение Вревской Спасского-Лутовинова, по словам Тургенева, «оставило глубокий след» в его душе. Сразу же после отъезда своей гостьи он писал ей в Мишково: «Я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьба которого я всегда буду интересоваться».

Осенние месяцы 1874-го — начало 1875 года Юлия Петровна провела в Мишково. Она обменялась с Тургеневым несколькими письмами. Известны лишь ответы писателя, по которым можно иметь представление о содержании их переписки. Так, 9(21) сентября 1874 года Тургенев пишет своей новой приятельнице: «Вы не скучаете в деревне — это хорошо». В конце письма он снова прибавляет: «Я часто думаю о Вашем посещении в Спасском. Как Вы были милы! Я искренне полюбил Вас с тех пор».

Вскоре Вревская послала Тургеневу свою фотографию («весьма похожую», по его мнению). Отвечая ей 26 октября (7 ноября), писатель спрашивал: «Как Ваше здоровье, что Вы делаете, как Вам живется в деревне... Мне было бы очень приятно узнать что-нибудь об Вас от Вас самих... Надеюсь, что мы еще столкнемся где-нибудь и не слишком поздно». Исполняя желание Тургенева, Вревская, видимо, довольно подробно описала свою жизнь в Малоархангельском уезде, так как 15(27) ноября писатель благодарил ее за «чудесное письмо». По его словам, письмо это «живо перенесло» его «в ту деревенскую зимнюю глушь», с которой его корреспондентка «так отлично свыклась». Вревская еще продолжительное время оставалась в Мишково. В письмах оттуда она, очевидно, не раз сообщала писателю подробности о быте и нравах своих провинциальных соседей-дворян. 1(13) февраля 1875 года Тургенев подчеркивал: «Ваше описание соседей, зимней поездки и т. д. живо перенесло меня в родную Русь».

В письме от 10 (22) марта Тургенев сообщает Юлии Петровне о возможной встрече с ней за границей. «Вот я и посмотрю, до какой степени простирается... Ваша дружба ко мне — и в состоянии ли она привести Вас из Орловской губернии в Богемию — что и для Вашего здоровья очень будет полезно».

Встреча их состоялась летом 1875 года в Карлсбаде, где писатель проходил курс лечения; Юлия Петровна лечилась сначала там же, а затем в соседнем Мариенбаде. В Карловых Варах сохранился дом (бывшая гостиница «König von England», то есть «Английский Король»), в котором жил тогда писатель (дом отмечен мемориальной доской).

Впрочем, в 1874—1877 годах Вревская и Тургенев встречались не только в орловской деревне и на зарубежных курортах, но также в Париже и в Петербурге. Вревская не любила столицу с ее туманами и дождями. В петербургском светском обществе ей было скучно и неуютно. Представители света казались Юлии Петровне, обладавшей независимым и гордым характером, пустыми и лицемерными. В ее письмах к Тургеневу, который в эти годы постоянно живет в Париже, лишь раз в год, обычно летом, приезжая ненадолго на родину, все чаще звучат то воспоминания о Кавказе, то мечты о поездках в Индию, Испанию и даже в далекую Америку.

Юлия Петровна много читала, посещала театры (ее восторг вызвала опера А. Г. Рубинштейна «Демон» с замечательным певцом — солистом Мариинского театра И. А. Мельниковым), художественные выставки (на одной из них Вревская познакомилась с известным художником-маринистом И. К. Айвазовским). В числе знакомых Юлии Петровны были и писатели — Д. В. Григорович, Я. П. Полонский, творчество которых Вревская высоко ценила.

Однако самым близким другом Юлии Петровны был в эти последние годы ее жизни, несомненно, Тургенев. В промежутках между встречами они вели оживленную переписку. В письмах к ней Тургенев нередко цитирует Пушкина и Лермонтова, сообщает о своих впечатлениях от новых литературных произведений («Анны Карениной» Л. Толстого, «Благонамеренных речей» Салтыкова-Щедрина, «Его превосходительства Эжена Ругона» Э. Золя и других). В свою очередь, Вревская огорчается, что не смогла достать номер журнала «Вестник Европы» с рассказом Тургенева «Часы».

* * *

В июне 1876 года Сербия и Черногория объявили войну Турции. Это вызвало сильное возбуждение в русском обществе. Всюду открыто заявлялись симпатии сербам.

В Сербию отправлялись добровольцы, деньги, провиант. С середины сентября началась частичная мобилизация русской армии. В феврале 1877 года разгромленная Сербия подписала с Турцией мир. Продолжала борьбу одна Черногория. 12 (24) апреля 1877 года Россия объявила войну Турции.

Война на Балканском полуострове взволновала Тургенева. Одним из самых ранних откликов писателя явилось стихотворение «Крокет в Виндзоре», написанное 20 июля 1876 года. Непосредственным поводом к его созданию послужило жестокое подавление восстания в Болгарии.

«Сербская катастрофа меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда», — пишет он Вревской 27 июля (8 августа) 1876 года. И эти слова писателя произвели глубокое впечатление на его корреспондентку, которая менее чем через год, в июне 1877 года, отправилась на театр военных действий.

Внимательно следя за развитием событий на Балканском полуострове, Тургенев 1 (13) ноября 1876 года писал Вревской о неизбежности войны, которая «займет все умы».

С глубоким сочувствием относясь к борьбе славянских народов против турецкого ига, писатель 24 ноября (6 декабря) того же года выражал надежду: «Дай бог нашим смиренным героям в больших сапогах действительно выгнать турку и освободить братьев славян!» Эти суждения Тургенева были как бы ответом на слова Вревской из ее письма от 17 (29) октября 1876 года, в котором она сообщала: «Воинственные слухи долетают до нас все явственнее... решительная минута наступила... когда же явится великий Свершитель? Не Черняеву же входить в Св. Софию — для этого нужны чистые и не мелко честолюбивые души».

Одно время казалось, что Россия не будет вмешиваться в войну на Балканах. «Ну вот и война у нас... сделала фиаско. Хотя поговаривают здесь, будто бы с весной она разыграется — однако я этому не верю — и думаю, что мы так и останемся с оплеухой, данной нам Турцией...» — с горечью писал Тургенев Вревской 15 (27) января 1877 года. Писатель намекал в этих словах на то обстоятельство, что Турция отказалась выполнить требование России и других великих держав подписать так называемый Лондонский протокол, согласно которому ей

предлагалось провести некоторые реформы в христианских областях Балкан.

«...Вам едва ли можно рассчитывать на служение раненым и больным своей особой», — подчеркивал Тургенев в письме к Вревской от 26 января (7 февраля) 1877 года. Писателю было уже известно, что она в случае вступления России в войну намерена посвятить себя деятельности сестры милосердия, к которой усердно готовилась. В одном из писем к Тургеневу, относящемся, очевидно, ко второй половине апреля, Вревская сообщала: «Видаю часто мою старую приятельницу, сестру милосердия начальницу, учусь ходить за больными и утешаю себя мыслью, что делаю дело». В конце письма она добавляла: «Вряд ли придется мне выехать ранее половины или конца мая, это меня только радует, потому что таким образом есть надежда вас видеть».

Тургенев в ответном письме от 12 (24) мая сообщает, что выезжает из Парижа в Россию, но выражает сожаление, что, очевидно, не захватит Вревскую в Петербурге.

«Мое самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый Вами на себя подвиг не оказался непосильным...» Далее Тургенев выражал надежду, что «эта бедственная война не затянется», хотя «едва ли можно предвидеть ей скорый конец».

Однако Тургеневу суждено было еще раз встретиться с Вревской до отъезда ее в Яссы, где в это время организовывался эвакуационный госпиталь. Один из современников (К. П. Ободовский) в «Рассказах об И. С. Тургеневе» описывает свою встречу с писателем в Павловске, на даче у поэта Я. П. Полонского, в июне 1877 года следующим образом:

«Тургенев прибыл не один. С ним вместе приехала дама в костюме сестры милосердия. Необыкновенно симпатичные, чисто русского типа черты лица ее как-то гармонировали с ее костюмом.

Меня ей представили, причем назвали и ее фамилию. Это была баронесса Вревская.

Тогда начиналась война за освобождение Болгарии, и баронесса спешила на театр военных действий, чтобы посвятить себя деятельности сестры милосердия. Ее самоотвержение в деле ухода за ранеными и больными и ужасная смерть от тифа, без всякой помощи, среди безлюд-

ной степи, слишком известные, чтобы о них распространяться, причисляют ее к циклу тех русских женщин-героинь, которые положили душу за други своя. В тот вечер, когда я ее видел накануне отъезда, она была очень оживлена и, разумеется, не предчувствовала того, что, уехав в Болгарию, уже больше не вернется на родину».

* * *

19 июня 1877 года Вревская вместе с другими русскими сестрами милосердия приехала в Яссы (Румыния) для работы в 45-м военно-временном эвакуационном госпитале. Уже 21 июня в Яссы пришел из Браилова первый санитарный поезд с больными и ранеными. Прибывших перевозили из вагона в барак, где их осматривали врачи. Тяжелораненых оставляли в госпитале, а способных к дальнейшей транспортировке отправляли в Россию.

«Весь конец июня и начало июля прошли для всего персонала Ясского эвакуационного барака в весьма напряженных трудах», — отмечает Н. С. Абаза, главноуполномоченный Общества попечения о раненых и больных войнах. В самом деле, уже в начале июля, в особенности же после первого штурма Плевны, прибытие двух поездов в сутки стало обычным. Во второй половине июля и в августе количество больных и раненых быстро возрастало. Военские поезда не успевали вывозить из Ясс массы прибывших туда раненых и больных.

Наиболее горячее время наступило в начале сентября. С 7 по 18 сентября произошел такой наплыв раненых и больных, какого в Яссах еще не бывало. Каждый день приходило не менее трех поездов, а 11 сентября — пять. С 11 до 18 сентября в Яссы прибыло более одиннадцати с половиной тысяч человек раненых. Не лучше было и в последующие дни; 24 сентября Вревская писала сестре: «Мы сильно утомились, дела было гибель: до трех тысяч больных в день, и мы иные дни перевязывали до 5 часов утра не покладая рук».

Наиболее обременены обязанностями были в Ясском госпитале именно сестры. Они перевязывали раненых, раздавали по назначению врачей лекарства, наблюдали за сменой белья, раздавали пищу, собственноручно кормили трудных больных и тяжелораненых. Некоторые из сестер исполняли обязанности заведующих кухней, буфетом,

складом белья. Все сестры по очереди назначались сопровождать санитарные поезда, где работа была особенно сложной и тяжелой, так как товарные вагоны были непроходными, а число больных и раненых, находившихся в них, огромным. Количество санитарных поездов ежедневно возрастало, а рейсы их становились все более длительными (Киев, Харьков).

После трудных сентябрьских дней в конце месяца наступило некоторое затишье. Такое положение существовало, однако, недолго. Взятие гвардейцами Горного Дубичка и Телиша 12(24) октября вызвало новое усиление эвакуации: в последней трети октября в Яссы прибыло около семи тысяч раненых.

Интересно отметить, что вместе с Вревской работала в Яссах (и жила с ней в одной комнате) дочь орловского помещика инженер-капитана А. С. Цурикова Варвара Александровна. Эта молодая девушка (в 1877 году В. А. Цуриковой было 26 лет) подобно Вревской жаждала общественно полезной деятельности, о чем советовалась с И. С. Тургеневым в своих письмах к нему (лично знакомы они не были). Сестрой милосердия Цурикова стала, как и Вревская, не без влияния образа Елены из романа «Накануне». Несколько лет спустя, 10(22) февраля 1883 года, Тургенев в последнем письме к В. А. Цуриковой писал: «Благодарю за теплые слова о бедной Вревской».

Как и многие другие сестры, Вревская чувствовала сильное переутомление после напряженнейшей и тяжелой четырехмесячной работы в госпитале. Она собиралась пойти в отпуск; однако, получив его на три месяца, не поехала отдыхать. Сначала она прибыла в Бухарест, где от уполномоченного Красного Креста князя А. Г. Щербатова узнала, что многие госпитали закрывают из-за отсутствия средств. Тогда Вревская решила поехать в маленькое болгарское местечко Белу, где не хватало сестер.

Первые болгарские впечатления Вревской нашли яркое отражение в ее письме к И. С. Тургеневу от 27 ноября (9 декабря) 1877 года:

«Родной и дорогой мой Иван Сергеевич. Наконец-то, кажется, буйная моя головушка нашла себе пристанище, я в Болгарии, в передовом отряде сестер. До Фратешт (и) я досхала железной дорогой, но в Фратештах уже увидела непроходимую грязь, наших сеструшек (как нас называют солдаты) в длинных сапогах, живущих в наскоро

сколоченной избе, внутри выбитой соломой и холстом вместо штукагурки. Тут уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный кусок мяса, редко вымытое белье и транспорты с ранеными на телегах. Мое сердце екнуло, и вспомнились мне мое детство и былой Кавказ. Мне было много хлопот выбраться далее, так как не хотелось принимать услуги любезных спутников разнокалиберного военного люда. Господь выручил меня, на мое счастье, подоспел транспорт из Белой, и я, забравшись в фургон, под покровительством урядника, казака и кучера двинулась по торным дорогам к Дунаю. Мост в Тотрошанах не внушительен. Дунай — белая речонка, невзрачная в этом месте. На следующий день атака турок 14 ноября была направлена на этот пункт, и я издали видела бомбардировку из Журжева, и грохот орудий долетал до меня. Дороги тут ужасны, грязь непролазная. Я ночевала в болгарской деревне... Как я только нашла себе избу для ночлега, ко мне явились два солдата, узнавшие, что приехала сестра; они предложили мне свое покровительство, было трогательно видеть, как наперерыв и совершенно бескорыстно они покоили меня, достали все, что можно было достать, расспрашивали про Россию и новости, просидели со мною весь вечер, повели меня на болгарские посиделки, где девушки и женихи чистят кукурузу. Многие из них в самом деле очень красивы, и поэтично видеть весь этот молодой люд при свете одной свечи, которые цветут, как цветы, по выражению солдата. Меня приняли отлично, угостили перинном (бобами с перцем, кукурузой и вином) и уложили на покой, то есть предоставили половину довольно чистой каморки. На другой половине улеглась моя хозяйка с ребятишками. Я, конечно, не спала всю ночь от дыма и волнения, тем более что с 4 часов утра хозяйка зажгла лучины и стала прясть, а хозяин, закулив трубку, сел напротив моей постели на корточках и не спускал с меня глаз. Обязанная совершить свой туалет в виду всей добродушной семьи, я, сердитая и почти немая, села в свой фургон, напутствуемая пожеланиями здоровья. В нескольких местах мне пришлось переправляться через речку вброд и проезжать турецкие деревни оставшихся тут турок. Белая — красиво расположенное местечко, но до невероятия грязное. Я живу тут в болгарской хижине, но самостоятельно. Пол у меня — земляной и потолок на четверть выше моей головы; мне прислуживает болгарский мальчик, то есть чистит

мои большие сапоги и приносит воду, мету я свою комнату сама, всякая роскошь тут далека, питаюсь консервами и чаем, сплю на носилках раненого и на сене. Всякое утро мне приходится ходить за три версты в 48-й госпиталь, куда я временно прикомандирована, там лежат раненые в калмыцких кибитках и мазанках. На 400 человек нас 5 сестер, раненые все очень тяжелые. Бывают частые операции, на которых я тоже присутствую, мы перевязываем, кормим после больных и возвращаемся домой в 7 часов в телеге Красного Креста; иногда я заезжаю в склад ужинать и поболтать, наш уполномоченный тут князь Щербатов — очень умный и милый человек. Я получила на днях позволение быть на перевязочном пункте, если будет дело, — это была моя мечта, и я очень буду счастлива, если мне это удастся. У нас все только и речь что о турках и наступлении на Тырново и пр. Тут чувствуется живая струя жизни и опасности. Я часто посплю ночи напролет, прислушиваясь к шуму на улице, и поджидаю турок. Я живу в доме турецкого муллы, возле разоренной мечети. Иду ужинать, прощайте, дорогой Иван Сергеевич, — и как Вы можете прожить всю жизнь все на одном месте? Во всяком случае, дай бог Вам спокойствия и счастья. Преданная Ваша сестра Юлия. Целую. Пишите мне в Бухарест на имя Чичерина в склад Красного Креста».

48-й военно-временный госпиталь из-за отсутствия в Беле подходящих зданий действительно принужден был, как об этом писала Тургеневу Вревская, размещать своих больных и раненых в кибитках и мазанках. Знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов, посетивший госпиталь в ноябре 1877 года, отмечал, что мазанки эти, сделанные «на живую руку из плетня, смазанного внутри и снаружи глиной... едва ли заслуживают одобрения». Он предвидел, что господствующая в мазанках сырость, несомненно, будет способствовать плохому заживанию ран и возникновению различных заболеваний.

Ко времени прибытия Вревской в Белу в госпитале скопилось большое количество тяжело раненных солдат и офицеров. Юлия Петровна все время энергично добивалась разрешения побывать на самых передовых позициях. 5(17) декабря она сообщила сестре Н. П. Вревской, что это ее желание наконец-то исполнилось. И далее она описала свою поездку с другими сестрами милосердия в Обертеник — деревню, расположенную в двенадцати верстах

от Бельи. 30 ноября (12 декабря) неподалеку отсюда, при Мечке, произошел бой. Теперь Вревская настолько усовершенствовалась в перевязках, что ее назначили ассистентом при ампутациях. Она писала: «Я так усовершенствовалась в перевязках, что даже на днях *вырезала пулю сама* и вчера была ассистентом при двух ампутациях. Дела эти дни пропасть у нас, но понемногу раненых увозят из сараев, где они тут расположены в полевых лазаретах».

Лишь 21 декабря 1877 года (2 января 1878 года) Вревская оказалась снова в Беле, где решила остаться еще некоторое время, так как там не хватало сестер.

Из письма Юлии Петровны к сестре от 21 декабря видно, что она возвратилась в Белью, не желая уезжать оттуда обратно в Яссы, так как, писала она, «тут мало слишком сестер — две уезжают в Россию в отпуск, я же намереваюсь пробыть еще тут, я теперь занимаюсь транспортными больными, которые прибывают ежедневно от 30 до 100 в день, оборванные, без сапог, замерзшие. Я их пою, кормлю. Это жалости подобно видеть этих несчастных поистине героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота; все это живет в землянках, на морозе, с мышами, на одних сухарях, да, велик Русский солдат!»

В конце декабря 1877 года Вревская с прискорбием узнала о гибели под болгарским селением Арметли студента Московского университета Александра Матвеевича Раменского. Сын А. С. Пушкина Александр Александрович, один из видных участников русско-турецкой войны, сообщил родственнику Раменского: «На его могилу приезжала его старый друг... Юлия Вревская. Она возложила на могилу венок из белых роз. Я знал Вревскую по Петербургу, а здесь, на Балканах, эта героическая женщина руководила санитарной службой и героически погибла в январе 1878 года».

Вот как это произошло. 5 (17) января 1878 года Юлия Петровна Вревская заболела тяжелой формой сыпного тифа, заразившись от одного из больных. «Четыре дня ей было нехорошо, не хотела лечиться... не знала опасности своего положения; вскоре болезнь сделалась сильна, впадала в беспамятство и была все время без памяти до кончины, то есть до 24 января 1878 года. У нее был сыпной тиф, сильный; очень страдала, умерла от сердца, потому что у нее была болезнь сердца», — пишет, очевидно, со слов кого-либо из сослуживцев Юлии Петровны ее сестра

Н. П. Вревская. Похоронили Ю. П. Вревскую «в платье сестры милосердия, около православного храма в Беле». Могилу копали раненые, за которыми она ухаживала. Они же несли ее гроб, никому этого не доверили...

Характеристика Ю. П. Вревской периода ее работы в Беле содержится в письме М. Павлова. 30 марта 1878 года он писал А. В. Топорову: «Покойная баронесса Вревская в короткое время нашего знакомства приобрела как женщина полную мою симпатию, а как человек — глубокое уважение строгим исполнением принятой на себя обязанности... Юлия Петровна, как вам, вероятно, известно, состояла в Общине сестер, находившейся в Яссах, но, движимая желанием быть ближе к военным делам, взяла отпуск и приехала к нам в Белью, около которого в то время разыгрывалась кровавая драма, и, действительно, не только имела случай быть на перевязочных пунктах, но и видела воочию самый ход сраженья. По возвращении в Белью после десятидневной отлучки, хотя стремление ее и было вполне удовлетворено, она отклонила мой совет ехать в Яссы, пожелала еще некоторое время пробыть в Беле и усердно занималась в приемном покое 48-го военно-временного госпиталя в самый разгар сыпного тифа. При этом условии, при ее свежести, по-видимому, здоровой натуре она не избежала участи, постигшей всех без исключения сестер госпиталя, и заразилась... Как до болезни, так и в течение ее ни от покойной и ни от кого из ее окружавших я не слышал, чтобы она выражала какие-либо желанья, и вообще была замечательно спокойна. Не принадлежа, в сущности, к Общине сестер, она тем не менее безукоризненно носила красный крест, со всеми безразлично была ласкова и обходительна, никогда не заявляла никаких личных претензий и своим ровным и милым обращением снискала себе общее расположение. Смерть Юлии Петровны произвела на всех нас, оторванных, подобно ей, от всего нам близкого, тяжелое впечатление, и не одна слеза скатилась при погребении тела покойной».

11 (23) февраля 1878 года Тургенев писал П. В. Анненкову о Вревской: «Она получила тот мученический венец, к которому стремилась ее душа, жадная жертвы. Ее смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неопианно доброе существо. У меня около 10 писем, написанных ею из Болгарии».

Вскоре было опубликовано стихотворение Я. П. Полон-

Иван Вылов

(Болгария)

ДОБРОВОЛЕЦ ВСЕВОЛОД ГАРШИН

Ранней весной 1877 года улицы Санкт-Петербурга были необычайно оживлены. Ожидали крупных событий. И слухи подтвердились. 24 апреля в Кишиневе был обнародован манифест об объявлении войны Турции. Поистине свершилось чудо. Россия поднялась на защиту национальной независимости славянских народов Балканского полуострова, на этот раз с оружием в руках. Люди читали сообщение и плакали от волнения.

Молодые студенты Всеволод Михайлович Гаршин и Василий Назарович Афанасьев, квартировавшие в доме номер 33 на улице Офицерской, по-своему восприняли эту взбудоражившую всю Россию весть. Вася вбежал в комнату с манифестом в руках и крикнул:

— Сева, война!

Гаршин, склонившийся над начатой несколько дней тому назад статьей о постоянной художественной выставке, отбросил ручку и выхватил газету из рук товарища. Вскочив на кровать, он начал читать во весь голос, будто декламируя: «Божьей милостью, Мы, Александр II и самодержец всея Русь, царь польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая...»

— Как будем жить дальше, Вася? Как маменькины сынки или как мужчины? — спросил Гаршин, закончив чтение.

— Разумеется, Сева, как мужчины.

В тот же день друзья отправили домой письма с просьбой благословить их добровольцами на фронт. К этому времени отца Гаршина, кадрового офицера, уже не было

в живых, и юноша писал, обращаясь к матери, Екатерине Степановне Гаршиной: «Маменька, я не могу укрываться за стенами института, когда мои сверстники подставляют под пули лоб и грудь. Благословите меня! Вася тоже уходит на войну...»

Через три дня из Харькова пришла коротенькая телеграмма: «С богом, милый!» А через неделю Всеволод и Василий уже были в Харькове. Проведя там несколько дней, они отправились в Кишинев. Близкие Всеволода, которому недавно исполнилось 22 года, заметили, как он повзрослел.

4 мая вчерашние студенты прибыли в Кишинев и подали прошение принять их добровольцами в действующую армию. Их определили в роту Ивана Назаровича Афанасьева, брата Василия. Вскоре им сообщили, что армия выступает в поход на Дунай. На беду, первая половина мая выдалась дождливой. Изнурительны были пешие переходы по 20—30 километров в день. Солдаты шли чуть ли не по колено в раскисшей грязи и, сраженные усталостью, засыпали, сидя под открытым небом. Через неделю после начала похода Гаршин пишет матери: «Если бог даст, вернусь и напишу целую книгу. Русский солдат — это нечто совсем необыкновенное!»

Поход длился целых полтора месяца. 16 июня войска прибыли в Зимницу, а на другом берегу уже отгремели бои за Свиштов. Болгарский город праздновал свое освобождение. Побывав в Свиштове, будущий писатель не мог не поделиться своими восторженными чувствами с близкими: «Болгары страшно радуются. Стоит нам появиться в каком-нибудь селе, как тут же все мужчины приветствуют нас и крепкожимают руки».

Повидав Тырново, Гаршин потом не раз восклицал: «Преинтереснейший город, а, Вася! И какое огромное родство между нашими языками!»

Со своим отрядом Гаршин шел на восток, освободив Косово, Кацелово, Ковачицу, Водицу. 11 августа в схватке при Аясларе (ныне село Светлен Тырговиштского округа) Гаршин был ранен.

— Когда я очнулся и увидел, что из ноги течет кровь, мне сразу полегло. Я наскоро перевязал колено, а потом ефрейтор и барабанщик дотащили меня до перевязочного пункта... — рассказывал соседям по палате Гаршин.

— Вам еще повезло, голубчик... — вздыхал лежавший рядом с ним офицер. — Под Никоподем и Плевной я пе-

режил такие ужасы, какие невозможно себе представить, если сам не воевал, да и то именно с османцами. Во время второй атаки на Плевну я потерял руку, спасибо еще, что хоть голова осталась цела...

Во время двухнедельного пребывания в лазарете у Гаршина окончательно созревает решение писать военные рассказы. А их сюжеты содержались в письмах, которые он писал матери, невесте и другу Ивану Малышеву. В рассказе «Четыре дня» он описал случай с русским солдатом, который, будучи тяжело раненым в обе ноги, четыре дня пролежал на солнцепеке, поддерживая силы глотками воды из фляги лежащего рядом убитого врага. В «Из воспоминаний рядового Иванова» он расскажет об Аясларском сражении и своем ранении.

В Харькове Гаршина встречали как героя. Заставляли по многу раз рассказывать о ходе военных действий, о жестокостях противника, о храбрости русских солдат. Василий Афанасьев пишет ему, сообщая о том, что солдаты из их роты интересуются его здоровьем и шлют ему сердечный привет. Из письма друга он узнает, что их обоих произвели в офицеры.

Через несколько месяцев, вернувшись в Петербург и заручившись поддержкой редактора прогрессивного журнала «Отечественные записки» — известного писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина, Гаршин делает свои первые успешные шаги в литературе.

В разговорах с друзьями он не раз делился волновавшими его в то время чувствами и мыслями:

— Когда объявили войну, я решил, что мое место в армии. Мне казалось совершенно бесчеловечным и эгоистичным отсиживаться в стенах института. Правда, вскоре я возненавидел войну, обрушившуюся на меня со всей жестокостью. Но участие в ней сделало меня более мудрым, и если я напишу что-нибудь путное, то буду обязан людям, которые подставляли под пули лоб и грудь, отстаивая свободу братьев.

Виталий Бардадым

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

1

Кубань не осталась безучастна к стремительно развернувшимся событиям на Балканах. Люди отдавали свои скудные денежные сбережения, дарили вещи*. Характерно, что большую часть средств (две трети из общего количества) в пользу славян, как отмечал видный русский общественный деятель, вице-президент Московского славянского комитета, с осени 1876 года фактически его руководитель И. С. Аксаков, пожертвовал «бедный, обремененный нуждою простой народ».

На Кубань приезжает член Санкт-Петербургского славянского комитета, майор в отставке А. Н. Хвостов. Он вкратце знакомит кубанцев «со славянским делом» и набирает среди них охотников в Сербию. За пять суток посланец севера проскакал на перекладных от станции Кавказской до Екатеринодара, а оттуда вверх по Лабе, побывал в тридцати двух станицах. Он с восхищением пишет И. С. Аксакову о кубанских казаках как о «лучших кавалеристах в мире» и надеется сформировать из них в Сербии «лихой дивизион»; если же не удастся достать лошадей, то «из них будут пластунские пешие сотни». В том же письме А. Н. Хвостов сожалеет, что не имеет времени и достаточно средств, ибо можно было бы сформировать «целые бригады героев». Всего ему удалось собрать более 250 человек. В заключение он просит И. С. Аксакова распорядиться о беспрепятственном провозе набранной им

* Здесь и далее в очерке использованы материалы Государственного архива Краснодарского края (ГАКК).

команды из Одессы в Белград через местный славянский комитет.

Среди кубанских жителей нашлось немало добровольцев, готовых идти с оружием в руках защищать братьев-славян. Вот документ — рапорт атамана станицы Новомышастовской начальнику Темрюкского уезда от 28 сентября 1876 года*.

«Государственные крестьяне Курской губернии, Путивльского уезда, Буриной волости, села Бурепи, Корней Алексеев Спасененко 61 года и Никита Свастьялов Гончаров 38 лет от роду, являсь в Станичное Правление, со слезами на глазах и умоляющим тоном просят моего содействия об отправлении их по назначению, как изъявляющих желание быть волонтерами, для подания помощи гибнущим под игом Турецкого правительства братьям нашим славянам с оружием в руках.

Приняв заявления Спасененко и Гончарова и благословив их на подвиг, я счел своим долгом представить их вместе с паспортами за № 154 и 748 на распоряжение Вашего Высокоблагородия, как изъявивших желание насколько будет сил помочь славянам в борьбе с турками».

В станице Ильской изъявили желание идти в сербские войска «на подвиг освобождения страждущих славян на востоке» шесть казаков неслужилого разряда. В Екатеринодаре — двенадцать добровольцев, среди которых были и отставные казаки, и мещане, и крестьяне. Любопытно, что с екатеринодарским отставным рядовым Константином Орбиллани вызвалась ехать на Балканы и его жена Наталья Семеновна, на что было получено ею разрешение от начальника Кубанской области Н. Н. Кармалина. Все отъезжающие были обмундированы — кто получил сапоги, кто шинель, кто башлык и кивчал и т. д.

Можно без преувеличения сказать, что вся огромная Кубань в эти дни жила одним благородным порывом — помочь братьям славянам в их справедливой, героической борьбе с иноземными вековыми поработителями.

Напряженность, возникшая на Балканах, заставила Россию привести в боевую готовность свои вооруженные силы...

В Кубанском казачьем войске тоже шли усиленные

приготовления к возможной войне. Уже в начале 1876 года управление атамана Ейского отдела сообщало в войсковой штаб о том, что для сбора казачьих частей из окрестных станиц потребуется всего-навсего семь дней и для приготовления их на месте — пятнадцать дней...

Кубанские полки и батальоны были разделены на два фронта — на Кавказ и на Дунай. В состав Дунайской армии вошли: две сотни 7-го пластунского пешего батальона в количестве 306 человек (в том числе 6 офицеров); 2-й Кубанский казачий конный полк в количестве 891 казака и 16 офицеров и лейб-гвардии 1-й и 2-й кубанские эскадроны Собственного Его Императорского Величества конвоя (не в полном составе). Кроме того, с Северного Кавказа на Дунай отбыли лейб-гвардии Терский казачий эскадрон, Владикавказский конный полк и четыре сотни Терской милиции.

В то время наказным атаманом Кубанского казачьего войска был генерал-лейтенант Н. Н. Кармалин, человек, много сделавший для Кубани в экономическом и культурном отношении. Простота в обращении и глубокий интерес к нуждам казака — вот в чем был секрет его популярности в казачьем краю.

По личному распоряжению атамана Кармалина заведение двумя сотнями 7-го пластунского батальона, сформированного 20 ноября 1876 года, было поручено отважному, испытанному в боевых схватках есаулу Баштаннику. Казакам с собственным семидневным запасом продовольствия, с выданными им ружьями и патронами в станице Уманской, где находился штаб этого батальона, необходимо было собраться в станице Кушевской 19 ноября. Атаману Ейского отдела было особо указано, чтобы экипировка сотен являлась образцовой, чтобы все чины имели полушубки, бурки, башлыки и однообразную партикулярную форму, как-то: чекмени со шшитыми плечевыми погонами, бешметы, шаровары, а также обувь и запас белья, ибо «они, — как отмечается в архивном документе, — по всей вероятности, будут командированы в Россию, в действующую армию, где некоторым образом явятся представителями Кубанского войска».

Прибывшие на сборный пункт в станицу Уманскую пластуны были собраны в утренний час на церковной площади с возвышающейся над ней старинной деревянной Трехсвятительной церковью, откуда адъютантом атамана

* Все даты даются по ст. стилю.

отдела было вынесено знамя, встреченное всеобщим восторгом. После молебна и окропления знамени святой водой атаман отдела произнес простые слова напутствия: «Прощайте, казаки! Надеюсь видеть в вас славных воинов, какими вы были всегда, возвратившихся с победою над врагами!» Загремела музыка. Запели песенники бравого походный марш «За Балканы». И пластуны выступили в поход.

Пластуны перешли границу в составе эшелона под командой начальника 4-й стрелковой бригады; в дальнейшем они расположились по левому берегу Дуная в четырех верстах к востоку от Журжева, на мысе Малорош (Малоруж), где построили себе при пикете наблюдательную вышку. Пластунам не досталось палаток, которые, впрочем, им были и не нужны. Не зря не без гордости они говорили о себе: «Наше дело нерегулярное, войско мы вольное, ползучее — насчет вынюху да выгляду больше, к хате непривычное...»

Пластуны в официальных бумагах Черноморского казачьего войска упоминаются с 1824 года. Но окончательно сформировался тип кубанского пластуна, бесстрашного воина-казака, при защите Севастополя в 1854—1855 годах, когда о них, об их доблести и лихости узнали вся Россия, весь цивилизованный мир.

Казалось, пластунский лагерь состоит из рваных живописных бурок, подвешенных на колья. Рядом находились ружья в козлах, покрытые теми же бурками. А то и проще делали: от одного ружейного козла до другого привяжут веревку и повесят на нее свои излюбленные бурки. Солнце жарит с востока — пластуны держатся западной стороны, солнце перемещается, вслед за ним и пластуны меняют места. А кое-кто устраивал себе самое оригинальное жилье из заскорузлой, колом стоящей бурки, такой шалаш без подпорок держался. Да, бурка — вещь незаменимая. Завернувшись в нее с головой, пластун всю ночь пролежит по горло в воде и ничего — ни насморка, ни кашля. Нарядом своим пластун далеко не блещет: изорванные, засаленные черкески, облезлые, мятые папахи — обычная его одежда. Если он добудет новое платье, то, прежде чем его надеть, хорошенько вываляет в пыли, в глине: чем грязнее станет, тем лучше — «от земли незаметнее». Зато вооружением пластун гордится — и ружьем, и шашкою, и кинжалом, которые он содержит в образцовом порядке.

По всему биваку дымятся гостеприимные костры, идет стряпня — варят, пекут, кипятят в котелках чай. Едят кому что бог послал на ночь. Пахнет душистой ущицей — любят казаки рыбу. По земле, подхваченные порывом ветра, носятся куриные перья...

Близко познакомившись с пластунами, известный художник и писатель Н. Н. Каразин, написавший книгу «Дунай в огне», обобщает: «На сторожевой, аванпостной службе пластуны незаменимы, слух и зрение в темноте развиты у них необыкновенно, и сон-то у них какой-то воровской, волчий; достаточно самого малейшего звука, чуть слышного шелеста, и, по-видимому, спавший до сего времени крепко, даже похрапывающий пластун шевелится и осторожно высовывает из-под бурки свою голову».

Тридцатичетырехлетний генерал М. Д. Скобелев, в те дни состоявший при генерале М. И. Драгомирове в качестве простого добровольца, подружился с пластунами и их отважным командиром Александром Баштанником. Он был любимцем Скобелева. Не имея никакой должности, генерал под покровом черной, глухой ночи нередко переправлялся с казаками через Дунай к туркам и лихо хозяйничал там.

— Это настоящий! Это наш! — восхищенно говорили о нем пластуны.

В период затишья, пока не начались военные действия, пластуны с есаулом Баштанником и с генералом Скобелевым изобретали хитроумные штуки. Еще днем они заготовят мнимые лодки (коряги или негодные колоды от водоюя), в них понатыкают фашинника торчком (будто казак в лодке с пикой в руках) и пускают их, едва стемнеет, по течению Дуная. Эти сооружения были настолько похожи на реальный десант при зеленовагом свете неполной высокой луны, что береговые турецкие посты открывали по ним огонь из ружей, а порой даже с батарей: тысячи глупых выстрелов летели в пустоту... А то нароют на берегу в старой насыпи земли, обмотают соломой бревна — получается вроде медных пушек — и вставят их в имитированные амбразуры. Чуть солнце осветит берег, заиграет в золотистых снопах, турки, пораженные выросшей за ночь русской батареей с грозно торчащими из амбразур пушечными жерлами, открывают по ней ожесточенный огонь. Пластуны, их командир Баштанник и генерал Скобелев, сидя в траншеях, хохочут своей

удавшейся проделке. Н. Н. Каразин сообщает, что около одной тысячи рублей стоила туркам такая «батарея» кубанского изобретения...

По всему берегу, от поста к посту, торчат в небо шляпы с надетыми на них бурками и осененные мохнатыми шапками — мнимые часовые. Хозяин иной бурки да шапки сидит себе внизу, в безопасности, и с улыбкой наблюдает, как его шерстяную бурку щелкают турецкие пули...

— Ой, братцы, убил! Ей-богу, подлец, убил! — Кто-нибудь из пластунов начнет дурачиться, стонать, катаясь по земле.

— Ничего не убил, вишь, стоит, не валится, — утешает его товарищ. — Ты, брат, возьми иголку да позаштолай рану-то, сразу и выздоровеет...

А тихими долгими вечерами пластуны собирались в кружок и пели свои кубанские песни, то бравые, торжественные, то грустные, напоминавшие церковные мотивы. Южные крупные звезды перемигивались с лагерьными кострами. Все или подтягивали, или просто слушали эти задушевные, трогающие за сердце песни.

В ночь с 14 на 15 июня 1877 года была назначена переправа русских войск через Дунай у города Зимницы, против Систова. В передних лодках сидели пластуны в потрепанных черкесках, с мешочками за плечами, с ружьями и кинжалами. За ними разместились по лодкам одиннадцать рот волынцев, на пароме полусотня донских казаков 23-го полка и 2-я горная батарея.

Систов пал в 3 часа дня 15 июня. Путь русским войскам был открыт... А 22 июня пластунские сотни вошли в состав передового отряда генерала Гурко. Так начался их славный боевой путь...

1 июля они перешли Балканы через Хаинкиойский проход, и на следующий день, находясь в авангарде отряда, храбро сражались при деревне Хаинкиой, где захватили в плен лагерь египетских войск. День за днем приносил им успех за успехом. 5 июля они участвовали в лихом деле при взятии Казанлыка. Но здесь их сотни подстерегла большая, невосполнимая потеря: погиб смертью храбрых доблестный командир есаул Баштанник.

Весь июль 1877 года пластуны участвовали в рискованных схватках. С 25 по 27 июля они двигались к главному хребту Балкан. 11 августа прибыли к Шипкинскому перевалу и через два дня заняли на нем позиции от Круглой батареи до батареи Подтягина, где и находились в составе войск, оборонявших Шипку: до 1 ноября — в распоряжении начальника 4-й стрелковой бригады, а затем в распоряжении начальника 14-й пехотной дивизии...

Один из героев Шипки — пашковский казак Иван Шрамко — обратил на себя внимание И. Е. Репина, когда художник, работая над «Запорожцами», в поисках интересных типов для своей картины приезжал в июне 1888 года на Кубань. Репину очень понравился отважный хмурый бородатый пластун, и художник сделал с него интересный карандашный этюд. Казак, видимо, немало рассказал Репину о своих боевых буднях на Балканах. Другой защитник Шипки — пластун Шульгин — с украинским простодушием вспоминал о тех безрадостных, тяжелых днях обороны: «Пагронов далы мало и от як порастрилювалы патроны, то пришлось тилько прицпляться та итты вперед, а турок пулями так и осыпае...»

Казак Ефим Радченко 1-й из станицы Крыловской, Иван Варивода и Исаакий Мотко из Деревянковской, Степан Кулик из Каневской, Иван Рожен из Старощербиновской и Семен Сорока из Камышеватовской, раненные при обороне Шипки кто в ногу, кто в руку, были награждены Георгиевскими крестами 4-й степени.

Не без душевной горечи писал тогда с театра войны известный терапевт профессор С. П. Боткин: «Надо знать наших солдат — этих добродушных людей, идущих под пулевым градом на приступ с такою же покорностью, как на ученье. Не одна тысяча этих хороших людей легла безропотно с полной верой в святое дело...»

28 декабря кубанские пластуны во время последнего Шипкинского сражения у деревень Шейново и Шипки еще оставались в рядах 14-й пехотной дивизии на Шипкинской позиции, а после пленения армии Весселя-паши в составе той же дивизии походным маршем выступили за Балканы и с 1 по 16 января 1878 года двигались к Адрианополю...

28 августа 1878 года они прибыли к пристани Бейюк-Чекмеджи для посадки на отходящий пароход, на кото-

ром и отплыли в Россию. 20 сентября пластуны уже были на родной Кубани: из Севастополя прибыли на станцию Кисляковскую Ростово-Владикавказской железной дороги, встреченные всей дружной казачьей семьей, которая сопровождала их на протяжении восемнадцати верст в сборный пункт, в станицу Уманскую, не переставая всю дорогу кричать «ура!» и кидать вверх шапки. Загорелые лица воинов, их бодрый и бравый вид, множество орденов и Георгиевских крестов на груди офицеров и казаков, как писал местный корреспондент, «производили на публику самое внушительное впечатление».

После инспекторской проверки и устроенной для них закуски утомление как рукой сняло, все тяжелое прошлое было как бы позабыто, слышались рассказы о туретчине, о боях. Пластуны со слезами на глазах вспоминали своего прекрасного командира есаула Баштанника, оставшегося вдалеке от родного края на поле брани...

За подвиги 1-й и 2-й сотням 7-го пластунского батальона были «всемилоостивейше пожалованы» 10 октября 1878 года Георгиевские серебряные сигнальные рожки с надписью «За оборону Шипки в 1877 г.» и грамота.

Позже был создан комитет по сбору средств на храм-памятник у подножия Балкан в деревне Шипке. Как отмечает один старый документ, его решили воздвигнуть с целью «вечного поминовения воинов, павших в войну 1877—1878 годов». В сооружение этого монументального храма внесли свою лепту, свои посильные пожертвования и кубанцы. Церковь была освящена 15 сентября 1902 года, в 25-летнюю годовщину Шипкинской эпопеи.

2

Не менее доблестные действия отличают 2-й Кубанский казачий конный полк, состоявший из шести сотен казаков. Срочно сформированный 16 ноября 1876 года из различных частей войска Кубанского, он 12 апреля 1877 года перешел границу, будучи в составе Кавказской дивизии, а затем, влившись в Кавказскую казачью бригаду, 21 июня переправился на правый берег Дуная. И уже на следующий день принял боевое крещение. Командовал полком подполковник С. Я. Кухаренко, старший сын бывшего атамана Черноморского казачьего войска Якова Герасимовича Кухаренко, первого кубанского историка

и писателя, друга Т. Г. Шевченко. Воспитанный на боевых традициях запорожской неустранимой доблести, он слыл среди казаков первым удалцом. Прекрасный наездник, он самолично подковывал своего арабского горячего жеребца и, как отмечает знавший его писатель Н. Н. Каразин, являлся знатоком и страстным любителем кавалерийского дела и коней в особенности. Его записка о казачьей кавалерии, изложенная на восьми листах, является своеобразным трактатом, подчеркивающим в его авторе и всестороннее знание своего дела, и острый ум, и наблюдательность, и огромную трогательную любовь к лошади — боевому товарищу по службе, по лихим схваткам. С. Я. Кухаренко решающее значение придавал подготовке казака-кавалериста в мирное время, которая, по его мнению, должна состоять из трех пунктов: из стрельбы в цель («ибо учащенный и меткий огонь с коня может остановить атаку превосходных неприятельских сил»), из разведывательно-сторожевой службы и, последнее, из обучения грамоте...

Неудивительно, что такого командира любили рядовые казаки.

Вот несколько наглядных страничек из боевой жизни 2-го Кубанского казачьего полка во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

22 июня 1877 года при селении Делисун (Дели-Сюле) произошла стычка с черкесской кавалерией. Исследователь русской кавалерии того времени генерал-лейтенант П. Баженов находил, что даже в этом маленьком деле энергичная распорядительность начальствующих лиц, а также доблестный дух бригады могут служить прекрасным образцом для действий кавалерийских частей в подобной обстановке.

Командир Кавказской казачьей бригады полковник Туттолмин, оставивший любопытный дневник всего боевого пути подчиненных ему частей, получив от высшего командования задачу — наблюдать за Плевной, решил, что лучшим пунктом для этого является селение Градешти, служившее узлом дорог на Плевну, Рахов, Никополь и на Дебо.

И утром 2 июля шесть с половиной сотен Кавказской казачьей бригады двинулись на Градешти. В авангарде следовала 1-я сотня Кубанского полка под начальством своего командира есаула Пархоменко. Дорога тянулась по глубокому ущелью, где протекал звонкий ручей, затем вы-

шла на обширную равнину реки Вид и простерлась у подножия крутых и обрывистых склонов правого берега этой реки. Селение Градешти, широко раскинувшееся на просторной болотистой пойме реки, своей восточной окраиной прилепилось к подножию почти отвесных утесов. В нем насчитывалось до 250 дворов, обнесенных высокими валами с колючим кустарником и глубокими узкими канавами. 1-я сотня скрытно подошла к селению, спешилась и рассыпалась частью по скатам гор, частью по равнине, прячась за холмиками, за кустами терновника.

Полковник Тутолмин быстро распорядился, чтобы 1-я, 2-я и 5-я сотни Кубанского полка действовали против Градешти с юга — обстреливали неприятеля из ружей до тех пор, пока не обнаружится явный успех нашего орудийного огня и 2-я сотня не спустится с гор. После чего все три сотни должны были ворваться в деревню. Привести в исполнение все эти распоряжения было поручено подполковнику Кухаренко.

2-я сотня отлично справилась с возложенной на нее задачей. Турки отступили в северо-западном направлении вдоль деревни, а за ними бросились казаки 2-й сотни.

В это время двинулась вперед и 1-я сотня. Ей предстояла сложная задача — наступать по совершенно открытой местности под яростным огнем противника. Но благодаря счастливой случайности и находчивости сотенного командира есаула Пархоменко дело вдруг значительно облегчилось. Спуск с гор 2-й сотни и ружейная пальба испугали стадо буйволов, пасшихся в ущелье, и они с ревом бросились навстречу 1-й сотне. Есаул Пархоменко мигом поднял людей и обратил буйволов на деревню; воспользовавшись ими как прикрытием, за ними устремились казаки.

Начало атаки было блестяще. Потом казаки начали захват каждого отдельного двора в селении, упорно выбивая турок. Дворы были окружены крепкими высокими стенами. Турецкая пехота, вооруженная винтовкой со штыком, имела преимущество перед казаками, у которых винтовки были без штыков, и потому brave кубанцы в рукопашной свалке прибегли к излюбленному дедовскому надежному оружию — к кинжалу...

Стремительная, длившаяся более трех часов атака давала себя чувствовать. Казаки томились от жажды. Недоставало патронов.

Конно-горная батарея стреляла через головы казаков, через деревню. Деревья, поражаемые снарядами, с треском валялись во все стороны, что, видимо, приводило в нормальное смущение обороняющихся турок.

Но так как в подкреплении Кавказской казачьей бригаде было отказано, то полковнику Тутолмину пришлось дать приказ казакам к отступлению.

Историк П. Баженов высоко оценивает боевые действия казаков. «Военная история, — пишет он, — представляет весьма мало примеров, в которых спешенная кавалерия ведет продолжительный бой с пехотой и при этом не оборонительный, а наступательный и при таких трудных условиях, которые были в бою у Градешти. Блестящая доблесть войск славной Кавказской бригады выдвигает в этом бою с такою яркостью, что она может служить примером для всех кавалерийских частей в подобных случаях... Вообще можно сказать, что бой Кавказской казачьей бригады с турецкой пехотой у с. Градешти составляет такой редкий и поучительный пример, который должен быть хорошо изучен кавалерийскими офицерами и всегда оставаться у них в памяти».

На следующий день, 3 июля, кубанские кавалеристы участвовали в деле под городом Никополем. Они уже были знакомы с этой местностью, ибо за четыре дня до того войсковой старшина князь Керканов с двумя сотнями Кубанского конного полка захватил здесь турецкий обоз и испортил телеграф на пути из Никополя в Плевну. Еще до рассвета с южной стороны Никополя послышался дружный артиллерийский и ружейный огонь, который все усиливался и приближался. Осадные орудия грохотали без умолку. Над городом стояла черная туча порохового дыма. Всюду пылал пожар. Турки бежали враспыленную. Борьба достигла высшей точки. Затем послышалось знакомое громкое «ура!». И пад Никополем взметнулось победное русское знамя...

8 июля казаки участвовали с восхода и до заката солнца в бою под Плевной, с горечью воспринимая понесенное русской армией поражение. Через десять дней снова бой под Плевной до полуночи. В этот раз они действовали под начальством генерата Скобелева. Генерал в реляции дал блестящий отзыв о кубанцах: «Казаки атакуют в еле проходимых местах для конницы, невзирая на сильный огонь». М. Д. Скобелев был очень доволен доблестным духом всей Кавказской казачьей бригады...

Генерал Скобелев имел всего-навсего тысячу пехоты и две тысячи казаков с 12 орудиями, но благодаря блестяще разработанному стратегическому плану зашел с юго-запада в тыл противника, проник почти к самой Плевне — в центр турецкого лагеря — и привлек на себя одну треть войск неприятеля, произведя в нем сильное смятение. Все это было совершено под убийственным ружейным и пушечным огнем и в крайне пересеченной местности, едва проходимой для кавалерии. Но героическая атака Скобелева не была поддержана другими частями, он не получил подкрепления и был вынужден отступить, сведя на нет огромный достигнутый успех...

Не менее великолепный прорыв генерал Скобелев совершил и при третьем штурме Плевны 30—31 августа 1877 года. 2-й Кубанский конный полк прикрывал по реке Вид левый фланг отряда Скобелева, который, используя утренний густой туман, как полог застилавший окрестность, начал движение войск на гребни Зеленых гор; атакующие вклинились в самое сердце обороны турок, взяли укрепления на окраине города. Здесь славный генерал применил испытанный суворовский принцип стремительности и внезапности. На следующий день Осман-паша двинул против Скобелева крупные свежие силы. И отряд генерала Скобелева, вновь не получив подкрепления, отошел назад. Потери с 26 по 31 августа были огромны — до 16 тысяч человек. И тогда в главной квартире было решено взять Плевну измором.

Последний бой, с честью выдержанный казаками 2-го Кубанского конного полка, был под селением Дермендере 5 января 1878 года. Недаром генерал Скобелев считал этот полк образцовым, примерным. Кубанские кавалеристы всегда были впереди всей русской армии и несли самую трудную сторожевую службу, постоянно соприкасаясь с неприятельскими силами. За шесть месяцев войны полк участвовал более чем в шестидесяти боях. Только 12 марта 1879 года 2-й Кубанский конный полк покинул пределы Турции и, вернувшись на Кубань, был распущен. За героизм казакам были пожалованы знаки отличия на папахи с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов», многие получили Георгиевские кресты, серебряные, светло- и темно-бронзовые медали в память войны и железные румынские кресты за взятие города Плевны.

Степан Кухаренко за доблестные дела с турками получил чин полковника, несколько орденов и золотое оружие с надписью «За храбрость».

3

Участниками освобождения Болгарии от турецкого ига были и два лейб-гвардии кубанских эскадрона Собственного Его Величества конвоя...

Несмотря на малочисленность его и кратковременность нахождения в боевой обстановке (не более месяца), он смог отличиться и заслужить похвалы командования. В основном эти эскадроны несли аванпостную службу разъездами и конным рассыпным строем. Несколько рекогносцировок, совершенных эскадронами, и участие их в боях под Горным Дубняком и Телишем показали, что и малочисленные, но хорошо организованные казачьи отряды способны добиться решительных боевых успехов...

4 октября 1877 года, чтобы разведать расположение и силы противника в районе деревень Горный Дубняк — Телиш, был послан отряд войск, состоящий из лейб-гвардии Кубанского дивизиона, 5-й и 6-й сотен Донского казачьего 4-го полка и двух стрелковых рот лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона под начальством командующего Собственным Его Величества конвоем полковника Мукоода.

Выполняя приказ начальника штаба Гвардейского корпуса графа Воронцова-Дашкова, отряд поднялся с бивака у деревни Чирикова в 14 часов 30 минут дня и подошел к густой дубовой роще; первая стрелковая рота заняла ее, вторая осталась в резерве.

Кубанскому дивизиону (двум эскадронам) было приказано изучить местность по направлению к Софийскому шоссе вплоть до расположения турок на юг и запад у Горного Дубняка, 6-й сотне узнать расположение турок с востока и севера и полусотне 5-й сотни прикрывать левый фланг кубанцев со стороны Телиша. В таком строгом порядке кавалерия скрытно подошла к лагерю противника, прачась за частыми зарослями дубняка.

Затем кубанцам и донцам было дано приказание идти лавою на прорыв расположения неприятельской кавалерии. Неожиданный налет ошеломил турок. Они встретили кубанцев беспорядочной стрельбой и отступили за шоссе.

В лагере Горного Дубняка подняли тревогу: слышались звуки рожков и крики «алла!», вслед за тем пехотинцы поднялись из окопов и устремились на кубанских казаков. Те вмиг спешили, завязали с ними перестрелку. Молодцы кубанцы стойко отстреливались от пехоты, пока не вывелись расположение и силы турок. После чего дивизион постепенно начал отступать к дубовой роще, удерживая натиск пехоты в числе около батальона...

Разведка, длившаяся три с половиной часа, на славу удалась: были точно разведаны расположение и силы неприятеля. Рекогносцировка обошлась без потерь.

В реляции указывается, что «воодушевление, с каким кубанские казаки пошли вперед, затем стойкость и хладнокровие перестрелки с пехотой были поистине вполне утешительны». И полковник Мукоед обобщает: «Улачной рекогносцировке этой я в полном смысле обязан генерального штаба полковнику Ставровскому, который знанием своего дела и личною храбростью был двигателем всего дела; а также не могу умолчать о командире 1-го эскадрона полковнике Бабалыкове и командующем 2-го эскадрона ротмистре Скакуне, которые вели свои эскадроны стройно и лихо в дело...»

Замечательной была атака турецких позиций у Горного Дубняка 12 октября 1877 года.

С бивака у деревни Чирикова войска тронулись до рассвета. Вокруг совершенная темень. После холодной ночи все покрылось инеем.

Лейб-гвардии Кубанский казачий дивизион, составляя авангард, действовал следующим образом: 2-й эскадрон был направлен вправо к Софийскому шоссе, 1-й эскадрон — к деревне Горный Дубняк. Уже первые разъезды заметили неприятельскую кавалерию в лесу на возвышенностях к востоку от шоссе, вскоре выяснилось, что шоссе занято пехотой. Казаки атаковали неприятельские разъезды и отбросили их к Горному Дубняку. В это же время были срублены столбы, сняты телеграфные провода на расстоянии до двух верст. Конвойцы были встречены из ложементов восточнее шоссе сильнейшим ружейным огнем пехоты. Прибывшая рота лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона быстро вышибла турок из окопов, после чего конвой направился вправо от шоссе для прикрытия нашего правого фланга и вошел в связь с отрядом полковника Черевина.

К вечеру укрепленное селение Горный Дубняк было взято. Командующий рапортовал управляющему делами императорской главной квартиры 14 октября 1877 года и резюмировал свой рапорт следующими словами: «Считаю долгом донести Вашему Превосходительству, что все офицеры и нижние чины конвоя во время боя исполняли свои обязанности с бесстрашной смелостью; в особенности отличились своею отвагою и распорядительностью полковник Бабалыков, ротмистр Скакун...»

16 октября пало селение Телиш: кольцо вокруг Плевны окончательно и накрепко сомкнулось. На левом берегу реки Вид линия обложения, занимаемая гвардейцами и гренадерами, была длиною около восьми верст...

Командир 1-го эскадрона полковник Н. Э. Бабалыков в письме от 29 декабря 1878 года к наказному атаману Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанту Н. Н. Кармалину писал о своих подчиненных: «В заключение считаю неременным своим долгом сказать несколько слов о нашем молодом казаке. Слава, составленная делами, вполне была поддержана этой молодежью, которая, находясь в первый раз в бою, показала себя вполне достойной охранять столь блистательную историческую боевую репутацию Кубанского войска...»

Многие из казаков за мужество были награждены Георгиевскими крестами и медалями. Среди них Авдей Чернейкин, Афанасий Казбанов, Григорий Прилишко, Георгий Гогоберидзе и сотни других...

Жизнь Николая Эммануиловича Бабалыкова являлась типичной для большинства кубанских офицеров. Родившись 30 декабря 1836 года в казачьей семье в станице Казанской, после окончания Ставропольской гимназии он уже на военной службе во 2-м Кавказском казачьем полку; двадцати лет от роду получает чин хорунжего. В 1859 году был переведен корнетом в лейб-гвардии Кавказский казачий эскадрон. Когда началась война с Турцией, он, будучи в чине гвардии ротмистра, назначается командиром лейб-гвардии 1-го Кубанского казачьего эскадрона. Но уже через несколько месяцев боевой службы в Болгарии этот доблестный офицер стал полковником. За безупречную, отличную службу Н. Э. Бабалыков имел около двадцати русских и иностранных орденов и медалей; за русско-турецкую войну 1877—1878 годов именную золотую пашку с надписью «За храбрость» и бриллиантовый перстень.

Память о казаках — участниках освобождения Болгарии от турецкого господства — до наших дней жива в сердцах их внуков и правнуков. Там, где нужно было идти впереди, где приходилось встречать смерть, кубанец никогда не отступал, не изменял традициям и духу своих дедов. Совершенно справедливо писала местная газета тех давних дней: «Что может быть святее дела — защиты избиваемых беспомощных младенцев, дряхлых стариков, бессильных женщин — пусть решит история, пусть решат грядущие поколения, которые — мы верим в истинный прогресс человечества — сумеют отречься от своекорыстных расчетов и отдадут нам полную справедливость... За нас — честь и справедливость, за нас — будущее в истории...»

Геннадий Серебряков

**КОМАНДИР НАРВСКИХ ГУСАР
А. А. ПУШКИН**

I

На перроне Виленского вокзала царило необычайное оживление.

Весть о том, что сегодня провожают добровольцев в Боснию и Герцеговину, каким-то образом моментально облетела город. Задолго до прихода варшавского поезда здесь начал собираться народ. Почтенные господа в белых твидовых костюмах и соломенных шляпах, нарядные дамы с кружевными зонтиками, отставные офицеры, надевшие по этому случаю боевые награды, румяные гимназисты, благовоспитанные слушательницы Мариинской женской высшей школы в кокетливых пелеринках, вездесущие еврейские торговцы с печальными лицами и даже особы духовного звания. Был и народ попроще: мелькали смазные сапоги и чистые ситцевые рубахи.

Тут же шла бойкая торговля сельтерской водой и сневали поджарые репортеры «Виленского вестника» и «Северо-Западного Слова». Жарко пахло духами, яблоками и пылью.

За несколько минут до прихода варшавского поезда раздались крики: «Едут! Едут!..»

Толпа качнулась и расступилась надвое. На перрон группами, печатая шаг, входили военные. Строгие, подтянутые, в парадных мундирах. В их окружении шли несколько человек в штатском платье. Почти все они были одеты в охотничьи костюмы: серые куртки с зелеными каймами.

— Добровольцы! Волонтеры! — послышались голоса.

На каменные плиты перрона полетели цветы и шелковые ленты.

— Слава русскому оружию! Урра-ра!..

Офицеры 13-го Нарвского гусарского полка во главе со своим командиром полковником Александром Александровичем Пушкиным провожали штаб-ротмистра Максимова, плечистого крепыша с мягкими пшеничными усами. Несмотря на свою молодость, он пользовался всеобщим уважением, был известен в полку твердой волей и инициативностью.

Александр Александрович вопреки глубокому и мучительному своему горю — недавней смерти любимой жены Софьи — нашел в себе силы, чтобы приехать на вокзал и благословить в дальний и опасный путь одного из лучших своих офицеров. Все, кто знал полковника, поразились разительным переменам, которые произошли в его облике за последнее время. Голубые, по-пушкински ясные глаза поблекли и глубоко запали. Резко обозначились скулы. Да и все лицо его как бы вытянулось и заострилось. Рыжеватая курчавая борода, всегда казавшаяся чутью озорной, неестественно обвисла. Да и во всей его сухощавой, подтянутой фигуре как будто что-то надломилось...

Шумно отфыркиваясь и пронзительно свистя, подошел варшавский. Наступала минута прощания. Сзади напирала восторженная толпа.

Двое дюжих распаренных вестовых втаскивали в вагон багаж ротмистра — окованный тусклой медью внушительных размеров чемодан, доверху набитый оружием.

— Как будете провозить через румынскую таможню? — спросил полковник.

— Через румынскую и слона провезти можно, — хитровато прищурился Максимов, — были бы деньги...

Офицеры, подходя по очереди, салютовали штаб-ротмистру и дружески обнимали его. Последним был полковник.

— Ну-с, голубчик Евгений Яковлевич, прощайте. Удачи вам. И непременно жду известий, как мы и условились. Себя берегите. С богом!..

Максимов и другие волонтеры махали из окон белыми фуражками с большими квадратными козырьками.

Под крики «ура!» поезд отошел от перрона...

Накануне были полковые проводы. Они проходили скромно. Без шампанского и шумного застолья. Как и водится в таких случаях, отслужили молебен. Полковой священник отец Анфимий благословил штаб-ротмистра образом.

Потом командир полка пригласил господ офицеров пожаловать к себе. Пушкин для своей многочисленной семьи снимал просторный особняк с яблоневым садом и английским газоном в глубине Дворцовой улицы, неподалеку от здания бывшего университета, закрытого в 1831 году после польских волнений.

Смерть Софьи Александровны переменяла все в шумном и веселом пушкинском доме. Всех девятерых детей (старшей Наталье едва исполнилось 16, а младшему Сергею не было и года) сестра Маша в сопровождении нянек, горничной и двух гувернанток увезла на лето в Лопасню к двоюродной сестре покойной жены Александра Александровича, доброй и покладистой Анне Николаевне Васильчиковой. Да и сам хозяин, видимо, доживал в этом доме последние дни: уже было предписание командующего округом о скором переводе 13-го Нарвского полка в город Янов Люблинской губернии.

В гостиной, где собрались офицеры, на почетном месте по-домашнему висел знаменитый портрет Александра Сергеевича Пушкина работы Ореста Кипренского, а ниже нежный акварельный образ Натальи Николаевны...

Подали водку. Выпили из старинных кавказских чарок черного серебра за отъезд Максимова, за ратную славу Нарвского полка... Однако хмель в этот вечер как-то не был надобен. Пили мало. Больше говорили. Разговор сам собой склонялся к восстанию славян на Балканах, к военным силам турок, к печальной своим последствиями Крымской кампании...

Юные офицеры, в большинстве своем в недавнем прошлом выпускники Николаевского кавалерийского юнкерского училища, не нюхавшие порошу, быстро разгорячились и затеяли спор о новом вооружении и современных принципах ведения боя. Они залихватски сыпали цитатами из полевых уставов и тактики Левицкого.

Пушкин по обыкновению много курил, слушал своих удалых молодцов, и глаза у него теплели. А когда разговором, как всегда, легко завладел неутомимый рассказчик и знаток неисчислимого количества всевозможных батальных историй, полковой лекарь, добродушный толстяк Гав-

рила Ипполитович Ишутин и речь его зажурчала, как речка по камушкам, полковник тихо попросил Максимова уединиться с ним на несколько минут.

— Ну-с, любезный Евгений Яковлевич, — сказал он ротмистру, когда они прошли в кабинет, — всем сердцем своим чувствую, что большое дело начинается на Балканах. И Россия вряд ли будет в стороне. Рано или поздно, но скажет она свое грозное слово в защиту восставших славян. И тогда быть войне... Посему считаю долгом своим готовиться к ней уже сейчас и полк наш готовить. Вы одним из первых скрестите оружие с турками. Опыт, обретенный вами в боях, может сослужить для нас службу неоценимую. Прошу, Евгений Яковлевич, самым подробнейшим образом сообщать мне обо всем, что касательно вооружения, тактики и боевых качеств турецких войск. Считайте себя как бы военным атташе Нарвского гусарского полка на Балканах...

Александр Александрович помолчал, глубоко затянулся папиросным дымом и добавил:

— И под пули сломя голову не лезьте — знаю я вас... Вы нам живой, голубчик, нужны... Живой...

Когда полковник с ротмистром вернулись в гостиную, Гаврила Ипполитович, красноречиво сопровождая свой рассказ выразительной мимикой, излагал один из эпизодов войны на Кавказе, в которой он принимал многолетнее и активное участие.

— Наступали мы под Турчидагом совместно с 3-м батальоном Апшеронского полка. Горцы, как водится, на вершине засели и пальбу открыли неимоверную. Наш драгунский дивизион с ракетной командой в обход, по дороге. А апшеронцы цепями по откосу без выстрела. Поднялись повыше — и в штыковую атаку... Вот тут я, господа, воочию увидел, что мог совершать наш кавказский незабвенный солдат. Хорошей лошади только впору было следовать за ним, навьюченным тяжелым ружьем, патронами, мешком с сухарями и разными принадлежностями, шанцевым инструментом, двумя-тремя поленьями дров в придачу, с шинелью через плечо, в длинных, сплошь усыпанных гвоздями сапожищах!.. Нет, что ни говорите, господа, а с нашим солдатом с кем угодно воевать можно. Ну где еще такой сыщется?..

— А как же с горцами дело завершилось? — спросил кто-то из нетерпеливых молодых офицеров.

— Как и подобает... Повскакали на коней — и ходу. Наши драгуны успели им вдогон лишь несколько ракет выпустить. У нас потерь в этом деле не было. Вот у апшеронцев были. В числе раненых оказался и их батальонный командир майор Дубельт, сын известного в свое время жандарма. Я его тут же в полевом лазарете и оперировал. Рана была пустяковая. В мякоть...

Имя Дубельта неприятно резануло Пушкина. Добрейший Гаврила Ипполитович, конечно, и не предполагал, что этим упоминанием вызовет болезненные воспоминания у своего командира.

Дубельты тяготели над семьей Пушкиных как проклятье.

Еще не успело остыть тело умершего в жестоких муках Александра Сергеевича Пушкина, еще не оправилась от нервного припадка Наталья Николаевна, как в их квартиру на Мойке, тяжело стуча коваными сапогами, беспцеремонно вошел начальник штаба корпуса жандармов Дубельт и опечатал кабинет. Он же затем рылся в пушкинских рукописях и бумагах, оскорбляя память великого поэта...

А потом, будто по иронии судьбы, младшая дочь поэта Наталья, красавица Таша, после неудачного романа с молодым князем Николаем Орловым как в омут бросилась в замужество. Ее супругом стал вопреки воле матери отпрыск Дубельта — Михаил, вернувшийся с Кавказа в чине полковника, лощеный, себялюбивый и бездушный. Он увез юную жену в Подольскую губернию, где служил флигель-адъютантом, и устроил из ее жизни какой-то нескончаемый кошмар. Страстный игрок, промотавший в карты состояние, человек необузданного нрава, Дубельт пил, истязал Наталью ревностью и подозрениями, часто бил. Промучившись до 1862 года, она, наспех собрав личные вещи, с двумя детьми уехала к тетке Александре Николаевне, вышедшей замуж за австрийского дипломата Густава-Виктора Фогеля барона фон Фризентофа и жившей в его имении Бродзянах, в Словакии. В Россию Наталья больше уже не вернулась...

Рассвирепевший Дубельт мстил уехавшей жене тем, что не давал ей развода. Дело тянулось в казенных инстанциях. В обществе по этому поводу ходили самые разные толки-кривотолки.

Наталья Николаевна маялась душой за несчастную судьбу младшей дочери, постоянно корила себя, что не

уберегла ее вовремя от поспешного и необдуманного шага. Это в конечном итоге и ускорило ее кончину глубокой осенью 1863 года.

Вот почему такой горечью и болью отдалось в душе Александра Александровича случайно оброненное в разговоре добродушным полковым лекарем имя Дубельта...

Александр Александрович часто повторял слова отца: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие...» И не только повторял, но и следовал им.

Еще года три назад замыслил он собрать материалы о боевом прошлом своего полка. История 13-го Нарвского еще не была написана и бытовала в основном в изустных рассказах гусар-старослужащих и офицеров-ветеранов. Не пренебрегая этими рассказами, где правда часто причудливо переплеталась с лихим вымыслом, Пушкин, как человек аккуратный и обстоятельный, более доверял документам. Эту черту он тоже унаследовал от отца.

Урывками, выкраивая от забот командирских и семейных свободное время, Александр Александрович рылся в лежавшем до него мертвым грузом полковом архиве, читал пожелтевшие страницы реляций, рапортов и приказов, листал реестровые книги и послужные росписи, дивился хитроумной казуистике пройдох-писарей, делал выписки, снимал копии с наиболее интересных, на его взгляд, документов. Так мало-помалу собирались материалы, которые командир намеревался, приведя в порядок, передать в добрые руки для написания толковой и правдивой истории 13-го Нарвского полка. Нужен был энтузиаст, хорошо владеющий пером. Такого пока не находилось. Но не беда, пренебреженно сыщется со временем... Сам же Александр Александрович, хотя с детства и любил русскую словесность, склонностей в себе к писательскому ремеслу не усматривал.

Вскоре после проводов Максимова вдруг резко захолодало и задождало. Пронзительный ветер с Балтики волочил низкие обтрепанные тучи, цеплявшиеся за остроконечные шпили готических соборов. В опустелом доме гулял сквозняк и пахло кислотатым духом отсыревших обоев.

В ненастные вечера, казавшиеся особенно длинными, Пушкин в малиновой суковной венгерке, сидя при свечах в кабинете, разбирал и приводил в систему свои записи.

В этой работе его изболевшаяся вконец душа находила отдохновение. Все отчетливее выдвигались ему давние и не столь давние события. Выстраиваясь в единую цепь, они составляли хронику полка, которая была неразрывно связана с великой и многотрудной историей государства Российского...

Окидывая мысленным взором почти трехвековой ратный путь полка, Александр Александрович, конечно, не знал, что будущий историограф 13-го Нарвского вскорости напишет о нем самом: «Сын известного поэта, именем которого гордится Россия, полковник Пушкин являл собой идеал командира-джентльмена, стоявшего во главе старинного гусарского полка...» Не знал он и того, что уже буквально через несколько месяцев нарвским гусарам под его командованием предстояло к былой воинской славе добавить новые подвиги в русско-турецкой войне за освобождение Болгарии...

Вскоре с оказией, с возвратившимся раненым волонтером, которому в бою турецким ятаганом отсекло на правой руке пальцы, ротмистр Максимов прислал первое известие из военного лагеря восставших герцеговинцев. Письмо, писавшееся, видимо, не за один присест, было отрывочным, но пространным и обстоятельным.

Ротмистр подробно описывал путь русских волонтеров через Румынию на Турн-Северин и далее пароходом по Дунаю на Кладов и Белград, всевозможные дорожные злоключения, связанные с нелегальным провозом оружия, волнующе рассказывал об искреннем радушии и братской любви, с которыми встретили русских добровольцев восставшие герцеговинцы:

«Меня охватило какое-то особенное чувство. В душе я ощутил целое море любви к страдающим братьям, и жажда мести туркам просто душила меня... Такое же чувство, наверное, испытывали и все мои друзья...»

Русских офицеров сразу же поставили во главе отрядов и чет, куда наряду с герцеговинцами входило немало болгарских и сербских бойцов. Были здесь и неведомо каким путем попавшие сюда русские солдаты из отставных.

«К моему удивлению и восторгу, встретил я в своем отряде несколько русских солдат, уже исправно здесь воевавших. Особенно поразил меня бравый молодец, от-

ставной пехотный унтер-офицер родом откуда-то из-под Шуи, с достоинством носивший на груди черногорскую золотую медаль «За храбрость».

У восставших почти не было конных отрядов. Максиму пришлось превратиться в пехотного офицера. Это его не смущало. Отряд под его командованием сразу же начал боевые действия и вел их успешно. В критические моменты гусарский ротмистр поднимал своих бойцов в штыковые атаки.

Уже в этом письме Максимова содержались многие весьма полезные, по мнению полковника Пушкина, сведения, касающиеся вооружения, тактики и боевых качеств турецких войск.

Османская армия, сообщил штаб-ротмистр, разделена на низам (кадровые войска), редиф (запас) и мустахфиз (ополчение), из которых последние два отличаются сравнительно малой боеспособностью. Основной тактической единицей в пехоте является табор численностью 774 человека, практически он не превышает 650 солдат. В кавалерии табор имеет 143 всадника, а на деле это, как правило, сотня...

На вооружении пехоты ружье Пибоди-Мартини и отчасти ружье Снайдера, что примерно соответствует нашим винтовкам Бердана и Крнка. Кавалерийские карабины у турок магазинные системы Винчестера и превосходят отечественные удобством обращения и скорострельностью (свыше 15 выстрелов в минуту).

Что особенно поражало Максимова — это поистине неисчислимый запас у турок патронов, которые они никогда не экономят и поспе могут вести огонь сильный и продолжительный, весьма убийственный для наступающего противника...

Потом, уже в Янов, в маленький заштатный городок Люблинской губернии, расположенный в непосредственной близости от австро-венгерской границы, куда перебазировался Нарвский полк, приходили новые донесения от штаб-ротмистра, такие же дельные и обстоятельные. Максимов не только сообщал отдельные факты, но умело и грамотно обобщал их, делал точные и смелые выводы.

Александр Александрович Пушкин искренне радовался за своего офицера и в душе пророчил ему большое будущее. Если, конечно, останется жив любезный Евгений Яковлевич, ведь война там идет, судя по всему, серьезная.

Это не прогулка и не парадный смотр с георгиевскими трубами и барабанным боем...

Из донесений Максимова полковник узнавал о весьма высоких боевых качествах солдата турецкого низама, о его фанатичной преданности знамени ислама и редком упорстве и стойкости, особенно в обороне. За стенами крепости или под прикрытием редута турки сражаются превосходно, но в открытом поле, как правило, не способны к быстрому маневру. Наступают почти исключительно фронтально, в густых цепях, не применяя даже обхода флангов. Резервы держат далеко от боевых линий. Эти резервы легко отсекают конницей и бить неприятеля по частям стремительными ударами, используя выходы в тыл и во фланги. Короче, надо стремиться выманивать турок на открытую местность и избегать штурма их укреплений.

С регулярной кавалерией низама Максиму дела иметь пока не приходилось. Конница же мустахфиза, скомплектованная в основном из представителей подвластных османам горских народов, высокими боевыми качествами не отличается. Нападает, как правило, шайкой, ордой с диким криком и пальбой на заведомо слабого противника. Встречной атаки не выдерживает. Отряды их под именем «башибузук» («сорвиголовы») приданы полковым частям. Специализируются большей частью на резне мирного населения, где проявляют разнузданную, нечеловеческую жестокость...

В будущих боевых операциях на Балканах (а то, что Россия непременно будет здесь вести войну, штаб-ротмистр нисколько не сомневался) Максимов, оставаясь кавалерийским офицером и мысля стратегически, одно из ведущих мест отводил конным соединениям. Именно они, по его мнению, обладают быстротой маневра и натиском, чего так боятся турецкие войска. Только надо уметь соотносить свои действия с пересеченной местностью и полагаться не только на шашки, но и полнее и эффективнее использовать стрелковое оружие, в том числе и приданную кавалерийским частям артиллерию.

Большинство практических выводов, сделанных Максимовым из опыта войны в Герцеговине, горячо, всем сердцем разделял и поддерживал командир Нарвского полка. Однако эти выводы во многом отличались от официальной точки зрения на методы ведения современной войны со стороны особ царствующего дома и высшего командного состава.

Александр II вскоре после восшествия на престол на одном из своих церемониальных красносельских парадных смотров с глубокомысленным видом изрек, что кавалерия как род войск скоро должна устареть, все будут решать на полях сражений пехота и артиллерия. Чем выше калибр пушек, тем лучше. В это время он, видимо, вспоминал восхитившую его поблескивающую вороненой сталью крупновскую продукцию, виденную им на Парижской выставке...

Этих слов оказалось достаточно, чтобы военное ведомство тут же урезало штаты конных полков. Упразднены были сначала шестые эскадроны, а потом выделены в отдельные и пятые...

Среди чутких к монаршим настроениям генералов быстро укоренилось мнение, что раз государь не жалуется кавалерии, и толковать о ней особо нечего, ей вменялась при армии второстепенная роль — нести в основном патрульную и разведывательную службы. Это не преминуло сказаться на снабжении конных полков припасами и более совершенным вооружением. Сколь ошибочным оказалось подобное снобистское мнение императора и его высшего окружения, со всею наглядностью показала вскоре Балканская кампания...

На основании обширных сведений, поступивших от штаб-ротмистра Максимова, Александр Александрович Пушкин посчитал своим долгом составить докладную записку на имя командира дивизии фон Родена, сухощавого, всегда уравновешенного генерала с прозрачными, холодноватыми остзейскими глазами. В этой записке подчеркивалась возможность скорого начала боевых действий на Балканском военном театре, высказывались стратегические и тактические соображения по наиболее рациональному использованию кавалерийских частей против турецких войск с учетом реальных условий, вносились предложения по реорганизации военной подготовки личного состава конных полков.

Суть предложений Пушкина сводилась к возрождению суворовских принципов армейского обучения — учить тому, что потребуется на войне. Эта простая истина за период от Павла I до Николая I была добросовестно забыта.

Письменного ответа на докладную записку Пушкина от фон Родена не последовало. Однако при встрече в штаб-квартире дивизии генерал-майор, пожевав жесткими бес-

кровными губами, произнес с подчеркнутым благорасположением:

— Ваш рапорт, друг мой Александр Александрович, показался мне чрезмерно воинственным. Отечество наше, слава богу, с сопредельными державами в мире пребывает, в том числе и с Оттоманской Портой... А славянский вопрос — это скорее сфера эмоций. Предоставим ее господам Аксаковым и Достоевским. Что же касается наших добровольцев на Балканах, то имеется, смею вас заверить, негласное высочайшее повеление не только не поощрять пагубного увлечения среди офицеров, но и всячески препятствовать оному. Такое предписание вы на днях получите... Сие, мой друг, означает, что дело с Турцией, наоборот, идет к полному замирению...

— Хочешь мира, готовься к войне, Леонид Федорович, — попробовал Пушкин защититься древним латинским изречением. — А мы же бесконечными смотрами увлечены. Огневая подготовка в загоне. Лошади раскормлены. Только что и можем — парадные эволюции исполнять.

— Армия монарха российского, господин полковник, всегда готова защитить интересы и безопасность империи, — разом перебил тон фон Роден. Лицо его разгладилось и окаменело. Два холодных остзейских глаза смотрели на Пушкина в упор. — Все меры по повышению боеспособности вверенных нам частей обусловлены утвержденными свыше уставами, сиречь законами воинской службы. И долг наш с вами — неукоснительно и свято их исполнять.

Александр Александрович сразу понял, что вести дальнейший разговор бесполезно. Выслушав тираду генерала до конца и испросив разрешение удалиться, он корректно откланялся.

— Да, хочу вас спросить, полковник, — как будто вспомнив что-то, остановил его генерал, — этот ваш ротмистр Максимов, я, кажется, его помню... Как он? Располагает вашим доверием?

— Полнейшим, — насторожился Пушкин. — Прекрасный боевой офицер. Грамотный. Инициативный. И к тому же настоящий патриот, — он не удержался и сделал выразительный упор на последнем слове.

Седая бровь фон Родена дернулась.

— Ну-ну... — неопределенно изрек генерал и кивнул головой, давая понять, что разговор окончен.

Возвращаясь в расположение полка в тряской походной бричке, запряженной парой споровистых рысаков, с неизменным Трофимычем на козлах, с которым обычно любил потолковать в дороге, Пушкин на этот раз был молчалив и озабочен.

«С генералом закавыка вышла», — опытным оком сразу определил старый ездовой, едва глянув на командира, и с рассказами своими и побасенками не лез.

Лошади бежали ходко. Бричку кидало и заносило на выбоинах. Но полковник как будто и не замечал этого. Он думал о своем.

Собственно, от разговора с фон Роденом Александр Александрович большего и не ожидал. Отношения у него с командиром дивизии с самого начала сложились, как определил их сам Пушкин, «дружелюбно-натянутые». Старый службист, известный своей пунктуальностью и педантизмом, давно и основательно усвоил, что самое надежное в жизни — это безукоризненно и точно исполнять предписания свыше. В конце концов, кто отдает приказы, тот за них и отвечает. Свою точку зрения фон Роден перед начальством никогда не отстаивал, поскольку таковой не имел.

То, что генерал отнесся равнодушно к его начинаниям и предложениям, не столь беспокоило Пушкина. В своем полку он уже во многом реорганизовал учебную подготовку, максимально приблизив ее к условиям войны на сильно пересеченной местности. Для полковых учений он сам выбрал место с крутыми, поросшими мелкоколесьем холмами, с каменистыми осыпями, с балками и оврагами, с прихотливо петляющей речушкой.

Здесь его эскадроны разыгрывали настоящие «сражения», производили рекогносцировку, скрытые обходы «противника» и стремительные атаки. Коня, застоявшиеся в конюшнях и привыкшие к церемониальным маршам, исходили мылом. Особое внимание уделялось стрельбам. Гусары, набившие руку на рубке лозы, карабинами пользовались неохотно и стреляли плохо. Работа еще предстояла большая, и от нее Александр Александрович и не думал отступать.

Он знал, что и другие полковые командиры по своей инициативе начали боевые тренировки, и это было встречено с пониманием и офицерами, и нижними чинами. Овладевшее им под конец разговора с фон Роденом горьковатое чувство разочарования и даже обиды постепенно

рассеивалось. Пусть генерал благодушествует, дело идет и без него. Время такое...

Больше тревожил Пушкина какой-то не совсем понятный, как бы с двойным дном, вопрос о Максимове. Уж кого-кого, а штаб-ротмистра фон Роден знал, даже награду ему вручал самолично. А вот поди ж ты, о доверии к нему вдруг спросил. Просто из любопытства генерал ничего не спрашивает. У него все по полочкам. Что-то за всем этим кроется...

Мчась в подпрыгивающей на ухабах бричке и строя всевозможные предположения относительно своего штаб-ротмистра, Александр Александрович, конечно, не мог себе представить, что имя Максимова в это время фигурировало в самых высоких правительственных сферах.

Все началось с того, что государственный канцлер светлейший князь Александр Михайлович Горчаков получил от генерального консула в Белграде Карцова телеграмму следующего содержания:

«В сентябре прибыл в Белград русский гусарский ротмистр Евгений Максимов. По поискам сербской полиции оказывается, что с тех пор приезжали сюда офицеры: Савицких, Долматов и другие, по-видимому, признавшие Максимова своим вождем. Переодетые сербами, одни ездили по княжеству, по городам австрийской Сербии и в Боснию, где один из них был ранее в рядах инсургентов. На днях Максимов отправился, говорят, в Петербург, обещая здешним своим агентам возвратиться через три недели. Князь Милан спрашивает меня, имеет ли этот офицер какое-либо поручение от нашего правительства?..»

Опытный дипломат, Андрей Николаевич Карцов сделал охотничью стойку. Натренированным чутьем он угадывал, что гусарский ротмистр и его друзья представляют собой какую-то неведомую организацию. Русские добровольцы не только с оружием в руках помогали восставшим боснийцам и герцеговинцам, но и вели скрытную работу в Сербии и даже на австрийской территории. Старающимися все той же сербской полицией уже было известно доподлинно: офицер Долматов связан с местными социалистами. Видимо, и другие... А кто таков этот гусарский ротмистр Максимов, почитаемый остальными за вождем? И что означает его тайный вояж в Петербург и обратно? Не скрывается ли за этим связь с русским столичным революционным комитетом?

Забеспокоился и глава сербского правительства князь

Милаш: не представляют ли офицеры во главе с Максимовым некую русскую негласную военную миссию на Балканах? И не могут ли вызвать их уж слишком активные действия осложнений с австрийским двором?..

Горчаков повелел срочно подготовить и представить ему досье на указанных офицеров и в первую очередь на Максимова. По линии военного ведомства был направлен запрос на имя командира 13-й кавалерийской дивизии фон Родена с грифом «Особо важно. Секретно». Казенная депеша, в которой никаких подробностей не сообщалось, прибыла как раз в то время, когда на столе генерала лежала докладная записка А. А. Пушкина, где имя его штаб-ротмистра фигурировало неоднократно.

Испуганный фон Роден, досконально изучивший безукоризненный послужной список Максимова и зная его с самой лучшей стороны, написал обтекаемую характеристику: «...замечен не был... не состоял... однако высказывал некоторые склонности к...»

В случае чего ее толковать можно было как угодно.

Записке полковника Пушкина никакого дальнейшего хода, особенно теперь, давать он не собирался.

II. Война

Весна 1877 года была полна томительным ожиданием.

От газетных страниц пахло порохом.

Столичная «Неделя» 3 апреля открывалась коротким, как выстрел, заголовком «Война»:

«Хотя в тот момент, когда мы пишем эти строки, еще не произнесено роковое слово, которым озаглавлена настоящая статья, но теперь уже нельзя сомневаться, что оно будет произнесено не сегодня-завтра, и, может быть, к тому дню, когда выйдет следующий номер «Недели», оно не только будет произнесено, но и раздастся первый выстрел. Теперь уже нет и не может быть другого исхода».

Газеты Берлина и Лондона сообщали, что переправа русской армии через Прут назначена на 10 апреля и что император Александр будет сам присутствовать при переправе...

Однако никаких официальных правительственных сообщений, кроме того, что государь в сопровождении наследника-цесаревича 8-го отбыл в Кишинев и будет смотреть войска по пути своего следования, не было.

Начались догадки и предположения. Все упорнее говорили о дне 17 апреля, дне рождения государя: не иначе как объявление манифеста о войне с Турцией будет приурочено к этому торжеству. Но события опередили ожидания.

12 апреля в час пополудни на Скаковое поле в Кишиневе, где были в полной походной выкладке выстроены войска и толпился народ, прибыл государь император. Когда кончился высочайший объезд войск, барабаны ударили «на молитву», и полки по команде обнажили головы.

Преосвященный Павел, выступив вперед в полном епископском облачении, вскрыл поданный ему пакет и зычным голосом начал читать:

«Божиею милостью мы, Александр Второй, император и самодержец всероссийский...»

Над притихшими жителями утопающего в весенней грязи Кишинева, над войсками гулкой колокольной медью плыли слова:

«...вынуждены... приступить к действиям более решительным...».

Война началась.

Опять полковник Пушкин жил один в большом опустевшем доме...

Спасибо сестре Маше, доброму ангелу-хранителю, как на крыльях прилетела по первому зову, чтобы собрать племянников и племянниц и снова увезти их в Лопасню. Знала: без нее Александр со своей оравой не управится, да еще в такую горячую пору — в разгаре мобилизация.

У полковника в эти дни голова шла кругом. Дневал и ночевал в штаб-квартире да в эскадронах. Перепоручать свои дела другим Александр Александрович не любил. Особливо сейчас не мог этого допустить, ибо шла полным ходом подготовка не к параду или смотру какому, а к боевому походу, который, как он с полным правом полагал, будет труднейшим. Уже одно то, что придется воевать под командованием фон Родена, не вселяло в него радужных надежд...

Своим офицерам полковник не уставал повторять:

— *Protempore militaire* *, господа, не будет, поверьте

* Военной прокурии (франц.).

мне. Предстоит война суровая и жестокая. Много будет зависеть в походе от того, как мы сегодня к нему подготовимся. За всякую нашу с вами промашку гусарам кровью платить придется. Прошу помнить об этом, господа...

И, слава богу, шапкозакидательских настроений в полку не наблюдалось. Готовились к ратному делу серьезно и офицеры, и нижние чины. А в штабе дивизии меж тем рассказывали веселые анекдоты про турок и оптимистически заявляли:

— Генеральный штаб планирует завершить кампанию одним ударом. Не позднее сентября будем дома!..

Дел у полковника Пушкина было в эти дни хоть отбавляй: конская повинность, комплектование, формирование, починка, заготовка... Даже с Машей и с детьми толком не простился. Заскочил домой перед их отъездом, наскоро перепеловал дочек и сыновей, обнял сестру. Говорил много и сбивчиво, просил, увещевал, предостерегал... И, оставив в помощь вестовых, снова уехал в полк по делам, не терпевшим отлагательств.

Мобилизацию полк завершил четко и значительно раньше срока. Пушкин подал об этом рапорт и получил похвалу командования.

30 апреля, поднявшись, как обычно, на заре, Александр Александрович вдруг вспомнил, что спешить ему в это утро особой нужды нет и можно наконец спокойно подумать о личных своих делах и заботах. Он вышел в обряженный свежей пахучей зеленью сад. Долго стоял и, запрокинув голову, смотрел в небо: там, в прозрачной лимонной вышине, уже озаренные невидимым с земли солнцем, плыли, задыхаясь от радостных кликов, возвращавшиеся в родные места журавли.

Потом сел писать письмо брату Григорию в Псковскую губернию. Младшему Пушкину, как и Александру, была уготована военная карьера. Вначале он шел точно (лишь с разницею в два года) по стопам старшего брата: Пажеский корпус, звание корнета, служба в лейб-гвардии конном полку, которым командовал их отчим генерал П. П. Ланской... Потом звезда воинской службы Григория засияла даже ярче, чем у Александра. В 1860 году, двадцати пяти лет от роду, он уже ротмистр и адъютант командира гвардейского корпуса. Через четыре года подполковник, офицер особых поручений при министре внутренних дел... Все это сулило, как говорили, блестящее

будущее, верное восхождение к высоким государственным сферам.

Однако Григорий Пушкин в 1865 году неожиданно вышел в отставку, уехал в Михайловское, где и пребывал с той поры безвыездно. Жениться, несмотря на вполне зрелые годы, пока, видимо, не собирался. Так и жил бо-былем.

Зная мягкий и добрый характер брата, Александр Александрович не сомневался, что, ежели приключится с ним какая-либо беда, детей его Григорий без внимания и заботы не оставит.

«Пятого мая, — писал он, — наш полк выступает и идет прямо за границу...

Теперь, любезный брат, уходя в поход, не мешает мне подумать и о будущем. Все мы под богом ходим, и придется ли вернуться — еще неизвестно. Во всяком случае тебе поручаю я детей моих и в случае чего прошу тебя быть их опекуном».

Тут же сообщал и о том, что дети под охраной сестры Маши уехали в Лопасню, где и будут ожидать дальнейших событий.

При упоминании о детях сразу же тревожно заняло сердце. Вспомнилась суматоха отъезда. Он попал домой в самый разгар сборов. В комнатах стоял невообразимый шум: старшие ссорились, младшие орали. Всех их кое-как утихомиривала Маша. И разговор вышел каким-то суматошным, и прощание. Самого главного он так и не сказал ни Маше, ни старшим своим. И удастся ли теперь свидеться, бог весть.

5 мая 13-я кавалерийская дивизия, в состав которой входил 13-й Нарвский гусарский полк, походным порядком выступала в район военных действий. Отягощенная обозами, путь к Дунаю она должна была преодолеть, по подсчетам полковника, никак не ранее чем за месяц. Александр Александрович прикинул: вполне возможно, обернувшись за несколько дней, побывать в Лопасне и догнать полк в дороге. Командование на эту поездку дало свое соизволение...

В Лопасню он приехал вечером, когда все обширное семейство, включая англичанку и француженку, сидело в столовой за самоваром. Сладко пахло заваренной мятой и свежеепеченной домашней сдобой.

— Мир дому сему! — успел сказать Александр Александрович, и тут же на него навалилась куча кричащих и

визжащих от восторга детей. Он обнимал и целовал всех подряд и весело от них отбивался. Плыли перед глазами смущенные и чопорные улыбки гувернанток, раскрасневшаяся от чая и нечаянной радости округлое лицо добрейшей Анны Николаевны, ликующие, блестящие, казавшиеся темными от пушистых ресниц серые глаза Маши и ее беспомощно скользнувшая с плеч тонкая кашмирская шаль, усыпанная пунцовыми цветами...

Пожалуй, никогда раньше Александр Александрович не испытывал так остро и полно чувства покоя и уюта, чувства щемящей нежности к своим близким, с которым смешивались и тревожное ожидание разлуки, и светлое умиротворение, как в эти два дня, проведенных в Лопасне в кругу своих родных. Эти два дня, пронизанные весенним солнцем и звоном веселых детских голосов, он будет вспоминать не раз и на военном Балканском театре, и много позднее, уже на склоне своих побеленных сединами лет...

О войне, как будто по уговору, в доме не произносилось ни слова. Много шутили и смеялись. Особенно все-ла была Мария Александровна: смех ее, заразительный и легкий, поистине пушкинский, унаследованный от отца, серебром рассыпался то в саду, то в комнатах. Дети за ней визались повсюду. Александр Александрович невольно любовался сестрой. Вот ведь буквально днями, 19 мая, сорок пять ей должно исполниться... А разве дашь? На вид, пожалуй, чуть поболее тридцати. Все та же немного расплывшаяся, но статная фигура, словно точенные из слоновой кости округлые плечи и гордая шея, все те же связанные тяжелым узлом волосы сплошь в своеобразных курчавых завитках, всегда выбивающихся на висках и затылке. Все то же почти не тронутое увяданием, чуть удлиненное лицо, вероятно, не столь красивое, но удивительно живое и обаятельное... Не случайно, как рассказывала она сама, несколько лет назад Лев Толстой, впервые встретивший Машу в Туле в гостях у генерала Тулубьева, застыл замороженным и сразу же захотел с ней познакомиться поближе. Потом встречался и беседовал с ней неоднократно. А когда с 1874 года в «Русском вестнике» начал печататься его новый роман «Анна Каренина», то многие в обличье главной героини узнали черты старшей дочери Пушкина. И сам Толстой признавался друзьям, что именно «она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а паружностью...».

В эти два дня Александру Александровичу ни о чем

худом думать не хотелось. Как-то верилось, что так вот покойно и хорошо будет всегда. И на войне все обойдется. Даже о Софьеньке вспоминалось ему без прежней глухой боли и тоски — светло и умиротворенно. И сестра Маша, и Анна Николаевна Васильчикова заметили, что изменился Александр Александрович к лучшему, знать, злосчастие отпустило его наконец. Да и то сказать, не целый же век горе-то горевать?.. Ведь еще и детей поднимать надо. А им при его-то службе да занятости без матери никак не обойтись...

Именно на это и намекнула Анна Николаевна, видя, как хороваются дети вокруг Александра Александровича. Лукаво вздохнув, произнесла нараспев:

— И-и, Сапа, не зря говорят: вдовец деткам не отец, а сам круглый сирота... Пора, пора тебе и о новой хозяйке подумать...

Он улыбнулся и в тон ей ответил:

— Рад бы молодец жениться, да невесту не сыскал...

— Сыщем, — многозначительно пообещала Анна Николаевна, — к твоему возвращению сыщем...

В день отъезда на барском подворье собралось изрядно народу. Весть о том, что полковник Пушкин уезжает на войну, быстро облетела округу. Здешние мужики, которым Александр Александрович помогал по землеустроительным делам, относились к нему с глубоким почтением и, придевшись в чистые рубахи, пришли проводить его всем миром. Отставные солдаты не забыли нацепить свои ратные награды. Тут же были бабы и девки в воскресных платках, вездесущие ребятишки. У парадного крыльца уже стояла открытая пролетка, запряженная парой лошадей.

Когда полковник в окружении своих домочадцев вышел во двор, вперед выступил одорукий сельский старшина Матвей Глотов с двумя блестящими на груди «георгиями»:

— Уж не обессудьте, Александр Александрович, но вот пришли проводить... Позвольте ото всего общества пожелать вам скорейшего возвращения в целости и невредимости. И непременно с победой!..

Статная девка в красной муслиновой кофте протянула полковнику объемистый сверток, перевязанный лентой. И, зардевшись, сказала:

— Это вашим солдатикам...

— А что здесь?

— Кисеты... Двести штук... Сами вышивали...

Полковник поблагодарил и по старинному русскому обычаю поклонился на четыре стороны. Потом обнял и расцеловал близких.

Застоявшиеся копи круто взяли с места.

В первых числах июля Рушукский отряд, в состав которого входил Нарвский полк, перешел прозрачную Янтру и двинулся к реке Кара-Лом. Главные силы низама в бой с русскими не вступали и продолжали отходить под защиту свих крепостей. Активно действовали лишь иррегулярные кавалерийские турецкие отряды и шайки башибузуков. Наши конные полки, несущие аванпостную службу, вели с ними решительную борьбу. Нарвские гусары были постоянно в деле.

Стояла страшная жара при полном безветрии. Пыль, поднятая войсками, висела в раскаленном воздухе белесыми неподвижными облаками. Каменистая земля трескалась от зноя.

Русское наступление пока развивалось успешно по всем трем направлениям.

Передовой отряд генерала Гурко, преследуя противника, обращенного в бегство мощным артиллерийским огнем, освободил Тырново, а 1 июля по Хаинкийскому перевалу перешел Балканы. Через неделю его войска, взаимодействуя с частями генерала Святополк-Мирского, одновременно ударом с юга и севера выбили турок с Шипки.

Западный отряд тем временем внезапно атаковал дунайскую крепость Никополь. После первого жестокого боя, не дожидаясь решительного штурма, турки капитулировали. В плен было взято семь тысяч солдат, 105 офицеров и два генерала. В качестве трофея русским досталось 113 крупновских орудий и два поврежденных огнем монитора.

Болгарское население повсюду встречало своих освободителей как братьев. Об этом с плохо скрываемым неудовольствием, но вполне красноречиво писала лондонская «Таймс»:

«Нельзя ни на минуту сомневаться в том, что русские здесь желанные гости. Бедный народ буквально плакал, молился, бросался на шею своим освободителям, осыпал

их цветами... С английской точки зрения особенно важен тот факт, что перед победителями с радостью открывались все двери и что каждый, кто мог, встречал их хлебом и вином. Языки этих двух народов столь близки, что, когда русские говорят по-русски, а болгары по-болгарски, они хорошо понимают друг друга...»

Дошли слухи о смятении в Константинополе. Султан Абдул-Гамид повелел сместить с постов и предать суду главнокомандующего Абдул-Керим-пашу и его начальника штаба. Заодно был уволен и военный министр.

Новым главнокомандующим стал Мехмет-Али-паша, противостоящий со своими войсками Рушукскому отряду. Под этим именем против русских воевал человек с довольно запутанной биографией международного авантюриста и космополита. Сын онемеченного французского музыканта из Магдебурга Карл Дитрих Детруа, не окончив низшей школы, убежал из дома. Служил корабельным юнгой. Попал в услужение к турецкому визирю. С готовностью переменив религию и национальность, выступил ярким поборником мусульманства. Искусно обвиняя своих конкурентов в недостаточной верности знамени ислама и умело используя помощь своего могущественного покровителя, стал турецким пашой. Россию ненавидел патологически и мечтал перестроить турецкую армию на прусский манер...

Успехи первых трех недель боевых действий на территории Болгарии вскружили голову высшему русскому командованию. И в штабе и в ставке императора царили радужные настроения. Все шло как по маслу. По Румынии прошли беспрепятственно. Удачно, с малыми потерями переправились через Дунай. Первые турецкие крепости сдавались почти без боя. Передовые русские отряды перешли Балканы. По всем признакам театр военных действий вот-вот должен перенестись в район Царьграда. Кампания обращалась в триумфальное шествие...

Петербургские газеты трубили о скорой виктории. В Исаакиевском соборе служили благодарственный молебен, а в трактирах фисгармонии играли государственный гимн.

Придворные военные чины в ставке подобострастно поздравляли веселого развратившегося императора и превозносили его личные заслуги. Искрилось шампанское.

И в эти же самые дни отборная армия Османа-паши стремительным скрытым маршем двигалась из Видина к Плевне, а в Деде-Агаче, на северном побережье Эгейского

моря, высаживался с быстроходных английских пароходов спешно переброшенный из Черногории закаленный в боях с повстанцами корпус Сулеймана.

При походной ставке наследника цесаревича, двигавшейся вслед за наступающими войсками, среди прочих высших офицеров и должностных лиц находился губернатор Рущука генерал-майор Василий Григорьевич Золотарев. Назначен он был на эту должность еще в июне в Зимнице, накануне начала переправы русских войск через Дунай.

Теперь генерал Золотарев с обширной канцелярией ехал исполнять свои прямые служебные обязанности. Дело стояло, как говорится, за немногим: надо было взять у турок Рущук. А отдавать свою сильнейшую дунайскую твердыню, возведенную по последнему слову военно-инженерного искусства английскими и австрийскими фортификаторами, турки, судя по всему, не собирались. Особенно теперь, когда их восточную группировку возглавлял сам главнокомандующий всей турецкой армии...

Выйдя к реке Кара-Лом, русские войска приостановили движение и образовали по ее берегам фронт длиной более 70 верст, прикрывающий собой важнейшие дунайские коммуникации и левый фланг активно действующего Передового отряда.

Полковник Пушкин получил приказ наряду с аванпостной службой приступить к рекогносцировке Рущука и прилегающей к крепости местности. Аналогичные распоряжения получили и другие командиры. Штабу цесаревича срочно нужны были разведывательные данные.

Командир нарвцев решил использовать для разведки всевозможные методы: и усиленную рекогносцировку, как тогда называлась разведка боем, с направлением эскадронов в стремительные рейды по турецким тылам, и захват «языков», для чего полку была придана небольшая группа охотников-пластунов, и посылку лазутчиков, для роли которых надо было активно использовать болгарских добровольцев из мирных жителей. Не исключал Пушкин и прессу, поскольку вездесущие иностранные корреспонденты часто выбалтывали на страницах своих газет очень важные, а порой секретные сведения относительно состава, вооружения и перемещения войск воюющих сторон. Одному из офицеров штаба полковник специально поручил

сбор и систематизацию периодической печатной воследней информации.

Вскоре добытые разными путями сведения были объединены полковником Пушкиным в соответствующем донесении. Анализируя оборонительную систему Рущука, полковник указывал, что наиболее слабая часть крепости есть юго-восточная, где имеются господствующие высоты. Именно отсюда, видимо, и надо вести осаду и штурм Рущука. Однако в том же донесении командир нарвских гусар позволил себе высказать мнение, что штурм Рущука без основательной и долговременной подготовки был бы делом чрезвычайно пагубным для русских войск ввиду огромного количества жертв. Это было совершенно очевидно.

После неудач под Плевной из Главной квартиры последовал приказ войскам восточного фронта перейти к прочной обороне. Ни о каком штурме Рущука цесаревич теперь не помышлял.

Узнав об этом, Пушкин облегченно вздохнул:

— Вот уж впрямь не было бы счастья, да несчастье помогло... А то бы еще одну Плевну имели. Да, пожалуй, пострашнее...

Горько было слушать о больших потерях русских войск. Знакомый офицер связи, бывший под Плевной во время второго штурма, рассказывал о том, как батальоны, по предписанию Криденера, шли с музыкою в сомкнутых построениях под турецкую картечь...

Невольно вспоминались Александру Александровичу строки из отцовского «Путешествия в Арзрум» о штурме турецкой батареи: «С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою».

Было это в 1829 году. Считаю, полвека прошло. И вооружение давно переменялось. Турки бьют из английских винтовок на две тысячи шагов прицельно, да и пушки у них крупновские, не чета прежним. А русская наступательная тактика все та же — отвечать на вражеский огонь по преимуществу «барабанным боем и музыкою...». До каких же пор будет это продолжаться?..

В начале августа начальник штаба Рущукского отряда генерал-лейтенант Петр Семенович Ванновский отдал при-

каз пехоте и артиллерии усилить полевые укрепления, а кавалерийским частям выдвинуться вперед, образовать сплошную аванпостную линию по всему фронту. Ожидалось, что после успехов на западе турки непременно начнут активные действия здесь, на востоке.

13-й Нарвский полк выставил дозоры на своем участке вдоль обрывистого берега Кара-Лома, в непосредственной близости друг от друга, по два конных гусара на каждом. Сменные посты несли свою зоркую службу день и ночь.

Однако новый турецкий главнокомандующий Мехмет-Али-паша оказался еще более осторожным, нежели его предшественник. Никакой активности он пока не проявлял. На том берегу Кара-Лома в зоне видимости гусарских аванпостов производились бесконечные перемещения турецких отрядов: скакали взад-вперед шайки башибузуков, маршировали, алея фесками, таборы низама, грохотали тулумбасы, медью и сталью поблескивали на солнце пушки, иногда открывавшие стрельбу холостыми. Судя по всему, у турок шли военные учения.

Трижды на рассвете под покровом тумана конные неприятельские отряды пытались в разных местах перейти Кара-Лом и произвести рекогносцировку русских позиций, но всякий раз нарвские гусары решительным сабельным ударом опрокидывали их в реку, а потом метко били вдогон отступавшим из своих карабинов. Турки несли значительные потери, а у гусар не было даже раненых.

Полковника это искренне радовало: нет, не зря столько сил и времени было отдано в каменистых яругах под Яновом учебным атакам, а особенно стрельбам. Все пригодилось. И как тут не вспомнить добрым словом штаб-ротмистра Максимова. Где-то сейчас любезный Евгений Яковлевич? С началом военных действий связь с ним прервалась. По слухам, он в качестве военного специалиста находился в последнее время при штабе сербской армии князя Милана. Может, еще и приведет бог встретиться здесь, за Дунаем...

9 августа Мехмет-Али-паша решил наконец атаковать русских. Местом атаки была выбрана небольшая деревушка Аяслар, не так далеко от которой находились и позиции нарвских гусар. Удар турецкого низама приняли на себя Невский и Софийский пехотные полки, которые сумели не только выстоять перед натиском неприятеля, но и снова потеснили его на другой берег Кара-Лома.

Ранним утром 11 августа им на смену подошел из ре-

зерва Болховский полк, в составе которого был и вольноопределяющийся Всеволод Гаршин. Турки предпринимали отчаянные попытки выбить русских с захваченного ими поросшего колючим кустарником каменистого холма. Болховцы, выстояв, сами перешли в контратаку. Этот бой Гаршин вскорости подробно опишет в своем очерке «Аясларское дело», который в ноябре 1877 года появится в воскресном прибавлении к газете «Новости»...

Через неделю турки начали массированное наступление 40-тысячной группировкой войск под командованием Ахмеда-Эюба. Перед ним была поставлена задача прорвать фронт Рущукского отряда в центре, выйти по наиболее короткому пути к Беле, а затем отрезать русских от Систовской переправы, единственного пункта, через который осуществлялась связь Дунайской армии с тылом.

Первый удар был нанесен по войскам 13-го корпуса, которые не выдержали натиска намного превосходящих сил противника и были вынуждены оставить свои позиции на берегу Кара-Лома.

Ободренный успехом Ахмед-Эюб повел наступление на Капелево и Аблаву. Здесь разгорелись самые жестокие бои.

Штаб цесаревича, видимо, отчетливо не представлял себе серьезности создавшегося положения. О резервах на участке возможного прорыва никто не позаботился. Туда не были даже подвезены дополнительные боеприпасы. В тот момент, когда части 13-го корпуса, яростно отбиваясь от наседавшего противника, неся тяжелые потери, медленно, в полном боевом порядке отходили назад, на следствии в сопровождении многочисленной свиты затеял на северном участке фронта парадный объезд передовых позиций с построениями и рапортами по всей форме.

Сражающиеся русские войска, не получавшие вразумительных приказов, действовали самостоятельно. Снова все решалось мужеством и выдержкой русского солдата и инициативностью отдельных командиров.

Во время жестоких августовских боев на высоте оказался и 13-й Нарвский гусарский полк. Он был в деле почти непрерывно. Нарвские гусары самоотверженно прикрывали отход наших частей, предпринимая горячие контратаки против наседавших турок. Они громили и башибузуков, и регулярную конницу низама, и, используя стремительность маневра, наносили успешные удары по неприятельской пехоте.

Эти тяжелейшие дни полковник Пушкин много раз сам водил в бой свои эскадроны. Храбрости и умения ему было не занимать. Великолепный наездник, Пушкин отличался меткостью стрельбы, в совершенстве владел холодным оружием. Гусары разом приободрились, когда увидели впереди сухощавую, быструю фигуру полковника. По натуре мягкий и добрый человек, в нужной обстановке Александр Александрович превращался в крепкого, волевого командира. Даже в самой горячей схватке он не терял хладнокровия и выдержки, отлично понимая, что от его действий во многом зависит жизнь подчиненных. Полковник не терпел беспечности и пренебрежения к противнику. Своим офицерам он неоднократно говорил:

— Умейте уважать неприятеля. Никогда не считайте его глупее и слабее и стремитесь в решительной ситуации как бы поставить себя на его место...

Кавалерийский бой, в котором иногда все решается за несколько минут, по глубокому убеждению Пушкина, должен строиться на строгом расчете и умении молниеносно оценивать обстановку. Он не верил в слепую удачу и любил повторять суворовские слова: «Сегодня счастье, завтра счастье — помилуй бог! Надобно сколько-нибудь и ума...»

Нарвцам не раз в эти дни приходилось туго. Под полковником Пушкиным пали от турецких пуль шесть лошадей. Эфес его сабли был погнут ударом кривой черкесской гурды. Осколком турецкой гранаты, резанувшим вскользь, ему как бритвой рассекло лакированное голенище сапога. Однако, как говорится, бог миловал — на теле не было ни царапины. А потери полка становились все ощутимее. Заметно поредели эскадроны. Тяжело ранен добрейший Гаврила Ипполитович Ишутин. Вражеской пулей в лицо убит полковой священник отец Анфимий...

Но гусары в побелевших от въедливой пыли мундирах, давно расстреляв все патроны, снова и снова бросались на врага, спасая порой попавшие в беду части от неминуемой гибели.

Вот как опишет позднее один из защитников оставшейся без снарядов русской батареи атаку нарвских гусар:

«В критический момент откуда-то сбоку, из лощины, заросшей рыжим колючим кустарником, словно из-под земли, вылетел эскадрон нарвских гусар, отсекая от наших ложементов дикую орду башибузуков... Неприятель-

ских всадников было больше чуть ли не вдвое. Однако они разом осадили коней, завопили «алла!» и начали беспорядочно палить из своих английских магазинов. Нарвцы скакали без выстрела. Ближе, ближе... И тут же стрельба разом прекратилась. Только пыль да взлетающие молнии палашей. В какие-то считанные минуты банда была рассеяна. Наши батареи, уже готовившиеся принять лютую мученическую смерть, начали приходить в себя. Многие молились и плакали...»

Знойный, огненный август подходил к концу. Изнывающий от жары и тоскливой злобы Мехмет-Али-паша, он же Карл Детруа, в своем роскошном шатре пил с давним приятелем прусским атташе бароном фон Розенау вонючий матросский джин, к которому пристрастился еще во время своих корабельных скитаний, нервно грыз бескровные синеватые ногти и ждал грозы из Стамбула. Мысли главнокомандующего были мрачными.

Наступление, на которое он возлагал столько надежд, сорвалось. Этому хвастливому, распытому золотом Ахмеду-Эюбу так и не удалось прорвать фронт проклятых русских. А ведь он дал ему лучшие таборы низама. Что осталось от них после этого наступления? Все дороги забиты ранеными. А результат? Русских лишь кое-где удалось потеснить с их позиций. Путь же на Белу и Систов по-прежнему закрыт. Резервы почти все исчерпаны. Остаются лишь гарнизоны крепостей да стоящий между Рущуком и Силистрией отряд не в меру строитивого египетского принца Гассана, солдаты которого путаются в своих полосатых бурнуссах. С этими навоюешь...

Мехмет-Али-паша снова потянулся к граненой бутылке и плеснул пахучей жидкости в золоченые узорчатые пиалы.

— Хотите, Карл, я разом подниму ваше настроение? — спросил его барон, взяв пиалу и близоручо шурия свои маленькие круглые глаза, опущенные желтыми ресницами. От матросского пойла он уже изрядно охмелел. — Русский император Александр вот уже несколько ночей мучается жестокой бессонницей. Боюсь, что он потерял и аппетит. И знаете, что привело его в такое состояние? Дружеский совет нашего мудрого канцлера Бисмарка австрийцам. Следуя этому совету, они затеяли военные маневры. И их конный корпус, сбившись с дороги, «слу-

чайню» перешел границу Румынии, оказавшись в русском тылу. Об этом сразу же стало известно императору Александру. Сейчас светлейший князь Горчаков бомбардирует Вену секретными депешами. А русский царь подвергает свое августейшее здоровье испытанию — не спит по ночам и отказывается от еды. И все из-за этих грубых мужланов, перадивых австрийских драгун, не умеющих ориентироваться по карте...

Турецкий главнокомандующий криво улыбнулся, поднял палу и хрипло сказал:

— За Пруссию!

— За Великую Германию! — в тон ему провозгласил барон Розенау и вскинул голову. Хмельная дымка, подернувшая его взгляд, мгновенно рассеялась. Блеснул холодноватый серый металл, от которого Мехмету-Али-паше стало не по себе. Уж кто-кто, а он отлично знал, что прусский военный атташе своими круглыми близорукими глазами, если надо, умеет видеть далеко. Очень далеко...

Настроение главнокомандующего и вправду поднялось. Собственные неудачи уже начинали ему казаться не столь значительными. В конце концов инициативой на восточном фронте пока владеет он. И, слава аллаху, здесь русским не сдано ни одной крепости. А неудавшееся наступление можно будет возобновить, если Стамбул даст дополнительные резервы... И еще неизвестно, как пойдут дела у его конкурентов. Не расколотит ли себе лоб этот выскочка Сулейман, штурмуя Балканские перевалы? Хитрый Осман, конечно, будет отсиживаться со своей армией в Плевне. Но русские обложили его, как медведя в берлоге. Еще вопрос — сумеет ли потом он оттуда вырваться?..

На восточном фронте третью неделю шли затяжные, неугомонные дожди. Низкие серые тучи, как привязанные, висели над вершинами окрестных холмов. Земля раскисла и отяжелела. На солдатские сапоги налипали пудовые комья густой маслянистой грязи. Дороги напоминали канавы, залитые водой.

Ни русские, ни турецкие войска не двигались с места. Да и куда двинешься в этукую непролазь? На фронте снова установилось затишье.

Полковник Пушкин сидел в своей палатке и, зябко кутаясь в старую отцовскую кавказскую бурку, разбирал только что прибывшую корреспонденцию. Ему что-то

нездоровилось. В палатке кисло пахло промокшим брезентом и прелой грибной сыростью.

Писем было много: от брата Григория, от Маши, от Анны Николаевны Васильчиковой, от старших детей... Слава богу, все у них ладно. Они сообщали домашние новости, скучали и тревожились о нем, желали скорого возвращения.

Перечитав письма, Александр Александрович нетерпеливо взялся за прессу. Английские и австрийские газеты громогласно и торжественно сообщали о невиданном поражении русских под Плевной. Приводились цифры потерь одна другой чудовищнее. Стремясь перещеголять друг друга, корреспонденты сообщали, что Дунайской армии как таковой уже практически не существует, что, по самым достоверным сведениям из Главной квартиры, царь Александр намерен в ближайшие дни отдать приказ о всеобщем отступлении и позорном возвращении в Россию. На видных местах печатался большой портрет бородатого, расшитого галунами великого и непобедимого Османа-паша...

Русские газеты безмолвствовали. Пушкин просмотрел одну, другую. О неудаче под Плевной ни слова. Развернул волглые листы суворинского «Нового времени». В пространной корреспонденции с Балкан восторженно описывалась стойкость русского солдата под вражеским огнем:

«Солдат, который идет вперед, не выпуская патронов, — образцовый, дисциплинированный солдат. Это идеал атаки. Трудно поверить, какой соблазн огорошить неприятеля огнем, а не ждать молчаливо штыкового боя... Огонь турок был таков, что даже между музыкантами были потери. Трубы перебиты пулями. Граната, разорвавшаяся в середине хора, вынесла из строя шестерых. И под этим огнем идти без выстрела, повторяю — каков должен быть солдат для этого!..»

Далее в том же духе. Пушкин вздохнул и болезненно поморщился.

«Тебя бы в середину этого хора, господин журналист, — зло подумалось ему, — опять отвечаем на вражеский огонь барабанным боем и музыкою... И это преподносится как идеал атаки. Сколько крови нам стоит этот идеал! И сколько еще будет стоять... В том-то и беда, что так же вот, как этот корреспондент «Нового времени», думают и многие воинские начальники, посылающие своих

подчиненных прямехонько на убой. Ужели эта страшная война их ничему не научила и не научит?..»

Снова Пушкин мучительно думал о том, что же в конце концов произошло под Плевной? В торжествующие клики европейских газет верить не хотелось. Почему же нет никаких сообщений по армии? По частям уже ходят темные слухи. Порой самые невероятные.

Эта система таинственности и неопределенности, столь распространенная в армии, да и во всем государстве Российском, действовала угнетающе. Невольно думалось: почему же правительство и высшее командование так опасаются сообщать войскам и всему народу правду? Пусть горькую, трудную, но правду. Почему о неудачах своих мы вынуждены узнавать из иностранных источников? Тут одно из двух: правительство не уверено либо в себе, либо в народе...

Гроза из Стамбула, которую ждал Мехмет-Али-паша, хоть и с опозданием, но все же разразилась. Незадачливый главнокомандующий был смещен со своего поста и переведен на оборонительные работы в Софию...

Однако его головокружительная карьера, столь обильная взлетами и падениями, на этом не кончится. За него вступятся могущественные друзья. О нем перед молодым горячим султаном будет вкрадчиво хлопотать Дизраэли. Не забудет его и Бисмарк. Имя Мехмета-Али-паши еще всплывет на Берлинском конгрессе, где он, плетя хитроумные интриги, постарается сделать все, чтобы лишить ненавистных ему русских плодов их такой великой кровью завоеванной победы...

На восточный фронт прибыл новый главнокомандующий — жестокий и решительный Сулейман-паша, корпус которого так и не смог оседлать Шипкинский перевал, обороняемый русскими солдатами и болгарскими ополченцами с невиданным упорством.

Сулейман рьяно взялся за исполнение все того же давнишнего турецкого плана, который не удалось осуществить двум предыдущим главнокомандующим: прорвать восточный фронт, выйти к Систовской переправе и отрезать Дунайскую армию от России.

Не мешкая он бросил 32-тысячную группировку при 54 орудиях против русского 12-го корпуса в районе Пиргоса — Мечки — Трестника. В успехе Сулейман не сомне-

вался, ибо обеспечил своим войскам на этом участке более чем двукратное превосходство в силах. Однако туркам удалось лишь первоначально потеснить левый фланг русских, которые тут же перешли в контратаку и отбросили неприятеля на прежние позиции.

Разъяренный Сулейман решил нанести второй удар, мощный и коварный, в самое уязвимое место — в стык восточного фронта и Южного отряда генерала Радецкого.

— Я всажу свои отборные таборы, как ятаган, в ослабленное подбрюшье русской обороны. Этот кружной путь станет самым коротким к победе. Войска поведу сам. Трусов у меня не будет. Да поможет мне аллах!.. — сказал Сулейман на военном совете. Его черные навывкате глаза с желтыми болезненными белками горели недобрый огнем.

30 тысяч низама, сопровождаемых шайками башибузуков, под знаменем самого главнокомандующего устремились к Елене. Этот маленький городок, с трех сторон зажатый горами и прикрывавший дорогу на Тырново, оборонял четырехтысячный отряд генерала Домбровского. Здесь суждено было разыграться еще одной кровавой трагедии Балканской войны.

13-й Нарвский гусарский полк был поднят ночью по тревоге. Полковник Пушкин получил предписание начальника кавалерии Рушукского отряда барона Александра Федоровича Дризена немедленно форсированным маршем двигаться к Елене и, взаимодействуя с другими конными частями и действуя по обстановке, попытаться с ходу атаковать захваченный турками город.

К исходу следующего дня полк вышел в окрестности Елены, где гусары встретили первые разрозненные группы солдат и офицеров разбитого отряда генерала Домбровского. Были здесь и потерявшие коней драгуны, и оставшиеся без пушек артиллеристы, и севцы, и брянцы... Вид у них был не очень приглядный: многие без мундиров и шинелей, в одном нижнем белье и сапогах и, чтобы согреться, кутались в пологнища от палаток. Горько было слушать их рассказы о том, что произошло под Еленой.

Преступную беспечность, как оказалось, проявил командующий 11-м корпусом барон Деллинггаузен. Привыкнув к пассивности турок на своем участке, он даже мысли не допускал о возможности здесь их крупного массированного наступления. На донесении командира 13-го драгунского полка, сообщавшем об опасном перемене-

щении неприятельских войск, барон собственноручно наложил резолюцию: «Вы таких страстей наговорите про турок, что ночью приключится кошмар...» Донесение было спокойно подшито к делу.

И кошмар действительно приключился. На рассвете 4 декабря таборы Сулеймана яростным ударом с двух сторон, смяв драгунские аванпосты и захватив передние русские траншеи, бросились на наш лагерь. Началась дикая, кровавая резня. Полураздетые солдаты и офицеры, едва успев понять спросонья, что происходит, хватали ружья и кидались в рукопашную схватку. Однако силы были не равны. Началось отступление. На узких улочках Елены, загромажденных артиллерийскими фурами, пушками, патронными ящиками, творилось что-то невообразимое...

Турки обходили город, стремясь окружить и запереть русских в котловине, не дать им пробиться к гребню большого близлежащего холма, который мог бы послужить отступающим естественной оборонительной позицией.

Блестяще проявил себя в этой опаснейшей ситуации командир Орловского полка полковник Клевезаль. Собрав две роты своих пехотинцев, он повел их в штыковую атаку. Орловцы из состава этих двух рот погибли почти все до одного, однако турок сдержали и дали возможность остальным русским частям пробиться из окружения.

Наши потери были значительны. Особенно пострадали Севский и Брянский полки, покрывшие себя славой при обороне Севастополя и героически сражавшиеся в недавних боях на Шипке.

От полного разгрома отряд Домбровского спасло только то, что турки, натолкнувшись на отчаянное сопротивление отступающих русских, не решились их преследовать, а по своему обыкновению, захватив город, предпочли тут же заняться его грабежом. Самонадеянный Сулейман был уверен в своей силе и решил дать отдых охмелевшим от победы и крови таборам перед дальнейшим наступлением.

Вслед за нарвцами на ближние подступы к Елене форсированным маршем подошли и другие кавалерийские части: ахтырские гусары, 12-й казачий полк под командованием георгиевского кавалера лихого полковника Крещетицкого... Посоветавшись между собой, русские командиры решили сделать ставку на стремительность и внезапность: атаковать город конными соединениями с трех сторон, не дожидаясь подхода резервной пехоты. Непре-

менно хотели участвовать в деле хотя и потрепанные, но не сломленные духом части отряда генерала Домбровского. У них с турками были свои счеты.

Ранним утром по единому сигналу кавалерийские полки ринулись в атаку. Ахтырские гусары и казаки, обтекая город с двух сторон, брали его в кольцо. Полковник Пушкин во главе своих нарвцев мчался прямо к Елене. Под копытами разогнавшихся коней гудела и стонала примороженная с ночи земля. Могучее «ура» грозным валом накатывалось на город.

Расчет на быстроту и внезапность целиком оправдал себя. Турки, упоенные успехом и грабежом, не ожидали ответного удара русских. Да еще такого! Вражеские батареи успели сделать по нескольку выстрелов и испуганно замолчали. Над летящими конными лавами зависли, медленно тая, белые кудрявые облачка турецких шрапнелей. Урона наступающим они почти не причинили. В городе началась паника. Первыми вымахнули из Елены с воплями ужаса и бросились врассыпную шайки башибузуков. За ними беспорядочно побежали хваленые отборные таборы Сулеймана. В толпах отступающих мелькнуло несколько раз и сникло зеленое знамя главнокомандующего...

Нарвские эскадроны, ворвавшиеся в узкие улочки Елены, круша на своем пути неприятеля, стремительно пронзали город. Резко и отрывисто били гусарские карбины. Звенела неистовая сталь палашей.

То тут, то там вспыхивали пожары. Турки, как всегда при отступлении, начали поджигать болгарские дома. Полковник Пушкин приказал части своих гусар спешиться и помочь мирным жителям бороться с огнем. Город был спасен.

В течение нескольких суток 13-й Нарвский полк преследовал беспорядочно отступающего неприятеля. С ходу был занят и освобожден город Бобров. Гусары еле держались в седлах от усталости. Окончательно выбились из сил и кони. Полковник Пушкин отдал приказ прекратить преследование.

Здесь, в Боброве, нарвцы узнали радостную и долгожданную весть: Плевна пала! Осман-паша со всей своей армией капитулировал.

В низеньких болгарских храмах служили благодарственный молебен. Возбужденные гусары обнимали друг друга. Пленные турки с серыми, сумрачными лицами

протягивали руки к русским и монотонно твердили: «Эк-мек... Эк-мек...» *.

Хлеба у победителей не было.

В морозном воздухе свежо и молодо пахло первым снегом.

Через несколько дней после падения Плевны Александр II пригласил к завтраку пленного Османа-пашу и в благородном порыве вернул ему саблю. Потом государь, произведя здесь же, под Плевной, на берегу реки Вид, прощальный смотр войскам, в сопровождении свиты торжественно отбыл с Балканского военного театра в Россию. Кампанию он считал блистательно и победоносно завершённой.

В сыром холодном Петербурге готовили к пышной встрече ковры и красное сукно с горностаевой опушкой. На улицах возводились триумфальные арки и опробовалась грандиозная иллюминация из газовых рожков. Северная столица собиралась чествовать государя-победителя.

Однако до окончательной победы над Оттоманской Портой было еще не так близко.

Дунайской армии предстояло совершить невероятные по трудности переходы через зимние Балканы, вступить в жесточайшие, кровопролитные сражения на подступах к Софии и у Шипки — Шейнова, под Хаинкиоем и Филипполем... На пути к победе она еще должна была потерять десятки тысяч солдат и офицеров — убитых, раненых, больных, обмороженных, перенести нечеловеческие страдания и лишения и, осилив все, принести наконец своим поработанным, истерзанным братьям свободу.

В летопись этой великой и страшной войны еще предстояло вписать последние строки и 13-му Нарвскому гусарскому полку. В январе 1878 года он примет участие в новой серьезной боевой операции по перекрытию Сливенского шоссе, по которому устремятся к Константинополю многочисленные отступающие турецкие отряды. Бок о бок с нарвцами в эти дни будут самоотверженно сражаться под единым командованием А. А. Пушкина дружины болгарского ополчения. В боях на Сливенском направлении под городом Котлом и гусары, и болгарские добровольцы снова проявят себя стойкими и мужественными воинами.

* «Эк-мек!» — «Хлеба!» (тур.).

Совместно пролитой кровью они еще раз скрепят дружбу наших братских народов.

В разгар зимнего наступления всегда державшийся подальше от боевых действий генерал-майор фон Роден умрет от апоплексического удара.

А штаб-ротмистр Максимов еще вернется в родной полк в щедром сиянии сербских и черногорских боевых регалий. Будет снова нести службу, а когда разразится в далекой Африке англо-бурская война, уедет туда волонтером сражаться за свободу против колонизаторов и встанет во главе Европейского добровольческого легиона. Ему суждено будет погибнуть в русско-японскую войну...

За личные боевые качества, за высокое воинское искусство, проявленное в Балканском походе, полковник Александр Александрович Пушкин по высочайшему приказу будет награжден золотой Георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

Много наград получают и гусары его полка.

После подписания Сан-Стефанского мира, весной 1878 года 13-й Нарвский полк вернулся в Россию и был расквартирован в городе Козлове Тамбовской губернии. Здесь один из боевых офицеров, Николай Владимирович Быков (племянник Н. В. Гоголя), служивший при Александре Александровиче адъютантом, женился на одной из дочерей своего командира — Марии. Так породнились семьи Пушкина и Гоголя...

В июне 1880 года А. А. Пушкин был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 13-й кавалерийской дивизии. А в 1891 году в чине генерал-лейтенанта в возрасте 57 лет вышел в отставку «с мундиром и пенсией».

В 90-х годах старший сын поэта занимает многие общественные и государственные должности, активно трудится на ниве народного просвещения. Он заведует коммерческим училищем в Москве, одновременно являясь опекуном Александровского и Екатерининского женских институтов, а затем избирается председателем Московского присутствия опекунского совета...

Очень много сделал Александр Александрович по сохранению наследия своего великого отца. В начале 60-х годов он спас от гибели знаменитую пушкинскую би-

библиотеку. А позднее передал в дар Румянцевскому музею все ревностно собираемые им бесценные пушкинские реликвии — архивы, рукописи, письма, личные вещи Александра Сергеевича и Натальи Николаевны.

Александр Александрович Пушкин прожил долгую, богатую событиями жизнь. Современники, знавшие его, отмечают редкостное обаяние и благородство этого человека, его постоянное сочувствие родному народу.

После «кровавого воскресенья» 9 января 1905 года старый генерал демонстративно заказал обедню «по безвинно убиенным», на которой присутствовала вся семья Пушкиных. Александр Александрович в эти дни не скрывал своего возмущения. «Не могу понять... никак не могу понять, почему стреляют в безоружных людей?..» — говорил он.

9 июля 1914 года в своем сельце Малое Останкино Каширского уезда Московской губернии он узнал о начале войны России с Германией. Будучи тяжело больным, А. А. Пушкин велел подать свой генеральский мундир и говорил о том, что еще послужит отечеству. Но вскоре снова слег и в этот же день умер.

С. Семанов

«ШИПКА» НА МОРЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ

Главное поле освободительной войны 1877—1878 годов было на перевалах Балкан, в цветущих болгарских долинах. Да, так. Но шла еще ожесточенная война на море, велись упорные и кровопролитные сражения в горах Закавказья.

На море турки имели подавляющее превосходство. И они... проиграли. Проиграли полностью!

Они надеялись наступать в Закавказье и прорваться к Тифлису, чтобы отвлечь главные русские силы от Балканского театра. В итоге боев турки... отступили к Арзеруму.

Это было достигнуто исключительно мужеством русских матросов, солдат и младших боевых офицеров. Вышее русское командование и на море и в Закавказье было откровенно слабым.

Вот почему героями очерков об этих событиях мы выбрали будущих знаменитых военачальников, а в то время лейтенанта Макарова и поручика Брусилова. Они были в самом пекле яростных атак и контратак. И для Макарова и для Брусилова русско-турецкая война стала боевым крещением.

Лейтенант Макаров

Яркое весеннее солнце исчезло за горизонтом. Вечер выдался тихий, теплый. Волны, словно устав за день, улеглись. Корабли, стоявшие в Севастопольской бухте, казалось, тоже отдыхали, застыв у пирсов или приткнувшись к якорным бочкам. Но если корабли были неподвижны и даже черный дым не курился над трубами, то

на палубах происходило движение самое оживленное. С орудий снимались чехлы, люки трюмов были открыты, около них натруженно скрипели лебедки, на палубных досках тускло мерцали не убранные в погреба снаряды. Один из кораблей имел вид несколько странный. Вернее, не странный, а непривычный. Торговое судно, самое обыкновенное: хрупкий корпус, легкие надстройки, все как полагается хорошему «купцу» (так военные моряки снисходительно именуют суда своих мирных коллег). Но почему же тогда у борта «кушца» стоит баркас со снарядами? И снаряды эти поднимают на борт? А посреди палубных лебедок, мостиков и люков торчат орудийные стволы? Вот эти-то стволы и придавали мирному «купцу» непривычный для глаз бывалого моряка вид.

На судне пронзительно засвистала боцманская дудка. Матросы, перескакивая через разбросанные на палубе предметы, стремглав кинулись к борту, ностроились, замерли. Длинная белая шеренга матросов и короткая черно-бело-золотая шеренга офицеров. Замерли все. Только один человек на корабле имел право в этот миг двигаться. Это командир. Крупный, широкоплечий, с длинными, вжслыми, как у запорожца, усами, он подался вперед и заговорил:

— Война объявлена. Мы идем топить турок. Знайте и помните, что наш пароход есть самый сильный миноносец в мире и что одной нашей мины совершенно достаточно, чтобы утопить самый сильный броненосец. Клянусь вам честью, что я не задумаюсь вступить в бой с целой турецкой эскадрой и что мы дешево не продадим нашу жизнь...

Громовое «ура!», разнесшееся над Севастопольской бухтой, было ему ответом.

По темному борту корабля шла надпись затейливой славянской вязью: «Великий князь Константин».

Командиром корабля был лейтенант Макаров.

Стоял вечер 12 апреля 1877 года. Началась русско-турецкая война.

Как только у южных границ России начали сгущаться тучи военной опасности, Макаров стал добиваться перевода его на Черное море. Впоследствии он скажет: «Вряд ли за всю жизнь я проявил столько христианского смирения, сколько за эти два месяца. Иной раз не только язык — руки! — так и чесались!»

В октябре 1876 года Макаров наконец добился приказа о переводе его на Черное море. Много раз уже ему приходилось собираться в неблизкий путь, и сборы были коротки и точны: с присущим ему педантизмом в быту Макаров собрал только самые необходимые вещи и с легким чемоданом выехал из Петербурга в Севастополь. Вместе с ним выехали еще несколько морских офицеров, в том числе и старый товарищ Макарова лейтенант Измаил Зацеренный.

Надо сказать, что, с точки зрения службиста, назначение это было незавидным: в 70-х годах прошлого столетия русский Черноморский военно-морской флот, столь славный в прошлом и столь мощный в будущем, находился в плачевном состоянии. И тому имелись свои печальные причины. После трагической неудачи в Крымской войне Россия была лишена права иметь на Черном море военный флот и военно-морские базы. В 1871 году русское правительство дипломатическим путем добилося отмены этих униительных для национального самодобия и крайне опасных в военном отношении ограничений.

Черноморский флот пришлось создавать заново. Строительство велось к тому же не слишком энергично, и в результате к 1876 году южные берега России оказались, по существу, не защищены со стороны моря. И в самом деле, в то время когда Макаров выехал в Севастополь, в составе Черноморского флота числилось два броненоса береговой обороны («поповки»), тихоходные, недостаточно вооруженные, хотя и сильно бронированные корабли, а также четыре устаревших корвета и несколько военных шхун. И все. А у «вероятного противника» — так еще полагалось называть Турцию — в то время имелось 22 броненосных корабля и 82 неброненосных. Турецкие броненосцы — основная сила вражеского флота — были вооружены мощными английскими орудиями фирмы Армстронга, имели достаточно хорошие по тем временам ход и бронирование. Командовал султанским флотом Гобарт-паша — английский офицер на турецкой службе, вместе с ним служило немало других британских наемников. Главной слабостью турецкого флота была плохая подготовка личного состава. Матрос-турок был забитым, униженным существом, своим положением он незначительно отличался от галерного раба средневековья.

Как видно, силы «вероятных противников» на Черном море были куда как неравны. Кроме того, вблизи Дар-

данелл дымилла многочисленными трубами сильная британская эскадра, а русско-английские отношения в ту пору достигли предельного напряжения, ибо Лондон открыто подстрекал султана. Помощи русским морякам ждать было неоткуда: из Балтики броненосцы волоком не перетащишь...

Итак, Макаров выехал к месту предполагаемых боевых действий, где эти действия ему предстояло вести в крайне неблагоприятной обстановке. Что же, молодой лейтенант хотел погибнуть с честью? Уйти в морскую бездну, не спустив флага? Эффектно, но не в стиле Макарова. Хладнокровно смелый человек, он был бесконечно далек от истерической жертвенности. Беспечная гибель его не нужна делу, она не нужна русскому флоту. Нет, Макаров не собирался гибнуть «просто так», эффектной позы ради, как книжный романтический герой. Ничего, еще потягаемся!

Изучая ратное прошлое родины, Макаров знал, что русские умели успешно вести активные наступательные действия против безусловно сильнейшего противника. «История показывает, — писал он в ту пору, — что мы, русские, склонны к партизанской войне». Но ведь основа партизанской тактики — скрытность нападения, а на морской глади не скроешься. И Макаров пояснял: «Минная война есть тоже партизанская война». И справедливо пророчествовал: «По моему мнению, в будущих наших войнах минам суждено играть громадную роль».

Мины как вид морского оружия применялись уже давно, и наибольший опыт в боевом использовании минного оружия имел русский флот. Еще в середине XIX века известный русский ученый и изобретатель Б. С. Якоби создал новый тип мины, которая неподвижно крепилась на якоре и взрывалась при столкновении с днищем корабля. Во время Крымской войны англо-французский паровой флот имел подавляющее превосходство над русским, состоявшим преимущественно из парусных судов. 8 июня 1855 года английский адмирал Дондас уверенно повел свою эскадру в Финский залив: под его командованием находился гигантский флот, состоявший в общей сложности из 101 корабля с 2500 орудиями. Казалось, ничто не помешает самоуверенному британцу уничтожить северную русскую столицу, смести с лица земли балтийские города России. И что же? Едва вражеская эскадра втянулась в залив, как флагманский корабль Дондаса

«Мерлин» подорвался на mine. Вскоре такая же участь постигла еще три английских парохода. И гигантская эскадра, не совершив никаких подвигов в Балтийском море, бесславно убралась восвояси.

Таким образом, мина уже прочно вошла в боевой арсенал флотов, но как оружие сугубо оборонительное. Темперамент же Макарова с трудом смирялся с действиями оборонительными. Атака, наступление — вот его стихия. Разве мины нельзя сделать оружием наступательным? Для этого нужно добиться того, чтобы не вражеский корабль наталкивался на мину, а чтобы миной можно было атаковать противника по собственной инициативе. В изобретательном уме Макарова зрела мысль: хорошо, почему бы не попытаться атаковать неподвижно стоящий корабль противника? Но это можно сделать только на его же, то есть противника, базе, а катер своим ходом не в состоянии пересечь Черное море. Значит? Значит, нужно быстро и по возможности скрытно доставить катера в гавань, где стоят вражеские корабли, и атаковать их там. Доставить же катера в район атаки можно на специально оборудованном пароходе. Так родилась смелая идея плавучей базы, и мина превращалась теперь в сугубо наступательное оружие. Соответствующие рапорты Макарова поступили в морское ведомство. Ведомство это никогда не отличалось слишком уж большой деловитостью. Однако время было предгрозовое, надвигалась война, и на сей раз проволочек не последовало. Инициатива скромного лейтенанта была одобрена. 13 декабря 1876 года Макаров вступил в командование пароходом «Великий князь Константин».

Пароход этот никак не был приспособлен для боевых действий, а уж для минных атак тем более. Установить на торговом корабле пушки, соорудить артиллерийские погреба, сделать кое-какие переделки в трюме и в надстройках было делом на флоте привычным, и сладили с ним сравнительно быстро. Другое дело — подготовить «Константина» к перевозке минных катеров. Макаров да и все причастные к его предприятию моряки понимали, что от быстроты их действий зависит успех атаки. Четыре тяжелых катера с громоздкими и тоже тяжелыми паровыми машинами приходилось поднимать над водой на три метра. Шлюпбалки «Константина» гнулись и ломались, их пришлось заменить другими, специально изготовленными по чертежам Макарова.

То была еще службинка, не служба. Катера должны атаковать сразу же после спуска на воду, это ясно. Но если они начнут разводиться пары только на воде, пройдет много времени, внезапность атаки — главный козырь Макарова — может быть утрачена. Держать катера на палубе под парами тоже неудобно и к тому же опасно: легко себе представить, что станет с кораблем, если на его палубе будут извергаться дым и искры из четырех низких труб, едва возвышающихся над надстройками. И Макаров нашел остроумное инженерное решение: вода в котлах катеров нагревалась от паровой машины «Константина». Достаточно было теперь поджечь топку на катере (что занимало считанные минуты), и можно идти в атаку. Много хлопот доставляли и минные шести: штука ли — тонкий стержень 8—10 метров длиной, а на конце его мина с 40 килограммами пироксилина. Приспособление это было очень хрупкое, и небрежное обращение с ним могло окончиться плохо. Немало шестов сломалось, много сил и нервов потратил Макаров, пока не пришло нужное решение.

Офицеры — командиры катеров подбирались исключительно из добровольцев. Что и говорить, риск предстоял немалый. На хрупком катере, лишенном всякого вооружения, надлежало приблизиться к вражескому кораблю и подвести мину вплотную к борту. И при этом надеяться, что катер и его экипаж уцелеют от мощного взрыва на расстоянии в восемь метров... Однако не было недостатка в желающих идти под начало Макарова: напротив, охотников участвовать в смелом предприятии набралось гораздо больше, чем требовалось. Как видно, прав был Макаров, полагая, что русские склонны к партизанской войне: в свое время тоже в избытке находились смельчаки, готовые идти в отряды Дениса Давыдова или Сеславина.

Война застала «Константина» в полной готовности к боевым действиям. Макаров рвался в море и буквально засыпал командование просьбами о разрешении ему выйти в боевой поход. Наконец такое разрешение было дано. 28 апреля 1877 года «Константин» с четырьмя минными катерами на борту вышел из Севастополя и направился к Кавказскому побережью, где находилась тогда, по данным разведки, мощная турецкая эскадра.

Поиски противника долго шли без успеха, и лишь в ночь на 1 мая в Батуми удалось обнаружить сторожевой

турецкий корабль. Все четыре катера были спущены на воду и пошли в атаку. Одним из них командовал сам Макаров. В полной темноте на легком, незащищенном суденышке нужно было подойти почти к борту противника и подвести мину под самое днище вражеского корабля. Смерть грозила здесь смельчакам и от огня противника, и от взрыва собственной мины. Первым приблизился к турецкому кораблю катер лейтенанта Зацеренного. Сближение произошло удачно, но мина не взорвалась. Турки открыли огонь и погнались за катером. Вслед за тем в атаку пошел катер самого Макарова. Вновь неудача! Осыпавший пулями неопытный экипаж растерялся и слишком долго готовил мину: благоприятный момент для нападения был упущен. Турецкий корабль увеличил скорость и скрылся. Итак, первая попытка минной атаки не принесла успеха...

Хорошо, когда новое дело начинается с удачи. Тогда все дружно аплодируют смелому инициатору. Известно, победителей не судят. И как трудно продолжать это самое новое дело при первой же неудаче! Сразу объявятся мудрые скептики, которые, пожимая плечами, изрекут: «Мы ведь предсказывали...» И что из того, что сами-то скептики обычно не ходят в атаки...

Первая неудача сильно повредила Макарову. Ранее ему авансом выдавали комплименты, теперь некоторые стали смотреть на него косо. Новизна дела никого словно бы и не занимала, отчаянная смелость моряков словно не трогала. Начальству подавай успех, и поскорее. Что ж, таковы суровые условия для всех, кто следует неизведанными путями. Но не таков был характер командира «Константина», чтобы ступать перед вражеской эскадрой или перед собственной неудачей. Да, в организации атаки были упущения. Да, не стоило самому Макарову уходить в атаку на катере — командир должен управлять боем, а не бросаться очертя голову вперед.

Настойчивость и непоколебимая уверенность Макарова в правильности избранной им тактики одолели скептические подозрения. Ему разрешили снова выходить в море на поиски врага.

Турецкий флот между тем разбойничал вдоль русских черноморских берегов, разбойничал, не встречая сопротивления. В Севастополь поступали телеграммы, одна тревожнее другой:

«2 мая пять турецких броненосцев бомбардировали Сухум в течение 2½ часов; часть города значительно пострадала, но попытка десанта блистательно отражена пятью ротами с двумя орудиями. На улицах осталось много неприятельских тел...»

5 мая «неприятельская эскадра, усиленная двумя прибывшими пароходами, возобновила бомбардирование Сухума. Большая часть города сожжена и разрушена; наши войска вышли из него и расположились за речкой Маджара».

7 и 8 мая «на всем протяжении берегов наших, от мыса Адлера до Очамчир включительно (около 150 верст), турецкие суда продолжают бомбардировать и жечь незащищенные мирные поселения».

Макаров и другие русские моряки, зная обо всем этом, не находили себе места. Надо, во что бы то ни стало надо дать отпор самоуверенному противнику. Но как? Как ухитриться нанести удар бронированным турецким кораблям?..

Тем временем русская армия подошла к Дунаю. Форсировать эту полноводную реку не представлялось возможным, ибо на Дунае господствовали турецкие бронированные корабли береговой обороны — мониторы. У русских в дунайской дельте притаилось несколько минных катеров (примерно того же типа, что были у Макарова) — этим исчерпывались наши военно-морские силы в том районе. И вот в ночь на 14 мая русские катера совершили дерзкое нападение на вражеские корабли и потопили сильный монитор «Сельфи». Один за другим два катера, как рыцари на турнире, ударили своими копьями-шестами в борт турецкого корабля. Эффект был полный: через десять минут огромный броненосец тяжело сел на дно. Сразу же после этого турки поспешно отвели свои корабли в гавани.

А Макаров по-прежнему преследовали неудачи. 18 мая «Константин» подошел к Сухуми, намереваясь атаковать стоявшие там суда. Увы, над морем опустился с гор такой густой туман, что с капитанского мостика не видно было носа корабля. В этих условиях вести катера в атаку означало бы идти на явную авантюру. Скрепя сердце Макаров приказал повернуть обратно. Вцепившись в поручни мостика, командир «Константина» неподвижно смотрел перед собой. Он не замечал ни клубящегося тумана, ни брызг, что швыряли в него набе-

гающие волны. Нет, нет, тысячу раз нет! Его замысел правилен. Он должен добиться успеха. Должен.

А его военное счастье было уже недалеко...

28 мая «Константин» вновь вышел в боевой поход. На этот раз курс был взят на запад, к устью Дуная, где в многочисленных протоках стояли турецкие корабли. Макаров хотел провести решительную атаку, чего бы это ни стоило. С этой целью, помимо обычных четырех катеров, которые поднимались на борт «Константина», было взято на буксир еще два. Ночью Макаров подошел к болгарскому порту Сулини, занятому турками. Темное небо непрерывно освещали два маяка: турки, наученные горьким опытом, уже стали бояться ночных атак. 10 минут первого «Константин» застопорил машины, катера были спущены на воду. В ночной тишине прозвучал голос командира:

— Господа! Мы в шести милях от Сулинского рейда. Отдавайте буксиры и постарайтесь отыскать турецкие суда. Держитесь правее маяка. Если, пройдя пять миль, ничего не увидите, то поворачивайте на север и в пяти милях встретите меня. Помните наши условия: разделайтесь только тогда, когда увидите неприятеля.

Катера тесной группой пошли к погруженному в тишину и мрак вражескому берегу и вскоре исчезли из виду.

Макаров осторожно повел «Константина» к условленному месту встречи. Вся команда напряженно прислушивалась. Около двух часов со стороны Сулина раздался оглушительный взрыв, а затем частая орудийная и ружейная стрельба. И вновь на море воцарилась тревожная тишина. Прошел час, другой, катеров все не было. Беспокоясь за судьбу их, Макаров приказал подойти поближе к берегу. «Константин» увеличил ход. Вдруг корабль резко затормозил и стал. Мель! Дали задний ход на полные обороты. Тщетно. Командир отрывисто приказал:

— Уголь за борт!

Матросы стремглав бросились к угольным ямам. Мешки с углем один за другим полетели в темную воду. Десять, двадцать, сто...

Полный назад!

«Константин» медленно сползает с мели и поспешно отходит от опасного места. Макаров снял фуражку и отер лоб: да, весело было бы встретить рассвет под по-

сом у турецкой эскадры. Пронесло на этот раз. Но где же катера?

Только в пять утра подошел первый катер, а за ним еще четыре. Одного катера так и не дождались...

Теперь можно узнать подробности боя. Лейтенанту Зацеренному опять не повезло: мина, сброшенная в воду, почему-то утонула, и атака не состоялась. На катере лейтенанта Пуцина мина взорвалась произвольно и так повредила маленькое суденышко, что его пришлось затопить (как стало известно позже, все члены команды, кроме одного человека, вплавь добрались до берега и были взяты в плен). Наконец катер лейтенанта Рождественского подвел мину к борту турецкого корвета «Иджлалиле». Сильный взрыв повредил вражеский корабль настолько, что он вышел из строя до конца войны.

Ликовал весь экипаж «Константина», радостно возбуждены были моряки с катеров. Командир поздравил всех с первой победой, поблагодарил. Однако сам-то он был не очень удовлетворен. Как-никак, а вражеский корабль остался на плаву... Вот если бы отправить турка на дно — тут уж победа несомненная и эффектная. Так он и написал в своем рапорте: взрыв, дескать, «не произвел такого действия на судно, от которого броненосец сейчас же пошел бы ко дну». И не преминул сказать «о замечательном спокойствии и хладнокровии, с которыми все на пароходе и катерах исполняли свой долг». Слово «долг» Макаров особенно любил...

Рапорт этот не только лаконично и точно рассказывает об атаке в Сулине, но и выразительно характеризует самого Макарова. Здесь нет ни малейшего преувеличения, которым так часто невольно (а порой и вольно) грешат сообщения с поля боя от его непосредственных участников: броненосец «сейчас же» не пошел ко дну — вот пока единственно реальный факт. Далее командир «Константина» весьма высоко отзывается о действиях своих подчиненных, но нигде ни слова не говорит о себе... И тем не менее победа одержана была, и несомненная.

С тех пор флот Турции уже не покидало паническое настроение. В самом деле, грозные броненосцы, стоящие на охраняемой базе, подвергаются опаснейшим ударам противника! И какого противника? У которого всего лишь несколько слабеньких катеров, действующих к тому же вдали от своих портов и буквально под носом у сильней-

шей неприятельской эскадры. Боевая активность турецкого военного флота резко снизилась, моральный дух личного состава упал. Успех сулинского рейда был полный, именно так его и расценивали в русском флоте и армии.

Главный командир Черноморского флота адмирал Н. А. Аркас писал в Петербург: «...Считаю своим долгом отнестись с похвалой о молодецком деле парохода «Великий князь Константин» с 6 миноносными катерами, доказывающем существование среди моряков той отваги, соединенной с хладнокровною распорядительностью и готовностью к самопожертвованию, которая всегда была присуща нашему флоту... Все это служит доказательством, что геройский дух русского флота, передаваясь преемственно, служит нашей лучшей силою».

Участники смелого дела были награждены. Первой боевой наградой Макарова стал орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

Зная о подавляющем превосходстве своего военного флота над русским, турки считали, что их торговые суда, ходившие вдоль южных берегов Черного моря, находятся в полной безопасности. Морским путем осуществлялась значительная часть снабжения турецкой армии на Балканах и на Кавказе. Но Макаров вновь продемонстрировал, что в морской войне нет непреодолимых рубежей. 8 июня «Константин» неожиданно появился у берегов Анатолии (северо-западная часть Малой Азии), в непосредственной близости от столицы и главной морской базы Турции — Константинополя. В открытом море Макаров остановил английское судно (Англия оказывала помощь Турции в войне против России), приказал обыскать его и, не обнаружив военных грузов, отпустил. Вслед за тем «Константин» с помощью тех же минных катеров уничтожил в гаванях четыре турецких парусных корабля с грузом, причем команды их были отпущены на берег.

После этого Макаров взял обратный курс на Севастополь. Свое решение объяснял следующим образом: «Продолжая идти далее, я мог бы утопить еще много других купеческих судов, стоящих у анатолийского берега, но полагал, что цель потопления купеческих судов есть прекращение торговли, и так как потопление 4 судов наведет панику и прекратит парусное плавание вдоль берега, то не было побудительных причин, чтобы подвергать

дальнейшему истреблению частную собственность». Как видно, Макарова не соблазняли легкие победы над турецкими парусниками, возившими вдоль побережья рыбу, табак и фрукты. Ну в самом деле, много ли чести для боевого моряка спалить несколько маленьких, неуклюжих парусников? Нет уж, увольте от таких подвигов...

Конечно, упирая в рапорте на свое уважение к «частной собственности», Макаров немпожко хитрил, и хитрил наивно. То был лишь простоватый камуфляж для высшего начальства: как-никак он жил в обществе, где и «частную», и всякую иную собственность уважали очень серьезно. (Кстати говоря, у Макарова в течение всей его жизни не наблюдалось особенной любви ни к частной и ни к какой другой собственности вообще. Даже в зрелые годы, когда он стал адмиралом, занимал крупные посты, получал премии и литературные гонорары, даже тогда никакой тяги к накопительству за ним не обнаруживалось.)

Причины, по которым Макаров не хотел воевать с турецкими «кунцами», лежали в другом. Прежде всего он яростно желал сражаться, хотел проявить на деле свою отвагу и командирский талант, наконец, показать всем эффективность своих тактических идей. Ясно, что это желание не много весило на весах войны, и командир «Константина» получил даже что-то вроде замечания от начальства за стремление самому избирать способ военных действий. С высшей точки зрения замечание это следует признать вполне оправданным. Но не будем забывать, что лейтенанту Макарову было только двадцать семь лет. И он рвался в бой. Ну и стремление молодого офицера участвовать в самых опасных предприятиях нельзя не одобрить. Вот почему начальство не слишком гневалось на нетерпеливого лейтенанта...

Впрочем, существовала и другая причина, по которой Макарову была не по душе охота за торговыми судами, и здесь он обнаружил зачатки весьма зрелой мудрости. По тогдашним правилам ведения войны, за каждое пленное и приведенное в свой порт судно противника полагались так называемые «призовые деньги», то есть часть захваченных трофеев как бы шла в пользу моряков. Правила эти остались еще от пиратских времен. В России подобная система никогда не имела широкого распространения, но случаи выплаты «призовых денег»

бывали. А вот все, что связано с коммерцией, со всякого рода гешефтмахерством, было чуждо Макарову. Он не только не попытался привести захваченные парусники в Севастополь, что было совсем нетрудно, и иные так и поступали, он по самой сути своей природы не хотел заниматься ничем подобным. Безусловно, что уже тогда он понимал развращающее влияние наживы на личность военного человека. Позже Макаров написал (основываясь, помимо прочего, и на личных впечатлениях): «Я считаю, что от призовых денег командиры не будут ни хитрее, ни искуснее, ни предприимчивее. Тот, на кого в военное время могут влиять деньги, недостойн чести носить морской мундир».

Упорный лейтенант продолжал атаковать свое собственное начальство с той же страстью, с какой он мечтал броситься на врага. Тщетно: отправиться в боевой поход ему не разрешали, более того, командование решило использовать «Константин» для перевозки военных грузов, материалов в русскую действующую армию. Перегруженный до предела корабль совершил несколько рейсов. Это весьма опасное предприятие, так как минные катера в этих условиях взять не представлялось возможным, поэтому «Константин» оказался бы совершенно беззащитен при встрече с турецкими военными судами: ведь вооружение его состояло из нескольких легких пушек. К счастью, все закончилось благополучно.

Только 19 июля Макаров добился разрешения совершить новый рейд к берегам противника. На сей раз «Константин» крейсировал буквально в виду турецкой столицы. За несколько дней крейсерства удалось уничтожить шесть небольших торговых судов (их опять-таки уничтожили, а не захватили). Получив от турецких матросов известие, что в болгарском порту Варна находится вражеский сторожевой корабль, Макаров спешно двинулся туда, надеясь атаковать достойного противника. Рейд оказался пустынным...

К июлю 1877 года общий ход русско-турецкой войны на Балканском театре развился для нас весьма успешно. Сложнее обстояло дело на Кавказском театре военных действий. В апреле—мае русские войска добились здесь большого успеха и осадили сильнейшую турецкую крепость Карс. Однако противник сумел выправить положение и оттеснить наши войска на прежние позиции. Немалую роль в этих неудачах русских войск сыграло

то, что туркам удалось в начале войны развернуть диверсионную деятельность в тылу нашей армии на Кавказском побережье. С моря были высажены турецкие десанты, к которым присоединились отряды чеченских и абхазских феодалов. Русское командование было вынуждено направить в район Сочи — Сухуми часть наших войск. Кроме того, в операциях против турецких диверсантов приняли самое энергичное участие отряды ополченцев из грузин, армян и других народов Кавказа, знавших на собственном горьком опыте, что значит султанское господство.

Турецкий флот не только снабжал отряды диверсантов оружием и снаряжением, но и оказывал им непосредственную поддержку в сражениях с русскими войсками. К тому же военные действия велись преимущественно в узкой прибрежной полосе, ограниченной высокими лесистыми горами, поэтому турецкие броненосцы могли очень легко обнаруживать с моря продвижение наших отрядов и поражать их огнем своей тяжелой артиллерии.

В начале августа отряд полковника Б. М. Шелковникова вышел из Сочи в направлении Гагры с целью разгромить диверсантов противника. В ту пору этот район представлял собой дикую и безмолвную местность, единственная узкая дорога тянулась вдоль самой кромки моря. С особенной тревогой отряд ожидал Гагринское ущелье: вершины гор заняты были диверсантами, а в море спокойно поджидали русских турецкие корабли. Шелковников телеграфировал в Севастополь адмиралу Аркасу: «В Гаграх нам угрожает опасность со стороны броненосца, постоянно охраняющего проход; прошу безотлагательно выслать помощь со стороны моря: либо произвести ночную атаку на этот броненосец, либо отвлечь его от берега». Как видно, мины катера завоевали себе прочную репутацию даже в сухопутных войсках: начальник отряда уже принимает как должное, что броненосец может быть побежден маленькими суденышками!

В ночь на 7 августа отряд Шелковникова подошел к ущелью и вступил в бой. Предполагалось за ночь прорвать оборону противника в опасном месте и к рассвету выйти в сравнительно укрытый район. На деле же получилось иначе. Врага удалось сбить с высот и отбросить от берега, однако ночной бой затянулся. Когда поднялось солнце, обнаружилось, что арьергард отряда только-толь-

ко втянулся в ущелье и находился как раз напротив вражеского броненосца. Турки не заставили себя ждать — тотчас же раздалась залпы тяжелых орудий. Казалось, русский арьергард обречен на верную гибель.

В это время с севера появился какой-то корабль. Турецкий броненосец, прекратив обстрел берега, двинулся ему навстречу. Неизвестный пароход отвернул и пошел в открытое море, преследуемый броненосцем. Вскоре оба корабля исчезли. Русский отряд благополучно форсировал ущелье. Чудо совершилось. А творцом его был лейтенант Макаров, командир мινного транспорта «Константин».

Еще 4 августа 1877 года Макаров, находившийся в Севастополе, получил от адмирала Аркаса телеграмму с пометкой «экстренно»: «Шелковников телеграфирует мне, что у Гагры стоит броненосец, также у Пипунды. Отряд наш сегодня выходит из Сочи. Просит отвлечь неприятеля. Поручаю вам сделать что можете». Получив приказ, «Константин» тотчас же вышел в море, но попал в жестокий шторм и лишь 6 августа прибыл в Адлер. Здесь Макарову не смогли сообщить никаких данных о местонахождении кораблей противника. Пришлось действовать вслепую, рискуя неожиданно встретиться с вражеской эскадрой в невыгодных для себя условиях. В ночь на 7 августа «Константин» вышел на поиск.

Итак, надо было во что бы то ни стало «отвлечь неприятеля». Легко сказать — отвлечь! Хрупкий, лишенный брони торговый пароход с несколькими слабыми пушками и мощные турецкие броненосцы — вот соотношение сил. И все же Макаров не колебался, он смело искал боя. И, может быть, именно тогда сложился в его сознании дерзкий призыв, который он провозгласил много лет спустя и которому следовал всю свою жизнь, во всем и везде: «Если вы встретите слабейшее судно, нападайте; если равное себе, нападайте и если сильнее себя — тоже нападайте!»

Нападайте! Макаров был из породы людей, применяющих собственные правила прежде всего к самим себе. «Константин» направился прямо к Гагре. Глубокой ночью были спущены катера. Командир отдал приказ:

— Осмотреть побережье от Гагриши до Гагры. Если обнаружите неприятельский корабль — потопите его!

Увы, через несколько часов катера вернулись ни с чем: найти противника не удалось. И неудивительно —

турецкие суда по ночам стали тщательно соблюдать световую маскировку и старались не производить никакого шума, опасаясь минных атак. Быстро светало. И тогда Макаров приказал подойти вплотную к Гагринскому ущелью.

Долгие часы искал «Константин» противника, и вот, как это часто бывает, встреча оказалась все-таки неожиданной. Сквозь тающий утренний туман турки первыми заметили приближающийся корабль и бросились в атаку. Макаров приказал отходить, но пошел не вдоль берега, что было бы безопаснее, а на запад, в открытое море: ведь надо увести броненосец как можно дальше от русских войск, подвергавшихся бомбардировке. «Константин» обладал большей скоростью, чем его преследователь. Турецкий броненосец стал постепенно отставать. Тогда, хладнокровно повествовал позже об этом сам Макаров, «я приказал уменьшить ход, чтобы представить ему интерес погони».

Началась рискованная игра в кошки-мышки. Вражеский корабль развил предельную скорость, стремясь сблизиться с «Константином» на дистанцию орудийного выстрела. Порой казалось, что турки вот-вот догонят парход, и тогда...

— А дело становилось дрянью, — рассказывал потом Макаров, — нажимает, вот-вот начнет разыгрывать. Пароходошкко картонный, с начинкой из мин... Два-три удачных выстрела — и капут!

Неожиданно налетел сильный шквал с дождем, и противники потеряли друг друга из виду. Когда турецкий броненосец вернулся к Гагре, русский отряд уже ушел в горы. Смелое предприятие увенчалось успехом. На другой день Шелковников телеграфировал: «Константин» поспел (в) Гагру в самую критическую минуту и увлек за собой броненосец... Услуга, оказанная им, не имеет цены. Приношу сердечную признательность bravому командиру «Константина»...»

Эффектная операция «Константина» у Гагры получила громкую огласку. О Макарове восторженно писали во многих русских газетах. Что ж, честолюбивый лейтенант читал эти статьи не без удовольствия — тем более хвалили-то его за дело. Одно лишь смущало и беспокоило Макарова: уж очень преувеличивали (чтобы не сказать больше) некоторые газетчики его успех. Где-то даже написали, будто он один чуть ли не разогнал целую ту-

рецкую эскадру... Впервые Макаров столкнулся с безответственными нравами бульварной прессы. Для него, человека в любых поступках чрезвычайно строгого к себе и щепетильного, все это выглядело странно и неприятно.

Вряд ли командир «Константина» предполагал тогда, сколько крови впоследствии испортят ему бойкие газетные борзописцы: преувеличат, сочинят, наврут, а потом тебе же поставят в упрек, что их собственные фантазии не сбылись. Но это будет позже. А пока он мог быть доволен: командование Черноморского флота, удовлетворенное его успехами, разрешило «Константину» вновь атаковать турецкие корабли.

Макаров не промедлил ни часа. Едва дав команде отдохнуть от напряженного похода, он уже вечером 10 августа повел «Константина» с минными катерами на борту в новый рейс. Турецкий десант продолжал еще удерживать Сухуми. Поддержку десанту оказывали своим огнем турецкие корабли, стоявшие на Сухумском рейде. Макаров спешил не зря: в ночь с 11 на 12 августа ожидалось лунное затмение. Абсолютная темнота как нельзя более способствует атаке, ибо экипажи турецких кораблей, наученные недавним горьким опытом, теперь усилили охрану гаваней.

В десять часов вечера, когда уже стемнело, Макаров остановил «Константина» в шести милях от Сухумского рейда. Катера были спущены и пошли в атаку именно в тот самый момент, когда яркий диск луны закрылся тенью.

В заливе стоял турецкий корвет «Ассари-Шевкет». Команда его была наготове. Английский корреспондент, бывший в тот день в Сухуми, рассказывал: «Все предосторожности для охраны судна были приняты в совершенстве: кругом двигались сторожевые шлюпки, половина команды спала на палубе с ружьями, орудия были раскреплены и заряжены, а картечницы на каждом конце мостика, на палубе и полуяоте содержались в полной готовности к немедленному действию... Пальба и сигналы сторожевых шлюпок уведомили корветную команду о приближении неприятеля, и в одно мгновение все было готово к его приему».

Прием был действительно довольно горячий. Турки открыли яростную пальбу, но велась она торопливо и беспорядочно, в крошечной тьме попасть в катера не уда-

лось. Загорелись сигнальные огни и костры на берегу. Однако наши катера терялись среди множества мелких турецких судов, сновавших по рейду. Один минный катер сцепился на бордаж с турецкой шлюпкой, произошла отчаянная рукопашная схватка, во время которой лейтенант Писаревский получил сильный удар веслом в голову — впрочем, все окончилось благополучно. Треск и шум выстрелов, беспорядочные сигналы и крики, в сущности, только помогли нашим морякам. Все четыре катера взорвали свои мины в непосредственной близости от турецкого корабля. Атака продолжалась всего лишь пять минут. Вскоре катера вернулись на «Константин». Потерь не было. Горячее «ура!» раздалось над ночным морем.

Через несколько дней стало известно, что «Ассари-Шевкет» получил подводные пробоины, сильно накренился, осел на корму и лишился хода. Три дня турки латали подбитый корабль, а потом на буксире отвели его в Батуми — главную базу своего флота на Кавказском театре военных действий.

Успех на этот раз был несомненен, и Макарову достался целый букет наград: золотой кортик с надписью «За храбрость» и орден Георгия 4-й степени, а также он был произведен в капитан-лейтенанты.

И снова Макаров не испытывал чувства полного удовлетворения. Еще на мостике «Константина», выслушав восторженные донесения командиров своих катеров, он с торжеством произнес:

— Ну теперь я полагаю, что броненосец потоплен!

Оказалось, однако, что корвет (а не броненосец, как доложили ему моряки с катеров) остался все же на плаву. Он получил тяжелые повреждения и вышел из строя до конца войны, но Макаров по-прежнему желал полной победы. Его тревожило и другое: четыре мины, взорвавшиеся рядом, не нанесли кораблю решающего повреждения. Ясно, что заряд их слаб, тем более ясно, что атаковать минами с помощью шеста или на буксире — дело неперспективное. Надо применять самодвижущиеся мины. За ними будущее. И следует во что бы то ни стало испытать их в бою.

Самодвижущиеся мины (торпеды) появились на вооружении военно-морских флотов великих держав в самом конце русско-турецкой войны. Первым сконструировал торпеду талантливый русский изобретатель (меж-

ду прочим, художник по профессии) Иван Федорович Александровский. Еще в 1865 году он попытался осуществить свою идею на практике, причем работу вел на свои собственные скромные средства. Три года спустя стало известно, что англичанин Уайтхед также проводит опыт с самодвижущимися минами в Адриатическом море. Изобретатель обратился в Морское министерство с просьбой о помощи, но... там уже, оказывается, вели переговоры с английской фирмой о покупке у нее «секрета» торпед. Тщетно доказывал выгоду своего изобретения Александровский. Напрасны были хлопоты передовых русских офицеров. Управляющий министерством адмирал Краббе и слушать ничего не хотел: торпеду, говорите, изобрел? Наш-то лапотник? Ну, полноте-с...

Дорогущие торпеды были куплены за границей и официально назывались в русском флоте не иначе, как «самодвижущиеся мины Уайтхеда». Между тем Александровский с грехом пополам кустарным способом довел свое изобретение до конца. В 1874 году в Кронштадте была благополучно испытана его торпеда, а в следующем году на новых испытаниях она превзошла по техническим качествам тогдашний образец Уайтхеда. Было, однако, уже поздно. Как это слишком часто бывало в России, собственному уму не доверяли, а на всякую иноземную наклейку взирали с почтением.

Макаров был слишком молод, чтобы как-то участвовать в печальной истории с русской торпедой. Но историю эту он хорошо знал, когда накануне войны начал интересоваться минным делом и стал посещать открытую тогда же в Кронштадте Минную школу. Пренебрежительное (чтобы не сказать больше!) отношение к отечественным достижениям возмущало Макарова уже в ту пору. Человек из народа, он крайне болезненно реагировал на снисходительное, барское презрение к самобытным ценностям, что было в его время весьма распространено среди так называемого «общества». И всю свою жизнь Макаров вел беспощадную борьбу с теми, кто почитал все отечественное явлением второго сорта, и за себя, и еще чаще за других.

Во времени русско-турецкой войны случаев боевого применения торпед еще не было, никто с уверенностью не мог сказать, как ими следует пользоваться. Не применялись торпеды и в ходе текущей войны, хотя несколько штук их имелось на севастопольских складах.

Макаров все лето тщетно бомбардировал Аркаса рапортами с просьбой дать ему возможность провести атаку минами Уайтхеда. Адмирал отказался дать торпеды под предлогом самым невероятным: «стоят они дорого» — именно так официально ответил он Макарову на его настойчивые просьбы. Однако упорный капитан-лейтенант продолжал методично осаждать Аркаса, повторяя в разных вариантах одно и то же: самодвижущиеся мины должны быть использованы в бою, и он, Макаров, готов взять на себя всю ответственность. В конце концов адмирал уступил.

Итак, Макаров наконец-то заполучил эти драгоценные торпеды (кстати сказать, драгоценные не только в переносном, но и в прямом смысле: за каждую «самодвижущуюся мину Уайтхеда» нерасторопное морское ведомство платило 1200 золотых рублей, то есть огромную по тем временам сумму; для сравнения укажем, что строительство броненосца обходилось тогда в 3—5 миллионов рублей; дороговато стоило русской казне пренебрежение власть имущих к собственным «Платонам и Невтонам!»). Теперь Макаров должен был на свой страх и риск разработать, так сказать, технологию применения торпедного оружия. Посоветовались с командирами катеров и решили: одна торпеда будет укреплена в трубе под днищем катера, вторая доставлена к месту атаки на специальном плотике. Все это делалось кустарно, на скорую руку, да и сами торпеды в техническом отношении оставляли желать много лучшего. Учебных стрельб провести не удалось: «импортных» торпед было мало, приходилось экономить. Ну что ж, решил Макаров, испытаем их сразу в бою.

Подготовка к боевой стрельбе торпедами затянулась, и только в середине декабря 1877 года «Константин» отправился в боевой поход. Шли к Батуми. В ночь на 16 декабря, обнаружив турецкую эскадру в Батумской бухте, Макаров приказал произвести атаку. Все шло обычным порядком, только на этот раз два катера несли торпеды. Дело складывалось как нельзя удачно, оба катера подошли к сильнейшему турецкому броненосцу «Махмудие» и направили мины в цель. Раздался сильный взрыв, у борта корабля вверх взлетел фонтан воды. Потом, как обычно, турки начали запоздалую стрельбу. Оба командира катеров клялись Макарову, что цель поражена. Вернувшись в Севастополь, он так и доложил об

этом командованию, сделав, однако, некоторые оговорки: мол, сам не видел, но... И тут Макаров поступил опрометчиво, о чем вскоре пожалел, зато получил хороший урок на всю жизнь. Оговорки Макарова приняты во внимание не были, и из штаба флота — а в каких штабах не любят сообщений о победах? — во всеуслышание объявили, что «Константин» подбил турецкий броненосец. Некоторые газетчики сенсации ради тут же этот броненосец и потопили...

Макаров был представлен к внеочередному присвоению следующего звания капитана второго ранга (это почти совпало с его днем рождения, что ж, быть в двадцать восемь лет в чине подполковника — честь немалая). Но очень скоро выяснилось, что «Махмудие» никакого повреждения не получил. Вышла очень неприятная история. Правда, командование флота никаких претензий к Макарову не предъявило, ибо при внимательном (запоздалом, к сожалению) чтении его рапорта становилось ясно, что командир «Константина» просто-напросто передал донесения командиров катеров. Однако будущие недоброжелатели будущего адмирала очень любили впоследствии вспоминать этот эпизод: вот, дескать, за какие такие заслуги выскочка получил свои чины и ордена... А недоброжелателей этих находилось немало.

Впоследствии выяснилось, что одна из торпед, выпущенных с катеров, прошла мимо цели и, не разорвавшись, зарылась в прибрежной полосе. Здесь ее нашли в неповрежденном виде. Вторая торпеда, как установила экспертиза, ударила о толстую цепь, которой крепились бревна противоминного заграждения, поставленного вокруг турецкого броненосца. От сильного удара металлический корпус торпеды сломался, зарядная часть его ушла на дно, где и взорвалась. Взрыв произошел на таком расстоянии от броненосца, что не причинил ему существенного вреда. Атака не удалась, но ведь это было первое в мире боевое применение торпед. Турки встревожились чрезвычайно. Они усилили охранение гаваней, отвлекли для этой цели от боевых действий множество судов. Каждую ночь их моряки несли изнурительные вахты. Уже это одно было безусловным успехом русского минного флота.

В то время сам Макаров нервничал необычайно. Конечно, в его рапорте нужно было сделать более определенные оговорки, конечно, надо строже относиться к донесениям командиров, вернувшихся из боевого дела: они

возбуждены, взволнованы, они благополучно ушли из-под огня — как же им не верить в собственный успех?! Ну ничего, не в последний раз писать ему рапорты, впредь он никогда не поставит себя хоть в сколько-нибудь сомнительное положение. А теперь немедленно в бой. Немедленно.

Макаров подает Аркасу план артиллерийского обстрела турецких портов орудиями «Константина». План смел и хорош, ничего не скажешь, однако слишком мало шансов, чтобы корабль и его командир вернулись из такого набега целыми и невредимыми. И Аркас отказывает. Он любит и ценит Макарова. Пожилой опытный моряк, немало на своем веку повидавший, он, конечно, хорошо понимает побудительные мотивы подобных дерзновенных замыслов молодого командира: ему хочется выполнить какое-нибудь уж очень отчаянное дело... Ну ладно, как нельзя более кстати. И Аркас приказывает вызвать Макарова в штаб.

К началу зимы 1877 года в русско-турецкой войне намечился решительный перелом. На Кавказе в начале января 1878 года русская армия готовилась к штурму сильно укрепленного Батуми. На помощь своим сухопутным частям турки направили в этот порт боевые корабли.

...Макаров плотнее повязал накидку, поправил капюшон. Зима даже в этих субтропических широтах остается зимой. Ишь какой холодный ветер! Под ногами часто вибрировал настил мостика. Корабль шел полным ходом. Уже начинало смеркаться, а часа через два надо быть вблизи Батуми. Сегодня предстоит горячее дело.

10 января 1878 года Макаров получил приказ: «Константин» должен отправиться к Батуми и попытаться отвлечь на себя внимание турецких кораблей. Этим последовались сразу две важные цели. Во-первых, недавно вражеские броненосцы подвергли зверскому обстрелу Евпаторию, Феодосию, Анапу; командование опасалось, как бы подобные нападения не повторились. Во-вторых, демонстрация «Константина» у турецких берегов могла отвлечь неприятельский флот от обороны Батуми.

Лучшим способом подобной демонстрации Макаров считал торпедную атаку вражеской эскадры, стоявшей в Батумской гавани. Операцию решено было провести ночью. (Потом Макаров шутил о собственной тактике: «Днем я вижу неприятеля далеко и имею много времени

справиться или, лучше, убежать, ночью же онг все от меня бегут, как от зачумленного».)

Поздно вечером 13 января «Константин» под прикрытием тумана скрытно подошел к Батуми. В половине двенадцатого два катера, вооруженные самодвижущимися минами, пошли в атаку. Погода к этому времени прояснилась, «свет луны и блеск снежных гор прекрасно освещали рейд», писал позже в своем донесении Макаров. Командиры катеров могли хорошо наблюдать цели. Атакован был сторожевой корабль, стоявший в гавани ближе всех к открытому морю. С небольшого расстояния катера выпустили торпеды. «Обе взорвались одновременно, — обстоятельно продолжал докладывать Макаров. — Слышен был энергичный взрыв... Затем слышен был сильный треск от проломившегося судна и глухие вопли и крики отчаяния многочисленной команды.

Пароход лег на правую сторону и быстро погрузился на дно с большей частью своего экипажа... До того как скрылись мачты, прошла одна или две минуты». (Рапорт, как видим, отличается предельной пунктуальностью!)

Итак, свершилось! Вражеский корабль исчез в волнах непосредственно после удара макаровских катеров. Снова победное «ура!» звучит на палубе «Константина», снова обнимаются и поздравляют друг друга моряки. Макаров молча смотрит с мостика на это торжество. Командир должен быть сдержан. Он не может размахивать фуражкой, как тот молодой мичман на юте, не может кричать во весь богатырский голос, как те матросы, что собрались в кучу около одного из минных катеров. Но он счастлив, как и они. Он улыбается в темноту и яростно тербит небритый подбородок, на котором не выросла еще знаменитая адмиральская борода. Победа, победа!

Турецкий корабль «Итибах», потопленный в Батуми, оказался первой в мире жертвой торпедного оружия. О Макарове восторженно писали газеты, он получил множество приветствий и поздравлений.

Эту свою долгожданную победу Макаров одержал, что называется, вовремя: через пять дней, а именно 19 января 1878 года, было подписано перемирие.

Война окончилась, однако русская армия и флот по-прежнему оставались в боевой готовности. Англия и Австро-Венгрия боялись усиления русского влияния на Балканах, они добились того, чтобы окончательные условия русско-турецкой войны были обсуждены на конгресс-

се представителей великих держав. Дипломатия дипломатией, но Англия держала у входа в Черное море свою военную эскадру, а Австро-Венгрия сосредоточивала войска у границ России. В этих условиях русский флот готовился к новым боевым действиям с «владычицей морей» — Англией. Все ожидали, что вот-вот последует разрыв дипломатических отношений между Лондоном и Петербургом. Макаров в эти тревожные дни самым серьезным образом готовился к возможной войне. Теперь «вероятный противник» был самый что ни на есть грозный, но командир «Константина» робости не испытывал. Скорее наоборот. «Пароход в настоящее время совершенно готов к выходу в море, — сообщал он Аркасу 31 января и уже загодя спешил не опоздать к военным действиям. — ...Я был бы весьма счастлив получить разрешение выйти в крейсерство, как только будет объявлен разрыв, если бы мы вступили в войну с Англией. Я твердо уверен, что при нашей теперешней опытности мы можем безнаказанно сделать нападения на суда, стоящие в проливе...» Чего другого, но оптимизма Макарову было не занимать!

Русско-турецкая война закончилась убедительной победой России. При этом следует иметь в виду, что по технической оснащенности турецкие вооруженные силы не уступали русским, а подчас их превосходили. Так, турки были вооружены английскими и американскими винтовками более совершенного образца, нежели тогдашние русские. О военно-морских силах и говорить нечего. Однако именно на морском театре Россия добилась поразительных успехов. В сущности, оборонялся в этой войне сильнейший флот — турецкий, а слабый русский флот вел активное наступление. И было достигнуто это не только величайшей самоотверженностью наших моряков, но и смелым использованием новых тактических приемов.

Заслуги Макарова здесь исключительно велики. Идея Макарова использовать средство дальнего действия (корабль) для доставки к месту сражения средств ближнего боя (катера) была абсолютно оригинальна, а кроме того, содержала в себе семена будущего развития. В зародыше здесь просматривается идея авианосца (отметим попутно, что техническая идея авианосного корабля была разработана впервые в России во время империалистической войны). Макаров оказался первым в мире во-

енным моряком, применившим торпеды — новый вид оружия, которое коренным образом повлияло на развитие флота в течение ста лет. Более того, он правильно угадал наиболее удачный способ запуска торпеды: выталкивание через трубу — этот принцип не изменился до сих пор. А самое главное, Макаров доказал на практике, что в морской войне даже сильнейший флот не способен создать полной блокады, продемонстрировал преимущество наступления над обороной.

Поручик Брусилов

В старину, а стариной для нас стал уже прошлый век, да и начало нынешнего, время в наши дни течет быстро, так вот, в старину принято было считать, что каждый офицер переживает две войны — одну в юности, другую в пожилом возрасте. Вряд ли эта арифметическая примета всегда справедлива, но примета была. И биография Алексея Алексеевича Брусилова полностью тому соответствует.

Первой войной для него, двадцатичетырехлетнего поручика 15-го Тверского драгунского полка, стала русско-турецкая война 1877—1878 годов...

...В те не очень-то в общем давние, но уже кажущиеся бесконечно далекими времена войны начинались неспешно. «Внезапное нападение» — одно из не очень приятных изобретений XX века, эпохи кровавых империалистических злодейств; сомнительная честь подобного «открытия» принадлежит японским самураям, без объявления войны напавшим на русский флот в Порт-Артуре в 1904 году. Но молодой поручик Алексей Брусилов пока еще жил в благопристойном и добропорядочном XIX столетии. Тогда о предстоящей войне загодя велись дипломатические переговоры, о них судачила печать, велись бесконечные споры в парламентах, в кафе, трактирах, в дворянских и купеческих клубах, просто на улицах.

Брусилов и другие молодые офицеры не очень-то интересовались политикой, да и плохо разбирались в ней, однако служили они на Кавказе, в пограничном округе, а по ту сторону границы — Турция. Весной и летом 1876 года, как обычно, к вечеру офицеры уезжали из лагерей в город. Читали местные тифлиссские газеты, обсуждали новости. Новости эти были не такие уж свежие, Пе-

гербург далеко, но все же приближение надвигавшейся военной грозы ощущалось явно. Турки свирепо подавили волнения в Болгарии и других славянских землях. Газеты сообщали ужасающие подробности расправ с пленными и мирным населением. Началась война между Османской империей и крошечной Сербией. Ясно, говорили офицеры, что сербам не удержаться, тогда уж придется нам выступить им на помощь...

А знойное кавказское лето было в разгаре, а оперетта все так же гремела, а ресторан гостиницы «Европа» все так же гостеприимно принимал по вечерам господ офицеров. Но вот...

2 сентября командир полка получил телеграмму из Тифлиса от начальника штаба Кавказского военного округа: полку надлежало немедленно выступить в лагерь на русско-турецкой границе. В ту пору даже по военной тревоге сборы были неспешные: пока уложили на подводы полковое имущество, собрались, срочно перековали и переседлали коней, перебрали амуницию...

У Брусилова было особенно много хлопот, ведь ему надлежало отвечать за все штабные и хозяйственные дела полка, а это порядочно, ибо следовало подготовить к походу четыре эскадрона, то есть четыре без малого сотни всадников, нестроевую, то есть обслуживающую, роту (двести с лишним человек), полковой обоз, штаб и многое другое, что не числится в штатном расписании, но составляет непременную принадлежность армейской жизни. Скажем, полковые любимцы, не очень-то породистые Полкан и Балкан — как с ними быть? Ведь не бросать же их... Однако собрались, хлопоты были закончены, 6 сентября поутру весь полк отслужил молебен и двинулся по узкой извилистой дороге на Тифлис.

В своих очень правдивых воспоминаниях Брусилов пишет, что офицеры «пламенно желали» войны, «в особенности нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь боевых воспоминаний от своих старших товарищей, участвовавших в турецкой войне 1853—1856 годов и кавказских экспедициях». В чем же была причина этого воодушевления? Брусилов прямо и нелицеприятно объясняет, что для большинства его товарищей-офицеров привлекательна «была именно самая война, во время которой жизнь течет беззаботно, широко и живо, денежное содержание увеличивается, а вдобавок дают и награды.

Что же касается низших чинов, — продолжает Брусилов, — то, думаю, не ошибусь, если скажу, что более всего радовались они выходу из опостылевших казарм, где все нужно делать по команде; при походной же жизни у каждого большой простор. Никто не задавался вопросом, зачем нужна война, за что будем драться и т. д., считая, что дело царю — решать, а наше — лишь исполнять. Насколько я знаю, такие настроения и мнения господствовали во всех полках Кавказской армии».

Оценка эта и справедлива, ибо подобная ограниченность понимания была свойственна не только Кавказской армии, и самокритична: поручик Алексей Брусилов тоже не слишком-то глубоко понимал тогда смысл происшедших событий, да не очень и вникал в них: дело драгун рубить врагов, а что там, как там — не нашего ума дело... До бога высоко, до царя далеко. Пики к бою, пашки наголо, вперед марш-марш, «ура!» — вот и вся тут наука.

...Тверской драгунский полк прибыл на турецкую границу в конце сентября и расположился на зимние квартиры в районе города Александрополя (ныне Ленинанкан Армянской ССР). К войне готовились энергично. Более всего Брусилов занимался лошадьми, в условиях суровой и капризной горной зимы содержать их было нелегко. Настроение его было бодрое, как и все молодые офицеры, он радовался, что рутинная казарменная жизнь кончилась, что нет более плац-парада, что близится настоящее живое дело — война.

Полк Брусилова вошел в состав 1-й кавалерийской дивизии (вместе с еще одним драгунским и тремя казачьими полками; обычно в русской кавалерийской дивизии имелось несколько полков различного тактического применения; так, казаки были более легкой и более маневренной кавалерией, нежели драгуны, зато последние более пригодны к действиям в сомкнутом строю — основном тогда виде конного боя). 1-я дивизия входила в состав главных сил Кавказской армии, командовал которыми генерал М. Т. Лорис-Меликов. Обходительный, ловкий, с хорошо подвешенным языком, что редко бывает среди военных, он впоследствии сделал головокружительную карьеру, став правой рукой стареющего Александра II. А в ту пору это был заурядный генерал, никакими дарованиями, кроме вышеуказанных, не отмеченный.

В апреле 1877 года военные действия начались.

Здесь не место излагать хотя бы кратко ход русско-турецкой войны. Скажем лишь, что ввиду особенностей общего характера поля военных действий противников оно делилось на два изолированных театра — Балканский и Кавказский. Кавказский был тут второстепенным, он находился на периферии Османской империи, располагался в горных районах, с редкой сетью дорог и редким сравнительно населением. Иное дело — Балканский полуостров, точнее, та его часть, которая ныне составляет территорию Румынии, Болгарии и Европейской Турции. Здесь находились кратчайшие пути к турецкой столице — Стамбулу, здесь пролегла густая сеть дорог, тут легче было сосредоточить и снабжать крупные войсковые соединения. Вполне закономерно, что оба противника считали этот театр главнейшим и именно здесь сосредоточили основные боевые силы.

Будучи второстепенным, Кавказский участок фронта отнюдь не должен был оставаться с русской стороны в пассивном состоянии. Напротив, тут предполагались решительные, причем именно наступательные действия. Русские стратеги так формулировали задачи здешних сил: «Конечная цель наших военных действий находится не в Азиатской Турции, а на Балканском полуострове. Цель эта будет тем ближе достигнута, чем больше турецких сил мы привлечем против себя и чем больше займем пунктов и странства в Азиатской Турции... Наиболее важными и выгодными пунктами для занятия представляются Карс и Эрзерум, и все возможное должно быть сделано, чтобы ими овладеть».

Сейчас, безусловно, очевидно, что и стратегическое и тактическое решение оказалось тут правильным: наступать вдоль Турецкого побережья Черного моря мы не могли ввиду полного господства флота противника, а кратчайшим расстоянием в глубину страны была оперативная линия Карс — Эрзерум, где не первый раз уже воювали русские и турецкие войска. Почти полвека тому назад Александр Пушкин уже побывал здесь с русскими полками, его «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» дает прекраснейшие описания тамошней природы, военного быта на горных дорогах и биваках, сцены боев и схваток. Кстати, и способы войны за эти столетия существенно не изменились, так что с малыми поправками пушкинские картины могут быть отнесены и к брусилловскому времени.

Всего к началу войны Кавказская армия насчитывала 95 с половиной тысяч бойцов — несколько больше, чем у турок. В горной труднопроходимой местности и при плохой тогда связи эти силы были разбиты на несколько отрядов. Для наступления в глубь Турции выделялись главные силы — так называемый «основной корпус» под командованием Лорис-Меликова, в нем числилось 52 с половиной тысячи, в том числе и личный состав тверских драгун. Итак, с первого дня войны поручик Брусилов волею судеб оказался в авангарде главных русских сил, поведших наступление.

К ночи 11 апреля офицерам полка стало известно, что назавтра начинаются военные действия: Брусилов лично привез эту весть из штаба корпуса, куда его, как и других полковых адъютантов, вызвали для вручения манифеста об объявлении войны. Тотчас же стали готовиться к атаке на пограничные турецкие казармы, стоявшие на противоположном берегу горной реки. Уже в половине первого 12 апреля в кромешной темноте южной ночи Брусилов с отрядом драгун переправился через разбухшую от весеннего половодья реку. В темноте брод теряли, приходилось то и дело плыть на лошадях в ледяной воде. К счастью, обошлось без потерь.

Брусилов шепотом отдавал команды драгунам, тихо окружавшим казарму. Ожидалось, что турки, которые тоже знали о приближении войны, вот-вот откроют огонь. Но было тихо. И только когда один из драгун, знавший несколько турецких слов, громко постучал в ворота казармы, все стало ясно: турки... спали. То ли верховное командование не позаботилось своевременно оповестить свои пограничные части, что началась война, то ли не сработала телеграфная связь, то ли начальник отряда оказался беспечен, но казарма была окружена, и после кратких переговоров все турки сдались брусилловским драгунам без единого выстрела. Молодой поручик был доволен: в первой же операции захвачен ценный трофей — командир турецкой пограничной бригады. Брусилов не скрывал своей радости, но опытные ветераны кавказских войн своевременно предупредили: успех его случаен, турки — серьезный противник, они еще покажут себя. Вскоре так и произошло.

Русские войска уже к концу апреля начали охватывать турецкую крепость Карс — основу приграничных укреплений противника. Главкомандующим Анатолий-

ской армии Турции был Мухтар-паша, опытный в военном деле человек, он понимал, что в открытом бою проиграет русским, поэтому отступил из Карса на запад, к горным перевалам, оставив в крепости большой гарнизон с приказом держаться до последнего. 1-я кавалерийская дивизия первой из русских частей вышла к Карсу. Разведка донесла, что Мухтар-паша только что ушел, поэтому сильный отряд был направлен за ним в погоню.

Брусилов со своими драгунами шел в авангарде. Дорога проходила мимо многочисленных сел, большинство их были армянские. Жители открыто и восторженно встречали развозы русских кавалеристов. Брусилов хорошо запомнил их радостные лица, их приветствия и много позже в мемуарах не преминул рассказать об этом. В церквах звенели колокола, жители выносили на дорогу плоский армянский хлеб, соленый овечий сыр, вино. Но эскадроны торопились, было не до подарков.

Двое суток погони не дали результатов, если не считать нескольких пленных турецких солдат, отбившихся от своих. На третьи Брусилов увидел заснеженные кручи горного кряжа — то был Сеганлугский хребет, за которым и намеревался укрыться Мухтар-паша со своими главными силами. Нужно было поворачивать обратно, люди и кони страшно устали. Обоз и лазарет отряда к тому же отстали. Повернули. Обратно ехали уже медленнее, подгоняемые лишь голодом и желанием поскорее прорваться к своему лагерю. И вдруг за одним из поворотов дороги Брусилову и его товарищам открылось страшное зрелище. Стоял знакомый санитарный фургон их полка и пара обозных двуколок. Лошади были выпряжены и исчезли, а на обочине в лужах крови валялись полдюжины обозников и санитаров. Боже, что с ними сделали! Глаза выколоты, кисти рук отрублены, над некоторыми телами отвратительно надругались. Это были обычные проделки башибузуков. Шайки башибузуков были полный нуль в военном отношении, всегда избегали открытого боя с нашей кавалерией или казаками, но охотно занимались разбоем на дорогах и творили страшные зверства. Они-то и резали мирное население славянских или армянских селений. То был первый случай, когда молодой Брусилов столкнулся с бессмысленными зверствами войны. Он был поражен, ибо одно дело читать или слышать рассказы о зверствах и совсем иное — столкнуться с ними воочию.

Традиции армии, в которой служил Брусилов, были совсем иными. Никогда, даже в дни страшного ожесточения против врага, как, например, в Отечественную войну двенадцатого года, никогда не пятнала себя русская армия расстрелом пленных, зверствами и мародерством. Кровь можно проливать лишь в бою, а в иное время грех, если то не кровь изменническая, — таков был неписанный, но свято соблюдавшийся закон. Даже к своим казакам, которые вообще-то не прочь были «слямзить» кое-что у противника, в армии относились предосудительно, хоть и хвалили казачью лихость и отвагу в бою. Брусилов всю жизнь оставался верен этим лучшим традициям нашей армии. Ни молодым поручиком, командиром кавалерийского развезда, ни генералом не совершал он жестокостей к побежденным и насильем над мирным населением.

После окружения Карса часть сил русской армии была брошена на север против крепости Ардаган. От терских драгун был выделен дивизион (то есть два эскадрона), вместе с ними пошел и полковой адъютант Брусилов. Русские войска очень быстро взяли крепость, вся операция заняла не более недели. В послужном же списке офицера Брусилова вскоре появилась запись: «За отличие, проявленное в боях с турками 4 и 5 мая 1877 г. при взятии штурмом крепости Ардаган, награжден орденом Станислава 3-й степени с мечами и бантом».

То была первая боевая награда будущего генерала Брусилова. Первая, но не последняя. Он получил за свою долгую военную службу почти полный набор существовавших тогда в России орденов.

Перед стенами Карса Брусилову пришлось задержаться долго. Крепость осаждалась недостаточно решительно, да и недостаточно умело. Турки упорно сопротивлялись, часто делали вылазки. Тогда вызывали на поле боя кавалерию, чаще всего драгун. Эскадроны шли в разомкнутом строю (местность была неровная), шли на рысях, а не в галоп (по той же причине). Турки отступали, а по русской коннице открывали огонь из крепостных орудий. Такие операции повторялись чуть ли не каждый день. Драгуны несли потери (не очень значительные, впрочем), но так ни разу и не столкнулись с противником.

Брусилов вспоминал об этом с неудовольствием: «Мы называли эти вызовы кавалерии к Карсу «выходами на

бульвар», и этот «бульвар», признаться, нам порядочно надоел». Конечно, гораздо увлекательнее гнаться за турецким главнокомандующим по горным дорогам, однако поручик Брусилов именно тут приобрел тот важнейший навык военного человека, без которого ни ему и ни кому другому до и после него не стать бы выдающимся полководцем: умение стоять под огнем. Это издали очень просто: стоять, когда в тебя стреляют, и не ложиться, идти вперед, под огонь, хотя непослушное тело само, кажется, готово поворотиться вспять, идти медленно, когда ноги как будто несут тебя быстрее и быстрее, слушать в грохоте боя команду и исполнять ее не мешкая (или отдавать нужную команду и показывать пример исполнения ее).

Этому нельзя выучиться в самых лучших военных училищах, не освоить на самых суровых маневрах. Это можно постичь, только находясь самому под огнем. Но только человек, сам не раз бывавший под огнем, только он поймет, что можно, а чего нельзя ожидать от другого человека, других людей, посылая их в огонь. Только он знает пределы возможного и невозможного здесь. И сможет точнее и лучше рассчитать все как командир. Раз за разом ходить и водить людей в атаку нерезвой рысью под огонь, под грохот разрядов и стоны раненых товарищей — это боевой опыт, который не имеет цены для будущего военачальника. Под Карсом Брусилов такой опыт приобрел.

Пока войска, осаждавшие Карс, вели изнуряющие, но нерешительные бои, главные силы русской Кавказской армии вели поначалу успешное наступление. Южнее Карса русский так называемый Эриванский отряд взял с ходу сильную турецкую крепость Баязет. Тем временем к северу от Карса на Черноморском побережье были успешно отражены турецкие десанты.

Турки, опасаясь полного разгрома на азиатском участке фронта, вынуждены были перебросить резервы в свою Анатолийскую армию, хотя эти резервы так нужны были в то время под Шипкой и Плевной! Итак, стратегическая задача, поставленная в начале войны перед Кавказской армией, выполнялась: силы противника оттягивались с главного театра военных действий. Но ведь можно и перевыполнить намеченные задачи, и такая возможность русскому командованию предоставлялась судьбой. Сложилась благоприятные условия для решаю-

щего сражения с главными силами турок, отступившими к району Сарыкамыш — Зивин, примерно посередине основной стратегической линии военных действий (Карс — Эрзерум). Стал вопрос перед командованием Кавказской армии — атаковать ли турецкие позиции, что называется, «на плечах отступающего противника» или дожидаться падения Карса и тогда уже обрушиться всеми силами. Решение было принято опрометчивое — идти вперед, силы турок явно недооценивались, началось легкомысленное, плохо подготовленное наступление на Зивин.

Войска повел генерал Гейман. То был колоритный и экстравагантный человек, кантонист, сын еврей-барабанщика, довольно ловкий интриган и острослов, но безусловный авантюрист. Стремясь во что бы то ни стало связать свое имя с решающим, как он полагал, успехом в войне, Гейман направил свои войска прямо на лобовой штурм. Лорис-Меликов, находившийся при его отряде, тоже куда как не выдающийся стратег и тоже авантюрист, плохой этот план утвердил. Перед атакой Гейман самоуверенно произнес слова, которые обыкновенно говорят «для истории»:

— Я не веду сегодня колонн. Здесь и без того довольно генералов, нужно же им дать случай отличиться.

Отличились... Опытный Мухтар-паша собрал превосходящие силы, русская атака была отбита, турки сами перешли в наступление. Самоуверенность Геймана и Лорис-Меликова сменилась растерянностью, и русские войска покатались назад. Покатались далеко, даже осаду Карса пришлось снимать.

Брусилов подробностей этих еще не знал, просто однажды вечером по полку приказано было срочно собраться и отходить. Отошли они быстро, неожиданно для противника и без потерь, но настроение у всех было неважное. Тем более что все понимали: проиграли сражение не рядовые, а генералы. Так и было. Брусилову не раз предстояло еще убедиться в слабости высшего военного и политического руководства тогдашней России. Дряхлеющий правящий класс уже не мог выдвинуть из своей среды Петра Великого, Суворова или Кутузова. Под Карсом лишь в малой пропорции произошло то, чему Брусилов стал свидетелем в масштабах неизмеримо более огромных и последствий более трагических. Только невероятная стойкость, лишь неопишное мужество рус-

ских воинов позволяли армии восполнять неграмотное командование и плохое руководство.

Полк тверских драгун отошел обратно к границе. В конце июня Брусиллов и его товарищи оказались уже на российской территории под местечком Игдырь. Здесь простояли в бездействии месяца полтора. Было скучно, ибо серьезных боевых столкновений не происходило, но изнуряла страшная жара и очень плохое снабжение. Питались чем бог пошлет, причем солдаты и офицеры в эскадронах были тут в совершенно равном положении. Негде было даже нагреть воду, чтобы помыться как следует, не говоря уже о банях. Пропитанные потом рубахи кипятили в котлах, даже смейной пары не имелось, и вот Брусиллову и его товарищам приходилось сидеть под буркой, пока единственная эта рубаха высохнет. Перевязочных материалов и лекарств не имелось вовсе.

К началу сентября тверские драгуны вновь были переброшены в состав главных сил. Брусиллов, как и все его сотоварищи, с радостью покидал голые, выжженные солнцем скалы вокруг Игдыря. Теперь-то, надеялись они, предстанут настоящие бои с противником — настоящие в их представлении, то есть лихие конные атаки, обходы противника, прорывы в тыл. Но и здесь русская армия вела пока пассивную позиционную войну. Зато подходили резервы. Рядом с брусилловскими драгунами стала только что прибывшая из Москвы 1-я гренадерская дивизия. По всему чувствовалось — вот-вот начнется...

И верно, готовилось новое наступление. Командование осталось прежним, те же Лорис-Меликов, Гейман и прочие, но сил у них теперь стало больше, причем особенно прибавилось артиллерии: для осад крепостей, которыми так изобилвала кампания в Закавказье, это было очень важно. С наступлением следовало спешить, ибо турецкое командование, переоценивая тактический успех Мухтара-паши, намеревалось даже перебросить часть сил Анатолийской армии на Балканский театр боевых действий. Это было бы недопустимо, ибо как раз в конце августа начали разворачиваться решающие сражения под Плевной.

Большим преимуществом русской армии в ее войне с турецкой феодальной военщиной была, как уже говорилось, поддержка местного населения. Летом из грузин и армян, проживавших тогда на территориях, принадле-

жавших турецкому султану, были сформированы вспомогательные и даже боевые отряды. Многие армяне, жители так называемой «Турецкой Армении», служили в нашей армии переводчиками, проводниками, разведчиками.

...Ночь на 20 сентября огласилась артиллерийским громом. В ночной тишине и темноте, усиленная горным эхом, канонада звучала особенно впечатляюще. Тверской драгунский полк, построенный по тревоге, замер в ожидании приказа о наступлении. Лошади переступали ногами, трясли головами, испуганно похрапывали. Справа и слева уходили вперед пехотные колонны, молча, без криков и песен, тяжело ступая по каменистым дорогам, а драгуны все стояли. Наконец, когда вершины гор уже осветились ранними лучами, Брусиллов услышал раскатистое:

— По-о-олк! По-эс-ка-дронно ша-а-гом ма-арш, ма-арш!

Первые дни турки отступали, не давая решительного сражения. Наконец к вечеру 2 сентября Тверской полк вышел к высокой горе Авлиар. Здесь-то и произошло знаменитое сражение, решившее исход военной кампании в Закавказье, впоследствии оно получило название Авлиар-Аладжинского.

С рассветом 3 сентября русские войска несколькими колоннами двинулись на штурм турецких позиций. Тверской полк шел в авангарде, получив задание прикрыть край оврага, обеспечивая тем самым фланг атакующей пехоты. Брусиллов по приказу командира полка первым должен был выйти на позицию, чтобы лучше выбрать место. Шли на рысях открытой местностью, под огнем. Внезапно лошадь Брусилова сделала отчаянный скачок и рухнула, сраженная насмерть. К счастью, сам поручик даже не ушибся. Он пересел на лошадь полкового трубача и вовремя прискакал на место. Полк вышел к оврагу, и был отдан приказ, который так не любят все канальеры: спешиться и залечь в цепь. Турки тем временем вышли на другую сторону оврага, завязалась перестрелка. Брусиллов везло в тот день: пули то и дело ударяли по камням вокруг него, но он не получил даже царапины.

Драгуны надежно прикрыли фланг нашей атакующей пехоты. В середине дня гора Авлаир, ключ турецких позиций, была взята. Началось беспорядочное бегство противника. Армия Мухтара-паши потерпела полное пора-

жение, сам он с малой толжкой своих войск бежал вновь к Зивину. Но теперь у Анатолийской армии не было ни сил, ни резервов, чтобы сражаться в открытом поле. У них оставалась одна надежда — крепости.

Важнейшей из них по стратегическому положению и сильнейшей в военном отношении была крепость Карс. Протяженность линий укреплений составляла 20 километров. На фортах стояло 300 орудий, гарнизон насчитывал 25 тысяч человек. Запасов продовольствия и боеприпасов, подготовленных заблаговременно, хватило бы на несколько месяцев боев. А стоял уже октябрь, приближалась зима, очень суровая и снежная в этих горных местах. А ведь осаждающим негде укрыться — кругом голые скалы, обдуваемые ветрами, да редкие сожженные селения.

Французский генерал де Курси, находившийся в ту пору при штабе Кавказской армии, осмотрев Карс, порочествовал русским генералам:

— Я видел карские форты, и одно, что я могу посоветовать, это не штурмовать их: на это нет никаких человеческих сил! Ваши войска так хороши, что они пойдут на эти неприступные скалы, но вы положите их всех до единого и не возьмете ни одного форта!

Есть тут и еще одно свидетельство. В 1829 году, посетив крепость, только что взятую русскими войсками, один путешественник кратко заметил: «Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом». Это был Пушкин. И вот полвека спустя неприступную крепость надлежало взять снова.

Уже к 10 октября, преследуя деморализованного поражением противника, русские войска обложили Карс. Тверские драгуны заняли позицию с западной стороны крепости. Брусилов, как и другие офицеры полка, получил небольшую брошюру: то был напечатанный типографским способом план карских укреплений. Русская военная разведка заблаговременно и на этот раз удачно позаботилась о войсках: все форты и батареи сильнейшей османской крепости были аккуратно изображены каждый на отдельной страничке. Для Брусилова обстоятельная эта разведывательная карта свидетельствовала прежде всего о том, что их полк поставлен против самого опасного участка... Так оно и было: путь к крепости преграждала небольшая, но очень бурная река, а за ней

возвышались горы; горы же венчались окопами и батареями. Утром Брусилов сопровождал командира полка на рекогносцировку — впечатление от турецких укреплений осталось внушительным.

Началась муравьиная работа пехоты: копанье траншей и укрытий, медленное продвижение вперед к стенам крепости, еще на сто шагов, на двести, на тысячу... Турки тоже не дремали и пытались внезапными вылазками помешать осаждающим. Тогда пехотинцы вызывали на помощь кавалерию. На западной стороне в таких случаях поднимался Тверской драгунский полк. На рысях драгуны двигались через мелководную реку навстречу туркам, те всякий раз уклонялись от боя. Брусилов, непреременный участник всех этих контратак, почувствовал, что противник теперь не так упорен, как год назад. «Турки уже не те вояки, что прежде», — заметил он, сравнивая весеннюю осаду Карса с нынешней.

Штурм крепости готовился обстоятельно и целенаправленно. К счастью для дела, фактическим руководителем наступления стал генерал Лазарев — очень способный и решительный военачальник, полная противоположность Лорис-Меликову, номинальному командующему. Штурм решено было проводить ночью, учитывая, что турецкие войска хуже переносят нервную сумятицу ночного боя, поддаются панике, их командиры легко теряют управление.

В вечерних сумерках пятого ноября полки были построены перед атакой. В низинах уже белел снег, с гор дул ледяной ветер. Брусилов, кутаясь в бурку, закрывая лицо башлыком, выслушал приказ: полк должен не допустить прорыва противника из крепости по эрзерумской дороге. Хрипловатым, простуженным голосом командир полка закончил:

— ...Помните, что наша борьба с турками за избавление болгар-христиан от турецкого насилия — дело святое, а поэтому забудьте все мирское и направьте все ваши помыслы и усилия только к уничтожению врага.

В русской армии было давнее обыкновение, как надлежит всякому воину готовиться к предстоящей кровавой сече. Надевали чистые рубахи, исповедовались и причащались у полкового священника, оставляли письма родным, давали наказ товарищам, кому что отдать после смерти: тому-то кинжал в серебряной оправе, тому образок святого Георгия, покровителя православных воинов,

на серебряной цепке, а тому вот новые ненадежные сапоги. К возможной кончине тут готовились деловито и спокойно.

Алексей Брусилов тоже проделал этот подобающий воину обряд, но скорее как дань обычаю, нежели по сильному внутреннему чувству: в двадцать четыре года в собственную смерть не очень-то верят. А к завещаниям, как и все молодые люди, испытывал пренебрежение. С неподдельным душевным волнением он исполнил одно: написал приемному отцу, благодаря его за все и, как водится в таких случаях, попросив прощения.

Как только ночная мгла плотно легла над Карсом и окрестными горами, русские пехотные колонны в полной тишине и кромешной тьме начали выдвигаться к турецким фортам. Огонь открывали только с очень близкого расстояния или уже будучи обнаруженными противником. Повсеместно происходили штыковые атаки, переходившие в рукопашные схватки. В темноте Брусилов и другие драгуны не видели, разумеется, поля боя, но своеобразную музыку его они слышали прекрасно, а понимать подобные мелодии они уже научились очень хорошо. Сомнений не оставалось: наша брала! При первых же солнечных лучах стало очевидно: почти все турецкие форты пали, участь сражения была решена.

Решена, но не кончена. Вот теперь-то и вводилась в бой кавалерия. Колонны турок вышли из ворот и двинулись на запад, то есть к Эрзеруму, надеясь пробиться к своим. Двинулись, как казалось Брусилову, прямо на тверских драгун.

Разумеется, ни Брусилов, ни командир его полка не знали, что турецкий главнокомандующий в Карсе Гусейн-паша уже бежал с небольшой свитой, бросив свою армию на произвол судьбы. В покинутых ими войсках нашлись, однако, офицеры, которые сумели остановить бегущих в панике солдат, построить их в ряды и повести по эрзерумской дороге. Полк драгун быстрым маршем двинулся наперерез. Эскадроны четко, как на параде, вышли на дорогу и развернулись фронтом перед отступающими турками. Кое-как построенная пестрая их колонна приближалась. Брусилов уже хорошо различал короткие синие куртки турок, перепоюсаные ремнями, фески с пышными кисточками. Он сжимал эфес пашки, вот-вот ожидая привычной команды идти в атаку. Вдруг турецкая колонна стала. Вперед вышло несколько человек,

оживленно жестикулировавших. «Сдаются, сдаются!» — пронеслось по рядам драгун.

Так оно и было. Увидев, что окружены, и не надеясь пробиться сквозь заслон русской кавалерии, турки сдались. Впоследствии Брусилов рассказывал об этом с обычным благожелательством русского человека к чужому несчастью, даже если это несчастье бывшего неприятеля: «Действительно, рассматривая положение турок, нужно сознаться, что у них другого выхода не было: до Эрзерума было не менее трех-четырёх переходов, вышли они в одних своих куртках, без всякого обоза, и в таком состоянии, без пищи, по колено в снегу пройти им до Эрзерума было бы невозможно».

Что ж, и в самом деле невозможно, должно быть, и Брусилов вполне тут сочувствует, сочувствует искренне: замерзнут в куртках-то... Но сам Брусилов принадлежал к той армии, которая приучена была делать именно невозможное. Суворовские полки, окруженные в снежных горах, пробились через превосходящего противника чуть ли не босиком, хотя «по правилам» им полагалось бы сдаться. И так было и до и после великого Суворова. По соседству с брусиловской дивизией турками был окружен небольшой русский гарнизон в замке крепости Баязет. Ни хлеба, ни боеприпасов, а осаждающих ровно в десять раз больше (это потом точно высчитали военные историки). И что же? На предложение сдаться, что было бы вполне «по правилам», капитан, командовавший гарнизоном, сказал, что русские не сдают крепостей, а сами берут их... Двадцать три дня держался гарнизон, приготовившись уже взорвать замок, да подоспела помощь. Именно в таких традициях воспитывался поручик Брусилов: брать крепости, но не сдавать их. Вот почему он мог посочувствовать противнику, попавшему в беду и сдавшемуся. Но своим, которые сдавались, он не сочувствовал.

Для младшего офицера, как и для солдата, собственная военная судьба непредсказуема. Где он будет завтра, что произойдет, с кем встретится и расстанется — знать ему не дано, решает это высшее командование. Так и Брусилов не знал вечером 6 ноября 1877 года, когда вместе с драгунами сопровождал обратно в Карс колонну пленных турок, не знал, что для него и для всех его однополчан война уже закончилась. Основные силы русской Кавказской армии двинулись, преследуя отступаю-

щих турок, к Эрзеруму, а дивизия, в которой служил Брусиллов, была отведена в глубокий тыл и стала на зимние квартиры.

Можно без преувеличения сказать, что Брусиллову повезло. Второй за эту войну поход русских войск под Эрзерум вновь оказался неудачен. Тот же генерал Гейман действовал вяло и нерешительно, осада крепости затянулась. Началась зима, очень суровая в тех местах. Турки отсиживались в хорошо оборудованной крепости, а русские замерзали в наспех вырытых землянках. Военные действия не велись, но наша армия понесла большие потери, которые на военном языке носят осторожное название «небоевые». Проще говоря, по вине Геймана и генштабных интендантов солдаты гибли от холода и плохого снабжения. В довершение несчастий русскую армию поразила эпидемия тифа. Множество людей погибло. Судьба не пощадила и генерала Геймана, он тоже заболел и вскоре же умер. «Бог покарал», — крестьясь, говорили измученные солдаты.

Несмотря на все невзгоды, русская армия тем не менее твердо стояла под стенами Эрзерума. Турки уже истощили все силы, когда 19 (31) января 1878 года было подписано перемирие. Османская империя потерпела полный военный разгром, русские войска стояли под стенами Стамбула.

Брусиллов тем временем отдыхал от военных тягот в зеленых долинах Грузии. Впрочем, слово «отдыхал» надо понимать несколько формально, ибо никакой усталости новоиспеченный штабс-капитан не чувствовал. Напротив, он был преисполнен бодрости и уверенности в своих силах. Он ушел в поход всего лишь год тому назад, ушел молодым, необстрелянным юношей, теперь он стал ветераном, закаленным солдатом, опытным офицером. Он побывал под огнем, он ходил в атаку с пашкой наголо, он глядел смерти в лицо. Теперь он стал настоящим боевым командиром.

Петр Стылов

(Болгария)

ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ

У самого леса под охраной болгарских ополченцев, на островерхих папахах которых гордо блестели желтые металлические кокарды со львом, синела мундирами понурая толпа турецких офицеров, а ниже, перед сомкнутым строем победоносных русских полков, только что наголову разгромивших огромное войско Вейсала-паши, галопом мчался генерал Скобелев. Из-под копыт белого жеребца во все стороны разлетались куски льда и комья снега. Привставая на стременах, генерал приветственно махал рукой и сорванным на морозе голосом хрипло кричал:

— От имени отечества благодарю вас, братцы!..

И там, где он пронесся, словно рожденная им лавина, грозно и неудержимо раскатывалось над полем недавнего боя оглушительное «ура!».

Бывало и прежде, что над теснинами и ущельями Балкан, над равнинами Тракии, у редутов Плевны гремел этот русский клич. Но до этого декабрьского дня болгарская земля еще не слышала такого могучего боевого зова. Возникало чувство, будто надвигающиеся мощные валы восторженных человеческих голосов никогда уже не смолкнут. Казалось, даже деревья — обломанные, израненные пулями и снарядами деревья, — и те гнутся под сокрушительным напором ураганного гула, что катился над боевыми рядами солдат в грязных, изодранных шинелях. Он несся над разрушенными в ожесточенных схватках селами Шипка и Шейново, достигал далекого Казанлыка, поднимался по заснеженным обрывистым скалам до самой вершины Святого Николы.

Ура! Ура! Ура!

Чуть в стороне от группы русских офицеров, взявших под козырек, взволнованно смотревших на ликующую массу солдат, стоял пожилой человек с длинными, свисающими книзу усами, в русской форме. По его щекам медленно скатывались слезы, но он и не пытался их скрыть.

— Победа... победа... — чуть слышно шептал он.

Да, победа. Теперь он может умереть спокойно. Он сам, своими глазами видел ее, видел полный разгром главных турецких сил.

В памяти невольно возникали картины недавних дней, переход через Имитлийский перевал, прорубленная саперами в слежавшемся заледелом снегу узкая тропа, по которой, срываясь в пропасти, падая, упорно пробирались солдаты в полной боевой выкладке, вкатываемые руками орудия, качающиеся на плечах заиндевевшие снарядные ящики, тяжелые, неуклюжие ранцы. А потом первые схватки у села Имитли, яростные атаки у Шейнова, трупы на кровавом снегу, густой кислый запах пороха. И наконец... победа!

— Господин учитель, теперь двинемся на юг? А? Господин учитель? Теперь пойдем на Одрин? Правда? — спрашивал его по-болгарски стоявший рядом юноша, но он не слышал его.

Только когда к нему подошел высокий русский офицер и тронул за руку, он наконец очнулся.

— Слышали, господин Славейков, — открыто улыбаясь, сказал офицер, — Мольбам всем прусским наблюдателям разрешил до весны вернуться на родину. Не верил немецкий начальник штаба, что наши войска сумеют Балканы зимой преодолеть, считал, что до весны никаких серьезных боев не будет! Да-а... Представляю, какой для него будет сюрприз узнать о сегодняшней победе! А ведь в этом и ваша заслуга есть!

— Что вы... заслуга здесь русских солдат и наших ополченцев, а не моя.

— Не скромничайте, не скромничайте! Для этой победы и вы немало сделали!

Офицер еще раз улыбнулся и, лихо отковыряв, отошел в сторону. «Что ж, может быть, и действительно в общей победе есть и моя частица», — подумал Славейков, провожая его взглядом.

Невольно вспомнилась первая встреча с этим веселым адъютантом командующего.

Он жил тогда в Трявне и все еще никак не мог забыть страшные впечатления последних месяцев. После кровопролитных боев русские полки и дравшиеся с ними бок о бок болгарские ополченцы оставили Старую Загору. В город ворвались турки. Они вырезали тысячи мужчин, женщин, детей, подожгли город. Славейков уходил с арьергардом. Оставляя Старую Загору, он вертелся в седле, с тоской глядя на пылающие дома. Глаза его потухли. После того, что произошло, не хотелось жить. И вдруг неожиданный приезд адъютанта командующего и его ординарца.

— Вы Петко Рачев Славейков? — спросил его офицер.

— Я. Входите, пожалуйста.

Славейков встречался со многими русскими офицерами, знал почти всех военачальников, расквартированных в Трявне. Но этого веселого, русоволосого, с голубыми глазами и лихо подкрученными усами молодого офицера видел впервые. Когда они вошли в комнату, Славейков спросил:

— Чем могу быть полезен?

Щелкнув каблуками, офицер четко доложил:

— Прибыл к вам, господин Славейков, по приказу главнокомандующего... Его превосходительство просят явиться к нему. Я получил приказ сопровождать вас в главный штаб русской армии.

Село Бохот, где разместился главный штаб русской армии, затерялось в широкой равнине, покрытой белым покрывалом. Всюду снег, снег да медлительно передвигавшиеся черные точки — пешие и конные солдаты. Лениво курились трубы. Соломенные крыши, казалось, придавливали книзу невзрачные саманные домишки, почти лачуги, вросшие в землю. Подслеповатые, устроенные почти у самой земли оконца с любопытством глядели на прохожих.

Несмотря на мороз, улицы были забиты народом. Крестьяне сидели перед своими приземистыми хибарами или ходили по улицам, останавливали солдат, казаков, завязывали с ними беседы просто так, чтобы отвести душу и показать русским, как они дороги сердцу любого болгарина. Иногда какая-нибудь девушка стремглав бросалась во двор, распахивала настежь перекошенную дверь и исчезала в доме. Потом снова выбегала уже с котелком или баклагой. Солдаты пили вино, вытирая ладонью усы, сердечно благодарили за угощение.

— Подождите, пожалуйста, здесь, — сказал Славейкову офицер, когда они подъехали к большому двухэтажному дому в центре села.

Офицер соскочил с лошади, земля под его сапогами отозвалась ледяным звоном. Бросив поводья ординарцу, он вошел во двор, но спустя минуту появился и, придерживая рукой саблю, бегом направился к Славейкову. Подбежав к нему, щелкнул каблуками и козырнул:

— Прошу вас! Главнокомандующий приказал явиться немедленно...

В комнате, куда Славейков вошел, за столом, покрытым красным сукном, сидел грузный человек в генеральской форме. У него была большая голова, высокий лоб, синие пронзительные и строгие глаза, крупный нос с горбинкой, закрученные кверху усы и пышная холеная борода. Чуть пониже ухоженной бороды сверкал военный крест.

Увидев вошедшего, командующий неторопливо встал из-за стола и, протянув руку вперед, немного надменно сказал:

— Добро пожаловать, господин Славейков. Слышал, слышал о вас. Садитесь! — Он указал на единственный стул.

Только теперь Славейков заметил недалеко от стола вытянувшегося в струнку молодого офицера. Командующий опустился в кресло, взял со стола деревянную ленточку, несколько раз хлопнул ею по ладони и размеренно продолжал:

— Я много слышал о вас, господин Славейков.

Гость молча поклонился.

— Ведь это вы с князем Церетели перешли Балканы и проникли в турецкий лагерь?

Славейков растерянно улыбнулся. Воспоминания о дерзкой вылазке в стан противника были приятны. Но он не ожидал такого разговора.

— Да, ваше превосходительство, — негромко произнес он.

Необходимость подтвердить похвалу бросила его в краску.

— С князем Церетели мы познакомились прошлым летом, в семьдесят шестом. После Апрельского восстания, если соблаговолите вспомнить, он как представитель русского правительства участвовал в работе комиссии по расследованию зверств турок в Среднегории и Родопах.

Там я с ним и познакомился. Рассказал князю о неслыханных страданиях болгарского народа и о всех ужасах, которые выпали на долю моих соотечественников. Мы стали друзьями. А летом, когда потребовались точные сведения о расположении и состоянии турецких войск по ту сторону Балкан, князь предложил отправиться с ним в разведку. Для меня это было высокой честью. Мы переоделись в турецкое платье. Я совершенно свободно говорю по-турецки, князь же должен был прикинуться глухонемым... По малому кому известным горным тропам мы добрались до турецкого лагеря в селе Хаинкиой. Турки приняли нас за своих и охотно рассказывали обо всем, что нас интересовало.

Главнокомандующий улыбнулся и встал. Офицер сделал шаг назад, давая ему дорогу, щелкнул каблуками и снова замер как изваяние. Заложив руки за спину, генерал прошелся по комнате из угла в угол, весело позвякивая шпорами. Славейков тоже вскочил. Командующий подошел к поэту. Какое-то время оба пристально смотрели друг другу в глаза.

— Господин Славейков, — наконец снова заговорил генерал, четко выговаривая каждый слог. — Я знаю, что вы подлинный болгарский патриот, борец за свободу и просвещение вашего народа, знаю, что вы были редактором «Гайды» и «Македонии», знаю, что вы автор многих сборников стихов и других полезных для народа книг...

Генерал внезапно умолк, подошел к столу, раскрыл папку, быстро перелистал ее, достал какой-то лист бумаги и, повернувшись к Славейкову, прочитал:

Всех царей державной статью
Русский может обороть.
Русские болгарам братья,
Та же кровь и та же плоть.

Нет держав России впору,
Мощи в мире нет такой.
Быть ей нашею опорой,
Быть ей нашей высотой!

Сила русская, и воля,
И кровавый русский пот
Вызволят из-под неволи
Наш намученный народ.

Бог поддержит наше дело
И пошлет спасение,

Коль возьмем в десницу смело
Острый меч отмщения.

Вся надежда на Россию,
Русский царь нам словно Спас;
Остальные глаз косили
И не думали о нас.

И германцы, и британцы,
И французы — хором
Все в приятели стремятся
К нашим людоежорам.

Спекулянты, одно слово:
Интерес им покажи —
За него на все готовы
И городят ложь на лжи.

Род и вера — той идеи
Русскому дорожке нет,
Служба им всего святее,
Благороднейший завет.

С тем заветом мы согласно
Брат за братом станем в строй,
Чтобы стать нам сопричастным
Русской доблести святой*.

— Это ваше стихотворение, господин Славейков? — потелевшим голосом спросил генерал, и глаза его вперые смягчились, засветились добротой.

Славейков, сдерживая волнение, глухо произнес:

— Я написал его, когда русские войска вступили в Болгарию, чтобы освободить нас от турецкого ига.

— Да, конечно, ваши чувства к русскому народу нам всем известны. Помните, вы были комендантом Старой Загоры, когда генерал Гурко освободил город?

— Так точно, ваше превосходительство. Был комендантом, пока город оставался свободным, — тяжело вздохнув, тихо ответил Славейков.

— Вы и тогда оказали нашим войскам неоценимую услугу, — сказал командующий. — Так что я говорю с вами совсем откровенно, как с близким другом. После того как в конце ноября мы взяли Плевну, военное положение на фронте решительно изменилось в нашу пользу. Однако следует до конца использовать наше преимущество и не дать врагу передышки. Вот почему нашим вой-

скам необходимо немедленно перевалить через Балканы. Выйти в тыл турецкой армии, сосредоточенной против нас на Шипке, и разгромить ее. Что вы скажете на это, господин Славейков? Сможем мы провести свои войска через Балканы? Некоторые генералы утверждают, что это абсолютно невозможно.

Славейков вдруг преобразился, лицо его посветлело.

— Балканы можно перейти! — твердо заявил он и добавил: — Всюду и всегда!

— Я тоже так думаю. Нужно только хорошо организовать переход. И самое главное: командиры должны иметь на руках точные и подробные сведения о каждой горной тропе, о каждом перевале, по которому им предстоит провести войска. Мы, разумеется, пользовались и будем пользоваться услугами болгарских патриотов. Надеюсь, и вы поможете нам, господин Славейков? Нам необходимы подробнейшие и точные описания горных перевалов, троп, развилок, вершин, высот, ущелий, пропастей, речек, лесов и вырубок. Вообще хотелось бы, чтобы вы представили нам полную картину, в частности, Трявенского и Имитлийского перевалов...

Славейков не удержался и, не дослушав последних слов генерала, выпалил:

— Если нужно, я сию минуту дам все необходимые сведения!

— Нет, нет! — сдержанно махнул рукой главнокомандующий. — Обдумайте хорошенько и представьте все в письменной форме. А если возможно, то нарисуйте и точные карты перевалов. Мой адъютант позаботится о вас.

...В комнате, куда привели Славейкова, весело гудела печка. На столе стопка чистых листов бумаги, тонкая деревянная ручка, линейка, стеклянная чернильница. Горели две стеариновые свечи, озаряя возбужденное лицо поэта. Он, не медля ни минуты, склонился над столом и стал самозабвенно чертить карту Имитлийского перевала. Вспоминал и наносил на лист бумаги всякий поворот, любой изгиб, каждую вершину, родники, ключи, бьющие прямо из скал, малейшие высотки, тропки, лощины, лужайки, ущелья, скалы, обрывы... Все это почти зримо представлялось ему. И он рисовал даже отдельно стоящие на полянах деревья, под которыми в свое время отдыхал. Чертил, писал, рисовал, а перед глазами как живые возникали бесконечные колонны русских солдат

* Стихотворение П. Славейкова дано в переводе Св. Котенко.

и болгарских ополченцев. Они безмолвно двигались по только что проложенным в глубоком снегу тропам, поднимались на крутые склоны, шли вдоль закованной в ледяной панцирь, петляющей в ущелье реки, спускались в неглубокие пропасти, разбивали биваки в долинах, окруженных густыми лесами в тяжелых снежных папахах...

Закончив работу, Славейков на мгновение задумался, потом вновь склонился над листом и размашисто приписал:

«Балканы всюду можно пройти!»

Когда он поднимался из-за стола, в окно уже просачивалась мутная мгла зимнего утра. Рассвет с трудом изгонял мрак долгой ночи. Только теперь Славейков почувствовал, как сильно устал, как болят от напряжения глаза. Но на отдых времени уже не оставалось. Он быстро оделся, сунул в карман шубы исписанные листы и вышел на улицу. Он торопился в главный штаб.

В штабе поэт передал докладную и вычерченные им карты. Затем вскочил на коня.

Вечерело, когда он въехал в Ловеч, свернул на крутую улочку и остановился перед большими воротами, над которыми нависала широкая стреха. Громко посту чал палкой. Залаяла собака, послышались торопливые шаги. Звякнул засов, калитка отворилась, и на пороге показался крепкий, рослый парень.

— Это ты, Стефан? — спросил Славейков.

Парень пристально всмотрелся в верхового, его губы расплылись в улыбке, юное лицо засветилось радостью.

— Я, господин учитель! — воскликнул юноша. — Слезайте с коня, заходите!

Он взял лошадь под уздцы и помог приезжему сойти на землю.

— Есть в доме люди? — спросил гость.

— Есть, господин учитель! Как не быть? Все наши дома, — радостно отвечал бывший ученик Славейкова. — И отец, и мать, и братья, и сестры — все дома. Проходите, пожалуйста, проходите! Дорогим гостем будете!

— Прекрасно! — улыбнулся Славейков. — Сначала зайдем к родителям, а потом хочу поговорить с тобой наедине. Когда-то ты был одним из самых добрых и умных учеников. Помнится, любил слушать о разных событиях из истории Болгарии, беспокоился за судьбу нашего народа. Я не ошибаюсь?

— Нет, господин учитель. Я и сейчас люблю родину. И еще крепче, чем раньше. Вот и Ловеч уже целых три месяца наш, свободный!

Поставив лошадь в конюшню, оба вошли в большой дом. Вся семья с нескрываемым восторгом встретила гостя. Женщины засучив рукава бросились готовить ужин. Мужчины, окружив поэта, заговорили о минувших сражениях, озабоченно спрашивали о судьбе Шипки. После ожесточенной, кровавой битвы в августе русские солдаты и болгарские ополченцы отбросили крупные силы турецких войск. Что будет дальше? Турки, наверное, копят силы, выжидают удобный момент, чтобы снова напасть?

Наконец расспросы подошли к концу.

— Ты, учитель, видать, устал? — поинтересовался отец Стефана, мужчина могучего телосложения, с пышными, подкрученными кверху, чуть ли не до ушей, молодецкими усами.

— Угадал. Путь немалый проделал, — улыбнулся Славейков.

— Эй, молодка, парни! Ну-ка быстро готовьте стол, — приказал глава семейства.

После ужина Славейков и Стефан поднялись по крутой скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и вошли в комнату, приготовленную для гостя. Поэт внимательно посмотрел на юношу. Сильный, умный, спокойный, он не отрывал глаз от учителя и с нетерпением ждал, что тот ему скажет. Но пристальный взгляд Славейкова смутил парня, и он опустил голову.

— Слушай, Стефан, — тихо заговорил Славейков. — Я не требую, чтобы ты поклялся. Знаю тебя хорошо, знаю, какой ты болгарин, какой патриот. Но помни, Стефан, одно: то, что я тебе сейчас скажу, святая тайна! На кол будут сажать — молчи! Слышишь? На кол!

Стефан, не дрогнув, смотрел в глаза учителю. Этот мудрый человек учил их, детей, добру, учил любить родину, Болгарию. Учил мудрости, любви к науке, знаниям. И сегодня это доверие старого учителя потрясло юношу.

— Пусть хоть язык вырвут — слова не добьются! Будет так! — ответил Стефан твердо. И Славейков почувствовал — это правда.

— Тогда слушай! Есть у тебя в Ловече смелый и верный друг?

— Есть, — немного подумав, сказал юноша.

— Разыщи его сегодня же. Сейчас же, ночью! Завтра на рассвете вы оба отправитесь в село Имитли.

— В Имитли? По такому снегу? — удивился Стефан.

— По такому снегу! Знаю, что в горах все тропы завалило. Но вы должны пройти. Нужно тайно пробраться на юг, за Балканы.

— В турецкий лагерь?

— Да. В разведку. Узнаете, нет ли где на перевале турецких постов, побываете в селе Имитли... Как? Дело ваше. Можно под видом чабанов. Можно — выдавая себя за турка, или тайно, ночью. Как лучше, решайте сами. Разведаете, сколько батальонов, какие силы стянули туда турки, как вооружены. Изучите все, что требуется... — Славейков умолк, положил руку на плечо юноши и совсем тихо продолжал: — Может, кого из вас схватят. Однако пусть лучше язык вырвут — не должен говорить, зачем пробрался в лагерь, кто послал. Придумайте что-нибудь: мол, ищем пропавший скот. Только это! И ни слова больше! Понял?

— Да, господин учитель...

Славейков объяснил, что завтра он отправится по очень важному делу в Севлиево. Туда они будут добираться вместе. Потом через Габрово он поедет в Трявну. Спустя три дня они найдут его в Трявне и доложат, что видели, что слышали.

— Будет исполнено, господин учитель, — заверил Стефан.

Славейков крепко пожал руку своему бывшему ученику, отечески похлопал его по спине, улыбнулся, как бывало, в школе, когда он оставался доволен ответом ученика. И пожелал Стефану «спокойной ночи».

...В Трявну поэт приехал под вечер. Был он с головы до ног белым — всю дорогу шел сильный снег. В Севлиево и Габрове Славейков встретился со своими старыми и верными друзьями и организовал несколько маленьких чет — отрядов. Они также получили задание пробраться через Балканы на южную сторону, в расположение турецких войск и собрать сведения о противнике.

Но самая радостная весть ждала его дома. Здесь поэт застал Стефана и его друга, вернувшихся с опасного задания. Парни рассказали, что на всем перевале Имитли нет ни души. Он пуст и глух. Человеческая нога не ступала больше месяца по его диким тропам, заваленным глубоким снегом. Даже болгары-горцы, и те сидят в теп-

ле, носа не кажут из домов. Видели на тропах только следы оленей. Да еще по ночам слышали вой волков в глухих ущельях. Недалеко от села Имитли, сразу за перевалом, сосредоточено около двух турецких батальонов с тремя пушками. На некоторых вершинах южных Балкан установлены турецкие посты. Стефан вытащил лист бумаги и подал Славейкову, объяснив, что на нем все подробно записано и нарисовано. Часть сведений друзья собрали у болгар-горцев.

На рассвете кто-то громко постучал в ворота. Славейков, сбросив одеяло, быстро оделся и вышел на веранду.

— Кто там? — спросил он негромко.

— Господин Славейков? — послышалась русская речь.

— Ах, это вы? — удивленно воскликнул поэт, узнав по голосу адъютанта главнокомандующего, всего несколько дней назад сопровождавшего его до главного штаба русских в Бохоте. — Входите же, входите!

На лестнице загромыхали шпоры. Славейков зажег лампу. В комнату вошел красный от мороза, туго затянутый поверх шинели ремнем офицер. Он ловко козырнул, щелкнул каблуками и подал пакет. Славейков тут же при нем вскрыл депешу. Главнокомандующий предлагал ему немедленно ехать в село Топлеш, приютившееся у подножия Имитлийского перевала, и поступить в распоряжение генерала Скобелева.

Славейков с недоумением глянул на офицера. Тот все понял и быстро сказал:

— Генерал Скобелев должен немедленно вести войска через Имитлийский перевал. Поэтому вы ему необходимы сейчас же, срочно. Другая колонна выйдет в тыл туркам слева, через Трявненский перевал. Наши войска, таким образом, охватят кольцо турецкий укрепленный лагерь у села Шейново. Командующий считает, что вы единственный человек, который может помочь Скобелеву успешно провести войска через Имитли. Генерал с нетерпением ждет вас, господин Славейков. Приказ о переходе через Балканы уже подписан. Вы сможете завтра раненько утром отправиться в Топлеш, господин Славейков?

— Если надо, я готов ехать хоть сию минуту! — без колебаний воскликнул поэт. — Только вот хотел бы взять с собой двух молодых болгар, верных парней, патриотов. Они мне очень помогли, пригодятся и теперь.

— Отлично! Итак, господин Славейков, в добрый

путь! Надеюсь, скоро увидимся в Одрине или даже где-нибудь возле Царьграда! — На румянном лице русского офицера заиграла веселая, открытая улыбка.

Славейков предложил офицеру переночевать в его доме: хватит места и для него, и для его ординарца — весь дом пустой, семья все еще в Тырнове. Однако гость отказался, сославшись на то, что еще раньше приглашен русскими офицерами, расквартированными в Трявне. Он крепко стиснул руку поэта. Спустя немного времени хлопнула калитка, послышался топот коней. Потом все стихло.

Славейков вышел в соседнюю комнату и громко позвал:

— Эй, ребята, вставайте!

...Ранним утром, еще затемно, Славейков верхом выехал со двора. Парни, уткнув лица в высокие теплые воротники пальто, подбитые овечьим мехом, с кизилowymi палками в руках, двинулись вслед за учителем по дороге на Габрово. Оттуда они решили спуститься в село Топлещ, где колонна генерала Скобелева готовилась к переходу через глубокие снега Имитлийского горного перевала. Славейков глубоко верил, что он проведет через Балканы русских солдат-освободителей вопреки лютой зиме, сковавшей ледяным панцирем реки, тропы, скалы, деревья. Лицо поэта светилось надеждой и радостью. Он молча смотрел на засыпанное снегом поле, и в его глазах блестели слезы...

...Эти же слезы радости были в его счастливых глазах и теперь, когда он смотрел на ликующие колонны героев Шипки и Шейнова в торжественный праздник победы...

Перевел с болгарского
В. ПОНОМАРЕВ

ХРОНИКА РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877—1878 ГОДОВ

12(24) апреля 1877 г. — объявление Россией войны Турции.
9(21) мая 1877 г. — провозглашение независимости Румынии.

Дунайский театр военных действий

- 6(18) мая 1877 г. — вручение в Плоешти болгарскому ополчению Самарского знамени.
- 29 апреля (11 мая) — потопление русской артиллерией турецкого монитора «Лютфи-Джалиль» у Браилова.
- 15(27) мая — потопление минными катерами лейтенантов Ф. В. Дубасова и А. П. Шестакова турецкого монитора «Сельфи».
- 15(27) июня — форсирование Дуная русскими войсками у Зимницы-Систова.
- 27 июня (7 июля) — освобождение Тырнова.
- 2(14) июля — переход Балкан Передовым отрядом через Ханкиойский перевал.
- 8(20) июля — первый штурм Плевны.
- 18(30) июля — второй штурм Плевны.
- 19(31) июля — сражение под Старой Загорой.
- 31 августа (12 сентября) — третий штурм Плевны.
- 28 ноября (10 декабря) — капитуляция армии Османа-паши в Плевне.
- 7(19) июля — 28 декабря (11 января 1878 г.) — оборона Шипкинского перевала русскими солдатами и болгарскими ополченцами.
- 22 августа (3 сентября) — взятие русскими войсками Ловчи.
- 13—19(25—31) декабря — переход Балкан Западным отрядом И. В. Гурко.
- 23 декабря (4 января 1878 г.) — занятие русскими войсками Софии.
- 27 декабря (8 января) — 28 декабря (9 января) — разгром и пленение при Шипке — Шейнове 30-тысячной армии Вессель-паши.
- 3—5(15—17) января 1878 г. — разгром войсками И. В. Гурко в сражении под Филипполем армии Сулеймана-паши.
- 8(20) января — взятие Адрианополя.

Кавказский театр военных действий

- 17(29) апреля 1877 г. — занятие русскими войсками Баязета.
5(17) мая — штурм и взятие Ардагана.
6(18) июня — 27 июня (9 июля) — героическая защита Баязета
русским гарнизоном.
1—3(13—15) октября — Алаир-Аладжинское сражение.
6(18) ноября — взятие штурмом Карса.
19(31) января 1878 г. — подписание перемирия в Адрианополе.
19 февраля (3 марта) — подписание Сан-Стефанского мирного
договора.
1(13) июня — 1(13) июля — Берлинский конгресс.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Тихонов. Дружба на века 5

I

В. Дуров. В ночь с 14-го на 15-е. У Зимницы 9
С. Шуртаков. Вершина Столетова 37
В. Петелин. Это было под Плевной 108
О. Михайлов. Генерал «Вперед» 172
Д. Жуков. «На Шипке все спокойно!» 245

II

Антим Костов. Воевода-капитан Цеко Петков 333
Илья Мермерков. Подполковник Константин Кесяков 337
В. Яичевский. Ополченцы 342
Л. Назарова. Подвиг сестры милосердия 355
Иван Вылов. Доброволец Всеволод Гаршин 370
В. Бардадым. Кубанские казаки 373
Г. Серебряков. Командир нарвских гусар А. А. Пушкин 389
С. Семанов. «Шипка» на море и в Закавказье 425
Петр Стыпов. Через Балканы 465

* * *

Хроника русско-турецкой войны 1877—1878 годов 477

Г39 Герои Шипки: Сборник (Сост. О. Михайлов; Предисл. Н. Тихонова. — М.; Мол. гвардия, 1979. — 479 с., ил. — Жизнь замечат. людей. Серия биогр. Вып. 2 (588)).

В пер. 2 р. 10 к. 100 000 экз.

На страницах сборника воскрешаются события столетней давности — эпизоды героической борьбы за освобождение болгарского народа от турецкого ига. В этой борьбе выдающуюся роль сыграла бескорыстная братская помощь русского народа. Авторы сборника — советские и болгарские писатели, журналисты.

Г 70302—036—259—79 4702010100 ББК 63.3(2)51 + 63.3(0)53
078(02)—79 9(С)16 + 9(М)32

ИБ № 1238

ГЕРОИ ШИПКИ

Редактор **В. Калугин**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **В. Савельева**
Корректоры **Г. Трибунская, Г. Василёва, А. Долидзе, Н. Павлова**

Сдано в набор 12.09.78. Подписано в печать 05.02.79. А00016.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 25,2 + + 16 вкл. Учетно-изд. л. 28,2. Тираж 100 000 экз. Заказ 1421. Цена 2 р. 10 к. Т. П. 1978 г., № 266.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес изд-ва и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.